

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 2 АПРЕЛЬ 2004 • ИЕРУСАЛИМ

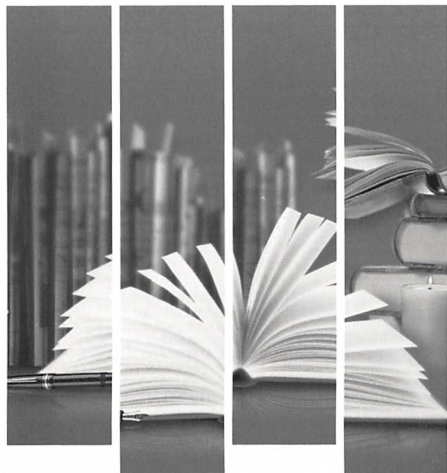
- В. СЛАВКИН. Тепло одетые в жаркий день
- Э. ШУЛЬМАН. Что скажет Беня за облаву
- Б. САРНОВ. Как это было
- Б. ПАРАМОНОВ. Сношения с родной землей
- В. ПРИБЫЛОВСКИЙ, Ю. ФЕЛЬШТИНСКИЙ.
Путин: путь к престолу
- Е. МОРОЗ. Оккультист из ОГПУ





Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotvim, Jerusalem 91450, Israel

Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863

Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotvim, Jerusalem 91450, Israel

Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

כתב-עת ספרותי פובליציסטי

עורך ראשי **אדוארד קוזניצ'וב**

סגן העורך **רפאל נודלמן**

מזכירת המערכת **לנה ויינשטיין**

הדפסה סטודיו "קליק" ירושלים

כתובת: ת.ד. 45156, הר-חצבים, ירושלים 91450

טל: 02-5325931

פקס: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	\$65
В Европе (авиапочтой)	€ 55
В США (авиапочтой)	\$70

* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: **02-5325931**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	\$11
В Европе	€ 9
В США	\$12

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

Журнал можно приобрести в книжных магазинах.

В Иерусалиме: «Золотая карета» (ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3), «Гешарим» (ул. Агрипас, 10). В Тель-Авиве: «Экслибрис» (ул. Алленби, 80).



номеров,
включая
доставку

Журнал
выходит раз
в два месяца



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№2

АПРЕЛЬ 2004
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3 Виктор Славкин. Тепло одетые в жаркий день
30 Эдуард Шульман. Что скажет Бенья за облаву
50 Юдит Аграчева. Сказки о маленькой Юдит и о Сотворении мира
63 Бенцион Томер. Какой же я старый...
69 Анри Волохонский. Книга «Зогар»

НАД ТЕКСТОМ...

- 81 Борис Парамонов. Интерпретация землеёбства

NON FICTION

- 111 Владимир Прибыловский, Юрий Фельштинский. Операция «Наследник»

ИЗРАИЛЬ – РОССИЯ

- 128 Алек Эпштейн. В лабиринтах иллюзий
143 Александр Мелихов. Состязание технологий и грез

ЗАПАД – ВОСТОК

- 151 Дмитрий Хмельницкий. Два музея
157 Дан Шапира. Иорданские и саудовские добровольцы в Чечне
162 Александр Кустарев. Уроки войны в Ираке

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

- 172 Бенедикт Сарнов. Как это было
202 Наталия Зейфман. Судьба из рук Петра Андреевича
215 Игорь Ефимов. Нездешний

О ГОРНЕМ И ДОЛЬНЕМ

- 222 Евгений Мороз. Оккультист из ОГПУ и Любавичский ребе
238 Антеро Киуру. Дхармараджа в контексте эпохи

246 PRESS-REVIEW

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

- 262 Питер Марш. Вредные привычки
272 Майкл Крайтон. Экология как новая религия

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

- 279 Константин Крылов. Памяти Сергея Аверинцева
288 ПРОЗА. Василий Аксенов. Вольтерьянцы и вольтерьянки
304 ВОСПОМИНАНИЯ. Алэн Польш. Женщина и война
336 ИНОЙ РАКУРС. Наум Коржавин. Свобода за границами своей применимости

352 АВТОРЫ НОМЕРА

На последней страничке обложки – иллюстрация Евгения Абезгауза к «Сказкам о маленькой Юдит...» Ю. Аграчевой

ISSN 1565-5318



Виктор Славкин

ТЕПЛО ОДЕТЫЕ В ЖАРКИЙ ДЕНЬ

Пьеса в одном действии

Действующие лица

Миша.

Валентин Александрович.

Третий.

Скамейка в городском сквере. Тихо, тепло, солнечно, спокойно. На скамейке сидит мужчина. Ему под пятьдесят, но выглядит он моложе. Эдакий редкий ныне тип застрявшего в своей юности книгочея. Неопрятная борода, ватник, потрепанная книга на коленях. Читает.

Через две-три минуты на другой конец скамейки присаживается еще один гражданин. Несмотря на теплынь, он в плотной куртке с капюшоном, на ногах крепкие ботинки. Чисто выбритое лицо, редкие волосы, спереди, однако, пока все в порядке.

Как их зовут, мы узнаем позже, но для удобства назовем их сразу: первый – Миша, второй – Валентин Александрович.

Итак, Валентин Александрович садится на скамейку.

Валентин Александрович. Не возражаете?

Миша. Что?

Валентин Александрович. Сел на вашу скамейку.

Миша. Она не моя.

Валентин Александрович. Некоторым не нравится.

Миша. Да сидите...

Пауза.

Валентин Александрович. Что вы читаете?

Миша. Слушайте, так обычно знакомятся с девушками.

Валентин Александрович. Вот этого я никогда не умел.

Миша. Нет ничего проще.

Валентин Александрович. Научите.

Миша. Подсаживаетесь на скамейку и спрашиваете: «Что вы читаете?»

Валентин Александрович. Сейчас читающую девушку редко когда встретишь...

Миша (*резко*). Идите в Библиотеку имени Ленина.

Валентин Александрович. Хорошо. Тут недалеко. (*Встает.*) Извините, что помешал.

Миша. Да сидите, пожалуйста, если нравится.

Валентин Александрович. Нравится. (*Садится.*)

Миша (*захлопывает книгу*). Хорошо, давайте поговорим. Ведь вы хотите поговорить?

Валентин Александрович. Да.

Миша. Ну.

Валентин Александрович. Вы давно последний раз ели?

Миша. Недели две тому назад. Устраивает?

Валентин Александрович. Я думал больше.

Миша. Что, такой скелет?

Валентин Александрович. Впрочем, меня подвели очки. У вас сколько диоптрий?

Миша. Вы врач? Окулист или диетолог?

Валентин Александрович. На второй неделе в глазах голодающего появляется такой перламутровый блеск, потом он исчезает.

Миша. Значит, диетолог.

Валентин Александрович. Нет. Я тоже голодающий.

Миша. Да... (*открывает книгу и снова захлопывает.*) Я тут недалеко живу...

Валентин Александрович. Вы правильно делаете, что не сидите дома. Свежий воздух необходим. Хотя при наших делах надо выходить на улицу, хорошо утеплившись.

Миша. При каких таких наших делах?

Валентин Александрович. Мой стаж всего четыре дня, и я уже мерзну.

Пауза.

Миша. Запах валерьянки чувствуете?

Валентин Александрович. Да, он везде!

Миша. Это хороший день. Перестает действовать сила тяжести. Рука сама поднимается, до того как вы подумаете ее поднять.

Валентин Александрович. Точно. Я когда шел сюда, меня само несло, будто ветром, я не понимал, в чем дело...

Миша. Ведите дневник. День, как год. Столько проживаешь... Я вспоминаю сегодняшнее утро... будто десять лет назад.

Валентин Александрович. Тогда выходит, что мы с вами старые знакомые.

Миша. Для голодающего у вас слишком логичное мышление. Уж не перехватили ли вы тайком бутербродик?

Валентин Александрович. Тайком от кого? От себя?.. Нет, для меня это смерть. Я, Миша, голодаю вынужденно. У меня сахарный диабет в сочетании с гипертонией. Ничего не помогало, и один врач мне сказал: или я начинаю голодать, или...

Миша. Я понял.

Валентин Александрович. Вы знаете, думал, не выдержу. Раньше, чуть опаздывает обед, я прямо не могу. Забежишь на кухню, что-нибудь схватишь... даже сырое...

Миша. А теперь соседка крутит котлеты, а я стою и люблюсь цветом мяса.

Валентин Александрович. Вы не женаты?

Миша. Почему?

Валентин Александрович. Смотрите, как соседка делает котлеты...

Миша. Тут ей нет равных! А у меня никаких вкусовых ощущений. Только эстетические. Вы, например, не заметили, что гречневая каша очень фотогенична?

Валентин Александрович. А это идея! Надо заняться фотографированием продуктов.

Миша. Правда, я ее никогда не любил. Я любил все белое: сыр, мороженое, лапшу...

Валентин Александрович. Во Франции есть черный сыр.

Миша. Гадость какая!

Валентин Александрович. Нет, я пробовал, чудный вкус...

Миша. Вы были в Париже?

Валентин Александрович. Одно время.

Пауза.

А вы, замечу я, еще не вполне освободились от власти пищевого продукта. Если говорите «гадость». Голодание делает человека терпимым. Мне лично все нравится. И вы, несмотря ни на что, симпатичный человек.

Миша. Несмотря?..

Валентин Александрович. Я имею в виду вашу неконтактность.

Миша. Но мы вот сидим, разговариваем, несмотря на то, что я вас не знаю.

Валентин Александрович. Меня зовут Валентин Александрович.

Миша. А я – Миша. Ну и что?

Валентин Александрович. Мы, Миша сейчас находимся в том счастливом состоянии, когда нам, кроме имен, ничего друг о друге знать и не надо. Этого достаточно, чтобы подружиться. Мы живем в стерильном мире, где нет еды, профессий, политики, женщин, а только зыбкая материя, которая колыхается вокруг нас.

Миша. Неправда. Женщин я пока различаю.

Валентин Александрович. Я и не говорю, что их нет вовсе. Но они, как та гречневая каша, которая раньше имела вкус, а сейчас только фотогеничность.

Миша. Мужчина становится искусствоведем.

Валентин Александрович. А раньше был бабником и едоком.

Миша. Я всегда ел мало. Что-нибудь кусну – и на целый день.

Валентин Александрович. Нет, я любил эту работу. Сядешь за стол, обставившись всеми этими судочками, салатницами, тарелочками, всей этой столовой мебелью – и затаишься перед первым глотком. Счастье!

Миша. Значит, и вы еще не совсем безнадежны. Красиво говорите о еде.

Валентин Александрович. Одни слова...

Миша. А мне процесс поглощения пищи никогда удовольствия не доставлял. Я бы первый перешел на питательные таблетки, если бы их изобрели. Тратить время на пережевывание... Я лучше книжку почитаю.

Валентин Александрович. Можно читать за обедом.

Миша. Этого мне мама никогда не позволяла.

Валентин Александрович. Вы живете с мамой?

Миша. Да. Правда, она не живет.

Валентин Александрович. Простите. *(Заглядывая в книжку.)* Что вы читаете?

Миша. Вы меня уже об этом спрашивали.

Валентин Александрович. Это было давно.

Миша. Так... одну нелегалщину.

Валентин Александрович. «Книгу о вкусной и здоровой пище»?

Миша. Примерно.

Валентин Александрович. Помню, когда я был маленьким, у нас дома была эта книжка, еще старое издание. Эти цветные фотографии отбивных... Ох, как я их рассматривал!.. Мы жили не очень... Мать получала восемьдесят рублей, отца я не знал... У меня было две любимые книги: я читал «Три мушкетера» и рассматривал «Книгу о вкусной и здоровой пище», – и они у меня сливались в одно. В картину настоящей жизни. И вот она уже давно наступила, и, что же, – я голодаю, а в книжки заглядываю крайне редко... Чего не скажешь о вас.

Миша. Но вы, наверно, работаете, а я тунеядец.

Валентин Александрович. Ну уж прямо и тунеядец!

Миша. Считается так. Я не занимаюсь общественно полезным трудом. Спрашиваете, почему?

Валентин Александрович. Заметьте, я ни о чем не спрашиваю.

Миша. А я отвечаю. Потому что общественно полезный труд считаю бесполезным.

Валентин Александрович. Я думаю не так, но это значения не имеет.

Миша. Вот и вы считаете меня тунеядцем.

Валентин Александрович. Не шейте мне дело.

Миша. Не бойтесь. Я не из этого ателье. А совсем даже наоборот.

Валентин Александрович. Дорогой Михаил... Как ваше отчество?

Миша. Это зачем?

Валентин Александрович. Хочу обратиться к вам высокопарно.

Миша. Отчество у меня трудное. Поэтому – Миша, и все.

Валентин Александрович. Хорошо. Дорогой Миша, мы с вами голодающие, поэтому наше социальное положение и философские пристрастия в настоящий момент второстепенны. А на работу я сейчас не хожу.

Миша. Это приятно.

Валентин Александрович. Да, вы знаете, стыдно признаться, но я испытываю удовольствие.

Миша. А чего вы стесняетесь? Все идет нормально. Только на это надежда. Когда все побросают работу и при этом почувствуют себя счастливыми...

Валентин Александрович. Ой, пропадем!

Миша. Нет. Спасемся. Так вот: когда все побросают работу и при этом почувствуют себя счастливыми, – может быть, тогда, на всеобщем досуге, мы поймем, что надо в жизни что-то менять, что нельзя несчастливо работать и счастливо отдыхать.

Валентин Александрович. Да, меня мое хорошее настроение настораживает.

Миша. Я говорил. Вернетесь вы на работу уже не Валентином Александровичем.

Валентин Александрович. А кем?

Миша. Не знаю. Я не знаю, где вы работаете.

Валентин Александрович. Я, Миша...

Миша. И знать не хочу.

Пауза.

Валентин Александрович. Моя мать всю жизнь работала укладчицей конфет на кондитерской фабрике. Дома у нас всегда был кавардак, в кухонном шкафу, например, вермишель лежала вместе с электрическими лампочками, мужские носки соседствовали с подсолнечным маслом... Реакция на раскладку конфет по сортам и размерам. Профессиональное заблуждение.

Миша. Конфеты – это что-то сладкое?

Валентин Александрович. Сначала надо вспомнить, что такое сладкое.

Миша. Это когда липко.

Валентин Александрович. Битум?

Миша. Но белый.

Валентин Александрович. Мы с вами неплохо понимаем друг друга.

Миша. Вы первый, с кем я так долго разговариваю. Обычно на третьей фразе моя вежливость кончается.

Валентин Александрович. В моем случае это произошло сразу.

Миша. Ну, что вы! Разве это грубость... Нынче я в ослабленной форме.

Валентин Александрович. И я. Если бы крепче держался на ногах, пошел бы, куда вы меня послали.

Миша. Я вас туда не посылал.

Валентин Александрович. А в библиотеку?

Миша. Голод лишил меня зла.

Валентин Александрович. Это то, что нужно.

Миша. Голодать?

Валентин Александрович. Если по-другому быть добрым не получается...

Миша. Хорошая мысль. Надо ее подкинуть туда, наверх. Голод – залог нравственности. Тянет на национальную идею. Довольно, притом, выгодную.

Валентин Александрович. Не оценят юмора.

Миша. Ну почему же...

Валентин Александрович. Вы что, их не знаете?

Миша. А вы?

Пауза.

Валентин Александрович. Вот объясните мне, что произошло. Вчера я сидел в своем кресле, знаете, вращающемся... и крутанулся. И как-то – раз! – передо мной пронеслись цвета моей комнаты: ковер красный, белая дверь, синий диван, желтый шкаф... И вдруг услышал, вы не поверите: ти-ти-та.

Миша. Цветомузыка.

Валентин Александрович. Крутанулся еще раз. Красное, белое, синее, желтое, красное... Ти-ти-та-ти-ра-ри... Моцарт, что ли?..

Миша. Гайдн.

Валентин Александрович. Что?

Миша. Определенное сочетание цветов переходит в соответствующее сочетание звуков. Как вы сказали – красное, синее, белое... Это... погодите... «Когда, как богоборец, вокруг собора ярится буря, с каждым вихрем злей...»

Валентин Александрович. Тоже Гайдн?

Миша. Рильке. У меня, простите, всё в слова переходит.

Валентин Александрович. Слова – тоже звуки.

Миша. Там дальше: «...внезапно ты приковываешь взоры улыбкою блаженной своей».

Валентин Александрович. Надо было все-таки в библиотеку сходить по вашему совету... Взять Рильке.

Миша. И перевести в цвета. Так сказать, обратный перевод.

Валентин Александрович. Вообще, не ожидал от себя такого...

Раньше я музыку не слышал, даже если она звучала. Был равнодушен к природе. По мне, хоть бы ее и не было. А теперь слушаю птичек по утрам.

Миша. Я всегда мечтал иметь какого-нибудь чижа у себя дома.

Валентин Александрович. Нет, пусть лучше будут на деревьях.

Миша. Но мне хотелось за ним понаблюдать.

Валентин Александрович. Понаблюдать за существом в клетке?

Миша. Но он там поёт! Вы могли бы петь в камере?

Валентин Александрович. Иногда я там пел.

Миша. Вы что – сидели?

Валентин Александрович. Нет. Я пел стоя. У меня оперный репертуар.

Миша. Это я не люблю. Уж лучше балет. Хотя оживленно танцующий среди фанерных декораций – тоже довольно глупо.

Валентин Александрович. Вы любите театр?

Миша. Уже лучше.

Валентин Александрович. А, по-вашему, в актера, декламирующего чужие слова, я должен верить?

Миша. А зачем ходить в театр? Читайте пьесы. В книге реплику можно перечитать, остановиться, подумать... Сказанное улетает, и не поймаешь.

Валентин Александрович. Поэтому вы предпочитаете иметь птицу в клетке?

Миша. Посмотреть, как она ворочает головкой, закрывает пленкой глаза, как чистит перья, как издает звуки... Ощутить звуки как цвета, и цвета как звуки. Синий, желтый, фиолетовый, зеленый... Не хочется быть хуже.

Валентин Александрович. Хуже?.. Чего?

Миша. Хуже этих цветов.

Валентин Александрович. Хуже цветов?

Миша. Мы с вами сейчас превратились просто в краски мира. В цвета и цветы.

Валентин Александрович (*внезапно*). Мне надо вам кое-что сказать.

Миша. Вы каким цветком себя ощущаете?

Валентин Александрович. Послушайте меня...

Миша. А я – лютик.

Валентин Александрович. Мне необходимо сделать вам одно признание.

Миша. Красивая фраза. Ее должен был сказать я.

Валентин Александрович. Открыть секрет.

Миша. Да, да, слово «секрет» тут больше подходит.

Валентин Александрович. Но я первый его сказал.

Миша. Э нет, Петр Иванович...

Валентин Александрович. Я – Валентин Александрович.

Миша. Жаль. А я думал, что вы Бобчинский, а я Добчинский. Так было бы веселее.

Валентин Александрович. В том-то и дело, что у меня другая фамилия.

Миша. Давайте свое признание первым все-таки сделаю я.

Валентин Александрович. Дело в том, что после моего, может быть, отпадет необходимость в вашем.

Миша. Вы человек твердый. Если уж решили, не передумаете. А я могу расслабиться. Мне надо сразу. Понимаете?

Валентин Александрович. Хорошо. Будь по-вашему. Но уступаю я вам с одним условием.

Миша. Любое!

Валентин Александрович. Выслушав меня, вы не сразу уйдете с этой скамейки.

Миша. Ну, если только землетрясение или наводнение...

Валентин Александрович. Я вас слушаю.

Пауза.

Миша. Вот, видите, пока мы тут препирались, я размяк.

Валентин Александрович. Тогда скажу я...

Миша. Так вот. Когда я учился в четвертом классе, у нас был один мальчик. Никто его не любил. И я вместе со всеми. У него были очень близко посаженные глаза, очень близко, и мы звали его Одноглазый. Глаза было, конечно, два, но у него они сливались в один. Его все доводили. Считалось большой доблестью устроить Одноглазому гадость. И я не был исключением. Однажды на перемене, когда в классе никого не было, я заклеил замки на его портфеле клеем «Момент». Это делается так: пипеткой внутрь замка выпускаешь клей – и все, и намертво. И, когда урок начался, Одноглазый не мог выложить на парту ни одной тетрадки. Все уже писали диктант, а он сидел. У нас была хитрющая учительница, она приказала всем выложить на парты руки и по остаткам клея на моих пальцах легко определила виновника. Меня поставили в угол на целый день, такой был порядок в нашей школе – стоишь лицом к стене целый день, на всех уроках. Вот я и стоял час, два, три... И вот на большой перемене, когда все как бешеные носились по коридору, а я стоял в углу, в класс проскользнул Одноглазый. Неслышно подошел сзади и сунул мне полбулки с яичницей. Ему мать давала в школу разрезанный вдоль полбатона, а внутрь вместо колбасы клала яичницу, и он каждый день на глазах у нас сглатывал этот странный бутерброд. Губы у него после этого были желтые, за это мы его тоже ненавидели. Так вот, он ткнул меня пальцем в лопатку и дал часть этой своей еды. И я взял. Не мог не взять. У меня уже руки похолодели от голода. Взял и съел. И ничего вкуснее за свою жизнь я не помню. Но возненавидел я Одноглазого за это пуще прежнего. За то, что взял еду из его рук. Скоро он с родителями переехал в другой город, и я его больше ни разу не видел. И лишь недавно услышал его фамилию. Он написал книжку о каких-то секретных делах, которые, однако, всем надо знать, и они его за это посадили и шьют ему дело. Но самое интересное, что в этой

книжке, прямо на первой странице, в предисловии, он вспоминает эпизод с клеем «Момент», путает, правда, мое имя или не хочет правильно называть, но рассказывает про то, как на уроке не мог открыть портфель и как за это поставили одного мальчика в угол, а сейчас, мол, он сам открывает секретный портфель, заклеенный более прочным государственным клеем, — это его стилек! — и знает, что на этот раз в угол поставят его. Его и арестовали. Не из-за меня, конечно... За разглашение государственной тайны. Книжка так и называется «Секрет, который должен знать каждый». Что-то про радиацию, про ракеты, про атомные станции... я в этом не понимаю... Но чувствую, вяжут Одноглазого, шьют дело. И кругом никто ничего. Противно. А за мной должок. Пусть, думаю, это буду я. Тот, кто заметил. С какой стати... все молчат, а я все-таки не чужой... за мной должок... ну и так далее... Короче, я вас обманул: у меня не голодание, как у вас, лечебное, а голодовка. В поддержку. Акция протеста. Чтобы знали, что человек не один. Смешно, глупо, бессмысленно в наше время, но пусть будет. Собственно, все это я и хотел вам сказать... раз уж так пошел разговор... как он пошел.

Пауза.

А что хотели поведать мне вы, любезный Валентин Александрович?

Пауза.

Валентин Александрович молчит.

У вас еще не пропало желание раскрыть свой секрет?

Снова молчание.

Я слушаю.

Валентин Александрович. Мой секрет, Миша, очень прост. Он заключается в том, что я знал ваш.

Миша. Не понял.

Пауза.

Валентин Александрович. Я, Миша...

Миша. Понял.

Пауза.

Миша. Так, значит, вы сыты.

Валентин Александрович. Я голоден.

Миша. Что, спецбуфет закрыт?

Валентин Александрович. Вам не изменяет чувство юмора.

Миша. Конечно, чтобы играть голодающего, надо как следует заправиться и — на задание.

Валентин Александрович. Я вам не врал.

Миша. Теперь я вспоминаю, в повестках, которые мне приходили, внизу стояла фамилия и после нее две буквы с точками: «В» и «А».

Валентин Александрович. Я могу показать вам диагноз и предписание врача.

Миша. Покажите лучше статью двести семьдесят пятую Уголовного кодекса. Сколько там Одноглазому?

Валентин Александрович. Пять.

Миша. Двенадцать.

Валентин Александрович. Пять. Там сейчас столько не дают.

Миша. Спасибо.

Пауза.

Миша встает.

Валентин Александрович. Вы уходите?

Миша. Уползаю.

Валентин Александрович. Вы же обещали...

Миша. Я обещал не уходить сразу. Я сразу и не ушел. Посидели, поговорили...

Валентин Александрович. Спасибо.

Миша. Не говорите мне «спасибо».

Валентин Александрович. Хорошо.

Миша. Не говорите мне «хорошо».

Валентин Александрович. Я буду молчать.

Миша. Хорошо. Спасибо.

Постояв, Миша снова садится на скамейку.

Сидят.

Я бы плюнул вам в лицо, но у меня нет слюны.

Валентин Александрович. Обезвоживание организма. Мне врач объяснил. У меня тоже.

Миша. Значит, в ответ плюнуть не сможете. Это радует.

Валентин Александрович. Поверьте мне, я уже не тот человек, который слал вам повестки. Я даже не тот, кто полчаса назад сел к вам на скамейку.

Миша. Тридцать семь.

Валентин Александрович. Что?

Миша. Тридцать семь минут назад. Если быть точным.

Валентин Александрович. У вас же нет часов...

Миша. А эти? Вон там, у метро... Где ваша профессиональная наблюдательность?

Валентин Александрович. У вас такое зрение?! А у меня, наоборот, – резко упало...

Миша. Я замечаю, вы все время пытаетесь меня разжалобить.

Валентин Александрович. Я действительно стал плохо видеть.

Миша. Знаете, в чем ваше главное преступление?

Валентин Александрович. Знаю.

Миша. Вовсе не в этом. Вы ввели меня в грех несочувствия. Несочувствия человеку. Какому-никакому...

Валентин Александрович. Я понимаю.

Миша. Чем скорее каждый из вас неизлечимо заболеет, тем лучше. Вот, что я говорю. Живому человеку в лицо. Это же ужас! Это бесчеловечно! А я говорю. И дальше. Вы освободите людей от себя. Даже не людей –

природу. Тех птичек, которых вы слушаете по утрам. Они просто не знают, кому поют. Знали бы, заглохли.

Валентин Александрович. Что касается меня, то я, как вы изволили выразиться, освобожу от себя природу очень скоро.

Миша. Опять бьете на жалость. Хватит изображать из себя овечку. Снимите маску, сразу станет легче. И вам, и мне.

Валентин Александрович. Да?

Миша. Так честнее.

Валентин Александрович. Да.

Миша. Что, да?

Валентин Александрович. Вы правы.

Миша. Наконец-то! Теперь все стало на свои места и можно уходить. Ариведерчи. *(Встает.)*

Валентин Александрович *(резко)*. Сидеть!

Миша быстро садится.

Валентин Александрович. Встать!

Миша встает.

Сесть!.. Встать!.. Сесть!..

Миша, словно в гипнозе, быстро исполняет команды.

Сидеть.

Миша садится.

Пауза.

Когда вы последний раз ели?

Миша. Более десяти дней.

Валентин Александрович. Это я уже слышал.

Миша. Более...

Валентин Александрович. Точнее.

Миша. Одиннадцать дней.

Валентин Александрович. Вот это другое дело. Отвечать коротко, точно. Смотреть в глаза.

Миша. Я понял.

Валентин Александрович. Вы меня разочаровали.

Миша. Чем?

Валентин Александрович. ...гражданин начальник.

Миша. Что?..

Валентин Александрович. Я: «Вы меня разочаровали». Вы: «Чем, гражданин начальник?»

Миша. Понял.

Валентин Александрович. Закрепим. Вы меня разочаровали.

Миша. Чем, гражданин начальник?

Валентин Александрович. Вот это другое дело. Я-то думал, вы железный борец, крепкий орешек, а вы раскололись, как только я чуть надавил.

Миша. Я сам не ожидал. Когда так близко, все меняется... Поэтому я к вам по повестке не ходил. Боялся не выдержу.

Валентин Александрович. А что вы думали, я с вами ворковать на лавочку сел, про погоду чирикать?

Миша. Собственно, я и сам хотел, когда узнал, кто вы... Но опоздал... на какую-то секунду... Я сейчас с вами разговаривал... играл такого упертого Мишу... из последних сил... Вошел в роль... вернее, втянули. Когда-то у нас была своя компания таких кухонных болтунов... Все уже пристроились к жизни, а я застрял... Время уже другое, а я все там... Я же несостоявшийся актер, играл в студенческом театре, вот и вошел в образ, до сих пор выйти не могу. Спасибо вам, вытянули...

Валентин Александрович. Не говорите мне «спасибо».

Миша. Хорошо.

Валентин Александрович. Не говорите мне «хорошо».

Миша. Не буду.

Валентин Александрович. Хорошо. Спасибо.

Пауза.

Миша. Я готов ответить на ваши вопросы. Что вас интересует? Или кто? Я всё скажу. Прошу вас, записывайте, второй раз мне будет трудно говорить. У вас есть, чем писать?

Валентин Александрович. У меня уже давно все записывается.

Миша. Конечно, конечно... Как я не догадался!.. Я готов.

Валентин Александрович. Не торопитесь.

Миша. Да, да. Я буду говорить медленно. И громко, чтобы хорошо записалось.

Валентин Александрович. Куда вы спешите?

Миша. Проверим слышимость: раз, два, три, четыре, пять... Хорошо?

Валентин Александрович. Не говорите мне ничего.

Миша. Начало записи.

Валентин Александрович. Погодите.

Миша *(откашливается, четко выговаривает каждое слово)*. Вы муда-к и сволочь. Повторяю. Сволочь и муда-к. Конец записи.

Валентин Александрович. Давно бы так!

Миша. А вообразили себя Джеймсом Бондом, Штирлицем, Дзержинским... Уж не знаю, кто там у вас кумир... А я, значит, такой безвольный, трусливый диссидент. Такими вы нас там, у себя в конторе, воображаете?

Валентин Александрович. Я, знаете, тоже поигрывал в художественной самодеятельности. И тоже постарался воплотить ваше представление обо мне.

Миша. Не выкручивайтесь!

Валентин Александрович. Все-таки мы оказались безнадежными любителями.

Миша. Не-е-е-т, вы профессионал!

Валентин Александрович. Однако неплохая пьеса получилась. На двух актеров. Сейчас это модно. Правда, политическая тема не в ходу.

Миша. Дешевая пародия.

Валентин Александрович. Для пародии недостаточно смешно.

Миша. Почему? Когда я спросил вас, есть ли чем писать, а вы: «я уже давно записываю». Животики надорвут.

Валентин Александрович. Слишком тонко. Публика любит поглубже.

Миша. А «мудак и сволочь»? Согласитесь, с моей стороны это уступка вкусу.

Валентин Александрович. Вы, конечно, простите меня, но вы давно уступаете.

Миша. В чем же?

Валентин Александрович. Взять вот эту вашу голодовку, что — это хороший вкус? Ложный пафос, выспренно, почти пошло... Даже друг ваш этот Одноглазый крайне удивился.

Миша. Это меня не касается.

Валентин Александрович. Но вы рискуете из-за него.

Миша. Я эгоист. Я рискую из-за себя.

Валентин Александрович. Заметьте, я вас не отговариваю.

Миша. Заметьте, я заметил.

Валентин Александрович. Хотя именно это должен был делать... Он вас даже не помнит. Историю с клеем «Момент» помнит, а вас смутно.

Миша. Это из-за того, что глаза слишком близко к переносице посажены.

Валентин Александрович. Вы знаете, сейчас почти незаметно.

Миша. Просто морда разрослась, и глаза разъехались. Люди меняются.

Валентин Александрович. Но вы остались таким же.

Миша. А вы что, следили за мной с детства?

Валентин Александрович. Нет, просто видел вашу школьную фотографию. Четвертый класс.

Миша. Откуда у вас моя фотография? Впрочем, глупый вопрос...

Валентин Александрович. До сих пор висит над столом учителя физкультуры в учительской.

Миша *(после паузы)*. Аркадий Фаддеевич. Вы и до него добрались?

Валентин Александрович. Нет. Он умер. Два года назад.

Миша. Да?..

Валентин Александрович. Показывал подъем на руках по канату, ноги под прямым углом. Залез под потолок и там повис. Еле сняли, руки не могли расцепить.

Миша. Да?..

Валентин Александрович. Его стол в учительской так и стоит.

Миша. Вы фотографию взяли?

Валентин Александрович. Висит, где и висела.

Миша. У меня нет этого снимка.

Валентин Александрович. Могу подарить. Копия, но все видно.

Миша. Не надо.

Валентин Александрович. А Одноглазый взял.

Миша. И повесил в камере на стене?

Валентин Александрович. Это не положено.

Миша. Ах, не положено!.. Не положено!.. Мародеры. Роетесь в нашем прошлом, копаетесь, ворошите, раскладываете по своим вонючим папкам и потом определяете, что нам положено и что нет... А дышать нам положено? А жить?..

Валентин Александрович. Вы любили Аркадия Фаддеевича?

Миша. А вот это вам знать не обязательно.

Пауза.

Я часто думаю о нем. Особенно в последнее время. Об одной его фразе. Валентин Александрович. Но вы, Миша, ни разу не зашли в свою школу с тех пор, как получили аттестат зрелости.

Миша. Вы меня стыдите? Вы?!

Валентин Александрович. Он ждал вас.

Миша. Что, вызывали его дух на допрос?

Валентин Александрович. Извините, я снял фотографию со стены. Временно. Чтобы сделать копию. На обороте я прочел...

Миша. Не надо.

Валентин Александрович. Там слова...

Миша. Молчите.

Пауза.

Уроки физкультуры были у нас по понедельникам. Был понедельник. Зима. Конец второй четверти. Мы прыгали через козла. Почти перед Новым годом. Четвертый класс. Упражнение – прыжок через козла. В затылок друг другу и – вперед. Один за другим. Разбег, трамплин, полет, оттолкнуться и – приземление на мат, руки врозь. Я был в классе самым маленьким, крайний в очереди. Я сильно разбежался и в последний момент перед самым этим козлом – фьють! – свернул в сторону и пробежал мимо. Даже до трамплина не добежал. От которого все отталкивались и летели. Долетали до козла, отталкивались теперь уже от него, тут их подхватывал Аркадий Фаддеевич и помогал приземлиться на мат, руки врозь. И вот я, последний, он приготовился меня подхватить, а я – вбок и мимо. Я не верил, что долечу до этого чертова козла, не мог представить, что мои руки смогут коснуться его мерзкой клеенчатой спины. Не мог представить. Не верил. И не долетел. Вернее, не полетел. А все летели и долетали. А я – фьють! – в сторону. Да еще раскланялся по-клоунски, мол, я так и задумал, мол, шутка, смешно, обхохочешься. Кто-то, действительно, засмеялся. И тогда Аркадий Фаддеевич подошел ко мне, посмотрел на меня своими совиными глазами... у него были очки с сильными диоптриями, через них глаза казались круглыми и большими, как у совы... подошел близко, посмотрел внимательно и сказал... ну, то, что вы прочитали.

Валентин Александрович. Да.

Миша. Что, да?

Валентин Александрович. А почему эту фразу он написал на обороте той фотографии?

Пауза.

Миша. «Трудно тебе придется в жизни, Миша». Так он мне сказал тогда на уроке физкультуры. А перед зимними каникулами мы сфотографировались всем классом, он и фотографировал, Аркадий Фаддеевич, а потом каждому, уже после Нового года, вручил снимок, на обороте у моего были написаны эти слова. Я прочитал и швырнул ему фотографию обратно. И он опять взглянул на меня, как сова, и сказал: «Когда ты поймешь, что я люблю тебя, ты придешь, и я отдам тебе эту фотографию».

Валентин Александрович. Он так и не дождался.

Миша. Бедный учитель моей физкультуры... Какое счастье, что он умер до вашего появления в учительской!

Валентин Александрович. Мы бы нашли с ним общий язык.

Миша. Вы думаете?

Валентин Александрович. Ну, может быть, не сразу...

Миша. А чего тянуть? Ножом разжать зубы, вилкой вытащить язык. Так это у вас делается?

Валентин Александрович. Примитивно, Миша, примитивно.

Миша. Понимаю. Есть более совершенные способы. Два электрода, разряд – и язык вываливается сам собой.

Валентин Александрович. Чувствуется два курса энергетического института.

Миша. Три.

Валентин Александрович. Третий не считается, вы его посещали вольнослушателем.

Миша. Уж конечно! Хорошие специалисты получают только из невольнослушателей. Страна сплошных невольнослушателей!

Валентин Александрович. Тут я вас понимаю.

Миша. Вы-то, наверняка, были отличником боевой и политической подготовки. Или как это у вас называлось?

Валентин Александрович. У нас это называлось так же, как у вас. Я кончал строительный институт.

Миша. Благородная специальность.

Валентин Александрович. Да, я жалею, что ушел из профессии.

Миша. И здоровая. Работа на воздухе. А у вас труд в закрытом помещении, так сказать, сугубо камерный.

Валентин Александрович. Я думаю, был бы жив Аркадий Фаддеевич, он бы переписал ту надпись на фотографии. У вас появились зубы.

Миша. Бедный учитель моей физкультуры...

Валентин Александрович. Вы научились кусаться.

Миша. Если бы учитель моей бедной физкультуры увидел меня мирно беседующим с бывшим строителем, он бы не написал ничего. Чтобы не оставлять улики... А быстро вы меня приручили. Умеете работать.

Валентин Александрович. В настоящее время я на бюллетене.

Миша. И как вас отпустили, такого ценного работника в такое горячее время...

Валентин Александрович. Скоро отпустят совсем. У меня такое чувство. На все четыре стороны. Им больные не нужны.

Миша. Вы хотите сказать, что я – ваше последнее дело?

Валентин Александрович. Они меня списали.

Миша. А разве вы – это не они?

Валентин Александрович. Да я и сам устал.

Миша. А чего вам – сидите с подследственным не в прокуренном кабинете, а в скверике на лавочке теплым летним днем. Еще и денежки по бюллетеню идут за голодание, в то время как я, собственно, за то же самое не получаю ни копейки.

Валентин Александрович. Да мне уже деньги и не нужны. Если бы не семья...

Миша. У меня, между прочим, тоже.

Валентин Александрович. Вы имеете в виду Марину Дмитриевну?

Миша. Как приятно говорить с человеком, который знает о тебе все. Чувствуешь себя звездой, которая уже имеет своего биографа.

Валентин Александрович. Вы же с ней давно не живете...

Миша. Ну что ж, давайте поговорим о моей личной жизни. Давайте поговорим о Марине Дмитриевне. Мне будет приятно, а ей пусть поицается. Вы видели свидетельство о разводе?

Валентин Александрович. Документа нет, но...

Миша. Так как же можете вы, работник правоохранительных органов, делать документально не подтвержденные выводы?

Валентин Александрович. Марина Дмитриевна, год рождения упоминать не будем, русская, беспартийная, под судом не была...

Миша. Замужем, заметьте, замужем.

Валентин Александрович. Вот и вы стали говорить «заметьте».

Миша. Это что, профессиональный жаргон?

Валентин Александрович. Лично мой.

Миша. Я многому от вас научился.

Валентин Александрович. Да, развод документально не зафиксирован.

Миша. Почему? Как вы думаете, почему? Вы мой биограф. Ну?

Валентин Александрович. Тут моя компетенция кончается.

Миша. Почему же? Я весь принадлежу вам. С моими родителями, друзьями детства, учителями, одноклассниками, однокурсниками, со всеми моими случайными связями, с Мариной Дмитриевной... Ну, смелее залезайте в мою постель, ботинки снимать не надо, куртку тоже...

Валентин Александрович. Оставьте меня в покое!

Миша (*теребит Валентина Александровича за рукав*). Ну же, ну!..

Валентин Александрович. Уберите руки!

Миша. Что вы тут сидите, теряете время!

Валентин Александрович. Успокойтесь! Истерик.

Миша. Давайте под мое одеяло, там разберемся...

Валентин Александрович. Нужна мне очень ваша личная жизнь!
В ней ничего интересного.

Миша. Ах, вот как вы заговорили!..

Валентин Александрович. Никто не собирается лезть вам в душу!

Пауза.

Миша. А жаль. Так хочется с кем-нибудь поделиться... Никому чужие беды не интересны. Даже вам.

Валентин Александрович. Не юродствуйте.

Миша. Устал я. Силы кончились. Слишком много всего... на голодный желудок.

Валентин Александрович. Вот и посидите. Молча.

Миша. Да. Ни слова.

Пауза.

Застыли на разных концах лавочки.

Мы с ней разошлись раньше, чем поженились. Жили два года вместе, а потом, как-то сразу, разочаровались. Охладели друг к другу. Но одновременно. Счастливый случай – одновременное остывание. Так что никто ни к кому претензий не имел. Перед окончательным разрывом у противоположной стороны была только одна просьба. Чтоб я на ней женился. Она имела свои планы на жизнь. Она не собиралась выходить замуж, поэтому ей нужен был твердый штамп в паспорте и кольцо на палец. Так она придумала. Она даже захотела ребенка от меня, но на это я уже не согласился. У меня тоже был свой жизненный план. Он заключался в отсутствии всякого плана. И я его осуществил. Вернее, осуществляю.

Валентин Александрович. Могу я...

Миша. Можете, можете! Я давно жду от вас реплики.

Валентин Александрович. Но ваша голодовка – это план.

Миша. Нет. Полная неожиданность. Не ожидал от себя. И кто он мне этот ваш писатель... я его после школы и не видел-то ни разу.

Валентин Александрович. Он утверждает обратное. Вы виделись на традиционном вечере встречи.

Миша. Это не считается. Тот вечер был сразу же, на первый год после окончания. Больше я на эти сборища не ходил.

Валентин Александрович. Почему?

Миша (*после небольшой паузы*). Вот видите, как все идет не по плану. Не планировал отвечать на ваши вопросы, а отвечаю.

Валентин Александрович. Ну и молчите.

Миша. А теперь я скажу тихим внутренним голосом, но так, чтобы и вы слышали. Планировал. Хотел. Поговорить. Хоть со следователем. Хоть с сокамерником. Хоть с кем. Хоть с палачом парой слов перекинуться на эшафоте... Патология, да? Сидите и думаете: патология.

Валентин Александрович. Нет. Я тоже ждал вас на допросы. Чего же вы?

Миша. Испугался. Элементарно забоялся. Это слово даже лучше. За-

боялся. Так что вы спрашивали? Ах да, – почему я не ходил на традиционные вечера? Так вот, после того первого раза, который не считается, на эти встречи бывших соучеников не приходили два человека: я и еще один из нашего класса, который стал большим общественным боссом. Он и в школе был председателем всего, а уж потом быстро пошел в гору сначала по молодежной линии, а потом и вообще. Так почему он не приходил? Боялся, что его бывшие одноклассники попросят о чем-нибудь, и надо будет обещать. Конечно, ничего потом не сделать, но пообещать, дать телефон, потом несколько раз поднимать трубку: «Старик, перезвони через недельку...» – пока тот не поймет, что звонить бесполезно. А почему не приходил я? Потому что не хотел отвечать на вопрос: «Как дела?» Ответ был не трудный: «Никак», но отвечать не хотелось. Вот и не ходил. Так что вы меня не можете заподозрить ни в какой корысти.

Валентин Александрович. Подозреваю не я, а ваш одноклассник. Ему кажется, что вы имеете какой-то интерес.

Миша. Он всегда был одноглазым. То есть видел в жизни только одно. Правда, писателям эта одноглазость порой помогает... Бьюсь об заклад, что вы тоже не ходите на традиционные сборы.

Валентин Александрович. Хожу.

Миша. И не боитесь просьб?! В вашем положении...

Валентин Александрович. Есть причина...

Миша. Понимаю.

Валентин Александрович. Вы думаете совершенно не о том.

Миша. Я вообще ни о чем не думаю. Я голодаю.

Валентин Александрович. Шерше ля фам.

Миша. Серьезно?

Валентин Александрович. Ничего серьезного, но...

Миша. Я вас ни о чем не спрашиваю.

Валентин Александрович. А я вам ничего не собираюсь рассказывать.

Пауза.

Но расскажу. Исключительно, чтобы скоротать время и не думать о наших пищеварительных проблемах.

Миша. Вернее, об их отсутствии.

Пауза.

Валентин Александрович. У нас в классе была одна девочка, страшная заводила. Ее перевели к нам из соседней школы. Очень красивая – ангельское лицо, таких раньше только на рождественских открытках изображали. Чистый лобик, голубенькие глазки, прозрачный румянец, губки бантиком... Но дьявол. Страшная заводила. Все нарушения дисциплины в классе были связаны с ней. В чем была ее сила – ее никто не подозревал. Как своими ангельскими глазками посмотрит на завуча, та аж теряется. А про меня и говорить нечего – только на нее и смотрел, на уроках слова учителей доходили до меня, как сквозь воду. Я учился хорошо, а тут тройка за трой-

кой, и двойки пошли... Катастрофа!.. И вот однажды эта девочка подговорила весь класс уйти с урока географии. Географичка у нас была некрасивая, зубы наружу, и сразу они с этой девочкой невзлюбили друг друга. Конфликт бабы-яги с Белоснежкой. Короче, все мы дружно ушли с географии. Учительница со своим глобусом вошла в класс – а там никого. Ну, скандал! На следующий день собрание: «Кто зачинщик?» Все молчат, а я тем более – когда моя королева рядом, я ничего другого не воспринимаю. «Кто да кто?» – целый час это продолжалось. Потом учительница, эта географичка безобразная, произносит фамилию этой моей девочки, велит ей встать и уводит ее. Всё. Собрание окончено. Мы ничего не понимаем. Следующий урок геометрии. Моей королевы нет. Я от нечего делать начинаю слушать и к концу урока получаю свою первую после долгого перерыва пятерку. Что происходит – не понимаю! А на большой перемене меня вызывает к себе завуч. Я вхожу, там географичка сидит со своими вылезающими за пределы лица зубами. «Спасибо тебе, Валя, – говорит завуч, – ты помог администрации выявить зачинщика, она созналась». Кто? Что? Как? Я?!.. «Мы поняли твои сигналы. Ей некуда было деваться». Какие сигналы?! Что происходит?!.. И географичка объясняет: она заметила, что я взглядывал на девочку каждый раз, когда она спрашивала, кто зачинщик. Врет, зубастая дура, нагло врет! Я смотрел на мою королеву все время, глаз не отрывал ни на секунду, и ее кудахтанья – «Кто, кто, кто?» – даже не слышал. Больше эта девочка в классе не появилась. Ее перевели в какую-то специальную исправительную школу, а потом она и вовсе пропала... «Иди, Валентин, учись, – сказал мне тогда завуч. – Про твой сигнал никто не узнает». Школу я окончил с золотой медалью.

Пауза.

Миша. У меня тут неприятности с зубом были. И решил я поставить надежную коронку. Нашел свою серебряную медаль... я, в отличие от вас, вытянул только на серебряную... взял, значит, я ее и понес к одному старичку еврей, он зубы делал. Старичок взял мою медальку, повертел ее в руках, стрельнул в меня птичьим глазом и спросил: «Вы хотите иметь зеленый зуб?»

Валентин Александрович. В моей золота столько же, сколько в вашей серебра.

Миша. Та географичка была неплохим педагогом – в результате она снайперски определила вашу будущую профессию.

Валентин Александрович. Знал бы, не рассказывал...

Миша. Значит, ходите на традиционные сборы, надеетесь, что как-нибудь она тоже заглянет.

Валентин Александрович. Мне сейчас увидеть ее – ноу проблем. Объявляю в розыск, вызываю повесткой и разговариваю сколько хочу. Вот вам и свидание.

Миша. Не имеете права в розыск. Нет состава преступления.

Валентин Александрович. Как нет! А страшная заводила? Сейчас, наверняка, где-то заводит.

Миша. Собственно, уж по женской части нам нет причины ссориться. Я бы сам пустился в розыск и повестку бы любовную направил.

Валентин Александрович. В чем же дело?

Миша. Вот бывает, без человека плохо, а с ним долго невозможно. Хотя временами даже забавно.

Валентин Александрович. Значит, не скучно.

Миша. Да уж. Однажды Марина Дмитриевна купила курицу, положила ее в коробку из-под туфель и закопала в скверике у дома. Похоронила, представляете?

Валентин Александрович. Может, просто попалась несвежая курица?

Миша. В том-то и дело, что курица была самая что ни на есть парная. Только-только забитая. Жизнь из нее еще не ушла. Марина Дмитриевна принесла ее с рынка, развернула бумагу – а та лежит, как живая. Ошипанная, правда. Но – длинная шея, тонкая кожа, прикрытые перламутровой пленкой глаза... Вы не поверите, на ней еще играл румянец. Я слышу – из кухни рыдания, это Марина Дмитриевна оплакивала тело. А потом она положила курицу в коробку, велела мне взять лопатку, мы спустились с третьего этажа в скверик под нашими окнами и там предали тело невинно убиенной земле. Потом мы справляли девять дней, сорок... покупали бутылку...

Валентин Александрович. А чем закусывали?

Миша. Колбасой.

Валентин Александрович. Но ведь это тоже продукт убийства. Вы какую колбасу предпочитаете: из мертвой коровы или из покойной свиньи?

Миша. Вы смеетесь, а после этого прискорбного случая Марина Дмитриевна покупала только плохих кур, замученных в застенках пищеторга, синих и тощих, которых уже невозможно было представить живыми. Я жевал резиновое мясо, глодал окаменевшие кости... Может, тогда в меня и запала мысль о голодовке.

Валентин Александрович. Выходит, что Марина Дмитриевна сильно на вас повлияла.

Миша. Не припутывайте ее к делу! Я один и сам за себя отвечу.

Валентин Александрович. Тихо, тихо, тихо... Что вы так разволновались? Не волнуйтесь. Берегите энергию.

Миша. Для чего? Для допросов? Для суда? Для пыток?!

Валентин Александрович. У-тю-тю-тю... Какие мы герои!

Миша *(после небольшой паузы)*. Да, вы правы. Не герой. Ну, не герой! Просто противно стало. Человека гноят, а кругом все спокойненько. Никто ничего не замечает. Я просто решил обозначить, что кто-то все-таки заметил. Один такой незначительный Миша.

Валентин Александрович. Ничего себе – незначительный!

Миша. Именно так. Поэтому вас ко мне приставили. Списанного.

Пауза.

Не обиделись?

Валентин Александрович. Это правда.

Миша. Вы первый сказали это слово.

Валентин Александрович. Да. Сказал.

Пауза.

Но когда мне поручили ваше дело, я воспрял и как-то даже забыл про болезнь. Но не надолго. Во-первых, вы не приходили на допросы. Потом я заметил, что это никого не волновало. Потом они сами сказали, что дело это неперспективное, даже пустяковое... А потом они сказали, что вы сами... неперспективный...

Миша. Списанный?

Валентин Александрович. В общем, мы оба.

Пауза.

Миша. Что будем делать?

Валентин Александрович. А что?

Миша. Ишь, слово нашли – списанные... Да, вы правы: пора это кончать. Двух списанных для этого дела много. Я вам помогу. Только не падайте со скамейки. В общем, так: вы можете передать своему начальству, что Миша дал слабину. С Мишей проблем больше не будет. Миша прекращает голодовку.

Валентин Александрович. Что?

Миша. Бессмысленная голодовка бессмысленно прекращается.

Валентин Александрович. Дурак!

Миша. Дурацкая голодовка по-дурацки заканчивается.

Валентин Александрович. Глупо. Ох, как глупо...

Миша. Пожрать захотелось.

Валентин Александрович. Именно сейчас ни в коем случае...

Миша. Скажите там вашим, Миша уже ест за троих. Поздравляю, вы снова становитесь перспективным.

Валентин Александрович. Вам нужно голодать.

Миша. До победного конца?

Валентин Александрович. Вы ничего не понимаете...

Миша. То есть до смерти.

Валентин Александрович. Вы не умрете.

Миша. А как умру?

Валентин Александрович. Слушайте меня. Они прекратят дело гораздо раньше. Они намерены закрыть дело Одноглазого. Тогда и поедите.

Миша. Они – это вы?

Валентин Александрович. Нет. Они – это они.

Миша. То есть, вы хотите сказать, что я победил?

Валентин Александрович. Извините, конечно, но вас никто не принимал в расчет. Дело не в вас. И не во мне. И даже не в Одноглазом. Просто песочные часы переворачиваются.

Миша. Какие часы! Что за песок! Твоя моя не понимает.

Валентин Александрович. Вот, этого я давно ждал! Именно – «твоя». Нам давно пора перейти на «ты». Легче будет разговаривать. Не возражаете?

Молчание.

Не возражаешь. Итак, что, если я тебе сейчас скажу, дорогой Миша, что пройдет месяц, два, три, может, чуть больше, – и ты о нашем сегодняшнем разговоре будешь рассказывать по телевизору. По первой программе. Веришь, нет?

Молчание.

Не веришь. Тогда немного теории. Жизнь, Миша, вовсе не способ существования белковых тел, как сказал товарищ Энгельс. Жизнь, Миша, это песочные часы. Представь этот прибор: время идет, песок сыплется. Сверху вниз. Сначала вверху гора, внизу почти ничего. Проходят месяцы, годы, десятилетия, иногда столетия проходят... Теперь гора внизу, а наверху жалкая щепотка, и вот последние песчинки сыпаются – всё, эпоха кончилась, время исчерпало себя. Но жизнь не кончается, она продолжается, она должна продолжаться. И что же? Песочные часы переворачиваются, и снова сквозь узкое горлышко весело течет песок... Но теперь уже песчинки, которые были внизу, оказываются наверху, и наоборот. Понятно говорю?

Миша. Для меня сложно.

Валентин Александрович. Упрощаю. Скоро мы с тобой поменяем местами. Ты, Миша, окажешься наверху, а я, Миша, внизу.

Миша. Вот теперь понял.

Валентин Александрович. И что ты понял?

Миша. Не хочется вам вниз.

Валентин Александрович. Мы снова перешли на «вы»?

Миша. Нет. Я про всех ваших.

Валентин Александрович. При чем тут все? Мы с тобой два частных человека, сидим, разговариваем...

Миша. Как два белковых тела.

Валентин Александрович. Ты имеешь в виду Энгельса?

Миша. А желтки? Они что?

Валентин Александрович. Какие желтки?

Миша. Китайцы, например. Они тоже хотят жить. Им есть место в ваших теориях?

Валентин Александрович. Остроумно. Запиши последнюю реплику. Она тебе пригодится, когда ты будешь вспоминать об этом разговоре.

Миша. На нарах?

Валентин Александрович. Я же сказал, по телевизору. В передаче под названием «Встреча с интересным человеком».

Миша. Это со мной, что ли?

Валентин Александрович. Только не давай слабину. Пусть они покрутятся.

Миша. Мне на них наплевать.

Валентин Александрович. Я просто хотел, чтобы твоя, действительно, дурацкая голодовка стала подвигом...

Миша. ...а я героем.

Валентин Александрович. Доведи дело до конца.

Миша. А ты – другом героя.

Валентин Александрович. Ну и черт с тобой!

Миша. Ты мстишь своим, а я должен истощать свой организм.

Валентин Александрович. Иди. Жри. Поешь и умрешь.

Миша. А что – идея! Только мое предложение, знаешь что, – давай вместе.

Валентин Александрович. До самоубийства я еще не дошел.

Миша. Все вздохнут с облегчением.

Валентин Александрович. Кто – все?

Миша. Все. Страна. Мир. Все.

Валентин Александрович. Не преувеличивай значение наших фигур.

Миша. Я скажу так: вы мне надоели. Как было – «или вы, или мы», «вы без нас или мы без вас». Шестеренки зацепились намертво. Мы крутились, а страна стояла на месте. А если без вас и без нас, то есть без нас с тобой...

Валентин Александрович. А кто же останется?

Миша. Другие! Те, кто не знают ни вас, ни нас. Даже не понимают, чем мы отличаемся друг от друга. Для них мы унылые дядьки, тепло одетые в жаркий день.

Валентин Александрович. Стало прохладнее, заметил?..

Миша. Не-е-е-т. Всем жарко. Просто в наших жилах уже течет не кровь, а клей «синдитикон». Помнишь, был такой?.. Мы свой век отжили. Ну и давай отживем. Вместе! Освободим народ от его собственной истории. Ему станет легче. И дело пойдет веселее. С нуля! Эдакий веселый ноль! Давай создадим им этот веселый ноль. Господи, как бы я хотел быть теми, кто избавится от нас!..

Пауза.

Ты меня понимаешь?

Пауза.

Не понимаешь.

Большая пауза.

Валентин Александрович. Я готов обсудить меню.

Миша. Да?..

Валентин Александрович. Так что на первое?

Миша. Сначала бывает закуска.

Валентин Александрович. Господи, я уже забыл... На закусочку, думаю, сёмужка малосольная с лимончиком... Не возражаешь?

Миша. Отнюдь. И салатик овощной. Или ты предпочитаешь «оливье»?

Валентин Александрович. Тяжеловато для начала.

Миша. Довольно странно это слышать. Ты что, хочешь после этого обеда хорошо себя чувствовать?

Валентин Александрович. «Оливье».

Миша. А как насчет поросенка молочного с кустиком петрушечки во рту?

Валентин Александрович. М-м-м-ю!..

Миша. Принято. На первое рассольничек или харчо. Как?

Валентин Александрович. А борщ украинский не подойдет?

Миша. Твой любимый цвет красный?

Валентин Александрович. Может, хватит!..

Миша. Просто красный цвет возбуждает аппетит, а нам лучше постепенно.

Валентин Александрович. Ладно, возьмем что-нибудь нейтральное – уху из белужьей головы, что ли.

Миша. Ну уж на второе, настаиваю, шашлычок по-карски с овощным букетиком и полным комплектом приправ.

Валентин Александрович. И компот из сухофруктов. Как в пионерлагере.

Миша. Слишком скромно. Вы забываете, коллега, что наш обед одновременно и питание и тризна.

Валентин Александрович. Тогда бланманже. Клубника под взбитыми сливками и ананасы непременно в шампанском. Кофе и торт с шоколадным зайчиком на вершине. И по эклерчику, и по грильяжуку...

Миша. И калорийную булочку молоком запивать.

Валентин Александрович. Фу, не могу больше, сейчас лопну.

Миша. Зато каков стол!..

Голос. Может, чего осталось? Я доем...

Из кустов, которые растут позади лавочки, раздается голос.

Голос. Может, чего осталось? Я доем.

Миша. Что это? Голос свыше?

Валентин Александрович. Скорее сзади.

Миша. Было бы приятно, если бы кто-нибудь обратился к нам сверху...

Валентин Александрович. Эй, вы откуда?

Из кустов появляется человек. Он в старом ватном пальто, оборван, грязен, на лице беспорядочная растительность... Короче, встретив такого типа на улице, вы сразу же определяете его словом «бомж». У нас же он пойдет под именем Третий.

Третий выходит из-за лавочки и предстает перед Мишей и Валентином Александровичем.

Третий. Здравствуйте, господа хорошие.

Миша. Вы кто?

Третий. Голодный.

Валентин Александрович. Голодный?!

Миша. Это, наверное, фамилия такая...

Третий. Не у меня – у моего желудка.

Миша. Здравствуйте.

Третий. Уже здоровались.

Миша. А я не с вами. Я с вашим уважаемым брюхом.

Третий. Вы ему понравились. Оно урчит.

Валентин Александрович. Итак, уважаемый, вас мучит голод?

Третий. Мне что... Я лично по горло сыт. Этой голодной жизнью. Но мое пузо бунтует.

Валентин Александрович. А известно ли вам, что голод полезен для здоровья?

Третий. Уж да. Если кто голодает, то его порцию ест другой. Вот ему и польза. Уж да.

Миша. Вы бродячий философ?

Третий. Брожу.

Валентин Александрович. Взгляните на нас повнимательней, уважаемый. Вы ничего не замечаете?

Третий. Так говорю, два дня не евши. Все упало. Включая зрение.

Валентин Александрович. А вот если бы у вас на носу были хорошие очки, вы бы заметили нечто общее между нами троими. На улице двадцать, а мы, все трое, в зимнем: у меня куртка на синтепоне, мой товарищ в ватнике, а вы так вообще шубу с чужого плеча напялили.

Третий. Лично я сам себе шифоньер: все мое висит на мне. В любой сезон.

Валентин Александрович. Мы мерзнем. Нам необходимо беречь внутренние калории. Мы просто голодные люди.

Третий. Вы голодные?!..

Миша. Я не ел одиннадцать дней.

Валентин Александрович. И я четыре.

Третий. Всего пятнадцать? Не верю.

Миша. Ваша фамилия Станиславский?

Третий. У вас у обоих в глазах ума слишком много, чтобы без денег сидеть.

Миша. По-вашему, ум и деньги – это одно и то же?

Третий. Я дурак – и денег нет.

Миша. Это две неприятности, а не одна.

Третий. А то, что я слышал: рыбка красная, шашлычок, грильяжик...

Валентин Александрович. Это были мечты в воздух.

Третий. Значит, вы тоже на нуле.

Миша. Именно! Но наш нуль веселый.

Третий. Это что это?

Валентин Александрович. А то, что мы собираемся крепко поесть.

Миша. В ресторане. Составите нам компанию?

Третий. Ни, ни... Я только после вас. Это мой принцип. Доедаю, что останется от других.

Валентин Александрович. Дело в том, что после нас может ничего не остаться. Да и мы исчезнем...

Третий. Не расплатившись?

Валентин Александрович. Не волнуйтесь. Вот деньги. Расплатитесь за нас.

Третий. А вы?

Миша. Понимаете, при наших сроках воздержания каждая ложка смертельна... все может случиться...

Третий. Вы чего-то задумали. И меня припугаете...

Валентин Александрович. Вы тут ни при чем. Все было решено заранее, до вашего появления. Вам просто предлагают вкусно поесть.

Третий. Вы все-таки придурки. И нуль у вас веселый. Обхохочешься.

Валентин Александрович. Вот вам сумма, закажите стол в ближайшем ресторане.

Третий. А, черт с вами! Хоть пожру под это дело.

Третий берет деньги и скрывается в кустах.

Миша. Ну вот, полдела сделано.

Валентин Александрович. Как ты думаешь, вернется?

Миша. Он мне понравился.

Валентин Александрович. А я думаю, сбежит.

Миша. Надеешься?

Валентин Александрович. Нет, просто думаю.

Миша. Имеет право. Свободный человек.

Валентин Александрович. Уверен, что он тут больше не появится.

Миша. На его месте я бы так и сделал.

Валентин Александрович. Только ты не подумай, что мне жалко денег.

Миша. Просто затея дурацкая.

Валентин Александрович. Сам ты ее и предложил.

Миша. Не волнуйся, он уже пропивает выданную ему сумму.

Валентин Александрович. Думаешь?

Миша. Надеюсь.

Валентин Александрович. Как-то именно сейчас я подумал: вот сидеть на скамеечке и тихо беседовать с умным человеком – что еще нужно для жизни?

Миша. А что нам может помешать это длиться?

Валентин Александрович. Ничего. У нас теперь даже денег нет, которые жгли карман.

Миша. Свобода и покой.

Валентин Александрович. Покой и свобода.

Миша. Ну, начинай.

Валентин Александрович. Что?

Миша. Неспешный разговор.

Валентин Александрович. А теперь куда спешить. Жизнь впереди.

В этот момент каким-то чудом из кустов прямо перед ними появляется роскошно сервированный и разнообразными яствами уставленный стол.

Валентин Александрович. Вот. Так и не поговорили.

Миша. Зато после этого стола у нас впереди не жизнь, а вечность.

Валентин Александрович. Что ж, судьба. Не будем ей противиться.

Миша. Начнем, пожалуй, нашу тризну.

Миша и Валентин Александрович повязывают салфетки.

О, это будет вкусный конец!

Третий. Стоп, стоп, стоп! Разбежались... У меня сегодня такой аппетит... *(сдерживает салфетки с шей Миши и Валентина Александровича и повязывает их себе.)* Так бы и съел все за троих.

Валентин Александрович. А нам много не надо...

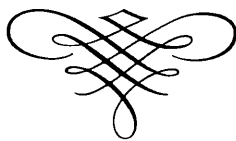
Миша. Мы доедим, что останется...

Третий. А ничего не останется. Вы меня плохо знаете! Думаете, уж я такой тип конченный. Не-е-ет, господа хорошие, я умею быть благодарным. Вы меня спасли от голодной смерти, а я вас спасу от сытой. Все съем. Один. Все! Долгой вам голодной жизни, господа! *(Набрасывается на еду.)* И вот, что я скажу вам на прощание...

Третий с набитым ртом, не переставая есть, начинает говорить о смысле жизни, неотвратимости судьбы, божественном промысле... В этом пространном и темпераментном монологе подводится житейский и философский итог всей нашей истории, он полон мудрости, иронии, лиризма... Но ни слова в нем разобрать мы не можем.

З А Н А В Е С





ИСААКУ ЭММАНУИЛОВИЧУ БАБЕЛЮ – 110 ЛЕТ

Эдуард Шульман

ЧТО СКАЖЕТ БЕНЯ ЗА ОБЛАВУ

Сочинение в двух частях

Часть I

ИНОСТРАНЕЦ С ПРАВОМ УДИВЛЕНИЯ

(коротышки в литературных кругах)

Вместо пролога, или Пути-дороги

Горький сказал молодому Бабелю:

– С достоверностью установлено, что ничего-то вы, сударь мой, не знаете. Но догадываетесь о многом... А ступайте-ка «в люди»!

И я, говорит Бабель, пошёл.

Однако же Мейерхольд держался иного мнения: *в искусстве важнее догадываться, чем знать.*

И куда ж нам теперь идти?

Волк и Ноги

Александр Сергеевич Пушкин часто работал лёжа, не покидая постели, не умывшись, не одевшись. Как встану, говорил, так и побегу, – не остановишь.

По той же причине, докладывает современник, Исаак Эммануилович Бабель *стремился зарыться в глушь, не в состоянии совладать со своей неуёмной общительностью.*

Нужна Ясная Поляна

А её нет, горевал Бабель. И вообще ни шиша нет. Вследствие этих возвышенных обстоятельств я обрёл себя на нищее и весёлое прозябание.

Загвоздка

Зощенко, Всеволод Иванов, Каверин смолodu приветствовали друг друга:

– Здравствуй, брат! Писать очень трудно!

Почему так, чуть позже приоткрыл Бабель:

– ...Трудно писать на темы, интересующие меня. Очень трудно, если быть честным.

Бабель

– Новые вещи сделаны мастерски, – отмечал Шкловский. – Вряд ли сейчас кто-нибудь пишет лучше. Суть состоит в том, что Бабель одним голосом говорит и о звёздах и о триппере. Он иностранец с правом удивления.

Вольная цитата

В тридцатые годы – в «период страха и восторга» – ИЭ любил огоршить собеседника:

– Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался... Ну, чьи слова? – и через паузу, приложивши палец к губам: – Эпикура... А? Проповедник земных утех – и такая предусмотрительность... Коли желаешь наслаждаться, изволь, милый, забиться в тёмную конуру. А там и гуляй без препон!

Кругом диалектика

Очевидец рассказывает, что Есенин приласкал Дункан, как ласкал, вероятно, рязанских девиц, похлопав её по спине. И чуть ниже: *грубо разыграл сцену ревности, шлёпнув ладонью по спине.*

Зато в творчестве:

О, стройная берёзка,
Девическая грудь!

А Бабель:

Она была проститутка. Каждый день выходила на главный проспект и, рослая, белолицая, плыла впереди толпы, как плывёт Богородица на носу рыбацкого баркаса.

Нежное тянется к грубому, высокое – к низкому...

А самые сдобные женщины водились, по слухам, в Одессе, на Де-рибасовской.

Идёт-гудёт...

Шкловский и Бабель сидели рядом на каком-то яснополянском празднике. За спиной, неслышной походкой, скользили старые люди, наполняя большие рюмки. Шкловский прикрыл свой бокал и отстранился:

– Почему всё нам да нам?

– Его сиятельство приказали.

– Какое сиятельство? – не понял ИЭ.
Старый лакей тихо вымолвил:
– Лев Николаевич.
ИЭ отошёл к стенке и спросил ещё тише:
– Чьё приказание?
– Графа. Велено наливать по шуму: где молчат, там и плесни, где галдят – пропусти... чтобы гул ровный.

Всё про всё

ИЭ говорил молодому редактору, что Лев Николаевич Толстой весил три с половиной пуда.

– Только-то? – не поверил редактор. – Да там бороды – на центнер...
– Нет, – сказал Бабель, – три с половиной пуда. – И снова: – Три с половиной пуда чистой литературы...

Ах, куда они торопятся

Юрий Олеша быстро хмелел.

– Не налегайте, Юра, – говорил Бабель. – Я теряю собеседника.

Мы с Катаевым

– У меня, – говорил Бабель, – дурной характер. Вот у Катаева – хороший. Изобразит, к примеру, голодного мальчика, а редактор похерит... Катаеву – как с гуся. Вернётся домой и представит пионера в лучшем виде. Здоровый, сытый, с кумачовым румянцем и галстуком. – Бабель вздохнул. – Завидую, но так не умею – дурной характер.

За рубежом

– Далась вам эта Москва! – говорили парижские знакомые. – Побудьте ещё немного... Вы же любите Францию...

– Не могу! – отвечал ИЭ. – Как подумаю, что Катаев гуляет сейчас по Сухаревке и слушает трёхэтажный мат, – такая тоска... хоть пешком иди!

Реб Менахем с Молдаванки

Такой действительно жил в Одессе, и Бабель высказывался от его имени:

1. Он стал на ту пьедесталь, на которое стоял сам! 2. Посмотрите на воробья, которое само добывает себе пищу! И таки из неплохого источника! 3. Хороня своих мудрецов, люди остаются в дураках.

(Примечание в расчёте на нынешних горожан: неплохой источник для воробья – конские яблоки да коровьи лепёшки. Как уведомлял маму будущий кинодраматург:

Я из дому вышел. Был сильный мороз.

Гляжу: на снегу воробьёнок, который

Клюёт – извини – лошадиный навоз.

Валерий Фрид, из лагеря под Воркутой.)

Служили два товарища

Успех одноименного фильма сценаристы Дунский и Фрид объясняли так:
– Мы просто очень внимательно прочитали Бабеля...

В гостях

ИЭ навестил «Лавруху» – писательский дом в Лаврушинском переулке. Хозяева – принимающая сторона – занимали квартиру № 159.

– Ого! – сказал Бабель. – Велика же наша литература!

Как удивить француза

– Без проблем! – сказал Бабель. – Спросите в гостинице у портье: «А лифт работает?»

Спорт

Наблюдая за игрой французского теннисиста, ИЭ восхищённо сказал:
– Мопассан!

Низ-зя!

ИЭ весьма забавляло такое объявление: «Брача песка строго воспрещается».

– Это что! – говорит. – В Крыму, перед Новым годом, висело похлеще: «Рубить сосны на ёлки карается по закону».

Творческие планы

– Собираюсь купить козу, – кротко (и кратко) оповещал ИЭ.

Большой стиль

Горький внушал Бабелю:

– Вы думаете, Лев Николаевич Толстой – ему легко давалась корявость? Он очень хорошо умел писать. Да! Девять раз перемарывал – и вот на десятый получилось наконец коряво.

Дымка

ИЭ спросил Ягоду:

– Скажите, Генрих Григорьевич, как вести себя, если попадёшь к вам?

– Всё отрицать, – и Ягода передёрнул плечами. – Какие бы обвинения ни выдвигали – «нёт» и всегда «нет». Только «нет». В таком случае мы бессильны.

Когда Ягоду расстреляли, ИЭ сказал:

– При нём ещё были туманные времена... Нынче-то развиднелось.

Одесская бубличная «Московские баранки»

Туда зашли как-то Бабель с женой. А следом за ними – местный обыватель, мужчина средних лет. Огляделся в недоумении и спросил продавщицу:

– Скажите, гражданочка, а хлеб здесь думает быть?

Бабель аж задохнулся:

– Вот! Это – Одесса!

Идеал и одеяло

Китайский эмигрант Эми Сяо, впоследствии известный писатель, относился к слабому полу как человек Востока: женщина-де – эфирное создание: столь слаба и изящна, что должна падать от дуновения ветра.

А женился (весьма удачно) на светлоглазой, стриженной под мальчика, довольно грузной немецкой еврейке.

– Идеалы – одно, – сказал ИЭ, – а общее одеяло – другое.

Сколько их...

– Евреев-то? – и Бабель пожал плечами. – Миллионов 10–12...

– Всего? – удивился Эми Сяо. – А шуму-то, шуму!..

Бабель и Окуджава

И тот, и другой – в разное время – жили в Переделкино. В относительном соседстве, на расстоянии прогулки приблизительно в две версты...

Там, на даче, Бабеля и забрали, оторвавши от рукописи.

– Так и знал, – сказал он, – не дадут кончить!..

А будущий сосед – Булат Шалвович:

Вымысел не есть обман,
Замысел – ещё не точка.
Дайте дописать роман
До последнего листочка!

Еврейская мама и еврейский сын

В машине, дорогою на Лубянку:

– Ужаснее всего то, что мама не будет получать моих писем, – и откинулся на сиденье. – Это – самое ужасное...

Часть II

БЕНЯ знает ЗА ОБЛАВУ

(вместо пролога)

Исаак Эммануилович Бабель надеялся пересидеть. Это был мудрый, предусмотрительный человек. Последите за его действиями где-нибудь с года двадцать седьмого. Сразу увидите – понимает, что делает. Семью от правил за рубежи. Всех: маму, папу, сестру, жену, тещу... И остался один.

Очень мало писал. Почти не печатался. Старался не привлекать внимания.

Старался засесть где-нибудь в деревне. На какой-нибудь неказистой должности вроде секретаря сельсовета. Забиться и забыться. Чтобы о нём забыли.

Он искал в этой жизни, куда втиснуться, куда спрятать свои бока, свою голову, свои очки. Как найти норку, откуда его не выкурить, а он бы всё видел и знал.

Женился на сибирячке, молодой инженерше, строительнице метро, награждённой за ударную работу. На съездах выступал с прославлением власти. Жил на авансы, которые не возвращал, на какое-то киноредакторство.

Но ходил к давней знакомой, супруге Ежова. Того самого, да! С «ежовыми рукавицами»... Узнавал последние новости из первых рук. Зачем?.. А почему не остался во Франции? Ведь владел французским, говорят, в совершенстве... А для чего вступил в Первую Конную?

Мудрость не всегда сидит в бочке, как Диоген. Она всегда мечтает укрыться и засесть там, поджавши ноги, на корточках. И сквозь круглую верхнюю дырку наблюдать ночное небо.

В силу всеобщего движения в это чёрное отверстие попадают всякий раз другие светила и звёзды. И ежедневного, медленного, неотвратимого смещения достаточно мудрости для размышлений. Чтобы открыть великие законы.

Но мудреца прогоняют из бочки. И продают в рабство. Он становится золотарём, потому что не имеет другой профессии. Нет ничего бесполезнее мудрости. Для себя лично мудрец не извлекает ничего.

Вы согласитесь со мной, если не будете называть мудрецами всяких великих визирей и специалистов по рекламе... А люди и звёзды живут по своим законам, которые не изменяются от того, сформулировать их или нет.

Мудрец открыт жизни. Это земляной червь, который жрёт землю и пропускает её сквозь себя. И выдавливает из организма. Мудрость слепа и упорна. Она ищет свою почву, чтобы проглотить, исполняя функцию природного обогащения. Потому что без земляного червя не растёт хлеб. И земля становится бесплодной.

Это вечная и непрерывная работа. И если прекратить её сейчас, вы останетесь живы и сыты. И ваши дети живы и сыты. И даже, может быть, ваши внуки. Но за правнуков не поручусь. Не знаю, как выйдут они из положения. Напустят каких-нибудь электрических червяков?.. Да земля их не примет. Хотя хлеб, наверное, даст. Вкус хлеба изменится.

Не затыкайте мне рот. Мы дышим с вами одним воздухом. Но вы, простите, выдыхаете весь. А я оставляю кое-что для заднего прохода.

Что, пахнет? Ну, отойдите, отвернитесь. Оставьте меня в моей бочке. А я уж как-нибудь сделаю своё дело по переработке воздуха. И найду в себе силы вернуться к вам из безмятежной Франции...

Бабель сказал своему знакомому:

– Две вещи не удастся мне испытать в жизни: никогда я не буду рожать и никогда не посадят меня в кутузку.

– Ой, Исаак Эммануилович, не зарекайтесь! По местному-то обычаю: от сумы да от тюрьмы...

– Э-э, – сказал Бабель, – с моими связями...

Он надеялся досидеть. И надеялся на свою память... Его забрали на другой день.

Ранний Бабель и поздний Бунин

Рассказ Бабеля «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» появился в «Летописи» в 1916 году, в одиннадцатом номере.

Бунин в тот год жил в деревне, регулярно снабжая «Летопись» стихами и прозой, – с первого, вообразите, по девятый номер включительно. Из чего вроде бы следует, что за журналом следил.

Наше косвенное рассуждение легко опрокинуть, не выходя даже за библиографический круг. Дескать, в сентябре или октябре Бунин печатался разом в четырёх толстых журналах. Неужто все получал?

Так или нет, поверьте нам на слово или представьте, что в ноябре 1916 года в Орловской глуши Бунин прочёл рассказ Бабеля, действие которого происходит в Орле.

Проставлен ли город наугад, как искони местный, лесковско-тургеневский, а может быть, Бабель бывал там... Вот ведь есть у него произведение с пометкой: 12.XI.15, Саратов.

Чем он вообще занимался до семнадцатого года? Бегал от армии, как Есенин? Или, правда, учился в Коммерческом институте?.. Сперва говорили – не кончил... Теперь, похоже, отыскался диплом...

«Летопись» с Бабелем я видел в Одессе, в букинистическом. Долго листал журнал, но пожалел сколько-то там рублей. А нынче жалею, что пожалел.

Не мною замечено, что в первой публикации вещь выглядит иначе, словно до стирки. Мне показалось, что современники воспринимали рассказ скорее как очерк, что текст, разорванный многоточием, намекал на цензуру. И, наконец, набор: крупные чёткие буквы оставили впечатление круглого детского почерка.



Не помню, все ли рассказы Бунин датировал. Последние точно. Как стихи. Они потому, в частности, и вершина, что в них нераздельны поэт и прозаик.

«Мадрид» – 1944 года. Указано даже число – 26 апреля.

А 22-го наш древний состав тронулся из Ашхабада. И покуда мы тащимся по степям и пустыням, меняя шило на швайку – хлеб на соль, соль на масло, масло на шерсть, пьём кумыс и верблюжье молоко, Бунин пишет «Второй кофейник» (30 апреля), «Холодную осень» (3 мая). Поезд приходит в Москву двенадцатого. Бунин пишет «Пароход "Саратов"» (16 мая), «Ворон» (18 мая).

Война, оккупация, голод, холод... Ещё небось подкармливал наших пленных... Через год «Мадрид» напечатан в Америке. Через два нам вну-

шали в Москве: *мы уже не те русские, какими были до семнадцатого года...* Но, глядя на пленных, Бунин видел, что те.

Спустя двадцать лет «Мадрид» появился в «Неделе». Я взял её у соседа и целый месяц боялся, что отберут. Носил с собою, не расставаясь. Не что подобное, полагаю, произошло со Львом Семёновичем Выготским, когда в обыкновенной газете («Русское слово»?) прочёл он «Лёгкое дыхание» (см. Выготский Л. С. «Психология искусства»).

Бунин сам определил наше с Выготским состояние – солнечный удар.



Цель данной работы для меня не ясна. Может быть, в тысячный раз повторить, что противоположности сходятся.

И Бунина, и Бабеля – обоих тянуло наше животное начало. Какие замечательные звери живут в России!.. Будь я помоложе и не держи себя за руку, окрестил бы данное сочинение как-нибудь поразмашистей. Например, «Местная фауна».

Ведь Россия «Двенадцати» и «Скифов» есть родина «Игната» и «Петлистых ушей», отечество Балмашёва, Хлебникова, Савицкого, Павличенки... Плюс некто Лейбман, который «приехал не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей» (Есенин. «Страна негодяев»).

Тут самое неясное место в наших неясных трудах. Мудрец говорит: мир не меняется, а меняются только глаза. Но Бунин поражен зоркостью, а Бабель – словно библейский пророк посреди язычников. «Э-э, да не так всё было! – кричат они друг на друга. – Вот как было на самом деле!»

На самом деле мир тоже меняется. Бывает даже такое, что человек долговечней мира. Как Бунин. Или (отчасти) Георгий Иванов. Мир умер, а они жили. Вот и пришлось Иванову заболеть (физически) неизлечимо. А к Бунину пришло понимание, что мир болен.

Раньше-то как думал? Дескать, Блок и прочие декаденты – это всё волдыри да нарывы. Вскочили – сойдут. Небольшое заражение. Ну, тронутись малость... Но сдвиг оказался нормой. А вне нормы было здоровье. И презрение сменилось сочувствием. Весь поздний Бунин есть слово сочувствия больному миру.

О том же

Говорят, что японцы, попав в Европу, заводят, как правило, статных подружек – высоких, грудастых, с ногами «до ушей». Иные, напротив, предпочитают «домашний вариант»: чем миниатюрнее, тем лучше.

Психологи, наверно, объяснят нам, что японцы тут ни при чём. Всякий мужчина (независимо от национальной и классовой принадлежности) обретает в женщине либо Мать, либо Дочь. (А женщина соответственно – Отца и Сына).

Среди наших классиков Женщину-Мать чаще других изображает Тургенев. Такие-де между ним и Варварой Петровной (родительницей) сложились мучительные отношения. Проникнуть в глубину, боюсь, не удастся. Дело тёмное. Причина – в особой конституции, в особой телесно-душевной конструкции некоторого рода мужчин.

Наш друг Гуревич сказал своей будущей жене Ивановой: знаешь, Катя, мне нужна стена. Значит, данный (конкретный) Гуревич видел стену (и каменную) в местной жене. Но отсюда вовсе не вытекает, что с Гуревичем солидарны и Гурвич, и Горович. А тем более – Гинзбурги, Эпштейны и Лифшицы, Фридманы, Рабиновичи и Шапиро.

Первый (по алфавиту) местный писатель на букву «ж» – Жаботинский Владимир Евгеньевич (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк, см. «Русские писатели, биографический словарь», том второй, страница такая-то). И вот он рассказывает, как в царские времена посетил базар в южнорусском городе.

Где на следующий день – завтрашний – намечался погром. Да пить-есть надо. Ну и пришли на базар...

Мы, говорит Жаботинский, эмансипированные (русифицированные) евреи, вели себя развязно и дерзко, во всеуслышанье демонстрируя безупречное литературное произношение, – «акали», точно артисты Малого театра, с красноречием присяжных поверенных.

И вдруг выползает откуда-то местный местечковый ж. (житель). Внешне примерно такой, каким православные богомазы малевали, извините-простите, чёрта. Чернявый и черноглазый. С чёрными пейсами-бакенбардами. В чёрном одеянии типа «лапсердак»...

Трепеща от страха, идёт по базару. Открыто. Без щита и панциря. В виде усвоенной нами «местной культуры» или будущей местной жены... Жаботинскому стало не по себе.

Что до Гуревича, маленький тот городок приходился ему «прародиной». Расписавшись с Катей Ивановой, он заехал туда по маршруту свадебного путешествия. Как водится, забрели на базар и были окружены тамошними громилами. Катя Иванова, уже пузатая, взяла молодого супруга за руку и вывела из толпы.

В согласии со своей конституцией и конструкцией наш друг Гуревич повествует об этом наступательно и победно. Вдобавок ссылается на традицию.

Дескать, в местечковой семье, по крайней мере на северо-западе, в Литве и Белоруссии, – в Крупках, в Узде и Уздянке, в Негорелом, в Смолевичах, в Ошмянах, в Свенцянах... – там соблюдалось будто бы разделение труда. Жена отвечала за материальную сторону жизни – посредством торговли и лавочки добывала насущный хлеб. Муж погружался в Святое писание и навещал синагогу. В земной жизни жена оберегала мужа. На том свете – через молитву – муж спасал и оправдывал жену.

Катя Иванова, действительно, оказалась стена. Когда родился первенец, объявила: «Или он будет Гуревич, и тогда мы уедем в Америку. Или

остаётся здесь, но тогда он будет Иванов». Уклонюсь, где обитают сейчас Гуревичи-Ивановы. Скажу только, что детей пятеро.

Бунин и Бабель создают разный образ России. Для Бабеля она – «баба». Слово, кстати, непереводаемое. Ни фонетически, ни по смыслу. Распахните-ка на досуге Большой русско-немецкий или русско-английский словарь... Гарантирую несколько весёлых минут. Кроме шуток, обхохочетесь!

Бабель по-нашему – Вавилон. Народная этимология, естественно, трактуется по-своему. «Как вам Бабель?» – спрашивают Семёна Михайловича Будённого. «Смотря какая бабель», – отвечает рубака-кавалерист, молодецки покручивая усы.

Когда Будённому доложили, что жена изменила ему с заграницей – шпионит в пользу иностранного государства, – расправился по-казачьи. Собственноручно. Шашкой...

На самом деле, информирует свободная пресса, жена снюхалась с тенором. И незамедлительно отправилась под конвоем в далёкие северные гастроли... Легкомысленная супруга вернулась из заключения. Тенор погиб.

Но главным действующим лицом явилась, как всегда, тёща. Шустрая старушка не растерялась – мигом подставила маршалу младшую дочь. А может, племянницу... Смотри какая бабель!

Зовётся ль она Ариной («Иисусов грех») или же Рухлей («У батьки нашего Махно») – равно налита коровьими соками. Как Маргарита Прокофьевна, что «откормилась». Как француженка из новеллы, которую (новеллу) Бабель пересказал («Гюи де Мопассан») и перевёл.

Бунин же признавался:

...когда писал про девочку в «Мадриде» и про «Катьку-молчать», чувствовал нечто вроде приступа радостных слёз. Какая прелесть русской женской души! Оба рассказа («Мадрид» и «Второй кофейник») трогают до сих пор. Так чисты, простодушны. Героини прямо очаровательны.

Соблазнительно предположить, что взамен «Второго кофейника» выдаёт Бунин черновое заглавие, что плотно монтируется с первой строкой:

КАТЬКА, МОЛЧАТЬ!

Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка – живёт с ним в мастерской на Знаменке: желтоволосая, невысокая, ладная, ещё совсем молодая, миловидная, ласковая.

Девочка из «Мадрида»:

...небольшая, курносенькая, немножко широкоскулая, глаза в ночном полусвете блестят, улыбка милая, несмелая, голосок в тишине, в морозном воздухе чистый.

«Таня»:

...невелика ростом, маленькие груди, простое личико, серые крестьянские глаза...

Таков, по Бунину, облик России.

А Бабель:

Она была проститутка. Каждый день выходила на главный проспект и, рослая, белолицая, плыла впереди толпы, как плывёт Богородица на носу рыбацкого баркаса.

Кому нравится попадья, а кому – попова дочка.

Но если человек – инородец, он мечтает о том, чтобы Родина стала Матерью.

Интермедия, или День смеха

1 апреля 1809 года родился Николай Васильевич Гоголь. Двадцатилетним приехал из Малороссии в Петербург. Поселился в дешёвом подворье на Мещанской улице, среди весёлых домов и шумных трактиров. Там-то и навелstil его однокашник по Нежинскому лицей.

Застал Гоголя в ситцевом ваточном халате. И описал впоследствии так: остро- и длинноносый человек, небольшого роста, с волосами растрёпанными и довольно длинными какого-то неопределённого цвета.

Насчёт носа не сомневаемся – длинный. Но шевелюра...

Говорят, на солнечном юге весьма опасались северной нашей столицы, где с переменой климата – из-за холода и общей промозглости – отважные парубки теряют чубы. И Гоголь будто бы прибыл в Санкт-Петербург наголо бритым.

Сидел в номере, обстановку которого позаимствуем у него же:

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щётка и прочее.

Данной ремаркой открывается, как известно, второе действие в «Ревизоре». Только постель – за ширмой. Около ширмы – комод. А вместо бутылки – самовар...

Гоголь «жартовал» по-украински, шутил по-русски, обозвал однокашника «польскою мордой» и «тайным удом Игнатия Лойолы» – уж простите, не станем уточнять, что есть уд и кто есть Лойола (1491–1556), – в то время как из-за ширмы, подле комода, доносилось какое-то шевеление.

– Девка с Мещанской! – объявил Гоголь. – Да не по душе! – и засмеялся. – Больно духу много!

Малороссийский земляк – разумеется, с именем, отчеством и фамилией (ищите её в биографическом словаре «Русские писатели» – М., 1994. Т. III. С. 438–440), – страстный охотник до похождений, попросил Гоголя об одолжении – угоститься на даровщинку. Тот, хохоча, проводил его за перегородку. Сам же забрался на комод и наблюдал сверху подвиги однокашника.

Спустя без малого век перебрался в Северную Пальмиру другой южанин. И воскликнул: «Помните вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украины?» Наш южанин тоже с Украины. Он ровесник классика – ему тоже 20 лет. И вскоре он опишет конармию, как Гоголь – запорожцев. А покамест сочиняет такой текст:

© *Исаак Бабель*

В щёлочку

Есть у меня знакомая – мадам Кебчик. В своё время, уверяет мадам Кебчик, она меньше пяти рублей «ни за какие блага» не брала.

Теперь у неё семейная квартира, и в семейной квартире – две девицы: Маруся и Тамара. Марусю берут чаще, чем Тамару. Одно из окон выходит на улицу, другое – отдушина под потолком – в ванную. Я увидел это и сказал Фанни Осиповне Кебчик:

– По вечерам вы будете приставлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю в комнату к Марусе. За это – пять рублей.

Фанни Осиповна сказала:

– Ах, какой балованный мужчина! – и согласилась.

По пяти рублей она получала нередко. Окошечком я пользовался тогда, когда у Маруси бывали гости. Всё шло без помех, но однажды случилось глупое происшествие.

Я стоял на лестнице. Электричества Маруся, к счастью, не погасила. Гость был в этот раз приятный, непритязательный и весёлый малый с безобидными такими длинными усами. Раздевался хозяйственно: снимет воротник, взглянет в зеркало, найдёт у себя под усами прыщик, рассмотрит и выдавит платочком. Снимет ботинок и тоже исследует – нет ли в подошве изъяну.

Они поцеловались и выкурили по папироске. Я собирался слезать. В это мгновение почувствовал, что лестница скользит и колеблется... Цепляюсь за окошко и выбиваю форточку. Лестница падает с грохотом. Я вишу под потолком.

Во всей квартире гремит тревога. Сбегают: Фанни Осиповна, Тамара и неведомый мне чиновник в форме министерства финансов. Меня снимают. Положение моё жалкое. В ванную входят Маруся и долговязый гость.

Девушка всматривается в меня, цепенеет и говорит тихо:

– Мерзавец, ах, какой мерзавец...

Она замолкает, обводит всех нас беспокойным взглядом, подходит к долговязому, целует отчего-то руку и плачет.

Плачет и говорит, целуя: «Милый, Боже мой, милый...»

Долговязый стоит дурак дураком. У меня непреодолимо бьётся сердце. Я царапаю себе ладони и ухожу к Фанни Осиповне.

Через несколько минут дунут Маруся знает всё. Всё известно и всё забыто. Но я думаю: отчего девушка целовала долговязого?

– Мадам Кебчик, – говорю я, – приставьте лестницу в последний раз. Я дам десять рублей.

– Вы слетели с ума, как ваша лестница, – отвечает хозяйка...

И вот я снова стою у отдушины, заглядываю и вижу: Маруся обвиняла гостя тонкими руками. Она целует его медленными поцелуями, из глаз текут слёзы.

– Милый мой, – шепчет она, – Боже мой, милый мой... – и отдаётся со страстью возлюбленной. А лицо у неё такое, как будто один есть в мире защитник – долговязый.

И долговязый деловито блаженствует.

Петроград, 1915-й год

Что скажет Бень...

На переломе ушедшего века (49–51-й год) некие старшеклассники ловили что-то по радио. Так, без особой цели. В поисках музыки. И постоянно утыкались в «глушилку».

...вдруг сквозь железный и непрерывный грохот донёсся к нам русский голос. Он сказал:

– Свиныя Машка опоросилась под личным руководством товарища Сталина.

И больше ничего. Опять завизжало, затрещало, заухало. Мы смотрели друг на друга – приснилось, почудилось?... И тут, – наверное, лишь затем, чтоб убедить нас в своей реальности, – голос прорвался снова:

– Где Бабель? – спросил он. – Где Киршон? Где Весёлый?

Возможно, следующим был Павел Васильев. Или Иван Катаев. Или Клычков. Или Ключев... Если б назвали какую-нибудь из этих фамилий, мы бы поняли, по крайней мере, что речь идёт о людях. Но что такое –

бабель, киршон, весёлый? Технические термины, лесные плоды, посёлки городского типа? Бабель, например, – ягода. Киршон – гайка. Весёлый – деревня или хутор.

За истекший период прежние юные старшеклассники превратились в зрелых пенсионеров. Им открыто, что Владимир Киршон – драматург и партийный функционер – расстрелян в 1938 году, Артём Весёлый – прозаик – в 39-м, Бабель – в 40-м. А полвека назад перешёптывались: «Что скажет Бенья за облаву? Бенья за облаву скажет – да».

Расцвет Бабеля – двадцатые годы. В тридцатых зачах и вёл себя, как впоследствии Шолохов: нового почти не печатал, но клялся Софье Властьевне (Советской Власти) в любви. Не иначе, судьба Бабеля подсказала Шолохову, что клясться надобно часто и горячо. СВ – дама серьёзная. Возьмёт да отвергнет!

Помню, как в Литинститут пришёл Константин Георгиевич Паустовский. И сказал очень тихо и очень внятно: «Бабель двинул вперёд русскую литературу». По обыкновению, я сидел в задних рядах, но фыркнул достаточно громко. И Паустовский прибавил: рассказов, какие писал Бабель, в нашей литературе раньше не было.

А приснул я потому, что больно уж ясно представил эту махину – русскую литературу. Как маленький коренастый Бабель толкает её вперёд. Точно грузовик, застрявший на осеннем просёлке.

Бабель с восхищением говорил, что Лев Николаевич Толстой – человек могучего здоровья и мощного темперамента – способен зафиксировать на бумаге все 24 часа подряд. А меня, вздыхал Бабель, хватает только на пять самых острых секунд.

В каждой удаче есть элемент чудесного. В полудетском возрасте ознакомился Бабель с новеллой Мопассана «Признание». Дважды, по меньшей мере, пересказал. Единожды – перевёл. Позаимствовал героиню – крепкую деревенскую девушку. Но не утратил, вообразите, самостоятельности. Наоборот, выиграл в оригинальности.

Женское начало для Бабеля – это тяга к земле, к органической жизни, к обретению почвы и Родины. Французская исследовательница утверждает:

Бабель хотел доказать реальную возможность объединения душ – еврейской и русской.

Воспроизводим рассказ Бабеля, который почтенная СВ избегала печатать, – Строгая была Воспитательница, Стыдливая Ватрушка. Держала нас за детей, не достигших шестнадцатилетия. И которые таковыми являются – отложите, не читайте... Взрослым советовать не берусь.

По-моему, концовка рассказа – грубая до плаката. Прямым текстом, без обиняков нам объявляют: граждане, мир перевернулся, стоит на голове, а мы всё-таки умудряемся жить.

У батьки нашего Махно

Шестеро махновцев изнасиловали минувшей ночью прислугу. Проведав об этом наутро, я решил узнать, как выглядит женщина после изнасилования, повторённого шесть раз. Я застал её в кухне. Она стирала, наклонившись над лоханью. Это была толстуха с цветущими щеками. Только неспешное существование на плодоносной украинской земле может налить еврейку такими коровьими соками, навести такой сальный глянec на её лицо. Ноги девушки, жирные, кирпичные, раздутые, как шары, воняли приторно, как только что вырезанное мясо. И мне показалось, что от вчерашней её девственности остались только щёки, воспламенённые более обыкновенного, и глаза, устремлённые книзу.

Кроме прислуги, в кухне сидел ещё мальчонок Кикин, рассыльный штаба батьки нашего Махно. Он слыл в штабе дурачком, и ему ничего не стоило пройтись на голове в самую неподходящую минуту. Не раз случалось мне заставлять его перед зеркалом. Выгнув ногу с продранной штаниной, он подмигивал самому себе, хлопал себя по голому мальчишескому пузу, пел боевые песни и корчил победоносные гримасы, от которых сам же помирал со смеху. В этом мальчике воображение работало с необыкновенной живостью. Сегодня я снова застал его за особенной работой – он наклеивал на германскую каску полосы золочёной бумаги.

– Ты скольких вчера отпустила, Рухля? – сказал он и, сощутив глаз, осмотрел свою разукрашенную каску.

Девушка молчала.

– Ты шестерых отпустила, – продолжал мальчик. – А есть некоторые бабы до двадцати человек могут отпустить. Братва наша одну хозяйку в Крапивном клепала, клепала, аж плюнули хлопцы, ну та толстее за тебя будет...

– Принеси воды, – сказала девушка.

Кикин принёс со двора ведро воды. Шаркая босыми ногами, он прошёл потом к зеркалу, нахлобучил на себя каску с золотыми лентами и внимательно осмотрел своё отражение. Вид зеркала увлёк его. Засунув пальцы в ноздри, мальчик жадно следил за тем, как изменяется под давлением изнутри форма его носа.

– Я с экспедицией уйду, – обернулся он к еврейке, – ты никому не рассказывай, Рухля. Стеценко в эскадрон меня берёт. Там по крайности обмундирование, в чести будешь, и товарищей найду бойцовских, не то что здесь, барахольная команда... Вчера, как тебя поймали, а я за голову держал, я Матвей Васильичу говорю, – что ж, говорю, Матвей Ва-

сильнич, вот уже четвёртый переменяется, а я всё держу да держу. Вы уже второй раз, Матвей Васильич, сходили, а как я есть малолетний мальчик и не вашей компании, то меня каждый может обижать... Ты, Рухля, сама небось слыхала евонные эти слова, – мы, говорит, Кикин, никак тебя не обидим, вот дневальные все пройдут, потом и ты сходишь... Так вот они меня и допустили, как же... Это когда уж тебя в лесок тащили, Матвей Васильич и говорит, – сходи, Кикин, ежели желаешь. Нет, говорю, Матвей Васильич, не желаю я опосля Васьки ходить, всю жизнь плакаться...

Кикин сердито засопел и умолк. Он лёг на пол и уставился вдаль, босой, длинный, опечаленный, с голым животом и сверкающей каской поверх соломенных волос.

– Вот народ рассказывает за махновцев, за их геройство, – произнёс он угрюмо, – а мало-мало соли с ним поешь, так вот оно и видно, что каждый камень за пазухой носит...

Еврейка подняла от лохани своё налитое кровью лицо, мельком взглянула на мальчика и пошла из кухни тем трудным шагом, какой бывает у кавалериста, когда он после долгого перехода ставит на землю затёкшие ноги. Оставшись один, мальчик обвёл кухню скучающим взглядом, вздохнул, упёрся ладонями в пол, закинул ноги и, не шевеля торчащими пятками, быстро заходил на руках.



На двух машинописных страницах представил писатель две трагедии. Но то, что случилось с женщиной, – трагический эпизод. А судьба мальчика сломана.

Ведь Рухля – это библейская Рахиль (млекопитающее, мать-овца). Она ещё встретит Иакова и произведёт на свет Иосифа. Пророки, изображая бедствия и пленения, нарекут её праматерью Израилевой...

Рассказ Бабеля открывается фразой: «Шестеро махновцев изнасиловали минувшей ночью прислугу». Но мальчонок Кикин изнасилован жизнью: бездомьем, сиротством, гражданской войной... И недаром фамилия его заключает в себе глагол «кикать» – горевать, плакаться. «Киканье» – птичий крик. Кычет лебедь белая... *А на Дунаи*, – в «Слове о полку Игореве», – *Ярославнын глас... незнаема рано кычет*. Или – в поэтическом переложении Заболоцкого:

Над широким берегом Дуная,
Над великой Галицкой землёй
Плачет, из Путивля долетая,
Голос Ярославны молодой.

ДЕВУШКИ И ТАНКИ

(взамен эпилога)

Нас потрясали одинаковые страсти. Мы смотрели на мир, как на луг в мае, – как на луг, по которому ходят женщины и кони...

Это была история, которую поведал ---

Изберём стародавний велеречивый глагол, дабы с его помощью отгородиться в мужской отставной компании, где сидели мы, уже порядком наклюкавшись, а среди нас, расстегнувши мундир, – красный распаренный ветеран и толковал с многоточием, что стоял-де под Киевом женский истребительный батальон.

В далёком году. Во второй половине августа. Когда Гитлер по лбу себя хватил: чей, блин, я ставленник?

– Германского, – рапортуют, – империализма!

– Эй! – заорал. – Верные генералы! Вороти от Смоленска! Айда под Киев! Котёл сделаем! Хлеб да уголь возьмём!

А те испугались, слетелись...

– Ваше ефрейторство! – козыряют. – Гениальный вождь и руководитель! Дорогой и любимый Адольф Виссарионович!

Тут и в Кремле всполошились. Вызывают маршала Т. На тебе фронт под начало, не дай супостатам Киев забрать...

– Не дам! – маршал клянётся. – Умру, а не дам!

Даст, даст. Как не дать?

Нам любая девка даст.

Это песня такая. С наполеоновских времён. Европейский солдатский гимн:

Даст нам по два поцелуя,

Не кобенясь, не балуя.

Жупайдия, жупайдас!

Всякая нам девка даст!

И с древнею песней на танках. Через маршала. Прямо на истребительный батальон.

А жара, сушь. Женское подразделение водными процедурами занимается. В озере. Или на речке. «У ставке! – ветеран поведал. – У ставке бултыхаются!»

– Девки! Танки!

Выскочили, как есть – трусики, лифчики, – и давай зажигательные бутылки. Бегут. На ходу спичками чиркают – чирикают спичками смесь горючую запалить. А сами-то мокрые. Льёт. Ну, спички и не горят.

– Ах, бабы, бабы! – ветеран заливается. – Не зря вас *Такой-то* маршал из академий военных повыгонял...

Да неужто *Такой-то*? Ветеран точно назвал, с именем-отчеством... Ну да нам-то что? Нам, спрашиваю, какое дело? Маршал Т., и довольно. *Такой-то* маршал, и точка.

Он, в скобках, по молодости лет попался классику на глаза. Будущий, говорю, маршал Т. шибко классику приглянулся. И тот его в художественной литературе отобразил под истинной маршала фамилией:

Такой-то, начдив шесть, встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. Длинные его ноги были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты. Он улыбнулся, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ...

Классик сказал о *Таком-то*: пленительный. И ещё сказал: облитый духами и с походкой Петра Великого... А сам Т., будущий маршал, говорил у классика так:

– Я ещё живой! Ещё ноги мои ходят, ещё кони мои скажут, а пушка моя греется около моего тела...

Сохраняя подлинную фамилию. Предоставляя Т. вечную жизнь.

Потому что всё пройдёт, а примечания останутся. Классика будут читать в тридевой галактике и обсасывать комментарии, как куриную косточку.

Но маршал *Такой-то* не угадал вечности. А может быть, по чутью понял, в чём различие между тварью и человеком: тварь живёт сегодня, а человек всегда.

И состояния эти взаимоувязаны, так что Сегодня получается за счёт Всегда, а Всегда – за счёт Сегодня. Или запишем по формуле: *Всегда – Икс = Сегодня + Икс*, где Икс и есть та искомая величина, которой, во имя Всегда, маршал Т. не желал лишаться Сегодня. И набросился на бедного классика чут ли не с кулаками.

А тот быстренько-скоренько – ибо классику тоже хочется жить сегодня, – быстренько-скоренько фамилию заменил.

И замедленно-ржаво звякая, отворились ворота вечности, выпуская пленительного *Такого-то*, навсегда разлучая его с казачкой Павлой, отбитой им, по свидетельству классика, у еврея-интенданта, – с казачкой Павлой, что чесала себе волосы в холодку, под навесом, а потом отложила гребень и, взяв в руки косу, перебросила за спину и пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

С железным грохотом упали кавычки, стукнувшись, как скобы ворот, перед которыми (кавычками и воротами) застыл маршал Т., по собственной воле покинувший вечность. Стоял в полной форме, с цацками до пупа, и пилился обесцвеченными, бывшими прежде серыми, где, по слову классика, танцевало веселье, – и танцует с тех пор всегда! – пилился обесцвеченными, немигающими, старческими плошками, как тот баран на те ворота.

А мимо, по направлению к вечности, бежали мокрые девушки, чиркая спичками, с бутылками зажигательной смеси. И мы видели их, точно в кино, на широком экране, непременно в цвете. Как по открытому пространству – луг в мае, говорит классик, – по зелёной, коротко стриженной местности ---

Но тут, в скобках, напрашивается сравнение. Кому, извините, просится? Мне? Вам? Или бедному классику, с его предсмертной мольбой:

Находясь во внутренней тюрьме, я направил два заявления, что в показаниях моих оговорены невинные люди. Мысль о них мучает меня неустанно.

Вот почему сравнение просится и висит. Мокрые девушки бегут по зелёной, коротко стриженной местности, что показалась нам (включая бедного классика) солдатскою круглою головой. Та самая детская рожица: ротик, носик, вздёрнутые в удивлении бровки. И здесь-то в аккурат всё происходит.

По круглой космической рожице, легко отталкиваясь и взлетая, бегут мокрые неодетые девушки, путаясь ногами в траве, как в водорослях, а волосы их, распущенные после купания, сохнут под ветром и развеваются за спиной...

– Nixen, nixen! – слышу я по-немецки.

И воображение доводит до ясности. Спичка неожиданно вспыхивает. Красные цветущие мотыльки срываются, как поцелуй, и мечутся, хлопая крылышками. Садятся, будто на провода, на длинные-длинные, уже растущие из земли волосы. Медленным красным пухом опускаются на траву и вылетают оттуда красными птицами.

В чаду и пламени бегут чёрные, как земля, девушки. Плаваются танки, трескаясь, как орех, – распадаются, точно раковины, выстреливая из себя, будто кто дует на одуванчик, белые оскаленные скелеты. Они кружатся с земляными девушками на распыленном полотне...

– Nixen! – кричали немцы. – Русалки! – кричали. – Водяные нимфы! – и радист головной машины передавал замыкающему: – Wassernymphen! Nixen!

Танки шли по просёлку, и пыль мешала точному наблюдению. Но передний ясно видел сквозь смотровую щель, как девушки выскочили из водоёма и, хлопая себя по трусам, пряча поглубже свои тяжёлые южные прелести, кинулись за бутылками. И как были, тяжело разевая рот, побежали навстречу танкам, ускользя из поля зрения.

Им не хватало двух рук для трёх предметов: бутылка, спичка, коробок. И некоторые плюхнулись на траву среди свежего парного навоза – дымящихся милых лепёшек. Значит, там, на лужке, кормилось стадо. И коровы с высоким достоинством тварей уступили им поле вечности...

Лёжа в траве, под прикрытием парующего помёта, девушки обтирали руки, трясли для просушки, разбрызгивая последние капли и упираясь локтями, производили свои зажигательные операции.

Другие спаривались, как номера в пулёмтном расчёте: покуда первая держала бутылку, вторая добывала огонь. И обе они, с их торопливыми, приседающими движениями, не уместались в смотровой щели.

Какие-то пытались управиться в одиночку. Зажали бутылки коленями и, согнувшись в позу античной статуи, высекали искру сырыми руками.

Шлейка лифчика упала с плеча...

Но разве «Свобода на баррикадах» – смотри картину Делакруа, – разве Свобода беспокоится о целостности платья? А Правда, как говорил некогда классик, – Правда, утверждал, конкретно голая.

– Nymphen! – кричали немцы. – Русалочки!

И, распахнув люки, в нарушение команды и верности, экипажи выпрыгнули из танков, как только что девушки – из тихого водоёма. Вынырнули из железного раскалённого омута и побежали по круглой зелёной земле, заходя с фланга и тыла, стреляя для устрашения в синее небо.

– Так наши девушки, – заключил ветеран, – остановили немецкие танки под Киевом.

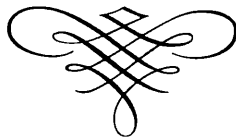
Примечание:

Классик и маршал Т. – почти ровесники. Классик – Исаак Эммануилович Бабель – расстрелян 27 января 1940 года. Маршал Т. – Семён Константинович Тимошенко – опочил через тридцать лет. В ранних изданиях «Конармии» действует под собственным именем, в поздних и нынешних – под псевдонимом Савицкий.

Из ранней редакции:

Тринадцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнём... Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мною, так что, согласно перемене военного счастья, не дожидай увидеть любимого начдива Тимошенку... а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном. Но как, по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может быть, и не увидимся...





Юдит Аграчева

СКАЗКИ О МАЛЕНЬКОЙ ЮДИТ И О СОТВОРЕНИИ МИРА*

Сказка первая: *Про все-все и с самого начала*

Всем-всем детям жилось очень весело и легко. Им нравилось утром вставать рано-рано, еще до того как проснется солнышко, и босиком, даже по очень холодному полу, бежать в спальню мамы и папы. Им нравилось, распахнув двери и раскинув руки, прыгать с разбегу в большую-большую постель с криком: «Люблю-ю!»

Родители всех-всех детей, разумеется, были очень довольны, когда на них что-то сваливалось с писком, шумом и визгом, а потом начинало тут же скакать. Если бы этого не происходило, страшно даже подумать, как скучно и бессмысленно у пап и мам всех-всех детей начинался бы день.

Одной лишь на свете маленькой девочке Юдит жилось не весело и не легко. Она просыпалась, когда просыпаются обычно дети, но не вылезала из-под одеяла. Ей не разрешали вставать с постели рано-рано, ей говорили, что хорошие девочки не вскакивают «посреди тьмы кроватной», они дают своим мамам и папам поспать столько, сколько им вздумается. Еще ей не разрешали бегать по полу босиком, потому что она, в отличие от всех-всех детей, может так заболеть, что ее не возьмут в детский сад, а дома сидеть с ней некому, потому что мама и папа должны много-много работать. Юдит хотелось быть хорошей девочкой, поэтому, просыпаясь, она тихо лежала в своей постели и наблюдала, как комната потихонечку наполнялась светом, от которого съеживалась, сворачивалась в клубок, падала на пол и закатывалась куда-то под тумбу с игрушками тьма. Юдит хотелось, конечно, быстренько выскочить из-под одеяла и заглянуть, рас-

* Продолжение, возможно, следует.

тянувшись на холодном полу, в узкую щель под тумбой, чтобы узнать, где прячется тьма.

Но ведь хорошие девочки на полу не валяются, поэтому Юдит тихо ждала, боясь помешать маме с папой решать, кто сегодня ее поднимет. Папа сказал: «У меня нет ни одной свободной минуты». А мама сказала: «Потому что ты превратил свою жизнь в хаос». Тогда папа ответил: «Не употребляй, пожалуйста, слов, смысл которых тебе до конца не ясен».

Потом папа с мамой одновременно появились в комнате маленькой Юдит и сказали: «Ты должна встать и одеться быстро-пребыстро!»

– По-волшебному? – с надеждой спросила Юдит.

– Как взрослая и разумная девочка, – услышала она в ответ.

– А что такое «кромешная тьма»? – тихонько спросила Юдит.

– Время суток, – сказала мама, – предшествующее рассвету.

– Часть пространства, – ответил папа, – относительно которой категория «рассвет» неупотребима по определению.

– Почему это, милый? – спросила мама у папы.

– Потому, милая, – ответил папа, – что этимология данного словосочетания восходит к понятию «ад». А слово «кромешный» у Даля трактуется как «крайний», «внешний», и речь в данном случае идет об обиталище грешных душ.

«Ах вот оно что», почесав коленку, подумала Юдит и тут же спросила. – А что такое хаос?

– Это то, что папа устраивает у тебя в голове, – ответила мама.

А папа, ничего не ответив, сердито взглянул на часы, где опять не нашел ни одной свободной минуты, и быстро-быстро – это случается с папами – ушел на работу.

– На работе папа найдет немножко свободных минут? – спросила Юдит у мамы, везущей ее в детский сад.

– Для чего? – не поняла мама.

– Для волшебства, – вздохнула Юдит.

– Для волшебства твой папа недостаточно много работает и... зарабатывает, – проговорила мама куда-то внутрь себя.

– А сколько надо работать, чтобы произошло волшебство? – попробовала выяснить Юдит.

Но у мамы зазвонил телефон, прикрепленный прямо к машине, и она попросила Юдит помолчать, чтобы тот, кто звонит, не подумал, что в машине сидит какая-нибудь нехорошая девочка.

– Ну и ладно, – вздохнула Юдит, – ночью ко мне придет Алик, разгонит «кромешную тьму» и все-все объяснит..

У Алика всегда-всегда, что бы ни происходило в жизни, было время для маленькой Юдит. Алик и сам был не так чтобы слишком большой, но знал все-все-все, потому что у него были невероятных размеров очки, через которые он видел то, чего никто в мире не видел. Когда Юдит бывало страш-

но-престрашно – а это случается с девочками, – она звала Алика, и он появлялся. Не сразу. Прежде чем прошептать: «Алик», следовало крепко-крепко зажмурить глаза и подумать о нем что-нибудь очень доброе, нежное, ласковое. Например, представить себе, какой он красивый: рыжий-рыжий. Если об Алике не удавалось подумать нежно и ласково, он не появлялся совсем. А если начать о нем думать нежно и ласково, крепко-крепко зажмурив глаза, а потом вдруг заметить, что думается совсем не об Алике, а о ком-то другом – это тоже случается с девочками, – то он появлялся, конечно, но совсем на себя непохожий и такой грустный, что от рассказанных им историй, сбивчивых и перепутанных, Юдит хотело плакать.

– Миленький Алик, – печально вздохнула Юдит, усевшись ночью в своей постели, – мне надо у тебя выяснить, как получается волшебство. И еще мне надо узнать, что такое хаос, чтобы понять, наконец, как устроена моя голова. И еще... В общем, рассказывай!

– Про что именно? – уточнил Алик.

– Про все и с самого начала, – решительно заявила Юдит.

Алик улыбнулся и погладил Юдит по голове. Юдит крепко-прекрепко ухватила за его руку, сползла чуть ниже подушки и улеглась так, что ее щека оказалась в его ладони. Удобно ли это Алику, Юдит выяснить не успела, потому что уснула.

Уснув, Юдит стала легкой-прелегкой, легче перышка, если его, проковыряв тихонечко наволочку, выдернуть из подушки. А став легкой, Юдит без всяких усилий поднялась себе и полетела – это случается не только с девочками, но и с мальчиками. Сначала Юдит летела зажмурившись – ведь мама с папой ей много раз объясняли, что хорошие девочки ночью закрывают глаза, а не рассматривают тени на потолке, выдумывая себе Бог знает что и пугаясь. А когда Юдит однажды спросила, что такое «Бог знает что», ей сказали, что это именно то, что приходит в голову девочкам, которые ночью не спят, а рассматривают тени на потолке и пугаются.

Пролетев, наверное, пять или, может быть, миллион тысяч километров то ли за одно мгновение, то ли за целых пять с лишним тысяч лет – Юдит не очень хорошо разбиралась в цифрах, – она решила приоткрыть какой-нибудь глаз. Но ничего не увидела ни внизу, хотя там, по ее представлениям, должна была находиться, к примеру, трава, ни наверху, где могло бы быть если не солнце, то уж, во всяком случае, небо. Юдит потеряла как следует оба глаза и пожалела, что рядом нет ванной – ведь мама с папой ей говорили, что у девочек, если они плохо моются по утрам, глазки могут слипнуться так, что они ничего-ничего не увидят.

– Вот и случилось страшное, – подумала Юдит. – Так, ничего не видя, можно наткнуться на «Бог знает что».

Она вытянула вперед руки со сжатыми кулачками, чтобы на всякий случай защитить голову, которая была устроена все еще неясно как. Но руки ее не наткнулись ни на что, потому что им не на что было наткнуться. Кругом была совершенная пустота и такая темень, которая не окружала Юдит

и в самую темную ночь. Юдит хотела заплакать, но забыла, как это делается. Она попыталась кричать, но крик растворился во тьме так быстро, что даже сама Юдит не успела услышать ни звука.

Юдит зачем-то вспомнила самые страшные сказки, которые ей когда-то читали. И все самые жуткие в мире злодеи, как только она начинала о них вспоминать, возникали из самой глубины тьмы, быстро-быстро летя ей навстречу. Они были еще чернее, чем черная краска, и разглядеть их было непросто. И уж совсем сложно – спастись от них. Бедная девочка, как только ей удавалось случайно уклониться от кого-то из них, как тут же навстречу летел следующий, хотя он был из совершенно другой сказки и даже книжки. Удивившись невиданной путанице, Юдит даже забыла, что надо защититься как-нибудь свою голову. А забыв, она удивилась पुще прежнего, потому что летящие навстречу злодеи ни на что не наталкивались, как и она сама. То ли она пролетала сквозь них, то ли они сквозь нее – было так темно, что не разобрать. И куда девались злодеи, стоило лишь подумать о них без страха, девочка совершенно не понимала.

И Юдит решила о злодеях не думать вовсе. Она вспомнила свои кубики – те, из которых она, когда была еще маленькой, складывала замечательные картинки: небо с луной и звездами, землю с горами и долинами... Но потом какие-то кубики закатились под тумбу, где их, наверное, как сказали папа и мама, «поглотила навеки тьма», и их было «днем с огнем» не сыскать. А Юдит довольно скоро выросла, и ей подарили другие кубики, с буквами, из которых можно было сложить много-премного слов. Так мама с папой думали, что их дочка быстрее научится читать, а потом и писать, но что-то тут не получилось. Юдит очень хотелось уметь и читать и писать, но учиться этому – не хотелось.

Вспомнив о кубиках, Юдит себя обнаружила именно среди них, точь-в-точь таких же, как ей дарили. Но вместо того чтобы лежать себе тихо в коробках или даже под тумбой, «поглощенными тьмой», они тоже, представьте себе, летали и даже светились, маня картинками. Все как один. Но в безобразнейшем беспорядке! То пронесился кубик с нарисованным кусочком травы, то кубик – с краешком звездочки.

– Ничего невозможно сложить из этих кусочков, – возмущенно заметила Юдит, – ни земли и ни неба!

А о том, чтобы сложить хоть какое-нибудь словечко, и говорить было нечего: букв было слишком много, они то носились парами, то плыли странными группами, все время меняясь местами, и было совсем непонятно, что за чем, что сначала и что – потом.

– Почему они все перепутались? – подумала Юдит. – Почему такой беспорядок?

«Потому что у девочек, мысли которых всегда витают Бог знает где, – вспомнились ей слова мамы и папы, – вещи летают, путаются и теряются так же, как и слова; и, начиная что-нибудь делать, такие девочки ничего не заканчивают, потому что не помнят, что они начали делать и для чего».

– Что я делаю? – начала, сосредоточившись, рассуждать Юдит. – Я лечу. Куда я лечу? Я не знаю. Почему я лечу? Потому что я сплю, – в голове стало что-то немножечко проясняться. – Для чего я взяла вдруг и полетела? Я совершенно не помню.

«Не очень-то вышло навести порядок в своей голове», – подумалось Юдит.

Она принялась вспоминать изо всех-всех-всех сил. Но она так устала летать, и так неуютно ей было одной среди тьмы с перепутавшимися злодеями, буквами, кусочками земли и неба! Она почувствовала себя одинокой-преодиноккой девочкой, которую никто не любит, да и ей, бедненькой, совершенно некого было любить, потому что не было никого-никого на всем белом свете. Ведь не было даже света! Ей стало страшно-престрашно.

Но когда Юдит становилось страшно-престрашно – как это случается с девочками, – она всегда вспоминала одно, но зато очень-преочень важное слово: «Алик».

Юдит, зажмурившись крепко-крепко, стала думать об Алике так нежно, как только можно, и, конечно, тут же почувствовала под своей щекой его ладонь.

– Уф-ф, – выдохнула испуганная, растерянная и уже сморщившая нос Юдит, готовая разрыдаться. – Знаешь, что там творится? – она махнула рукой куда-то в неясном ей самой направлении.

– Хаос, – сказал ей Алик.

– Точно, – призналась Юдит, расхотев плакать, но зато захотев выяснить много-много всего. – А где я летала?

– Во тьме над бездной, – тут же ответил Алик.

– А почему же мне удалось оттуда выбраться? – спросила Юдит, перевернувшись на другой бок и освободив, наконец, затекшую руку Алика.

– Потому что ты, умница, попыталась навести порядок в своей голове.

– У меня, похоже, не вышло, – призналась Юдит, печально вздохнув.

– Зато вышло в нужный момент почувствовать что-то важное.

– Я просто вдруг захотела, чтобы меня кто-нибудь очень-преочень любил, – призналась Юдит, сворачиваясь клубком и пытаясь еще чуть-чуть удержать слипающиеся реснички.

Спалось сладко-сладко и долго-долго. Удивленные папа с мамой стояли рядом с кроватью Юдит. Папа смотрел на часы, где не было свободных минут, а мама прикладывала ладонку то к своей голове, то к голове все еще спящей дочери. Юдит, вцепившись в мамину руку, чуть приоткрыла глаза и тут же их снова закрыла.

– Ой, – огорченно надула губы она, – а я думала, это Алик.

– Какой-такой Алик? – нервно поинтересовался папа.

– Волшебный, – шепотом призналась Юдит.

– Очередная фантазия твоей дочери, голову которой я с самого начала неустанно прошу тебя не забивать Бог знает чем, – не менее нервно ответила мама.

– В самом начале не было ничего, – еще не вполне проснувшись, розовая, со слипшимися ресницами, принялась, усаживаясь на кровати, рассудительно объяснять маме с папой Юдит, – ни травы, ни солнца, ни луны, ни звезд, ни цветов – ну ничего. Вы не поверите, но даже детей еще не было! И, понятное дело, их родителей не было тоже. А игрушки и сказки были, по-моему, – неуверенно продолжила Юдит, – но перепутавшиеся какие-то, то есть еще не сложившиеся... и не цветные такие, их было не разглядеть. Они будто еще не совсем решили, им отделиться от черноты или слиться с ней снова. Там нереальность такая, – Юдит развернула руки ладошками вверх и попыталась удержать на них все увиденное. Но потом, отчаявшись, опустив руки на колени, подытожила: – В общем, по-настоящему-то, ну, по-реальному, не было ни-че-го!

– Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною, – вздохнул папа так, как будто бы он это знал и раньше.

– О Господи, – простонала мама, убегая на кухню, – чего еще не было?

– Времени, – определила разумная девочка Юдит, – и никому было не разобрать, что за чем следует, что раньше, что позже. Поэтому никто не опаздывал ни на какую работу.

– Вот как? – переспросил папа, двигаясь из комнаты дочери в прихожую.

– Да, это точно, – продолжила Юдит. – Вначале вообще никто не работал, кроме... – Юдит задумалась ненадолго. – Кроме Бога, наверное, – осторожно выстраивая свою мысль и боясь сбиться, тихо продолжила девочка. – Ну вот. А Бог просто хотел, чтобы Его хоть кто-нибудь на свете любил и чтобы Он тоже кого-нибудь на свете любил. Но не было света. И поэтому Бог решил много-много работать...

– О-о, это разумное решение, – прокричала из кухни мама. – И приносит, как правило, результаты куда более ощутимые, чем болтовня!

– Милая! – ехидно ответил папа, меняя тапочки на ботинки. – Бог сказал: да будет свет! И стал свет.

– Боже мой, – запричитала мама, – если бы все проблемы решались так просто!

Свет, пробиваясь сквозь жалюзи, чуть дрожа, плел на потолке кружева.

– Всем – хорошего дня! – попрощался папа.

Потом хлопнула входная дверь. А потом в комнате Юдит появилась благоухающая, в цветных одеждах мама. И воскликнула:

– Ты до сих пор не одета! Все мечтаешь о волшебстве! Ну что с тобой будет, когда ты вырастешь?

– Я женюсь на Алике, – шепотом призналась Юдит.

– Видимо, он – на тебе, – улынувшись, попыталась поправить мама.

– Не-ет уж, – уверенно сказала Юдит, – сначала я на нем женюсь, а только потом уж он – на мне.



Сказка вторая: *Про маму и папу, отвязанных от реальности*

В выходной мама, папа и Юдит поехали к морю. Не сразу, конечно. Поскольку сразу, как только мама и папа проснулись, они стали пить кофе на кухне и договариваться о том, что единственный выходной день в неделю может пройти нормально только «при том условии, что ты оставишь дома свои часы», – это говорила мама, и «при том условии, что ты оставишь дома мобильный телефон», – это говорил папа.

– Мне порой кажется, что часы – единственный фактор, который привязывает тебя к реальности, – нервно сказала мама.

– Интересно, где окажешься ты, если у тебя забрать твой мобильный телефон? – не менее нервно парировал папа.

Юдит, лежа в постели, обняв подушку, слушала то, что доносилось из кухни, и представляла себе, как папа и мама отвязываются от реальности и улетают.

Интересно, куда? Можно было, конечно, высунуться из комнаты и выяснить, кто где есть и кто где может оказаться, если его нет там, где он должен быть. Но сама Юдит в этот момент была не уверена, что должна быть на кухне, а не в своей комнате. Ведь хорошие девочки не участвуют в разговорах взрослых людей, тем более что иногда – не всегда, но довольно часто – у взрослых людей происходят «принципиально важные разговоры».

Поскольку разговор папы и мамы не кончался и не кончался, Юдит сделала вывод, что он «принципиально важный», и решила заняться чем-нибудь, пока ситуация не потребует ее немедленного участия.

Заняться можно было невероятным множеством вещей. Но больше всего Юдит хотелось заняться бассейном. Ведь если у девочки в комнате есть свой собственный детский бассейн, то ей совершенно не надо ждать, пока родители перестанут пить кофе и решат, в конце концов, ехать на море.

Можно выдвинуть из тумбы ящик с бельем. Затем все трусы, носки и футболки аккуратно выложить на стол или стул. Ведь «хорошие девочки» не разбрасывают по комнате вещи. Потом нужно будет пробраться в ванную и натаскать оттуда много-много воды. Но вот в чем? – рассуждала Юдит.

Вопрос оказался серьезным, надо было подумать. Потом мелькнула первая мысль: «В замечательно узкой и высокой бутылочке из-под маминого шампуня. Правда, сначала придется вылить куда-нибудь этот шампунь». Потом мелькнула вторая мысль: «В кругленькой баночке, если ее сперва освободить от крема». Потом мелькнули мысли третья и четвертая сразу, потом – пятая, потом шестая с седьмой, их догнала восьмая, а ее обогнала девятая. Честно сказать, Юдит сбилась со счета, но признаваться в этом ей не очень хотелось – так бывает и с девочками, и с мальчиками.

– В общем, в ванной у нас есть много всякой посуды, – решила Юдит. – А значит, можно принести сюда много воды. Ящик из-под вещей лучше

будет поставить на пол, потом залить в него воду, и получится детский бассейн!

Юдит уже однажды, когда к ней приходила подруга по имени Мааян, – а в комнате оказались целых два детских ведерка и еще одна лейка, – попыталась устроить этот бассейн. Им с Мааян удалось наполнить ящик почти до самого верха и даже переодеться в купальники, и даже забраться на тумбу, чтобы оттуда, как с настоящей вышки, прыгать бесстрашно вниз. Но тут вода, почему-то очень легко проникнув в разные щели ящика, разлилась по полу. Ладно бы только по полу детской – ее было вовсе невозможно остановить, и поэтому она вытекла из комнаты Юдит в коридор прямо под ноги маме с папой...

– Вряд ли вода, если она снова вытечет под ноги маме с папой, поможет закончить «принципиально важный» их разговор, – разумно решила Юдит. – Но тогда чем же заняться?

Очень большой соблазн – вызвать Алика и попросить его с ней поиграть. Но вызывать волшебного Алика не только тогда, когда становится страшно-престрашно, или тогда, когда очень-преочень хочется что-то понять, Юдит себе строго-настрого запретила. Ведь у Алика было всегда много-много серьезных дел.

Но Алик, конечно же, хорошо понимал, что Юдит – тактичная девочка и может его не позвать, когда ей просто так станет скучно. Поэтому он, перед тем как исчезнуть, научил Юдит не перескакивать от мысли к мысли, а сосредотачиваться на одной, лучше на самой первой, и следить за ней долго-долго. И тогда, если не отвлекаться, в какой-то момент станет ясно, что надо делать.

– Какая же мысль была сегодня первой? – стала вспоминать Юдит. И вспомнила – про шампунь!

Как только Юдит сосредоточилась на мысли о мамином шампуне, да так серьезно, что даже увидела, как он медленно и красиво выливается из бутылочки, – рука ее будто сама потянулась куда-то под кровать и тут же нащупала пластмассовую коробочку, подаренную однажды Аликом. Коробочка эта, как и все, к чему прикасался волшебный Алик, была, конечно, волшебной. Стоило лишь открыть крышку, вынуть трубочку и поднести эту трубочку к губам, как комната, или даже улица, или даже весь большой мир, заполнялись прозрачными, но разноцветными пузырями, в которых могло отразиться все-все-все: не только то, что есть сейчас, но и то, что было когда-то, и даже то, что могло бы быть, если просто об этом хорошенько подумать. Не перескакивая, конечно, от одной мысли к другой.

Юдит, сбросив на пол успешную почему-то скомкаться простыню и устроившись поудобнее среди подушек, стала решать, сколько именно пузырей стоит выдуть, пока происходит «принципиально важный» разговор папы и мамы. Юдит так и не успела решить этот очень серьезный вопрос, потому что, как только она приоткрыла крышку коробочки, оттуда вылетел – совершенно самостоятельно – огромный и яркий-преяркий пузырь.

– Ух, ты! – прошептала Юдит.

Пузырь полетал немножко по комнате, проверил, где дверь, где окно, послушал внимательно, трепеща, о чем говорят папа с мамой на кухне, потом подлетел к кровати, остановился напротив Юдит, вздохнул и замер.

Юдит, взглядевшись внутрь пузыря, увидела в нем... отвязанных от реальности и летящих папу и маму. Причем, хоть и кружили они пока что по дому, ясно было, что в любой момент их может вынести по направлению к той самой нереальности, где побывала недавно Юдит и о чем она попыталась поведать папе и маме в предыдущей сказке.

Картина летающих папы и мамы удивила бы кого угодно. Всем понятно, что люди, особенно если они нечасто летают, иногда переворачиваются «вверх тормашками». Когда эти люди – дети, то никого не смущает такое положение дел. Но когда эти люди – взрослые, представить себе их полет нелегко. Юдит так разволновалась, что у нее даже зачесалась коленка.

– Ой, не до коленки сейчас, – объяснила сама себе Юдит, – такое творится, тако-о-о-е...

Вообразить себе летящего папу довольно скоро оказалось несложно: он, как выяснилось, вообще совершенно не кувыркаясь, спокойно парил себе, вполне управляя полетом, и все. А вот с мамой у Юдит были большие проблемы: она-то как раз все время переворачивалась. Юдит старалась ее приспособить для правильного полета, однако справиться с мамой было совсем нелегко. Но разве хорошая девочка может сидеть спокойно в подушках и представлять себе перевернутую вверх тормашками маму? Нет, нет и нет! Поэтому когда у Юдит не получалось перевернуть маму как надо, она испуганно переворачивала вслед за перевернутой мамой и весь большой мир. Если мама была вниз головой, то Юдит старалась как можно быстрее к ее ногам пристроить пол. А потолок, даже с люстрой, Юдит немедленно перемещала вниз. Но тут маме вся эта канитель надоела, и она вылетела из комнаты и даже из дома. Вот и решай теперь, что с ней делать!

Правильнее всего, конечно, было летящую маму попробовать быстренько припарковать. Пока Юдит думала, как же это устроить, чтобы мама, если она будет приземляться, не ушиблась обо что-нибудь твердое и, если она будет приводняться, не утонула бы в океане, она, с ужасом приглядевшись к мыльному пузырю, увидела, что невозможно ни то ни другое. Ведь мама летала в той нереальности, где только что был создан свет, а больше еще ничего-ничего не было создано. Не существовало еще ни суши, ни моря, а было Бог знает что – какое-то месиво, перепутанное и вот-вот собирающееся распутаться. Мама, если бы полетала еще чуть-чуть, может, и смогла бы приземлиться или приводниться по-человечески. Но у мамы ведь с собой не было телефона, а без телефона – как она могла знать, что происходит в мире?

– Какой кошмар! – подумала Юдит. – Надо повелеть суше как-нибудь выделиться из воды.

И тут же, как только Юдит об этом подумала – а именно так и случилось все время с Юдит, – из странно-мокрого месива выбралась суша,

словно большая-большая, мохнатая-премохнатая собака. Она стала отряхиваться, и град брызг полетел в разные стороны. Брызг было так много, что стало совсем не видно ничего, кроме них.

Потом брызги прекратили лететь в разные стороны. Половина их полетела вверх, а половина – вниз. Суша, которая совершенно перестала напоминать собаку, свернулась в клубок, а потом растянулась во все-все стороны, словно тесто, которая мама раскатывала, когда пекла Юдит на день рождения торт. Юдит вспомнила было про то, каким он был вкусным, но вовремя спохватилась – не до сладостей, когда такое творится, тако-о-о-е...

А творилось вот что. Тесто, как будто его уже вынули из духовки, разошлось и разделилось вдоль надвое. Нижняя часть полетела вниз, верхняя – вверх.

– Мама бы никогда не допустила такого, – подумала Юдит.

Между тем верхняя часть, за которой заворуженно следила Юдит, покраснела, налилась жаром и так раскалилась, что запылала настоящим огнем. Все бы сгорело, если бы не полилась вода, которая улетела вверх раньше, чем суша. Огонь приутих, но потом снова вспыхнул. Тут вода, накопив силы, снова вылилась на огонь...

Юдит уставилась на пузырь и сидела не шелохнувшись – такого ей еще не приходилось видеть ни в одном мультике. Когда огонь уставал, вода тоже не бушевала. Но как только он взвивался ввысь, она обрушивала на него ливни. Борьба захватила весь свет и долго-предолго не завершалась: то побеждал огонь, то вода. Наконец, они, к счастью, так устали бороться, что утихомирились оба, обнялись и улеглись отдыхать, растянувшись от края и до края мира. И Юдит увидела перед собой умиротворенное, голубое-преголубое с розовой полоской небо.

Она вспомнила даже, как складывала когда-то в детском саду с Мааян и другими детьми и с воспитательницей слово «эш» – на иврите «огонь» и слово «маим» – на иврите «вода». А потом воспитательница попросила осторожно отложить в сторону букву «алеф» – первую букву от слова «эш», чтобы о ней поговорить в другой раз и очень серьезно. А ту букву, что осталась, «шин», воспитательница сказала приложить к слову «маим» и прочитать, что вышло. Получилось слово «шамаим» – «небо»!

С небом Юдит разобралась, но отдыхать было рано. Ведь мама осталась Бог знает где, потому что неясно было, что случилось с частями воды и суши, улетевшими вниз. Пузырь приподнялся немножко, и Юдит увидела, что всю нижнюю сушу совсем-пресовсем поглотила вода. У Юдит от волнения снова зачесалась коленка, но некогда и совершенно было нельзя отвлекаться на всякие пустяки, пока маме негде припарковаться. Мама, правда, всегда объясняла Юдит, что «с парковками в этом мире творится что-то невообразимое», но потом находилось какое-нибудь местечко. А тут Юдит своими глазами видела, что ни одного, даже крохотного местечка, для маминой парковки нет.

Юдит надо было опять отделить воду от суши, но не «как-нибудь», как

в прошлый раз, а так, чтобы без огня и без битв. И как только Юдит этого захотелось, вода забурлила, совсем не грозно, и из нее стали потихоньку высовываться холмы и горы. Они росли и росли – ввысь и вширь, а вода – правда, очень уж неохотно – оставалась там, где была. Правда, когда все закончилось, вода не сумела скрыть своей обиды – ведь все-все в мире оказалось выше ее. Расплававшись солеными-пресолеными слезами, она попробовала растечься вширь, словно небо, от края и до края мира, но не тут-то было...

– Ведь мы учили в садике, что нижнюю воду остановил Бог! – вспомнила Юдит и тут же прикусила нижнюю губку. – Ох, не до воспоминаний! Надо немедленно парковать маму.

Мама, к счастью, продержалась какое-то время Бог знает где – впрочем, это случилось с мамой, – но припарковалась, как только образовалось свободное место, ровнехонько на вершине самой высокой горы.

– Ну, и как теперь до нее доберешься? – вздохнула Юдит и почувствовала, что чрезвычайно устала.

Да и мыльный пузырь, утомившись отражать мировые битвы, захотел просто так, не отвечая за объективность предоставляемой информации, подышать свежим воздухом.

Юдит, передохнув, прислушалась, что происходит на кухне, и до нее доносилось, как папа говорит маме: «Не вижу никаких оснований для того, чтобы ты смотрела на всех свысока». А мама ему говорила, что с удовольствием бы не смотрела на всех свысока, если бы кто-нибудь помог бы ей как-нибудь справиться с этой реальностью, в которой она то носится кубарем между землей и небом, то, как сейчас, дрожит, одинокая и открытая всем ветрам, – и все ради того, чтобы как-нибудь выжить. Ведь нет даже кустика, чтобы укрыться от ветра, ведь нет даже деревца, чтобы, прислонившись к нему, отдохнуть, – так было тяжело маме, – в то время как папа позволял себе преспокойно и плавно парить в свое удовольствие. А потом мама сказала жалобно, что выживать в одиночку ей очень трудно. Тогда папа, как представлялось Юдит, парить перестал. Когда папа поднялся во весь свой рост, то, понятное дело, он хоть и стоял в залитой водой долине, все равно оказался выше всех в мире гор и холмов. И поэтому он, легко перешагнув через все препятствия, очутился рядом с горой, на вершине которой стояла и дрожала открытая всем ветрам мама, снял ее и понес на руках домой.

Юдит выдохнула облегченно, потому что этот папин поступок завершил, и очень удачно, картинку, которая строилась в ее «полной хаоса» голове и с которой, как это часто случалось с Юдит, было самой не справиться...

В это утро, чтобы быть очень хорошей девочкой, Юдит даже сама попробовала причесаться. Ну, то есть не совсем причесаться, потому что у нее были длинные волосы и аккуратно их расчесать могла только мама. Зато Юдит смогла прихватить их довольно крепко резинкой. Могла бы и лентой, но лента в это утро была ей необходима совершенно для других целей. Выйдя на кухню и застав маму с папой уже вернувшимися из нереальности, она поцеловала обоих и попросила их взяться за руки. Мама, всхлипнув,

протянула руку папе, а папа, покачив головой со словами «постарайся не выходить сейчас из границ», взял мамину руку в свою. Юдит, как только это случилось, привязала мамину руку к папиной – ведь ленту она специально сохранила для этих целей. Затем, поскольку у ленты осталось два длинных конца, она подняла штанину своей пижамы – тем более что в этот момент ужасно зачесалась коленка, залезла на стул и привязала к реальности руки папы и мамы. Точнее, она привязала их к своей ноге, но это ведь потому, что на свете не существовало ничего реальнее собственной коленки, которую, наконец-то, удалось с удовольствием почесать.

Свободной рукой папа вытер ползущую по маминой щеке слезу, потом повернулся к Юдит и очень серьезно спросил: «Будем так сидеть вечно привязанными или все же поедем к морю?»

Вода набегала на берег и снова возвращалась назад. Все волны, окатив гладкие и разноцветные, как мыльные пузыри, камушки, шурша уползали в море, а Юдит с мамой и папой смотрели на них.

– Вы думаете, волны останавливаются и отступают, увидев людей? – спросила Юдит у мамы и папы и тут же сама ответила. – Нет, они отступают, увидев песок, потому что пески Бог назначил границами моря.

– Это Алик тебе рассказал? – поинтересовался папа.

– С Аликом я сегодня еще не встречалась, – вздохнула Юдит. – Я сегодня все это видела совершенно сама, когда рассматривала мыльный пузырь.

– Что «все»? – спросила несколько обеспокоенная мама.

– Все-все, как живую картинку: как из нереальности происходит реальность.

– Ты часто видишь такие живые картинки? – осторожно сформулировал вопрос несколько обеспокоенный папа.

– Только когда мне страшно-престрашно или когда мне чего-нибудь очень-преочень хочется, – честно призналась Юдит.

– А что было сегодня утром? – хором спросили мама и папа.

– Мне было страшно, что вы поссоритесь, отвяжетесь и исчезнете в нереальности. А очень-очень хотелось – понять.

– Но что? – постаралась держать себя в границах мама.

– Как появился мир и все в нем существует, – безмятежно проговорила Юдит.

– Ну, ты бы спросила, – немножко почувствовав себя виноватым, откликнулся папа, – и я бы тебе объяснил в двух словах... Разумеется, объяснение предполагает, что оппонент обременен, как минимум, средним образованием... Но, тем не менее, объективная информация выглядит приблизительно так: существование чего бы то ни было определяется процессом эволюции, которая осуществляется в результате взаимодействия трех основных факторов: изменчивости, наследственности и естественного отбора...

– Ничего я не понимаю, – нахмурившись отрезала Юдит, – ни-че-го.

– А то, что Бог создал мир, – это ты понимаешь? – очень медленно, чтобы не рассердиться, проговорил папа.

– Это всякий может понять.

– Почему? – почти закричал папа.

– Потому что, – спокойно сказала Юдит, – это можно себе представить.

И Юдит рассказала маме и папе про огонь и верхние воды, из которых сложилось небо, потом про выползающие и растущие холмы и горы, потом про обиду и слезы нижних вод, которые собирались растечься по всему миру, а потом о песках, которые были положены Богом в виде морских границ.

Мама прижалась к папе и нежно погладила его по плечу.

– Не спорь, – сказала она, – послушай. Ведь у тебя сегодня есть много времени.

– У нас много времени, – согласился папа. – Но ведь это какое-то, какое-то... – он не нашел необходимого слова.

– Волшебство, – подсказала Юдит. – Весь мир – это волшебство.

– Ну, что ты на это скажешь? – посмотрела мама на папу.

И папа сказал: «Все дети как дети, вон, спокойненько строят из песка замки...»

– Они же маленькие, – чуть было не обиделась Юдит. Но тут же ей пришла в голову одна весьма интересная мысль.

Она подошла к детям, оглядела их всех, посмотрела, прищурившись, на рыжего мальчика в огромных очках и вежливо попросила его подарить ей ведерко.

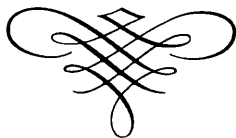
– Забирай, – сказал мальчик, потому что, когда Юдит сначала смотрела прищурившись, а затем обращалась вежливо, никто из мальчиков ей ни в чем никогда отказать не мог.

Хоть Юдит была и значительно старше детей, строящих из песка замки, она подобрала подаренное ей ведерко и, заполнив его песком, попросила у мамы с папой разрешения взять его с собой домой, пообещав, разумеется, ни песчинки не выронить на пол машины.

Вечером, пока мама разговаривала по телефону, а папа ходил вокруг мамы, выразительно глядя на возвращенные ему часы, Юдит, чуть-чуть пожалев, что нет рядом подруги по имени Мааян, самостоятельно освободила от белья ящик. Потом налила в него воду, перетасканную одновременно и в бутылочке из-под шампуня и в баночке из-под крема, – и принялась наблюдать, как вода будет себя вести на сей раз. Когда вода, довольно легко просочившись сквозь щели деревянного ящика, принялась растекаться по полу, Юдит не огорчилась. Она аккуратно и очень ровно рассыпала вдоль всех стен комнаты привезенный с пляжа песок. Вода, ничего не подозревая, сначала ползла себе и ползла во все стороны, но потом, увидев песок, испуганно остановилась.

– То-то же, – отметила Юдит.





Бенцион Томер

КАКОЙ ЖЕ Я СТАРЫЙ...

Море солнца и тишины. Запахи гниющих фруктов и угасающего лета в раскаленном добела воздухе сливаются с запахом жаренного на углях мяса. «Поросячий морда, свиная пуза» вновь топит в запрещенном ему Аллахом вине печаль-тоску по отнятой ноге, а в курдючном сале молодого барашка ищет слабую замену раю – раю, где он проживал, да не просто жил-поживал, а жил припеваючи, и из которого был изгнан, когда его нога приказала долго жить. Не плачь по ней, Джуманбульбуль, плачь по той, что осталась, ты себе и не представляешь, какой ад я готовлю ей здесь, на земле. Клянусь, однажды ночью я это сделаю, и никто на этот раз тебя не спасет, даже твой красный дядюшка, даже коммунисты. Я напишу на вас обоих анонимку Сталину. Какая жестокость – так дразнить запахом жаренного мяса, так издеваться! И это в городе, где даже собаки давно съедены! Жри, жирей, «поросячий морда, свиная пуза», жир пригодится тебе для адского пламени – то-то весело будет потрескивать он на огне. Завтра, а может даже сегодня ночью, я поговорю с вдовым королем, расскажу ему, что придумала Даша, – отрубить ему вторую ногу и поджарить. Король не сможет мне отказать. Твою собаку мы давно прикончили, и кто же теперь побоится твоей двустволки, Джуманбульбуль, тем более что мы сделаем это в темноте, когда ты пребываешь в твоём раю и мирно похрапываешь во сне: х-р-р! х-р-р! На танцплощадке.

Вчера, когда я поклялся никому не открывать его страшной тайны – может быть, он вернется в лоно религии, не покидая, упаси Аллах, партийных рядов, – он спросил меня: а евреи тоже верят в загробную жизнь, в ад и рай, как мусульмане? Я тут же сразил его папиной хохмой: только в рай! Потому что ад для евреев – здесь, в этой жизни. Потом, возясь с шампурами, он спросил, верю ли я в то, что говорит кади: будто у него на том свете снова будут две здоровые ноги. Еще как верю, отвечал я, даже если тебе отрубят голову, нечего опасаться, Джуманбульбуль, все тебе вернут в целости и сохранности. При условии, конечно, что ты попадешь в рай, а не

в ад. Вот в аду тебе отчекрыжат все руки-ноги, даже если туда ты попадешь целехоньким. Откуда я это знаю? Моя бабушка была лично знакома с одним праведником, святым человеком, ему открывались иные миры. Для него воспарить в небо и вернуться обратно на землю было таким же плевым делом, как для меня – перепрыгнуть с нашей крыши на твою. Да-да, именно то, что слышишь. Он даже знал, кто попадет в рай, а кто в ад. Как? Очень просто: по делам человеческим в этом мире. Каждый может удостоиться рая, нужно только делиться с ближним всем, что у тебя есть, например, едой. Ой, спохватился я, я же обещал никому не открывать этой тайны! Но чего не сделаешь ради друга, не правда ли, Джуманбульбуль? На поросычье морде, озаренной светом пылающих углей, отразилось раздумье. И вдруг она загорелась злодейской ухмылкой: а-а-а! Ты хотел получить моя еда! Жулик ты, и все евреи жулики! И про этот, как-его-там, святой человек, адин балшой брехня. Гяур не может попадать на небо.

Не чувствовать, не думать, спать, спать. Но все время, даже под сомкнутыми веками, – лицо-не-лицо Даши, настолько уже не она, что, если бы воскресла сейчас, сама себя в зеркале не узнала бы. Господи, что делает смерть в такой короткий срок. Скоро она станет червями, травой – даже не цветами. Выжженная бесплодная земля. Когда ее кинули в тонкий дощатый гроб, я думал, он сломается. Вот падла! Хотел похоронить ее в грязном рваном мешке. Больше нет досок, говорит, могу достать частным образом – тридцать рублей. Но, увидев нож в руке вдового короля, немедленно согласился «пожертвовать» из своего кармана за упокой души красавицы Даши. Даже сейчас видно, какая она была красавица, сказал он. Своими руками снял гроб с телеги, сам опустил его в яму. Ни я, ни король не в состоянии были это сделать. Осел, осмелившийся помочиться неподалеку от могилы, чудом избежал смерти. Но мне стоило немалых трудов удержать руку короля. Ради Даши, умолял я.

Когда умерла дочь пекаря, я спросил бабушку: куда уходят мертвые? Мне было пять лет. К Богу, ответила она. Так почему же их хоронят в земле, а не на небесах? Бабушка растерялась на мгновение, а я закричал: ты ничего не знаешь, бабушка, я тебе говорю: Бог живет в земле. С тех пор долгое время Бог представлялся мне чудовищем, пожирающим мертвецов: людей, животных – всех, кто ходит, ползает, летает. Но уничтожает их он не сразу, а постепенно, ведь это его запасы еды. Если он съест все сразу, он станет простым смертным. Временами, когда его охватывает неутолимый голод, он устраивает войны. Ему безразлично, кто победит, – рано или поздно всех поглотит ненасытная прорва его земель. А чтобы утолить свою великую жажду, он проливает дождь. Бог и чудовище – две однозначные сущности, и обе нерасторжимы с черной землей.

Земля, сухая и бесплодная. Даже не цветы. Вот теперь и Даша там. И в то же время она здесь, глядит на меня тысячей глаз – то с потолка, то из щелей на стенах, а когда я хочу от нее спрятаться и опускаю ресницы, она там, под ресницами, лицо-не-лицо, настолько не она, что, если бы вдруг воскресла, сама себя не узнала бы в зеркале.

Море солнца и тишины. В пустом животе – точно крысиные укусы. Первый голос: дурачок, пойдй к Наташе, там для тебя всегда что-нибудь да найдется. Голос второй: после того, что ее мама говорит о жидях? Да никогда в жизни! Снова первый голос: а Наташа чем виновата? Ты же видел, она сама плакала. Нет! – отвечает второй. – Ни за что!

Чтобы отвлечься, я повторяю мантру, которой меня научил один человек, и постепенно бархатистые волны начинают лизать мое обмякшее тело, медленно-медленно, тихо-тихо, – пока я не забываюсь в их безмолвной дали. Последнее, что я вижу на фоне блекло-голубого неба перед тем, как погрузиться с головой, – это шелудивый осел, который гадит без остановки и скалит громадные коричневые зубы, а я лежу в яме, и меня накапывают.

– Я тебе покажу, зараза, как колбасу воровать! – голос Наташиной матери и вслед за этим – грохот захлопнувшейся двери. «Мяу!» и еще раз «мяу!» – один в воздухе, другой – на земле. Море солнца и тишины раздрают непрерывные «мяу» и запахи гниющих фруктов и угасающего лета, смешанные с запахом жарящегося на углях мяса. Чтоб ты сдохла! Зачем ты вернула меня в этот ад, где солнце и сумасшедшие от голода крысы, попискивающие в моем желудке? И ты сдохни, «пороссячий морда, свиная пуза»! Чтоб ты сдох, Джуманбульбуль, чтоб ты сдох! Сегодня же ночью отпилю тебе здоровую ногу вместе с..., как посоветовал Володя. Кот наблюдает за мной и снова испускает «мяу» – оскорбленный, жаждущий мести. Свое негодование против Джуманбульбуля срываю на нем: заткнись и не смей выть, мне не до тебя, понял? Сlopал колбасу и еще недоволен? Не очень-то я его люблю, но Наташину маму – еще меньше. Злорадство смягчает мою зависть – слопал колбасу! Ну, иди сюда, иди ко мне, рыжик, ложись рядышком. Но с одним условием: молчи. Восемь километров я шагал за ее гробом, мне нужно поспать. Если я не засну, эти запахи сведут меня с ума, и тогда кому-то здесь несдобровать: Джуманбульбулю, Наташиной маме, тебе. Господи, сделай что-нибудь – потоп, что ли, или хотя бы измени направление ветра, чтобы я не чувствовал этого запаха! Крысы в животе пищат громче, царапаются, кусаются. Чувствуя, что вот-вот закричу, впираюсь зубами в собственную руку.

– М-я-у-у-у!

– Заткнись!

Он чувствует опасность и немедленно замолкает.

– Иди сюда, рыжик, только дай мне поспать.

Он улавливает перемену в моем голосе и снова мяучит – изнеженно, победоносно, так не по-кошачьи, – ведь эта гордая публика обычно гуляет сама по себе. Не диво, что собаки – их заклятые враги. Почувствовал, что опасность миновала, но все-таки держится настороже, приближается медленно и с опаской. Наши взгляды встречаются. Я лежу на животе, голова – на пороге открытой двери; мои и его глаза на одном уровне, а это другое дело, совсем другое дело, когда смотришь так, а не сверху вниз или наоборот.

– Высокие так высокомерны, – говаривала Эстер, – точно они – сам

Господь Бог. Однако и коротышки небезупречны, порой именно они жесточайшие из тиранов – Сталин, Гитлер. Я же, после рассказов Гейни о Гитлере, все надежды возлагал на усатого рыцаря из Кремля, мечтавшего (по словам Шмиля, который пришел с войны в Испании на пощелкивающей деревяшке) уничтожить собственность и отменить границы, – мечта, так походившая на мою мечту о всемирном цыганском царстве. Каждый раз, когда Эстер принималась его ругать, я показывал ей язык: увидишь, как наш оторвет голову этому коричневому берлинцу! А потом они заключили между собой договор, и я поджал хвост, а лицо у меня было, как у раби Гершона в Девятое Аба. Союз гуннов и татар, хохотал Гейни, точно гвозди бивал в крышку моего гроба. Когда же один пошел войной на другого, я вновь задрал хвост и ходил гололем. Ты сошел с ума, рыдала мать, теперь Эстер в руках у коричневых. Мгновенно я перенесся назад, на железнодорожную станцию в маленьком зеленом местечке на востоке Польши.

– Дай Бог, чтобы нас тоже выслали, – сказала Эстер.

– Дай Бог, – повторил ее муж и добавил: – Вы-то останетесь в живых, а вот мы...

Замолчите! – хотелось мне крикнуть, – замолчите вы оба. Я так боялся ее предчувствий, она часто говорила мне: сны – совсем не пустая болтовня, особенно черные и красные.

– Всё, граждане, – лицо офицера НКВД было таким красивым, он был так поразительно похож на моего любимого поэта Есенина, но тут вооруженные ружьями солдаты втолкнули нас внутрь, двери товарного поезда заперли на засов, и поезд покатился, как яблочко в песне, – день-ночь-день в страну чудес, в Сибирь.

Море солнца и тишины. М-я-у-у-у. Шажок, еще шажок – и котяра снова останавливается, настораживает антенны ушей, обнюхивает меня: друг или враг? Иди сюда, рыжик, и он идет, ложится на спину неподалеку от моей головы, почти все тело в тени, только лапы в море солнца. Брюшко то поднимается, то опадает. Ишь, плут, делает вид, что спит, а сам наблюдает за мной сквозь зажмуренные веки. Внезапно – точно шторы раздвинулись – его глаза широко распахиваются, в них мелькает зеленая молния, и он тут же вскакивает на ноги, выгибает спину – натянутая тетива, готовая к бою. Этот кот читает чужие мысли, говорю я себе, он точно знает, о чем я думал в ту минуту, когда он открыл глаза: Володя вспорол бы ему брюхо только для того, чтобы узнать, сколько колбасы он сожрал. Чтобы не видеть его вывалившихся кишок – это ужасно, стоит о чем-то подумать, и я тут же вижу это – я закрываю глаза, на этот раз надолго, повторяю мантру, но все напрасно. Только-только паутина сонного забвения начинает обволакивать меня, как в последнюю минуту что-то мне мешает: ужасное урчание в животе. И снова я впиваюсь зубами в руку и вспоминаю, как в Сибири Юдитка рассказывала о своей маме: чтобы заглушить голод, она читала стихи Гейне и Гете. Урчание усиливается и вышибает из головы все стихи, которые я знал. Вставай, подбивает кто-то изнутри, вставай, до

базара ты все равно не дойдешь, ты слишком устал, но, может быть, Джуманбульбуль вдруг передумает и угостит тебя хотя бы гнилым персиком. Крысиное урчание прогоняет даже мысли о коте – крысы, и только они, и больше никого и ничего на всем белом свете. Только они, их жуткий писк гуляет по всему телу, от кончиков пальцев до кончиков волос...

И вдруг, открыв глаза, я вижу кота, растянувшегося на спине неподалеку от меня. Он не дышит. В панике я вскочил на ноги, он вскочил тоже. Дурак, обругал я себя, дурак, два часа тому назад ты положил венок из колючек на могилу Даши, и тогда твое сердце молчало как камень, а сейчас ты дергаешься, потому что тебе показалось, будто этот паршивый кот издох! «Убирайся отсюда!» – завопил я и еще пнул ногой в брюхо, набитое колбасой. Его вой и мой истерический вопль одновременно раскололи море, солнце и тишину; дверь напротив отворилась, и он поспешно скрылся за нею. «Лапочка, что он тебе сделал, что, мой хороший, мой любимый?»

– М-я-у-у-у! – на этот раз из комнаты, а в голосе – вся мировая скорбь. Прежде чем закрыть дверь, хозяйка «любимого» посылает мне взгляд, полный безграничной ненависти и презрения.

– Что ты нашла в нем, идиотка, – набрасывалась она на дочь, – змеюка подколотная, как все жида, морочит тебе твою пустую голову Лермонтовым и Пушкиным, а сам тем временем набивает брюхо всем, что я потом и кровью добываю для тебя. Не воображай, будто я слепая.

Только эта дверь захлопнулась, как открывается другая, и гневная королева, вся в черном – всегда в черном, с всклокоченными волосами и красными глазами, кричит на меня:

– Что вопишь, самашечий, что, не знаешь, весь мир спать сейчас?

– Ее кот меня сглазил!

– А-а, нет! Что делал? – и Никодам хлопает в ладоши.

– Он сожрал мою лепешку с изюмом.

– Сожрал лепешку? Кот?

– Да-да, целую лепешку, разом.

– Да как же кот...

– Это не кот, Никодам, это черт.

– А-а, нет! – она прикрыла рот ладонью и тут же прошептала: «Шма, Исразль...». – Теперь я понимала, зачем кричал... Тьфу, тьфу! Я обязаный скорей рассказывать про это нашему мудрецу, обязаный...

И она тут же скрылась, но перед этим метнула пронзительный взгляд в сторону двери, где спрятался «черт». Когда она ушла, я снова обругал себя: дурак! Когда гроб опускали в яму, ты был как каменный, даже когда в последний раз посмотрел на ее лицо-не-лицо; Нет, ты откроешь крышку, я хочу ее видеть! – сказал король могильщику и обнажил нож, – ничто в тебе не шевельнулось, а теперь, из-за кота...

Вернулась Никодам, неся в одной руке лепешку, а в другой – горсть изюма. Чудо, которое разве что черт не оценил бы.

– Я прогоняю их отсюда, – сказала она.

Я предложил:

– Только черта. Скажи ей: я или кот.

– Подумаем, – ответила Никодам и пошла досыпать.

Я вновь попробовал запутаться в сонной паутине, но хоть крысы больше не пищали, как раньше, напротив меня все время – с потолка, из стеновых щелей – тысяча глаз Даши, лицо-уже-не лицо, настолько уже не она; и она сама, то на телеге, которую тащит осел, не переставая гадить и реветь, то в яме, когда могильщик снял крышку. Потом он стал ее опускать, и король вырвал у него заступ: ты не зароешь ее без молитвы, приведи попа! Нету! Нельзя, – заскулил могильщик, нож легонько коснулся его шеи, – нету! Так скажи сам, что положено, – велел король. Но я знаю только мусульманские молитвы, скулил могильщик. И тогда король повернулся ко мне: ты знаешь наши молитвы? Нет, ответил я, только наши, еврейские. Так пускай будут еврейские, решил король. Я до смерти боялся кладбищ, даже бабушкин гроб не пошел провожать, даже тот кусок ноги, что остался от Гейни...

Единственная молитва, которую я знал наизусть, была «Шма...». Я был уверен, что не смогу выдать из себя ни звука, но слова выскакивали сами, как там, в комнате бабушки, ради которой я учил эту молитву. Закончив словами «Шма, Исраэль! Шма, Исраэль! Шма, Исраэль!», я бросил горсть земли на гроб. Могильщик-узбек стоял с разинутым ртом, из глаз короля катились слезы, крупные, точно градины.

– Подожди минутку, – сказал он, когда все закончилось. На одной из соседних могил лежал венок, и он переложил его на могилу Даши. Я обшарил взглядом все могилы – нигде не было ни травинки, ни цветочка. На одной, довольно далеко, лежали два венка, но вокруг могилы стояли люди. В конце концов, я сорвал несколько колючек, росших на сухой краснобурой земле, и положил их рядом с венком короля.

– Завтра я принесу ей цветов, – сказал я, хотя уже тогда знал, что никогда в жизни не вернусь сюда. Я смертельно боялся кладбищ.

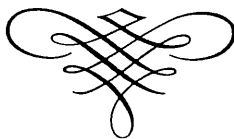
– Она это заслужила, – произнес король.

– И еще как, – подтвердил я.

Вечером отец рассказал, что сегодня он проводил двоих друзей в последний путь, а потом, обращаясь ко мне, добавил: «В этом главное различие между стариком и юношей: у старика большая часть друзей на том свете, а у юноши – на этом». У меня пальцы свело судорогой. Молчи, хотелось мне кричать, молчи! Только за последний месяц тифозная вошь сожрала пятерых моих друзей. Нас было десять, как в той песне, а осталось двое. Ты даже не представляешь себе, какой я старый...

Перевод с иврита Ирины Верник





КНИГА «ЗОГАР»*

Книга «Блеск» («Зогар») стала появляться в виде рукописей отдельных частей в конце XIII века. Структура ее определяется композицией библейских книг. Комментируются стихи из книг «Бытие», «Исход», «Числа», а также, менее подробно, из книг «Левит» и «Второзаконие». Отдельно существовала рукопись с комментариями на книгу «Руфь», которая также вошла в полный свод. В XIV–XV веках значение «Зогара», авторство которого приписывалось самому учителю Шимону, сыну Иохая (II век н. э.), возрастало, а в XVI веке ее изучали в еврейских школах Марокко наравне с Библией. Большая часть «Зогара» написана, как считают ученые, Моисеем из Леона (Моше де Леон), который, однако, выпускал эту часть своих произведений анонимно. Есть рассказ, как по его кончине к вдове пришел некто и сказал: «Отдай мне тот древний свиток, с которого списывал твой муж, а я дам приданое твоей дочери». Вдова отвечала: «Не было у него такого свитка».

Несколько позже «Зогар» лег в основу учения каббалиста Исаака Лурии о Предбытийном сжатии Творца, о Шелухе и о Ломке Сосудов. В настоящее время «Зогар» по справедливости считается одним из трех важнейших источников Каббалы. Другие два: «Книга Творения» («Сефер Йецира») и «Сияние» («Бахир»).

Хотя композиционную основу «Зогара» составляют стихи из Библии, его чрезвычайно разнообразное содержание отнюдь не следует буквальным значениям цитируемых слов. Библейские стихи дают лишь тему для дальнейших рассуждений, которые могут быть и о путях творения, и о свойствах ангелов, и о мытье рук, и о безграмотности римского легионера. Некоторые отрывки из этой книги мы предлагаем вниманию читателей. *(От переводчика).*

И восстал в Египте новый царь

В книге Иевы Старшего есть следующее замечание. Написано, что все решения о мире хранятся во дворце, и 72 члена Синедриона (Санхедрина) владеют ими. Это Дворец Оправдания, ибо судьи здесь ищут возможнос-

* Извлечения из книги «Зогар» в переводе Анри Волохонского.

ти толкований в пользу обвиняемого. Но по другую сторону имеется место под названием «Обвиняющее», ибо там обитает Змей и Жена Блуда, и все усилия направлены к осуждению, чтобы найти вину служащего в глазах Наставника.

В книге Хамнуны Старшего в связи со словами о «новом царе в Египте» говорится, что все народы мира и их правители усилились лишь за счет Израиля.

Хийа сказал:

– За тридцать дней до восхождения народа к власти или до его падения о событии объявляют из иного мира. Иногда об этом гласят уста младенцев, иногда говорит голос простонародья, а бывает, что поют птицы. Но никто этого не замечает. Если же народ того заслуживает, о несчастье сообщают праведным вождям народа, чтобы они призвали к покаянию и вернулись к Господу, пока есть время.

Элиезер сидел однажды у ворот Лидды с Аббой, Иудой и Иосе. И сказал Иосе:

– Послушайте о моих утренних видениях. Я встал рано и увидел птицу. И та птица взлетала трижды, а опустилась лишь один раз, возглашая при этом: «О, жители небес! О, ангелы высшей сферы! В эти дни трое Предводителей небесных ставят правителей земли. Один из них свергнут с трона и проведен через огненный поток. Он сам и его могущество уничтожены. Но три мощных столба большой высоты еще стоят над миром!» Я бросил в птицу камень и закричал: «Птица, скажи мне, кто те трое, что еще возвышаются, и кто тот свергнутый?» Она уронила три перышка из правого крыла и одно из левого. Я не могу понять, что все это означает.

Элиезер взял перья у Иосе, понюхал, и вот, кровь показалась из его ноздрей. Он сказал:

– Да, сейчас в Риме трое великих правителей. Они вскоре причинят зло Израилю руками римлян.

Затем Элиезер взял перо из левого крыла. Когда он его понюхал, изшло черное пламя. Он сказал:

– Власть египтян подходит к концу. Римский владыка вскоре пройдет по всей земле Египетской, назначая правителей, разрушая строения и сооружая новые.

Элиезер бросил перья на землю. Три из правого крыла упали поверх того, что было из левого. И тут проходившее мимо малое дитя произнесло стих: Пророчество о Египте. – *Вот, Господь восседает на облаке легком, и грядет в Египте* (Ис., гл. 19, ст. 1). Шел другой ребенок и произнес: *И сделается земля Египетская пустыней и степью* (Иез., гл. 19, ст. 9). Третье дитя сказало: *Готовь себе нужное для переселения, дочь – жительница Египта* (Иер., гл. 46, ст. 19). Потом они увидели, что перо из левого крыла горит, но не три из правого. Сказал Элиезер:

– Два эти случая – с птицей и с детьми, – в сущности, сообщают одно и то же пророчество свыше. Святой Благословенный хотел таким образом рас-

крыть для нас Свои тайные планы. Ведь мудрые выше, чем пророки. Ибо Святой дух покоится на пророках лишь изредка, но никогда не оставляет мудрецов, которые хотя и знают о том, что вверху и внизу, но держат в тайне.

Исаак сказал:

– Когда Святой должен подвергнуть казни народ, Он сначала наказывает его небесного представителя. В чем же состоит наказание? Его проводят через огненный поток, и тогда его власть прекращается. Об этом тотчас же объявляется вверху, звук отражается на всех небесах и достигает ушей правителей, а затем носится в мире, пока не придет к птицам, малым детям и простонародью.

И восстал в Египте новый царь.

Согласно Хийе, это был действительно новый царь. Однако Иосе говорил, что это был все тот же фараон, издавший новые указы против Израиля и забывший все блага, которые дал ему Иосиф.

Иосе и Иуда изучали Закон вместе с Шимоном. Сказал Иуда:

– Нас учили, что выражение «восстал» предполагает, что фараон возвысился лишь в силу собственного произвола, что он не принадлежал к правившей в Египте династии и в действительности не был достоин царства. Он «восстал» лишь потому, что был богат.

Сказал Шимон:

– Точно так же было в случае с Ахашверошем (Артахсерксом), который тоже получил царство в силу благосостояния, сам не будучи его достоин.

Элиезер, Абба и Иосе шли как-то из Тивериады в Сепфорис. По дороге повстречался им один еврей, который начал беседу, приведя слова: Пророчество о Египте. – *Вот Господь восседит на облаке легком, и грядет в Египте. И потрясутся от лица Его идолы Египетские* (Ис., гл. 19, ст. 1).

– В чем смысл выражения «грядет в Египте»? – сказал он. – Должен ли был Господь прийти в Египет? Да, разумеется. Он пришел туда ради Матери, чтобы взять Ее за руку и поднять Ее во славе. Это произойдет также, когда плен Израиля в Эдоме придет к концу.

Иосе заметил:

– Если это делалось ради Матери, почему же Он не пришел в Вавилон, где Суть была в изгнании вместе с Израилем?

Еврей на это отвечал, что согласно традиции причина, по которой Святой не объявлял о Себе полностью с помощью знамений и чудес в Вавилоне, состоит в иноплеменных женах, которых брали Израильяне, оскверняя знак Завета. В Египте было иначе. Туда вошли сыны Израилевы и покинули они его, не изменившись.

– А выражение «идолы египетские», – так он продолжал, – относится не просто к истуканам из камня или дерева, но к небесным управляющим и земным начальствам. Святой имеет также серьезные основания для недовольства Ассирией. Ибо она угнетала Израиль без причины, народ был изгнан в другую землю и лишен своей собственной. И если Египет был наказан, несмотря на доброту, с которой он относился к Израилю, особенно

вначале, можно, несомненно, ожидать, что Ассирия, Эдом и все народы, которые обращались с Израилем плохо, получают кару от Святого, когда объявится слава Его Имени.

Шимон поднял ввысь руки и зарыдал.

– Увы, – сказал он, – тому, кто будет жить в те времена, и все же благо ему. Когда Святой придет к своей серне (Израилю), он исследует, кто остался ей верен, а потом будет горе тому, кого не найдут достойным. Много страданий придется тогда испытать Израилю. Но счастлив тот, кого в то время обнаружат верным. Ибо он увидит приносящий радость свет Царя. Об этом времени объявлено: *Расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото* (Зах., гл. 13, ст. 9). Израиль будет подвергнут страданиям и мукам, народы и их цари составят против него заговор, неистовствуя в общей ярости. Затем с неба спустится огненный столп, который в течение сорока дней будут видеть все народы. Мессия восстанет от сада Эдемского, от места, носящего имя Птичье Гнездо. Он придет из земли Галилейской. И в тот день весь мир задрожит, а сыны человеческие будут скрываться среди скал и в пещерах. Ведь опустошение ранее началось в этой части Земли обетованной (в Галилее), поэтому он и появится сначала там и оттуда начнет войну против всего мира. Через сорок дней, в течение которых будет стоять огненный столп между небом и землей перед глазами всего мира, и объявит о себе Мессия, взойдет звезда с востока, переменчивая цветом и ярко сияющая, и ее будут окружать семь иных звезд. Они будут вести бои против той первой звезды со всех сторон, трижды в день, в течение семидесяти дней, перед очами мироздания. Та одна звезда будет сражаться против семи огненными лучами, отовсюду сверкающими, она поразит их, и они исчезнут, и так будет каждый вечер. Но днем они снова будут появляться и сражаться перед очами мироздания в течение семидесяти дней. А когда пройдут семьдесят дней, то одна звезда исчезнет. Также и Мессия должен будет скрываться в течение двенадцати месяцев в столпе огненном, который вернется, но не будет видим. Через двенадцать месяцев Мессия будет вознесен на небеса в столпе огня, он получит власть и силу, и венец царский. Когда же он спустится, столп огненный вновь станет видим всем, и тогда явится Мессия, вокруг которого соберутся могущественные народы, а он объявит войну против всего мира. В то время Святой обнаружит свою силу перед всеми народами земли, и о Мессии будет объявлено по всей вселенной, все цари соединят против него свои силы, и даже в Израиле обнаружатся некоторые, кто присоединится к тем царям по злобе и будет вести войну против Мессии. Затем в мире будет тьма в течение пятнадцати дней, и многие из Израиля исчезнут в этой тьме. О ней написано: *Тьма покроеет землю, и мрак – народы* (Ис., гл. 60, ст. 2).

И, обратившись к сыну своему Элиезеру, Шимон продолжал:

– В то время, когда явится Мессия, в мире будут происходить чудеса. Обрати внимание, что в нижнем Раю имеется тайное неведомое место, где переплетены многие цвета и где скрыта тысяча дворцов желаний. Никто

не может туда войти, кроме Мессии, который живет в Раю. В том Саду находится множество святых, которые видят в Мессии своего вожда, и с ними воинства душ праведных. По новолуниям, по праздникам и по субботам Мессия туда входит, чтобы насладиться в тех тайных дворцах. А за дворцами есть еще одно место, совершенно скрытое, которое найти невозможно. Оно зовется «Эдем», и никто не может туда войти. И вот Мессия скрывается поблизости от того места, до тех пор, пока оно ему не откроется, а зовется оно «Птичье Гнездо». О нем объявляет Птица, каждый день летающая по Эдемскому саду. В том месте вытканы фигуры всех народов, которые заключат союз против Израиля. Мессия входит в то убежище, поднимает глаза и видит Праотцев на развалинах Храма Божия. Он видит также мать Рахиль с заплаканными глазами. Святой Благословенный пытается ее утешить, но она отказывается. И Мессия рыдает громко, и дрожит весь сад Эдемский, и праведные и святые присоединяют к Мессии свои голоса, плача и жалуясь. Когда вопли и плач начинаются во второй раз, твердь над садом Эдемским сотрясается, и на крики откликаются пять миллионов из высших воинств, пока звук не достигнет высочайшего Престола. Тогда Святой Благословенный подзывает Птицу, которая прилетает затем в Гнездо и является Мессии, порхая вокруг и испуская странные крики. После этого Птичье Гнездо и Мессия вызываются от святого Престола троекратно, и оба они поднимаются на небо, где Святой обещает им сокрушить злое царство рукой Мессии, чтобы дать отмщение Израилю и вернуть ему все обещанное. Тогда Птица возвращается к себе, а Мессия вновь скрывается там же, где был раньше.

В то время, когда восстанет Святой для обновления всех миров, и буквы Его имени будут блистать в совершенном союзе: Иод с Хе и Хе с Вав, могущественная звезда покажется на пурпурного оттенка небосводе. Днем она будет пламенеть перед очами мира, наполняя твердь своим сиянием. И тогда пламя изойдет от северного края небес. Пламя и звезда будут стоять друг против друга в течение сорока дней, и люди будут дивиться и испытывать страх. А когда сорок дней пройдут, звезда и пламя начнут войну перед глазами всех, пламя распространится по небесам с севера, стараясь превзойти звезду, правители и народы земли будут смотреть на него с ужасом, и среди них произойдет смущение. Но звезда удалит к югу и погасит пламя, оно будет с каждым днем ослабевать, пока не исчезнет. Затем звезда проложит светлые пути в двенадцати направлениях, которые будут светиться в небе в течение двенадцати дней. В течение следующих двенадцати дней мир будет охвачен трепетом, в полдень станет темнеть солнце, как было при разрушении Храма, и не будет видно ни неба, ни земли. Затем послышится голос из средоточия грома и молний, заставляя землю трепетать и исчезнуть многие воинства и господства. И в тот день, когда послышится голос, в Великом Риме (Константинополе) появится пылающее пламя огня. От него погибнет много башен больших и малых, много великих и могучих от него исчезнут. Все соберутся против звезды,

чтобы ее уничтожить, и ни у кого не будет надежды на спасение. С того дня двенадцать месяцев подряд цари земли будут совещаться об уничтожении Израиля и примут многие указы; они преуспеют, как уже говорилось. Благословен, кто будет жить в то время, благословен также и кто не будет жить тогда. Весь мир будет в смущении. В конце того срока в двенадцать месяцев «жезл колена Иудина», то есть Мессия, восстанет, явившись из Рая, и праведные окружают его и снабдят оружием с начертанными буквами Святого Имени. Затем из ветвей деревьев Рая возникнет голос, который скажет: «Восстаньте, о святые, и явитесь перед Мессией! Ибо пришло время для Серны соединиться с Супругом, и Он отомстит за нее миру и поднимет из праха». И святые восстанут и дадут Мессии оружие для войны – Авраам справа, Исаак слева, Иаков впереди, а Моисей, верный пастырь этих святых, будет плясать в Раю над головами их. Когда же святые установят власть Мессии в Раю, он вновь войдет в место, называемое Птичье Гнездо, чтобы видеть разрушение Храма и святых, которые были тогда убиты. Затем он возьмет в том месте десять одеяний святого рвения и скроется там на сорок дней, и никто не сможет его видеть. В конце этого срока от высочайшего трона послышится голос, обращенный к Птичьему Гнезду и к Мессии, который в нем прячется. И его подымут ввысь, и когда Святой Благословенный увидит Мессию в одеждах святого рвения, вооруженного для войны, Он его поцелует в лоб, над бровями. В этот миг задрожат триста девяносто небес. И Святой прикажет одной из тех твердей, которые ждали со времен шести дней сотворения мира, приблизиться, и возьмет из некоего скрытого в ней храма венец с начертанными святыми именами. Этим венцом был украшен Святой, когда израильтяне перешли Красное море, а Он воздал всем колесницам фараоновым и всадникам его. Этой же диадемой Он украсит Царя-Мессию. Когда же он будет коронован, Святой вновь его поцелует. Множество святых и войско окружают его, поднесет ему дивные дары и украсит. И тогда он войдет в некий храм, и вот, там все высшие ангелы, которые называются «плачущие о Сионе», ибо постоянно рыдают о разрушении Святого Храма. И те ангелы дадут ему одежды темно-красного цвета, чтобы он исполнил дело мщения. А Святой вновь скроет его в Птичьем Гнезде, где он будет пребывать в течение тридцати дней. После того как пройдут тридцать дней, ему вновь дадут одеяния и сверху, и снизу, и многие святые существа окружают его. И тогда весь мир увидит свет, исходящий от тверди на землю в течение семи дней. Люди будут изумлены, никто не будет понимать ничего, лишь мудрые, сведущие в тайном учении, да будет их доля благословенна. По завершении семи дней Мессия будет на земле увенчан. Где же это произойдет? «В пути», то есть на могиле Рахили, которая на перекрестке. Матери Рахили передаст он добрые вести, он ее утешит, и она успокоится, встанет и его поцелует. Тогда свет покинет то место и встанет над Иерихоном, городом деревьев, а Мессию скроет свет Птичьего Гнезда на двенадцать месяцев. Через двенадцать месяцев свет меж небом и землей встанет над Галилеей,

где начался плен Израиля. Там он явится из света Птичьего Гнезда. В этот день земля содрогнется от края и до края, и весь мир будет знать, что Мессия явился в Галилее. И те, кто усерден в изучении Закона – а таких будет немного, – соберутся вокруг Мессии. Его войско обретет силу руками детей, которые в школах, а если таковых не достанет, то руками младенцев. В тот день Мессия начнет собирать пленных со всего мира, от края до края. С того дня Святой будет подавать Израилю знамения и творить чудеса, которые Он совершил для них в Египте: *Как во дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему дивные дела* (Мих., гл. 7, ст. 15).

И еще сказал Шимон:

– Сын мой, Элиезер! Все это ты можешь обнаружить среди таинств тридцати двух путей Святого Имени. И счастлив, кто будет найден достойным жить в то время. Благословен он как в этом мире, так и в грядущем.

Затем Шимон поднял руки в молитве к Святому Благословенному. Когда он закончил молитву, сын его Элиезер и Абба уселись перед ним. И вот они увидели, что свет дня стал мрачнее и жуткое пламя спустилось в Тивериадское озеро, а земля задрожала. Шимон сказал:

– Верно, наступило время, когда Святой вспоминает своих детей, и две слезы Его падают в великое море. И, падая, они встречаются с огненным лучом и с ним вместе тонут в этом море.

Шимон зарыдал, и с ним его ученики. И сказал Шимон:

– Не так давно меня подвигло к размышлению о тайне букв Святого Имени, тайне Его сострадания Своим детям. Но сейчас мне следует открыть нынешнему поколению нечто, чего другим открывать не позволялось. Ради заслуг этого поколения мир стоит, пока не явится Мессия.

И он попросил Элиезера, сына своего, и Аббу подняться, что те и сделали. Шимон вновь зарыдал и сказал:

– Увы! Кто выслушает предвидимое мною? Изгнание будет еще длиться. Кто же это вынесет?

А сестра его стала вдали

Чья сестра? Сестра Того, Кто зовет Общину Израиля «сестра Моя» в стихе *Отвори мне, сестра моя* (П. п., гл. 5, ст. 2).

Отсюда мы узнаем, что души праведных исходят из высшей области. И, кроме того, здесь сообщается тайный урок, что душа имеет Отца и Мать, так же как тело имеет отца и мать в этом мире. Все вещи и вверх, и вниз исходят от Мужа и Жены.

Тут к Шимону подошел Абба, поцеловал его и сказал:

– Ты говорил хорошо. Именно так оно и есть. Благословен Моисей, пастьер верный, вернее всех других пророков. Что же касается той «сестры», то она может означать Премудрость, о которой говорится: *Скажи мудрости: «ты сестра моя»* (Прит., гл. 7, ст. 4).

Вот имена

Каждый раз, как Элиезер, сын Араха, доходил до этого места, он плакал. Он говорил, что, когда Израиль отправлялся в изгнание, души его предков собрались в пещере Махпела и восклицали: «О, старец, страдания твоих сыновей ужасны. Им придется исполнять труд рабов, и язычники сделают их жизнь невыносимой!» Немедленно пробудился дух Иакова. Он просил позволения направиться в Египет и пошел туда. Тогда Святой созвал все Свои небесные воинства и их вождей, и все они сопровождали Иакова и сыновей его. Главы колен сошли в Египет со своим отцом, пока были живы, и вновь – когда уже умерли.

Иуда, сын Шаломы, шел однажды с Аббой. И пришли они к месту, где решили провести ночь. Поев, они легли спать, а головы положили на возвышение земли, под которым была могила. Не успев заснуть, они услышали голос из могилы:

– Двенадцать лет я здесь спал, но только сейчас просыпаюсь, ибо вижу образ сына моего.

Иуда спросил, кто он, и тот отвечал:

– Я еврей и здесь лежу под запретом, не будучи в состоянии достигнуть высших областей из-за бедствий, которые претерпевает мой сын. В раннем возрасте его похитил язычник и плохо с ним обращается.

Сказал ему Иуда:

– Разве мертвые знают о страданиях живущих?

Тот отвечал:

– Если бы не мы, мертвые, которые молят за живых ангела могилы, они бы и полдня не прожили. Я сейчас проснулся, ибо мне сказали, что мой сын сюда придет, но я не знаю – живой или мертвый.

Тогда Иуда спросил его:

– Что ты делаешь в этом ином мире?

Могила задрожала, и послышался голос, говоривший:

– Идите прочь! Сейчас моего сына бьют.

Они бежали оттуда полверсты и присели до утра. Поднявшись, чтобы идти, они увидели бегущего человека, по спине которого струилась кровь. Они его остановили, и он рассказал, что с ним случилось. Они спросили его об имени, и он ответил:

– Лахма, сын Леви.

– О, – сказали они, – это сын мертвеца!

Они побоялись с ним разговаривать и к могиле не вернулись. Сказал Абба:

– О том, что молитвы мертвых защищают живущих, мы узнаем от Халева (Калеба), который направился в Хеврон просить о вмешательстве праотцев (см. Чис., гл. 13).

Иуда сказал:

– Святой дал две клятвы Иакову: первую, что Он сам отправится с ним, дабы обитать в изгнании, и вторую, что Он позволит ему выйти из моги-

лы, чтобы видеть радость святого воинства небесных созданий, обитающих с его детьми в плену, как написано: *Я пойду с тобою в Египет; и я выведу тебя обратно* (Быт., гл. 46, ст. 4); *Я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших* (Иез., гл. 37, ст. 12).

Перехитрим же его, чтобы он не размножлся

Иуда сказал от имени Исаака:

– Почему египтяне так желали воспрепятствовать размножению Израиля и что заставило их высшего представителя вложить в сердца их такое желание? – Знание, что среди израильтян родится сын, через которого будет произведен суд над всеми богами Египта. Ибо, согласно Ионатану, когда Моисей (Моше) сказал, что Бог произведет суд «над всеми богами Египетскими» (Исх., гл. 12, ст. 12), Дума, небесный князь Египта, бежал четыреста верст, и Святой сказал ему: Это Мой указ! В этот час власть его была отнята, а сам он был изгнан в нижние области и поставлен над царствами геенны судьей злых душ.

Сам Иуда говорил, что Думу назначили править мертвыми.

Ханина сказал:

– Написано: *И над богами их Господь совершил суд* (Чис., гл. 33, ст. 4). Можем ли мы говорить о суде над богами из серебра или золота, из дерева или камня?

Иосе отвечал:

– Сделанные из серебра и золота сами собой расплавились, а деревянные сами собой сгнили.

Элиезер сказал:

– Богом Египта был баран, и Святой Благословенный распорядился сжечь его в огне, чтобы распространялся скверный запах; и чтобы он был сожжен с «головой, ногами и внутренностями» (Исх., гл. 10, ст. 9). И, кроме того, его кости были выброшены на базарной площади, а это более всего привело египтян в отчаяние. Таков был суд, подразумеваемый в приводимом стихе.

Иуда сказал:

– «Над богами их» относится в собственном значении к их Начальникам, во исполнение пророчества: *Посетит Господь воинство выпретенное на высоте* (Ис., гл. 24, ст. 21). Мудрые люди среди египтян все это знали, тем более их Начальник. Вот они и сказали: Перехитрим же его.

Сказал Иоханан:

– Много идолов было у них, но главным богом был Нил, и над всеми Господь совершил суд.

Сказал Абба:

– Представление Иоханана правильно и самоочевидно. Ибо мы знаем, что сначала наказываются боги народа, а затем и сам народ. Так и здесь, сначала был поражен Нил и деревья и камни, как говорит Писание: *Будет*

кровь по всей земле Египетской, и в деревьях, и в камнях (Исх., гл. 7, ст. 19), причем «деревья и камни» суть те самые боги, которым служили египтяне.

Исаак заметил:

– Однако написано «воинство выпрещенное на высоте», а Нил – не в высях.

Сказал Иоханан:

– Большая часть этих вод напоминает свой находящийся в высях прообраз.

И Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую

Хизкия рассуждал о стихе: *Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства!* (Пс. 31, ст. 2). Он сказал:

– Сколь слепы сыны человеческие, которые не видят и не воспринимают основы своего бытия в этом мире! Ведь когда Святой Благословенный создал этот мир, Он сотворил человека по собственному образу, наделив его способностями изучать Закон и ходить Его путем. Для этого человек был создан из пыли нижнего святилища; и четыре ветра собрались в том месте, которое позже было названо Домом Святости, а эти четыре были тогда присоединены к четырем стихиям нижнего мира, которые суть: огонь, воздух, земля и вода. И когда те ветры и стихии были смешаны, Святой Благословенный создал единое тело изумительного совершенства. Ясно поэтому, что вещества, составляющие тело человека, принадлежат двум мирам, а именно: миру внизу и миру вверх.

Сказал Шимон:

– Первые четыре стихии имеют глубокое значение для верных: они суть провозвестники всех миров и символизируют высшую Колесницу Святости. Также четыре элемента: огонь, воздух, земля и вода имеют глубокий смысл. От них происходят золото, серебро, медь и железо, а следом другие металлы подобного рода. Отметь это! Огонь, воздух, земля и вода являются источниками и корнями всех вещей вверх и вниз, на них все они основаны. И в каждом из четырех ветров обнаруживаются эти элементы. Огонь на севере, воздух на востоке, вода на юге и земля на западе. Четыре элемента объединены с четырьмя ветрами, и все они – одно. Огонь, вода, воздух и земля; золото, серебро, медь и железо; север, юг, восток и запад – составляют двенадцать; но все они – одно. Огонь слева, там, где север, ибо огонь есть сила тепла, в нем сильна мощь сухости, а север ему противоположен, и эти двое смешаны друг с другом. Вода справа, где юг, и Святой соединяет теплоту и сухость юга с холодом и влажностью воды, так что они становятся едины, как и предыдущее сочетание. Север холоден и влажен, а его элемент (огонь) жарок и сух, напротив, юг тепел и сух, а его элемент – вода – холодна и влажна, вот так Святой и соединяет их. Ибо вода исходит с юга, приходит на север и снова течет с севера; огонь же исходит с севера, приходит на юг, и именно с юга является на земле жара. Ведь Святой делает так, чтобы один брал у другого, так как Он

видит правоту каждого. Подобным же образом Он действует с воздухом и востоком. Теперь смотри. Огонь с одной из сторон, вода с другой: это противоположность. Затем является воздух (ветер или дух) между ними, соединяет их, и они становятся единством, о чем сказано: *И дух (т. е. воздух) Божий носился над водою* (Быт., гл. 1, ст. 2). Ибо огонь – в высях, а вода – на поверхности земли, воздух же находится между ними, он соединяет обе стихии и примиряет их. Над землей находятся вода, воздух и огонь, и она получает от всех трех. Обрати внимание, что восток тепел и влажен, как и воздух тепел и влажен. Подобный состав, будучи теплым и влажным, может удерживать обе стороны: теплотою – огонь, влажностью – воду, таким образом прекращая вражду между огнем и водой. Земля холодна и суха, поэтому она может получать от остальных – от огня, воды и от воздуха, и все может найти в них завершение своих трудов. Земля получает от всех от них, под их влиянием она может производить питание для всего мира. И вот сторона запада, которая холодна, соединится с севером, холодным и влажным, ибо холодное соединяется с холодным; с другой же стороны сухой запад соединяется с югом, сухим и жарким, и таким образом запад присоединяется к обеим сторонам. Подобным же образом юг соединяется с востоком со стороны тепла, а восток с севером соединяются ввиду общей им влажности. И мы обнаруживаем, что соединены: юг и восток, север и восток, север и запад, юг и запад, и все они находятся один в другом во взаимопроникновении. Таким образом восток служит источником золота, которое производится той стороной, где сила огня, о чем написано: *Золото исходит с севера* (Иов, гл. 37, ст. 22). Ибо когда огонь соединяется с землей, возникает золото. Когда вода соединяется с землей, холод с влагой производят серебро, поэтому земля соединена с двумя сторонами, с золотом и с серебром, и расположена между ними. Воздух присоединяется к воде, а также к огню, производя сплав, который имеет цвет, «как блестящая медь» (Иез., гл. 1, ст. 7). Что же до упомянутой земли, то сама по себе в своем холоде и сухости она производит железо; поэтому сказано: *Если притупится железо...* (Еккл., гл. 10, ст. 10). Но земля соединяется со всеми остальными стихиями и их деяниями по различным путям. Ибо без земли нет ни золота, ни серебра, ни меди. Каждый из элементов сообщает другому часть своих свойств, образуя соединение, причем земля смешивается со всеми, ведь с ней связаны две стороны – огонь и вода. Воздух также к ней присоединяется за счет этих двух и действует на нее. И мы обнаруживаем, что земля, соединившись с ними, производит также вторичные изделия, напоминающие первые вещества. Она, в связи с золотом, производит зеленый шлак, который его напоминает и ему подчинен; соответственно серебру она дает свинец; соответственно превосходной меди она дает низшее олово; но соответственно железу она дает, однако, лишь железо, почему и сказано: *Железо железо острит* (Прит., гл. 27, ст. 17). Огонь, воздух, вода и земля первоначально были соединены, разделения между ними не было. Но когда прах земли начал производить, его произведения уже не были соединены, как высшие стихии, о чем сказано: *...и потом разделялась на четыре...* (Быт., гл. 2, ст. 19).

В этом и состояло разделение; ибо земное, когда произвело три высших элемента, вывело четыре потока, в которых находят драгоценные камни. Этих драгоценных камней двенадцать, по числу двенадцати колен Израиля. Обратите внимание, что хотя все эти высшие свойства соединены и связаны друг с другом, образуя основания вещей верху и внизу, все же воздух, дух, всех превосходит, ибо он является основой всего, без него ничто не живет, и душа живет лишь при посредстве духа, ведь если бы воздух перестал существовать хоть на мгновение, души бы не было. Намек на это содержится в словах: *Не хорошо душе быть без знания* (Прит., гл. 19, ст. 2): душа без духа «не хороша», она не может существовать. Заметь также, что те двенадцать камней соответствуют двенадцати волам под медным морем, которое стояло в храме (3 Цар., гл. 7, ст. 25). Поэтому князья, главы колен, приносили в жертву двенадцать волов. Все это глубокая тайна, кто эти слова понимает, тот понимает тайну высшей мудрости, в которой корень всех вещей.

И Шимон закончил так:

– Вы видите, как правильно сказал Хизкия. Когда Святой творил человека, Он взял от праха из нижнего святилища, но для создания его души Он избрал прах святилища высшего.

Сказал Элизер:

– Тринадцать источников текут в высшем мире с правой стороны, от них берут начало тринадцать глубоких потоков. Из них иные поднимаются, иные падают, и их воды смешиваются. Эти тринадцать потоков, которые берут начало от тринадцати источников, разделяются на тысячу рек, текущих во всех направлениях, а именно: четыреста девяносто девять с половиной текут в одну сторону, четыреста девяносто девять с половиной – в другую, а оставшиеся две половины реки соединяются в одну и преобразуются в Змея, у которого голова красна, как роза, чешуи его тверды, как железо, и при помощи плавников он передвигается по всем этим рекам. Он поднимает хвост и избивает рыб на своем пути, ни одна из них не может устоять. Его пасть испускает пылающее пламя. Когда он проходит реки, все рыбы трепещут, они уплывают и собираются в великом океане. Раз в семьдесят дней он склоняется к одной стороне, раз в семьдесят дней к другой. И им наполняется тысяча рек без одной. Некоторое время он проводит так; но, когда он приходит в возбуждение, из его чешуй вырывается дрожащий сноп пламени. Воды рек мутнеют и становятся темно-синими, а волны бушуют со всех сторон. И он поднимает хвост и бьет им вверх и вниз, так что все бежит перед ним, пока наконец с севера не приходит пламя и слышится голос, который возглашает: «Эй, старики, рассейтесь по всем четырем углам, ибо проснулся некто, который вскоре наложит оковы на челюсти чудовища». И в Писании говорится: *Но я вложу крюк в челюсти твои* (Иез., гл. 29, ст. 4). Тогда все они рассеиваются, чудище схвачено и помещено в расселине великой бездны, его мощь сломлена. А затем его пускают обратно в реки. Так повторяется каждые семьдесят лет, чтобы он не вредил областям небесным и их основаниям.





Борис Парамонов

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗЕМЛЕЁБСТВА

1. Печка

Общеизвестно, что нужно танцевать от печки. А как быть, если в танцевальном зале печки нет (да чаще всего и не бывает)? Очень просто: начать танец можно с любого места.

В наисовременнейшей литературе, говорят, печки радикально отменили, реализовав старый завет гениального юмориста: «Пора, товарищи, давно пора переходить на паровое отопление». Трубы при этом постоянно дают течь, а то и просто взрываются, наполняя парами наши небольшие и до недавних пор такие уютные танцзалы. Сельский клуб превращается в inferно. В горячем паре едва различимы физиономии (маски? личины? хари?) действующих лиц. При этом парьё никуда не спускаются, как им вроде бы положено. Напряжение нарастает – и ничем не разрешается.

Такова простейшая схема современной литературной эстетики, явленная наиболее представительно у Владимира Сорокина. Его проза, говорит критик (А. Генис), – сон вне яви, проснуться в его книгах нельзя. У Сорокина нет ни темы, ни внятного сюжетного содержания, ни нравственной посылки. У него происходит игра повествовательных структур за пределами их смысла. Содержание не выходит за переплет, мы ничего не узнаем из его книг.

И всё-таки я назвал бы одно значительное исключение – «Голубое сало», конечно. Всё сказанное раньше о поэтике Сорокина вполне правомочно и применимо и к этой книге. Но есть в ней один сюжет, о котором и пойдет речь.

Тут нужно было бы еще сказать, что скандал, вызванный «Голубым салом», – не совсем правильный скандал. Такие случаи бывали в истории русской литературы. Ополчаются на то, что в книге не главное. Самый выдающийся пример из прошлого – «Мелкий бес» Федора Сологуба. Набросились на Передонова, представителя реакционного министерства, тогда

как центр книги был другой – антологический (по-другому не скажешь) – роман Людмилы Рутиловой с гимназистом Сашей Пыльниковым. Пир легкой плоти, как назвал это Блок. Дафнис и Хлоя. В Передонове же как педагоге интересным было то, что он любил пороть мальчиков – и делал это иногда совместно с их матерями. Эротический роман приняли за политическую сатиру.

Наибольшее возмущение, вызвавшее даже и общественные беспорядки, спровоцировала в «Голубом сале» гомосексуальная связь «графа» Хрущева со Сталиным. Слишком уж реальны эти персонажи, хотя и давно мертвы, слишком много *нашей* реальности с ними связано. Мы ведь не только читатели. Мы не хотим такой игры с нашей биографией и историей, за которые, как известно, заплачено немалой кровью. Эту позицию вполне можно понять, если абстрагироваться от эстетических тонкостей Сорокина, внятных в России, право, не многим. Шумели и демонстрировали молодые люди с подозрительным прозвищем «Идущие вместе», но вряд ли можно усомниться, что и Сергею Ковалеву, скажем, это не понравилось, – как и весь Сорокин. Можно легко представить негодование самой что ни на есть культурной элиты, встречающей в «Голубом сале» кошмарный – и удивительно смешной – гротеск Ахматовой, сделанной Сорокиным городской юрודивой, вроде Ксении Блаженной. Как и положено в русской истории, ее уважает царь – Сталин, а она ему лижет сапоги, напоминая в то же время, что «Борька» (Пастернак) перестал «топтать» его жену (Надежду Аллилуеву), давно вроде бы умершую. Литературные эрудиты, не отягощенные предрассудками о святости русской литературы, конечно, в восторге от подобных сцен. Но, согласимся, эта литература для немногих, и коммерческий вроде бы успех Сорокина – одна из гримас постсоветской жизни. (Говорят, его покупают новые русские, у которых чтение Сорокина считается хорошим тоном.)

Критик прав: нельзя «Голубое сало», Сорокина вообще принимать как «нормальную» литературу, из которой при желании можно извлечь какой-то жизненный урок (из «Смерти Ивана Ильича», говорят, можно). Но, тем не менее, в «Голубом сале» есть сюжет, всячески значимый – если не общедоступный, то необходимый и общеобязательный. Необходимость и общеобязательность, как известно, – признаки истины. Истина содержится в тех частях книги, где речь идет о так называемых «землеёбах». То, что кажется поначалу совсем уж диким продуктом разнузданного воображения, являет на деле важный (мета)психологический сюжет. Это большая и как-то на полдороги брошенная тема. Сорокин и не мог ее не бросить, потому что дискурсивного развертывания сюжета он не признает, но не всё у него намеренно бессмысленно. *Эта* тема выходит за переплет книги.

Полагаю, что люди, которые захотят прочитать эту статью, читали и «Голубое сало», но у моего текста своя логика развертывания, и без цитат тут не обойтись, хотя цитировать Сорокина трудно. У Чехова в рассказе «Детвора» девочка Соня говорит, что старый гувернер заглянул в детскую,

когда она еще не была одета, – «и мне стало так неприлично». Мне сейчас тоже будет неприлично.

Сначала – разговор Сталина с Берией у капсулы, в которой размораживается присланный в Москву с голубым салом землеёб.

В поддоне среди талой воды и кусков льда остался сидеть замерзший верзила с чудовищными гениталиями и с черным чемоданчиком на коленях.

– Кто это? – спросил Сталин после продолжительной паузы и посмотрел на микробиолога.

– Пока не знаем, товарищ Сталин.

– Что это у него с яйцами?

– Похоже на слоновость, товарищ Сталин. А может, и результат облучения, – близоруко сощурился микробиолог.

– Если это землеёбы, – заговорил Берия, – значит, у них у всех такие фаллосы. Вероятно, это не случайно.

– Ты хочешь сказать, фаллосы большие оттого, что они совокупляются с землей? – спросил Сталин.

– Именно.

– А с жёнами они уже не живут?

– С такими размерами... абсолютно исключено... Такая елда в корову не влезет, – зевнул Берия и посмотрел на часы.

– Да... – задумчиво качнул головой Сталин. – Как же они любят родную землю. А может, у них все-таки есть жёны с огромным влагалищем?

– В первом послании они писали, что в их общине нет ни одной жёны.

Интересно, что эти сексуальные гиганты в стране землеёбов носят официальный титул «детка». В романе фигурируют трое таких: детка Вил, детка Тит и детка Кир. Гениталии у них такие, что их везут отдельно на золотых тележках. Но они именно детки, потому что любовь их, сексуальный их партнер – мать Земля. А еще мифичнее, еще руссее – Мать Сыра Земля: самый что ни на есть Достоевский.

Русская мифема без зазора входит в наисовременнейший психоанализ. Впрочем, так и должно быть – по крайней мере, по Юнгу, которого индивидуальная психопатология не интересует.

И ведь никакого эдипова комплекса. Русские детки владеют Матерью-Землей коллективно. Это общая судьба, а не индивидуальный психоневроз. Имеющее санкцию общности не может быть патологией. Что же тогда называть нормой?

Ненормальным в этом случае может называться только отсутствие родовой производительности. Воспроизводство деток никак не обсуждается Сорокиным, да и не нужно это ему, в его метафарсе. Главное у писателя – дать суггестивное описание соответствующей общественной (?) практики.

Сорокин остроумно пародирует фантазию Солженицына об уходе истинной России на Северо-Восток – тем более знает, что такой исход действ-

вительно имел место в киевском прошлом, а о московском будущем здесь рассуждать неуместно. В романе описывается экзамен в школе молодых землеёбов, и нам открываются вполне знакомые из русской истории сюжеты. Экзаменующийся отвечает:

Как известно, после исторического размежевания на 5-м Соборе и последующего за ним Позорного Разделения, Орден разделился на южных и северных землеёбов. Южные землеёбы обосновались в Поволжье в теплых черноземных степях близ Урюпинска, северные землеёбы расположились в Восточной Сибири в суровой тайге между Подкаменной и Нижней Тунгусками.

Таким способом – из экзаменационных ответов абитуриентов – мы узнаем многое из истории движения. Вот истоки:

Первый Проебатель Земли Русской Петр Авдеев ебал Русскую Землю поперву под Черниговом, а уж потом подался на Север – в земли Псковские и Новгородские. <...>

Великий Проебатель Земли Русской в своем Дневнике написал: «Слаще Черниговских черноземов да Полесских глин не ебалось мне ничего и нигде. По шесть раз на дню пускал в них спермии свои со слезами благими и уханьем безутешным, а вставши, целовал места совокупления с сердечным плачем, потому земли те сладки и проебательны до изжоги духовной».

Самый драматичный эпизод в истории землеёбов – коварная попытка южной ветви (делегация, названная в анналах Позорная Гнилая Троица) хитростью подчинить северян.

Далее Позорная Гнилая Троица подняла три разные руки своих и указала перстами на привезенную землю поволжскую и рекла: «Вот, братие северяне, земля истинно достойная Великого Наследия, ибо входят в нее хуи российских землеёбов, как нож в масло коровье. Тепла, податлива и благодатна Земля Поволжская, всем жаждущим дает, всех страждущих привечает, всех скорбящих утешает. Ждет она вас, заблудших, на севере студеном обретающихся, кореньями да ягодой пропитающихся, о сопки каменистые свои хуи ломающих ради упрямства своего. Приидите же к нам в пещеры теплые и просторные, в место Посев, что близ Урюпинска, вонзите замозолвившие хуи свои в Теплую Землю Единства Нашего». <...> На что отец Андрей Утесов ответил...

– Что же ответил Гнилой Троице землеёб отец Андрей Утесов? – спросил Вил.

Все воспитанники подняли руки. Детки улыбнулись.

– Брат Сергей Панитков! – скомандовал Вил.

– На что Андрей Утесов обнажил десятивершковый хуй свой, лег на Дающий Холм и проебал три раза подряд родную сибирскую землю, с криком и

уханьем. Затем встал он и рек: «Братие! Только что на глазах ваших три раза испустил я семя свое в Землю Восточной Сибири, в Землю, на теле которой живем мы, спим, дышим, едим, срем и мочимся. Не мягка, не рассыпчата Земля наша – сурова, холодна и камениста она и не каждый хуй в себя впускает. Посему мало нас осталось, а слабохуи сбежали в земли теплые, всем доступные. Земля наша – хоть и камениста, да любовью сильна: чей хуй в себя впустила – тот сыт ее любовью навек, того она никогда не забудет и от себя не отпустит. Так скажу вам: кто хочет – ступай себе в теплые земли, не держу я здесь никого, так как братья мы, а не невольники. Только мне другой земли не надо – здесь ебал, здесь ебу, здесь ебать буду до червя могильного».

Никакого «голубого сала» из этой деятельности, понятно, не получается, и почему землеёбы в конце концов вышли агрессивно на этих продвинутых новорусских, объяснению не поддается. Тут начинается какой-то другой роман. Тема сношения с родной землей уходит вне сюжетного разрешения. Между тем тут-то и заключена значимая философия или даже, как мы уже говорили, мифема. Феномен, Сорокиным попросту, по-русски названный землеёбством, – отнюдь не индивидуальная его фантазия. И это не образ российской дурной интровертности, не сатира на патриотов-почвенников. Тема здесь поднята мировая. «Печка», которую мы пытаемся увидеть у Сорокина, – освенцимские крематории.

2. Модель

Я даже готов подозревать, что богатейшая сорокинская фантазия тут ни при чем. У темы можно обнаружить литературный источник. Соответствующий сюжет подробнее разработан Эрихом Фроммом в его «Анатомии человеческой деструктивности» – книге, вышедшей в русском переводе в 1994 году. «Голубое сало» написано в 99-м. Да нельзя исключать и прямых немецких влияний: ведь Сорокин прибыл к нам из Германии туманной, вообще он человек культурный – и художник, и музыкант. Даже и похож на Ленского.

Фромм строит гипотетическую модель некрофильской личности, наиболее знаменитый пример которой дал в наше время Гитлер. Здесь Фромм вносит значительную коррективу в классический психоанализ и его учение о ранних стадиях сексуального развития ребенка, конкретно – об инцестуозном влечении к матери. Фромм указывает, между прочим, что мать в бессознательном ребенка-мальчика гораздо чаще, чем отец, выступает в устрашающем образе. Инцестуозное влечение к матери, как всё на свете, может быть амбивалентно. Клинический опыт убедил Фромма в существовании *негативного* инцестуозного влечения. Приведем слова авторитетного исследователя текстуально:

У таких детей никогда не развивается чувство любви к матери (ни нежное, ни эротическое, ни сексуальное). Они просто никогда не чувствуют тяготения к ней. То же самое имеет место в более поздний период: они не ищут для влюбленности женщин, напоминающих мать. Для них мать – только символ, скорее фантом, чем реальная личность. Она представляет собой символ Земли, родины, крови, расы, нации, истока, корня, первопричины... Но одновременно мать – это символ хаоса и смерти; она несет не жизнь, а смерть, ее объятия смертельны, ее лоно – могила. Тяга к такой Матери-смерти не может быть влечением любви. Здесь вообще не подходит обычное психологическое толкование влечения как чего-то прекрасного, приятного и теплого. Здесь речь идет о каком-то магнетизме, о мощном притяжении демонического характера. Тот, кто привязан к матери злокачественными инцестуозными узами, остается нарциссом, холодным и равнодушным: он тянется к ней так же, как к магниту металл: она влечет его, как море, в котором можно утонуть, как земля, в которой он мечтает быть похороненным. А причиной такого мрачного поворота мыслей, скорее всего, является состояние неумолимого и невыносимого одиночества, вызванного нарциссизмом: раз уж для нарцисса не существует теплых, радостных отношений с матерью, то, по крайней мере, одна возможность к сближению с ней, один путь ему не заказан – это путь к единению в смерти.

<...> нормальные инцестуозные узы – это естественная переходная стадия в развитии индивида, в то время как злокачественные инцестуозные влечения – патологическое явление, которое встречается там, где развитие нормальных инцестуозных связей оказалось каким-то образом нарушенным. Злокачественные инцестуозные узы я гипотетически считаю одним из самых ранних, если не главным корнем некрофилии.

Гитлер – частный, но, конечно, самый зловеющий пример такого рода психологического развития:

...если мы хотим обнаружить причины формирования некрофильской личности Гитлера, то искать их нужно именно в склонности к кровосмешению, которая столь характерна для его детских впечатлений от матери. Главным символом матери стала для него сама Германия. Его заикленность на матери (=Германии) обусловила его ненависть к «отраве» (евреи и сифилис), от которой он должен был ее спасти; однако в более глубоком бессознательном пласте психики коренилось вытесненное желание к разрушению матери (=Германии). И он своими поступками доказал это и реализовал это свое желание – начиная с 1942 г., когда он уже знал, что война проиграна, и до последнего приказа 1945 г. о полном уничтожении всех областей, захваченных противником. Именно такое поведение подтверждает гипотезу о его зловеющей связанности с матерью.

Вот эту символическую подмену матери – родиной, родной землей,

столь чреватую негативистскими, некрофильскими импульсами, описал Владимир Сорокин в своих «землеёбах». Это отдельный и очень важный русский сюжет, не имеющий прямого отношения к той фантазии, которую писатель выстроил вокруг своего духовного сала. Читателям, понимающим, каких глубин достиг Сорокин своими «землеёбами», становится как-то неинтересно читать всё остальное в скандальном романе.

3. Бакунин: личность

Получается, что следует искать русские параллели к Адольфу. И одна – едва ли не единственная! – напрашивается сразу: Сталин. Тем более теперь, когда мы прочитали толстую книгу Радзинского, который выяснил, что Сталин мать не любил и даже называл ее блядью, эта параллель должна заработать. Но странно – этого не хочется делать. Нам теперь трудно увидеть в деятельности Сталина установку на тотальное уничтожение бытия. Всё-таки он не Пол Пот. Сталинский идеал, равно как и практика, были в другом: он тянул страну в некое новое Средневековье, с обязательной инквизицией и не менее обязательным культовым строительством. И таковым следует считать не только проverbsиальный московский метрополитен, но и все эти индустриальные гиганты, вроде волжских электростанций, погубивших великую реку. Утилитарный момент действовал здесь на минимальном уровне. Домны были храмами некоего нового Молоха.

Наша тема – как любая психоаналитическая – тянет вглубь, к истокам, в архаику. И архаику хочется искать не индивидуальную, а, так сказать, коллективно-бессознательную. О России хочется говорить, а не о Сталине. Не о советской власти, а о России – матери. Какова она в этом качестве? Так ли уж бесспорна? Можно ли рассчитывать на ее индульгенцию во всех наших грехах и бедах? И еще, важнейшее: так ли уж любит русский человек – Иванов, Петров, Сидоров – свою знаменитую родину? По-сорокински: означает ли «землеёбство» – любовь?

Я не хочу говорить здесь о солженицынском Спиридоне из «Круга первого» – мощнейшем образе русского человека, соединяющего в себе Платона Каратаева с доносчиком. Донос – форма русского бытия. Любой русский реализм предполагает готовность к доносительству. Да дело и не в доносах, а в том, что Спиридон с равнодушной легкостью бросает Россию и столь же равнодушно в нее возвращается. В нем мы узнаем солдат 17-го года, наплевавших на защиту Родины, ушедших с фронта. Земля, их интересовавшая, была не культурно-исторической ценностью, тем более не государством, а сельскохозяйственным наделом. Вот эту землю они любили. Потом дело повернулось так, что и эту любовь большевики сумели погубить, – вместо того чтобы воспользоваться этой архаической привязанностью для целей вящего прогресса (об этом и будет наша статья).

Нужно брать сюжет «русский человек – Россия» в каком-то его культур-

но-значимом образе, «простой человек» из так называемого народа сюда не подходит. Нам повезло: есть такой человек в русской культуре: и сверхличным – буквально мировым – значением обладающий, и абсолютно домашний тип, знакомый друзьям вплоть до интимных привычек.

Таким человеком был Михаил Бакунин – знаменитый анархист XIX века, гроза даже не России, а Европы, едва ли не мира (в Америке тоже побывал проездом). Сегодняшние даже интеллигентные русские плохо его представляют; один вполне просвещенный человек спросил меня: «Это тот, что исследовал Восточную Сибирь?» Он спутал Бакунина с Кропоткиным. Сто лет назад это было бы совершенно невозможно. Бакунин был для интеллигентного, то есть оппозиционного, русского, то же, что Солженицын для интеллигента послехрущевских годов. Это была легенда, миф, знамя. Больше того – авторитет. Его считали то ли буревестником, то ли носителем русской свободы.

Очень популярный и вполне высоколобый журналист Амфитеатров писал о нем – по поводу какого-то юбилея в уже относительно свободной русской прессе:

Разбивать и опрокидывать – природа смерчей и вихрей. Они не могут не разбивать, должны опрокидывать, пока не разобьются и не опрокинутся сами. И, конечно, Бакунин – этот Фауст революции – не остановился бы, удовлетворенный, ни на одном из ее существующих мгновений. Строя новый мир разрушением старого, он шел бы да и шел – всё вперед и вперед, пока не встретил на пути роковую соперницу своему смерчу – еще более могучую обновительницу мира, еще более неутомимую строительницу разрушением – Смерть.

В сущности, это верно, как мы теперь понимаем, но сказано очень уж патетически и как бы с восхищением. Бакунин в этих словах Амфитеатрова глядит роковой личностью. А был ли он человеком рока – Рока? Как различные его качества заставляют в этом усомниться.

Самое интересное и, конечно, смешное, что Бакунин и сам был – смешной человек. «Сон смешного человека» в его индивидуальном варианте. Ничего как будто зловещего.

Чтобы сразу же дать представление о (как бы) реальном Бакуине, вспомним его литературные проекции. Собственно, канонизирована только одна – Рудин у Тургенева: человек, которому всё равно куда ехать – в Курск или в Тверь. Правда, индивидуальность Бакунина растворяется в обычном тургеневском сюжете – мужской несостоятельностью перед женщиной. У Тургенева все герои такие, кроме мифического туберкулезника Инсарова (чахоточные, как известно, повышенно эротичны). Рудин – робкая заявка на Бакунина, не больше. Герцен говорил: Рудин – это сам Тургенев, снабженный бакунинской диалектикой. Не будем бросать тень на приятного писателя: Тургенев был человеком, способным к общению с

женщинами и даже имел (внебрачную) дочь, выданную им замуж за француза. Его фиксация на подобных сюжетах – внеличностная, очень говорящая в пользу его писательского дарования, – видеть общественно значимые сюжеты в таких вот индивидуальных комплексах. Тема Тургенева подспудная – страх русского человека перед Россией, репрезентантками которой выступают с виду вполне невинные Аси и Лизы. Это они по-настоящему страшны, а не пресловутые тургеневские светские львицы.

Я бы в русской литературе назвал еще двух персонажей, укладывающихся в тип Бакунина. О втором пока умолчу, а первый – вот вам: Илья Ильич Обломов. Представьте Обломова революционером – и вы получите Бакунина. Ольга Ильинская – это его революционная деятельность. Женился человек захотел. И действительно, Бакунин в конце концов женился – на Антонии Квятковской, которой случившийся Штольц – итальянский анархист Карло Гамбуцци – сделал четверых детей. Революция для Бакунина – попытка выйти к Ольге Ильинской, вообще вылезти из кровати. К чести (?) его сказать, он делал это достаточно часто – хотя всегда проваливался. Ни в кровати, ни за ее пределами у него ничего не выходило. Но шуму он наделал много.

Уже не мной ославленный простец Стеклов написал о Бакунине в своих четырех (!) томах: «Шишка любви была в нем, по-видимому, слабо развита».

Какая уж тут шишка.

Вообще же Бакунин, как и Обломов, в основном лежал. Читая, правда, Фихте и Гегеля. Но что делает человек, проводящий основное время на ложе, в одиночестве, с книгой – как угодно занимательной (а скорее всё-таки скучной: Фихте и Гегель не такое уже веселое чтение)? Ответ напрашивается сам: онанирует.

Автоэротизм Бакунина был предметом постоянных шуток в разговорах его друзей – знаменитого кружка Станкевича, а после смерти последнего – Белинского, Герцена, Каткова. Бакунин однажды насплетничал о романе Каткова с женой Огарева; Катков пришел объясняться, и дело дошло до драки, причем гигант Бакунин был скорее побит. Драка началась, когда Катков назвал его «скопцом». Это же словечко, в сочетании с подобным, не сходит с пера Белинского, когда он пишет о Бакунине; например, Боткину, 13 марта 1841: «Это не то, что Мишель Бакунин, который решил, что я пошляк, по моему выражению "спать с женою": то идеальность скопца и онаниста». И таких высказываний о Бакунине в письмах одного только Белинского – десятки, приводить их – тратить леса на бумагу.

Бакунина не любили даже друзья, готовые отдавать ему должное за его прославленную «диалектику». Похоже, что Гегеля он знал действительно лучше всех (пока его не забил Герцен) и обучил ему не только слабообразованного Белинского, но и вполне эрудированного Каткова, а за границей – Прудона, обогатив гегельянскими схемами знаменитую того книгу «Система экономических противоречий», чем и вызвал пожизненную нена-

висть ревнивого и завистливого Маркса, тогда же носившегося с мыслью дать гегелевскую интерпретацию политэкономии.

Апологет Амфитеатров и тот признает, что характер знаменитого революционера был тряпичный:

Вообще пассивность перед оскорблением личности, часто даже прямое непонимание так называемых унижительных положений, полное отсутствие индивидуального самолюбия по буржуазному кодексу – самые заметные черты бакунинского характера, с первого раза странно удивляющие, даже поражающие и, пожалуй, шокирующие непривычного изучателя.

Интересно, привык ли изучатель Амфитеатров к этому свойству своего героя? Понял ли, что «смерч» Бакунина – это энтропия, а еще созвучнее – смерть, тяга к само- и всеобщему уничтожению? Смерть у Бакунина – не предел его всеразрушающей личности, а ее цель. Вот ведь парадокс: люди XIX века не понимали, что для уничтожения силы не надо: достаточно отпустить тормоза – а там само всё развалится.

Самое странное и, я бы сказал, приятное в Бакуanine было то, что он не садист, а мазохист, что и фиксировано в приведенных словах Амфитеатрова, не понявшего того, что сам же и сказал.

(Раннесоветский исследователь Бакунина Вяч. Полонский не мог понять, как это бесстрашный революционер Бакунин, сидя в Шлиссельбургской крепости, мог написать свою покаянную «Исповедь» Николаю I. Объяснение нашел такое: тогда, мол, Бакунин еще не был анархистом, а только панславистом, и его характер еще не закалился подлинно революционным учением. Как будто характер создается теорией, а не теория выстраивается по характеру!)

Обломов – подлинный революционер, тотальный нигилист, потому что он ничего не делает: лежит и мастурбирует. Вот это чуть ли не физическое сходство с Обломовым и придает Бакунину, странно сказать, черты некоторой приятности. Хотя, повторяю, друзья, отдавая ему должное, его не любили. (Белинский в письме от 26 февраля 1840 г.: «Я уважаю тебя: говорю это тебе искренне, но я не люблю тебя, ибо мне ненавистен образ твоих мыслей и еще ненавистнее его осуществление».) Он был не зол, но он был холоден, поскольку нарцисстичен. Такие сочетания людям обычно не нравятся: они не любят интровертов. А Бакунин был несомненный интроверт, несмотря на обширное, как тогда говорили, *знакомство* – со всей Европой. Но был у мерзавца талантишка: умел говорить, заводить людей речами. Производить впечатление. Даже на крупных людей, например на Вагнера (о Прудоне мы уже говорили). У него, по-видимому, было то, что сейчас называется харизма. Нужно было долго его знать, чтобы выработать к нему неприязнь. Да и неприязнь ли? В «Письмах старому товарищу» Герцену неприязни не чувствуется. Хотя, конечно, Герцен его не уважал, это чувствуется в каждой строчке «Былого и дум».

Эта бытовая, что ли, уютность, примиряла с ним многих – и современников, и умных потомков. Блок о нем замечательно написал (тоже ведь Бакунин своего рода!):

Только гениальный забулдыга мог так шутить и играть с огнем... Сидела в нем какая-то пьяная бесшабашность русских кабаков: способный к деятельности самой кипучей, к предприятиям, которые могут привидеться разве во сне или за чтением Купера, – Бакунин был вместе с тем ленивый и сырой человек – вечно в поту, с огромным телом, с львиной гривой, с припухшими веками, похожими на собачьи, как часто бывает у русских дворян.

Не менее интересно высказался Эренбург – из совсем уже другой эпохи, – увидевший в Испании 1931 года ученика Бакунина – безграмотного батрака:

На какие только нелепости не падка история! Думал ли барчук Мишель, российский бунтарь и растяпа, медведь, игравший с бомбами, и сентиментальный корреспондент Николая Первого, что через семьдесят лет у него найдется ученик, полуграмотный батрак в деревне Фернан Нуньес?..

Против Бакунина выступал Маркс. Их спор давно решен историей: Маркс стал учителем мощного государства, которое теперь строит Магнитогорск и организует колхозы. Это – сто шестьдесят миллионов и победоносная революция. Бакунин стал учителем вот этого батрака.

Понятно, почему Бакунин привлекал батраков, – жизнь у них была тяжелее смерти. Но можно ли назвать это революцией, стратегией ее и тактикой? Тот же Эренбург описал в испанских мемуарах, как анархисты-бакунинцы устроили анархо-коммунизм в провинции Арагон: обобществили кур и разрушили, как буржуазную, железную дорогу.

В Бакунине, медвежатом Мишеле, очень трудно увидеть некий – и вполне зловещий – демонизм. То, что он плел в бесконечных письмах своим единомышленникам по Юрской федерации или даже в печатных сочинениях (пресловутая статья 1842 г. «Реакция в Германии», сделавшая ему имя, со знаменитой кодой: «Страсть к разрушению – это творческая страсть»), могло сойти и за «диалектику». Нужно брать человека в его бытовых проявлениях, в туфлях и в халате, так сказать, чтобы увидеть – заглянуть – в его подноготную: в случае Бакунина, надо признать, малоприятную.

Мы сказали: Бакунин – это Обломов. А что если сказать другое: Бакунин – это Гитлер? Комический, естественно, Гитлер – как, скажем, в фильме Чаплина «Великий диктатор», когда далеко не всё было известно об этом эквилибристе, игравшем даже не бомбой, а глобусом? Бакунин – зарождение типа Гитлера в недрах европейской культуры. Счастливо – до поры до времени – миновавшее Россию. Бакунин был (и остался?) евро-

пейским явлением. Ожившим в Мае 1968 года, когда в России – в СССР! – давно уже с этим делом покончили, и Бакунина, удивившись, вспомнили разве что как раз по этому случаю.

Артур Мэнделл в книге о Бакуanine (1981) пишет бесспорное: анархизм Бакунина – не проповедь свободы, а угроза для нее, это нарцисстический эскапизм, бегство от власти как от ответственности, стихийный страх нарцисса перед обществом. Призыв к действию – вербальная спекуляция, не политика, а риторика. Сам он не искал, но избегал власти – отсюда анархизм и, добавим, поиски диктаторов на стороне – от Муравьева-Амурского до Нечаева. Даже Романов готов был при случае предпочесть и Пугачеву, и Пестелю. Бакунин – типичный «предтеча»; Ленина ли? Мэнделлу очень хочется поставить Бакунина на место Маркса в знаменитой советской троице: он находит у него, несмотря на весь его анархизм, зачатки тоталитарно-государственного мышления – мысль, безусловно, спорная, хотя у Бакунина можно найти скорее зачаток мысли о партии нового типа (в позднем письме Нечаеву). Причина его влияния на людей: он в индивидуальной форме выразил психическую структуру интеллигенции: та же смесь эскапизма, боязни ответственности – и всякого рода либеральная и радикальная риторика. Максимализм как камуфляж слабости; отсюда, между прочим, его репутация провокатора.

Но всё это – эмпирический уровень, знание необходимое, но недостаточное. Это индивидуальная психология, а нам нужна метапсихология, даже мистика.

И тут мы должны вернуться к уже затронутой теме, очень парадоксально, признаемся, звучащей в случае Бакунина, Мишеля, человека хотя и холодного, но как будто слишком вялого для таких сильных чувств, – это ненависть его к матери.

Бакунин писал сестрам:

Вы должны быть все вместе, должны быть счастливы, – наперекор врагам, или лучше сказать, врагу нашему – матери, для которой в душе моей нет другого чувства, кроме проклятий и самого глубокого презрения. Она источник нечистоты в нашем семействе, – ее присутствие, ее существование есть уже оскорбление святыни.

В другом месте:

Мать же нашу я проклиная, для нее в моей душе нет места другим чувствам, кроме ненависти и самого глубокого, решительного презрения. <...>

Не называйте меня жестокосердым; пора выйти нам из сферы фантастической, бессильной чувствительности, пора становиться людьми и быть столь же постыдными и сильными в ненависти, как и в самой любви; не прощение, но неумолимая война нашим врагам, потому что они враги всего человеческого в нас – враги нашего достоинства, нашей свободы.

У нас нет материалов, позволяющих хотя бы с минимальной дозой вероятности судить о бакунинской матери как о некоей заслуживающей ненависти ведьме. Из подобных матерей разве что тургеневская вспоминается (да и не ведьма, а просто вздорная богатая барыня). Семья огромная – одиннадцать человек детей (Мишель – старший), отец – культурнейший человек, бывший дипломатом в Италии, знаток итальянского языка и культуры, писавший очень профессионально-грамотные стихи. Вообще семья Бакуниных была, что называется, «славной», давшей России многих полезных культурных деятелей. Мишель был самым знаменитым, но он-то и был урод в семье.

Бакунин являет типичные черты тяжелого, патологического нарциссизма как раз в его отношении к матери. Тот же Белинский, 24 февраля 1840 г.: «Я уважаю его, удивляюсь ему, но не как солнцу, всё оживляющему, всё согревающему, а как великолепному северному сиянию. <...> Мне что-то крепко кажется, что этот человек, кроме себя, еще никого не любил».

Не умея как следует сойтись с людьми (как мы уже видели, его уроки диалектики кончались драками с учениками), он умело эксплуатировал своих многочисленных сестер. Главным приемом было – мешать их замужеству. Для этого шла в ход та же философия: «Абсолютная свобода и абсолютная любовь – вот наша цель; освобождение человечества и всего мира – вот наше назначение». Сестре Варваре, отговаривая ее от брака: «Скажи же мне, ты нашла, что твой муж живет в Абсолюте, но чем же он связан с ним – картошкой или изрекаемыми им глупостями? Нет, Варинька, он стоит вне абсолюта, он и абсолют это – две крайности, которые никогда не соприкоснутся».

Вообще, читая что-либо о пресловутых «людях сороковых годов», хочется читаемую книгу – сжечь. Они были раздражающе смешны, так что уже и не смешно становится, а противно. Вся эта бакунинская семейная компания, увеличенная постоянно гостившими московскими друзьями, вся эта «Прямухинская идиллия», как ее принято было раньше называть, – в современном человеке вызывает нервные судороги. Все были друг в друга влюблены: и Станкевич, и Боткин, и Белинский в соответствующих Варинек, Таничек и Любинец; каждое лето дислокация (или кадрили) менялась. И всё это сопровождалось многотомными письмами. Есть работа П. Н. Милокова, где подробно рассказывается об этих безобразиях. Читая такое, начинаешь ценить современность, нынешний день. Насколько лучше и здоровее была бы обстановка в Прямухине, если б эти молодые люди устроили там свальный грех!

И какой живой кажется в сравнении с ними Наташа Ростова – выдуманный персонаж, но из другой эпохи, до-философской, – Наташа, «которая хочет замуж и вообще» (Толстой, черновики).

В уже упоминавшейся очень ценной книге американца Артура Мэнделла «Бакунин: корни Апокалипсиса» этот семейно-философский сюжет даже подытожен в строгой формуле: инцестуозное влечение Бакунина к

сестре Татьяне способствовало переходу от героического (персоналистического) Фихте к гегельянскому примирению с действительностью, а смерть сестры Любови – переходу к левогегельянству. Звучит это, признаться, смешновато. Какой там Фихте, какое примирение с действительностью, когда его тянуло в землю. Ненависть к матери была экзорцизмом, заклятием, чур меня.

Пресловутое письмо Татьяне было написано 15 апреля 1836 г. (в собрании под редакцией Стеклова – № 118). Это сейчас вдоволь подпорченные Фрейдом люди готовы усмотреть в данном тексте следы инцестуозной увлеченности; для Милокова подобное письмо вполне могло сойти за типичный пример романтической экзальтированности знаменитых «сороковых годов». Так вот С. Т. Верховенский в письмах из Берлина к генеральше Ставрогиной описывал свои «афинские ночи», посвященные на самом деле углублению в тех же Гегелей. Как бы там ни было, инцеста с сестрой не наблюдалось, а ненависть к матери – была.

Приведем несколько строк из якобы скандального письма:

Я начал уже привыкать к своему новому положению, я примирился с мыслью о том, чтобы жить, не выпрашивая чувств, которые, я, по-вашему, должен был еще заслужить хорошим поведением. Я смирился и решил не видаться с вами очень долго – и вдруг я получаю письмо, которое производит во мне полный переворот. Я снова вижу себя любимым тою, кого я люблю больше всех, я вижу, что она меня больше не игнорирует, что она меня искренне понимает. Я вижу, что теперь только от меня самого зависит заставить тебя понять меня вполне. И если мне это удастся, мой очаровательный, мой обожаемый друг, ах, как я стану сливать свою душу с твоею, мою любовь с твоею! Ты увидишь наконец, как сильно я тебя люблю.

Повторяем: известная экзальтированность людей сороковых годов создает впечатление едва ли не ординарности подобной стилистики. Но Мишель, чисто по-хлестаковски, проговаривается – цитирует Карамзина: «Законы осуждают предмет моей любви».

Дело, понятно, не в матери, дело в Мишеле – тяжелом нарциссе, который отсутствующее базовое влечение старается подменить всевозможными эрзацами. Он чувствует необходимость любить, но не способен к этому. Отсюда эта «страсть к разрушению как творческая страсть».

Едва ли не самый знаменитый случай с Бакуниным: когда в революцию 1848 года при осаде Дрездена прусскими войсками он предложил выставить на стены осажденного города картину Рафаэля – Сикстинскую мадонну. Пруссак, мол, народ грамотный и просвещение уважающий – они не будут стрелять по Рафаэлю. Но ведь тайная надежда была, что – будут. Бакунин желал истребления образа матери, взятого в самом высоком осуществлении.

Мать как «источник нечистоты в нашем семействе» – это слишком

сильно сказано, чтобы пытаться усмотреть здесь какую-то эмпирику и разбираться в чьих-либо характерах и семейных конфликтах. Не Мессалиной же она была, в конце концов, и не Салтычихой. Здесь не эмпирика, а метафизика, метапсихология, уже, как мы видели, описанная Фроммом в случае Гитлера. Ненависть к матери идет из негативно-инцестуозного желания упасть в эту «грязь» и раствориться в ней. Это и называлось у Бакунина поиском «чистоты» и «абсолюта». Эта абсолютная чистота – смерть. Белая Смерть против черной Земли.

То ли в конспиративных целях, то ли почему-то еще Бакунин иногда подписывался «Матреной». Ничего гомосексуального в нем усмотреть нельзя, тут, скорее, то, что Бердяев назвал вечно-бабьим в русской душе. Но интересно вспомнить, что Матреной названа жена столяра Кудеярова в «Серебряном голубе» Андрея Белого – символ и реализация хлыстовской стихии, затягивающей в землю интеллигента Петра Дарьяльского.

4. Бакунин как христианский тип

Есть в России проблема, названная Бердяевым «апокалиптика и нигилизм»; собственно, главная русская проблема. Русский нигилизм возник из нерешенности в православии проблемы культуры. Православие или национализировалось, ушло в быт, в обрядовое благочестие (а также в своего рода идеологическое обслуживание власти) – или в подпольных, неофициальных, скрытых, превращенных своих формах породило нигилизм как апокалиптическое неприятие мира, волю к его концу. Русские революционеры как культурный и *религиозный* тип – носители христианской эсхатологии, что и означает отсутствие подлинной секулярной культуры в России. Исключения очень малочисленны, крупных фигур – три-четыре, самая крупная – Герцен. Русские религиозные мыслители начала (прошлого) века пытались выяснить эту тему на материале самого христианства – естественно, раннего, не включенного еще в систему государственной (Россия) или культурной (Европа) службы. Есть одна серьезная работа, написанная С. Н. Булгаковым (будущим отцом Сергием), – «Апокалиптика и социализм». Констатируется связь мечты о Рае с прохождением через муки и гибель мира. Хилизм (тысячелетнее царство Христово) немислим вне этого прохождения. Эсхатологические настроения индивидуально связаны с фактом смертности человека, исторически – с трагическим опытом Израиля, крахом мессианской хилиастической установки. Таким крахом было, собственно, само христианство, почему его и не приняли иудеи. В наше время, продолжает Булгаков, это проблематика возродилась в социализме, преимущественно революционном. Он дает чеканную формулу: «Социализм есть апокалипсис натуралистической религии человекобожия».

Почти то же самое пишет позднее Артур Мэнделл: главная вина Бакунина – превращение апокалиптических ожиданий в политическую тактику.

ку. А неизбежный срыв подобных проектов вызывает в революционерах то, что Мэнделл называет «нарцисстический гнев».

Бакунин, с его инстинктами всеобщей гибели и разрушения как пути к анархическому раю, – несомненный апокалиптик. Делает ли это его христианским или, более того, хриstopодобным типом? Известно, что он был крайним атеистом, и это он сказал, что человек будет рабом до тех пор, пока существует Бог. Революция – богоубийство. Но вот Артур Мэнделл замечает, что Бог у Бакунина – это не отцовская, а материнская фигура. Убить ему нужно – Мадонну (дрезденский эпизод). Стоит ли тут обсуждать проблему отношения самого Христа к Матери? Евангельская апофега общеизвестна (см. Матфей, 12, 46-50; Лука, 8, 19-21).

Нужно всё время помнить то, о чем доказательно написал тот же Эрих Фромм в книге «Миф Христа»: Богоматерь – позднейшая в христианстве фигура, изобретение Церкви, самой и пожелавшей выступить в этом образе милосердной и всепрощающей заступницы. Становление этого образа прошло через такие курьезы, как бородатые Мадонны, запечатленные лучшими религиозными живописцами. В первохристианстве мать элиминировалась, не существовала как религиозная фигура. В этом смысле у Бакунина наблюдается первохристианская интуиция, что и характерно для истинного апокалиптика.

Существует документ, вокруг которого десятилетиями спорили историки: кто его написал – Бакунин или Нечаев. Это пресловутый «Катехизис революционера». Сейчас как будто склоняются к мнению, что писали – оба. Это изуверский документ, и как-то не хочется связывать с ним добродушно-комический облик Мишеля. Но как в теоретической мысли, так и в психологии Бакунина не было ничего, что могло бы помешать ему подписаться под известными тезисами «Катехизиса» (а то и написать их), и главным из них: революционер – конченный человек, у него нет ни семьи, ни мира, ни тяготения к миру. Повторим: благодушный облик ленивого и сырого Мишеля не может скрыть от нас главного его качества, замеченного уже в молодости друзьями (?) и собеседниками: он был человек холодный («северное сияние», по Белинскому), не способный к любви, в каковой неспособности его «скопчество» было лишь внешней манифестацией этого глубокого равнодушия к миру, со временем перешедшего во враждебность. «Катехизис революционера» можно понять как экстремальное выражение известного христианского отношения к семье, к близким, к отцу и матери: «тот, кто не оставит ради Меня...» или: «Враги человека – домашние его». Это великие слова, но они не столь путеводны, как хочется это иногда видеть. Нужны экстремальные ситуации, чтобы почувствовать экстремальную правду христианства. Солженицын это объяснил: попав на Лубянку, забыть о мире вовне и о любимых в нем людях. Бакунин же эту Лубянку строил, создавал ее проект. Его собственная десятилетняя отсидка в крепости была своего рода отдыхом, возвращением в сон Обломова. Шлиссельбургская камера превращалась в могилу и материнскую утробу

одновременно. В сущности, здесь он достиг своего идеала, своей, лучше сказать, формы. Есть люди, рожденные для одиночного заключения, воспринимающие его не как кару – как премию, счастливый подарок судьбы.

Мы не вправе не видеть в христианстве как таковом этой темы равнодушия, а то и прямой враждебности к повседневным реальностям бытия, к плотской теплоте, к мирному обывательскому быту. Это более чем достаточно разъяснил Розанов (показавший, что русское православие если чем и хорошо, то этим примирением с бытом, осетрами за пасхальным столом). В сущности, христианство – воинский устав. Оно рассчитано на Апокалипсис, это его тактика и стратегия. Христу – врагу мира – нужна «солдатня» (Томас Манн в «Докторе Фаустусе» – поражающая параллель к «Двенадцати»). «Двенадцать» поднимает тему апостолов как разбойников. А это и есть тема Бакунина. Революционный кадр для него – изгой, маргиналы, отбросы общества.

В замечательном письме Герцену и Огареву от 19 июля 1866 года Бакунин безошибочно указал, что они запнулись о русскую избу, которая стоит в азиатской неподвижности тысячу лет и еще столько же простоит (это о теории крестьянского или общинного социализма): «Ищите публики новой, в молодежи, в недоученных учениках Чернышевского и Добролюбова, в Базаровых, в нигилистах – в них жизнь, в них энергия, в них честная и сильная воля». И много позднее Бакунин пишет Нечаеву, как бы продолжая то давнее письмо: «...организация революции должна опираться на бродяг, богомоллов, бегунов, воров и разбойников. Разбойник и вор – народные элементы, органика русской жизни. Кто у нас не разбойник и вор? Включая правительство».

Всё это очень легко сравнить с позднейшим Маркузе и увязать с влиянием, хотя бы символическим, Бакунина на события Мая 1968 года, но нас интересует русский контекст. Бродяги, бегуны, воровы и разбойники – это герои платоновского «Чевенгура», в то же время преисполненные «товарищеской» любви друг к другу. Чевенгур – революция по Бакунину. Конечно, не удавшаяся: государство, «кнута-германская империя» (в России всё государственное идет от немцев, и немец Маркс обещает горшее ярмо, предрекал Бакунин), победило, но сама революция не была бы возможной без этой взрывной силы, без этого горючего, на котором двигались уже не платоновские, а сорокинские «ломтевозы».

Архетип бакунинского революционера – разбойник, распятый одесную Христа, которому обещано завтра же войти в царство небесное.

Существует еще один сюжет, связанный с христианскими импликациями бакунинской мысли и жизни. Есть еще один литературный персонаж, вокруг которого однажды развернулась небезынтересная дискуссия. Бакунина пытались увидеть в герое «Бесов» Ставрогине. Инициатором дискуссии выступил известный достоевсковед Леонид Гроссман, возражал ему марксист и исследователь Бакунина Вяч. Полонский. Одним из аргументов в споре за Ставрогина как Бакунина была импотенция последнего, кото-

рую читатель вправе увидеть и у Ставрогина (отнюдь «не взявшего» Лизу). Что касается Даши, то она явно готова на «белый» брак со Ставрогиным. Травестией брака была и женитьба Ставрогина на Марье Лебядкиной. Это его Антонина Квятковская, взятая карикатурно.

Ставрогин у Достоевского – демонизированный Христос.

Значит ли всё это, что импотенция – необходимый элемент наших персонажей – как реальных, так и литературных? («Пробничество», по Шкловскому.)

Да, если мы будем помнить о христианских импликациях этого сюжета. «Христос – не мужчина», – сказал Ницше, и эти слова не следует упускать из виду. Конечно, здесь речь идет не о недостатке пола, а о его, допустим, преодолении. Идеальном преодолении, конечно. В реальности мы с такими случаями не сталкивались: как католический поп – так педераст. Это природа, влезшая в окно. Но как идеальный тип Христос – и даже христианин – может быть взят вне пола и вне уничижительного определения «импотент».

«Перестаньте быть Эразмами, станьте Лютерами», – призывал Бакунин друзей Герцена и Огарева. Он забывал при этом, что символически-высшим моментом Реформации была женитьба Лютера.

Другой вопрос: может ли бесполость быть благой? Возможна ли тут пресловутая сублимация? У Леонардо да Винчи, похоже, может, но у наших, что Ставрогина, что Бакунина, никакой сублимации и не было. Была – истерия сорвавшегося духа, лишенного своего естественного телесного восполнения.

Ставрогин, при всем своем джентльменстве (где-то за кадром, в далеком давнем Петербурге) обладает чертой того же бакунинского мазохизма. Здесь важен не только и не столько эпизод с Шатовым, сколько разговор с отцом Тихоном. Эту ему признается Ставрогин в невыносимых наслаждениях, получаемых им при всяком унижении, припоминая при этом Руссо. Но бедный Жан-Жак обладал еще одним стыдным пороком, свойственным, по словам Ставрогина, и ему самому. Это всё тот же онанизм.

5. Черный нал

С недавних пор этот порок, реабилитированный еще психоаналитиками («Доктор Штеккель заслуживает памятника от освобожденного им юношества», – написал Фриц Виттельс о коллеге-фрейдисте, разоблачившем миф о пагубности онанизма), приобрел новое качество философской проблемы. Мы говорим, конечно, о «Грамматологии» Жака Деррида, о тех ее сенсационных главах, что посвящены Руссо вообще и его «Опыту о происхождении языков» в частности. Читать Деррида трудно, но на человека, раскусившего этот орешек, нисходит некое Откровение (прописная здесь вполне уместна).

Мы теперь можем «реабилитировать» онанизм Бакунина, увидев в нем не только времяпрепровождение лентяя-лежебоки, но и некий источник вдохновения, призыв к действию, мощный энергетический двигатель.

Вообще и вне Деррида Бакунин по-новому смотрится в ситуации постмодернизма. Он, по-нынешнему говоря, умел разглядеть насильственность любого дискурса, был способен увидеть за ним хаос. Истина бытия представляла – небытием. Вот туда его и влекло, как к последней правде. Он практически двигался к тому, что современные французские постструктуралисты, едва ли не облизываясь, описывают на бумаге. Он прозревал небытие, как Делёз. И он куда более представительная в этом смысле фигура, чем канонизированный Делёзом Захер-Мазох. Была когда-то общеобязательная в советской идеологии формула Сталина (надо полагать, подсаженная ему каким-нибудь Стэнном): немецкая классическая философия – это немецкая теория французской революции. Сейчас мы едва ли не вправе сказать, что современная французская философия – теоретическое осознание русско-советского революционного опыта: опыта практического если не уничтожения, то принижения, регрессии бытия. *Еще важнее – подмены его словами.* Это вот и есть современная философия парижских учеников де Соссюра. И недаром новые французы так пришлись по душе людям посткоммунистической России. Человек советского опыта очень способен понять, как реальность улетучивается в слова, в «знаки».

Может быть, поэтому русский, читая «О грамματοлогии», иногда посмеивается. У него возникает вроде бы неуместная, но почти неизбежная ассоциация с одной фразой из «Двенадцати стульев», принадлежащей слесарю-интеллектуалу Полесову: при наличии отсутствия. Философия Деррида – прямое обращение этой фразы: при отсутствии наличия. Задание Деррида – опровергнуть Хайдеггера и метафизику вообще, которая стоит на базовом понятии наличного самодостаточного бытия. И Деррида старается доказать, что наличие – это абстракция, методологическая условность. Деррида и вообще сильно похож на Гегеля, а здесь он прямо идет за гегелевским понятием чистого бытия, равного ничто. «Чистого бытия» нет, и напрасно его ищет Хайдеггер. Всё это строится на философии языка, данной в структурной лингвистике Соссюра.

Деррида заводит ныне знаменитую дискуссию с Леви-Строссом по вопросу о письме, которого, по уверению последнего, не было у индейцев намыквар. Письмо было всегда, возражает Деррида, самый язык – это уже письмо. А в присутствии языка исчезает пресловутое самоналичие. Быть названным – значит уже подвергнуться извлечению, изгнанию из первобытного доязыкового единства, из самоидентичности – быть включенным в систему, где ничто не существует само по себе. Здесь стоит процитировать самого философа:

Именован, давая имена, которые иногда будет запрещено произносить, – таково первоначальное языка, или, иначе говоря, вписывание в различие,

в классификацию, приостановка абсолютной звательности. Помыслить уникальность внутри системы, вписать его в систему – таков жест прото-письма: это прото-насилие, потеря «собственного» смысла, абсолютной близости, самоналичия – по сути, потеря того, что никогда не имело места, самоналичия, которое не было реально дано, но лишь грезилось, всегда-уже будучи раздвоенным, повторенным, способным явиться лишь в момент собственного исчезновения.

Это чистый Гегель, конечно. Но Деррида интереснее Гегеля, потому что он, в отличие от классика, уже знает и использует Фрейда. Его собственная философия очень органично вписывается в психоаналитические контексты. Поэтому, может быть, он и за Руссо берется, что Жан-Жак для психоанализа, что называется, case study – идеальный демонстрационный пример.

Здесь нужно обратиться к очень важному у Деррида термину *восполнение*. Опять же вспомним Гегеля, у которого мир строился в процессе самодвижения понятия – и был, в конечном результате, самым этим понятием, познавшим самое себя. Логика – это онтология, наука о первоосновах бытия, то есть метафизика. Деррида (на примере Руссо) видит мир по-другому: в бытии нет имманентной движущей силы, нет источника развития. Бытие нуждается в восполнении для того, чтобы прийти в движение и породить формы культуры и общества. Строго говоря, восполнение – это воображение. Здесь чувствуется инспирация Сартра, утверждавшего, что воображение – решающий довод в пользу человеческой свободы: если бы бытие было сплошь детерминировано, ничего не происходило бы, оно двигалось бы по запрограммированному (кем-то) кругу, и воображение не было бы возможно. У животных нет воображения. Воображение – это то не существующее реально, что дает реальности (условный термин) толчок к движению. Если смерть не дана в опыте, если смерть только образ, то и любой образ – это смерть: несуществующее. Тут мы узнаем гегелевское ничто, которое в соединении с чистым бытием (собственно, последнее и есть ничто) дает становление. Отличие Деррида от Гегеля в этом отношении – в психологизации проблемы. Понятие восполнения он берет у Руссо, рассказывающего о своем онанизме как некоем «опасном восполнении», позволявшем ему, строго говоря, жить, и в каком он разглядел механизм самого действия природы. Письмо – восполнение языка, его знаковая замена. Чтобы показать себя, надо спрятаться в знаке, в письме. Это всеобщая модель.

В нем (восполнении) сосредоточены и прогресс как возможность упадка, и регресс в сторону зла, который вовсе не является естественным, но связан с властью замены, позволяющей нам, отсутствуя, действовать, передавая полномочия другим, действовать чужими руками. Действовать посредством письма. Эта подмена неизменно принимает знаковую форму. Знак, образ, представляющее становятся силами, «приводящими в движение всю вселенную», – вот в чем парадокс (в оригинале – скандал).

В мире нет ничего подлинного, «последней истины», ибо (само)наличия не существует, оно всегда и только представляется в том или ином знаке. Язык можно назвать подлинным до тех пор, пока в нем существуют одни гласные, но это не язык как носитель информации, то есть какого-то, хотя бы и условного, смысла – но чистая интонация, «пение». Появление согласных делает язык членораздельным, создает из него речь. Но тут и происходит исчезновение наличного бытия. Речь и письмо, при всех тонких различиях, проследить которые не ленится Деррида, но ленимся мы, однопорядковы, речь, язык, как говорилось, – уже письмо, условность. Таким образом, уже язык отчуждает: мысль, доходившая до нас в совпадении в семидесятые годы (помню статью в «Иностранной литературе» немецкого поэта Ганса-Магнуса Энцербегера), – и совершенно непонятная. Теперь-то мы видим, что это перепев Деррида, которого упомянутому Магнусу случилось прочесть раньше нас. (*Опус Магнуса Деррида* был опубликован в 1969 году.)

Теперь нужно привести совершенно сногшибательный текст Деррида, который и есть упоминавшееся Откровение:

В цепи восполнений трудно было отделить письмо от онанизма. Их объединяет то, что оба они опасны. Однако <...> они подтверждают само существование нарушаемого ими запрета, обходят опасность стороной и оберегают от растраты. Вопреки, но также и благодаря им мы всё-таки вправе видеть солнце и достаиваемся света, который удерживает нас на поверхности земли. <...>

В обоих этих случаях возможность самовозбуждения проявляется в чистом виде: она оставляет в мире свой след. Мирское пристанище означаящего остается неприступным. Написанное сохраняется, и опыт самоприкосновения заставляет признать мир как нечто третье. Внеположность пространства здесь неустраима. В общей структуре самовозбуждения, в самообеспечении наличием или наслаждением действие самоприкосновения приводит к обретению другого в чуть заметном зазоре между активным и пассивным моментом действия.

Самообеспечение наличием – вот формула культуры. Более того – самого бытия. Бытие вне восполнения – это «чистое бытие», которое, как мы знаем из Гегеля и Деррида, на самом деле не существует, равно ничто. Это бытие чисто природное, рай (равно и ад) животных. В человечестве даже дитя пользуется восполнением – кричит, чтобы на него обратили внимание и исполнили ту или иную его потребность. Детство как рай – мысль, которую не следует приписывать Руссо. Тем не менее общеизвестна его утопия о некоем первоначальном состоянии, когда всё было хорошо, а наук и искусств не существовало. Читая Руссо, Деррида эту утопию, что называется, деконструирует. Для этого он избрал малоизвестный, но, как он же теперь выяснил, один из важнейших текстов Руссо – «Опыт о происхождении языков».

Можно допустить состояние, когда речи (то бишь того же письма) еще не было – был язык как система «пения», интонирование гласных. Это условно допускаемое состояние Руссо называет «праздником». Люди жили в теплых краях и ни в чем не нуждались. Общества как организации самопомощи, как культурного начала не было. Соответственно, не было дифференциации или, как по-своему называет это Деррида, *различания*. Юноши и девушки встречались у водяных источников, предаваясь при этом разнообразным играм. В этом состоянии вполне допустим инцест, поскольку семья не была еще частью общественной структуры. Инцест – апофеоз самоналичия (то есть неразличения).

Одна из глав «О грамматологии» называется «Письмо и запрещение инцеста». Мы уже способны разглядеть логику Деррида в таком сопоставлении. Но посмотрим, как это подается самим Руссо. Инерционная система самоналичия, как мы уже знаем, не имеет внутреннего источника развития. Чтобы таковое началось, необходим некий внешний толчок. Руссо фантазирует: если бы эклиптика всегда совпадала с экватором, состояние «праздника» никогда бы не кончилось. Следует допустить, что Бог коснулся земного шара пальцем или каким-то волшебным жезлом, чтобы система пришла в движение, испортился климат, и в холодных странах началось объединение людей во вполне утилитарных целях самопомощи во взаимном выживании. Это и есть начало культуры – и конец самоналичия, то есть появление «письма»: расчлененно-дифференцированного видения мира.

Деррида доказывает, что Руссо и сам не верит в рисуемую им фантазию. Лучше было бы сказать: он не может ее доказать. Понятно почему: ему не было еще известно понятие коллективного бессознательного. Это в нем, в коллективном бессознательном, живет (русоистская) фантазия, а вернее – память об этом самом беспечальном житье в раю, бывшем, как мы теперь понимаем, свальным грехом, то есть самым что ни на есть первобытным коммунизмом. Почему исчезло это состояние? Вот тут Руссо действительно начинает фантазировать или, вернее, выражаться метафорически. Палец Бога или волшебный Его жезл – метафоры, говорит Деррида. Зная о Руссо то, что мы уже знаем, нетрудно догадаться, что означают эти метафоры. Следуя логике Руссо в истолковании Деррида, мы можем сказать, что культура началась, когда инцест был заменен онанизмом, – что и открыло дорогу прогрессу, со всем его злом, но и со всей его необходимостью. В собственных терминах Руссо–Деррида, началось «восполнение» – потому что исчезло состояние половой вседозволенности. Исчез, был табуирован инцест.

В культуре происходит «сдвиг отношения к матери, природе, бытию как основоположному означаемому», пишет Деррида. Мы вынуждены продолжить цитату – и привести нижеследующий достаточно энигматический текст:

Основоположное означаемое никогда не дано, смысл представленного бытия, а тем более сама вещь никогда не даны нам «как таковые», вне сис-

темы знаков, вне игры... В системе есть такая точка, в которой означающее уже не может замещаться своим означаемым, и поэтому ни одно означающее не может быть просто означаемым. Ведь на эту точку незаменимости ориентирована вся система означения: именно в ней основоположное означаемое выступает как обетованный итог всех отсылок и скрывается как то, что могло бы единым движением разрушить всю систему знаков. На нее указывают и одновременно ее запрещают все знаки... Эта точка не существует, она навсегда скрыта, или, что то же самое, навсегда вписана в то, чего она должна (была бы) избежать, следуя нашему неустранимому пагубному желанию.

Вот отсюда следует выводить всю мистику гитлеровского и бакунинского «землеёбства». «Основное означаемое» – материнское лоно, а по-русски говоря – Мать Сыра Земля. Прикосновение к ним уничтожает все культурные знаки («всю систему означающих»), культура больше не нужна в таком прикосновении. Погружаясь в это лоно, человек разрушает мир как культуру. Это и есть «землеёбство». «Землеёбы» – это люди, которым открыта тайна уничтожения мира. И удержаться от такого срыва они не могут, это их рок – тотальный невроз, воспроизводящий в индивидуальном бессознательном историю коллективного бессознательного, воскрешающий наихудшие пласты коллективного опыта. Индивидуальный рок способен стать всеобщим соблазном, ибо в коллективном бессознательном живет та же память об утраченном «рае» инцеста, то есть безответственно-бескультурного бытия – (само)наличия. Потому Хайдеггер и флиртовал с фашизмом, что алкал этого самоналичия как истины: подлинный мир как мир до культуры – откровение, самоявление бытия, «алейя». Это ситуация, в которой невозможен «онанизм». Поэтому Бакунин – как человек, уже захваченный культурой, Фихте и Гегелем, – убежал в онанизм от инцеста, он таким способом изживал ненависть к матери, совокупление с которой – убийство земли. Прямое, не опосредованное прикосновение к наличию, к «налу». Это поистине «черный нал», потому что земля так и называется: чернозем.

В фильме Висконти «Гибель богов» последнюю точку фашистского декаданса ставит сын, насилующий мать. (Этот сын, кстати, – «Ставрогин», повторивший в предыдущих кадрах сюжет исповеди Тихону.) Это не провокация эпатажного художника, а совершенно правильное понимание мистики сюжета.

Криминологи могут тут многое подсказать. Существует – редкий, правда, – феномен преступных сообществ матери и сына. Почти всегда они состоят в incestуальных отношениях. Представление об этом сюжете дает, например, американский фильм «The Grifters». Мать отбирает у сына «нал», при этом убивая его. «Нал» не должен принадлежать сыну. Глубочайшая символика этой ситуации, конечно, осталась непонятной рядовым кинозрителям, а может быть, и самим авторам фильма.

6. Алеша Кармазов – русский Христос

Землеёбы существовали в русской литературе задолго до Сорокина. Во всяком случае, одного можно назвать определенно – это Алеша Кармазов. В то же время в этом образе Достоевский надеялся максимально приблизиться к своей заветной теме – написать книгу о Христе. Предварительные опыты были неудачны. Князь Мышкин – фигура скорее комическая, в нем есть то, что называется христианским дионисийством, но нет обаятельной силы. Демонические элементы отданы Рогожину. Ставрогин, наоборот, тотально демоничен, при полном отсутствии некоей потребной серафичности. Алеша Кармазов был задуман как синтез этих двух необходимых начал. В нем присутствует пресловутая «карамазовщина», о чем всё время говорят другие персонажи романа. Она, вероятно, сублимируясь, и должна подвинуть его на дальнейшее развитие сюжета, как его задумывал Достоевский, о чем говорил в известной беседе с Сувориным: сделать Алешу революционером-террористом, закончившим жизнь на эшафоте – этом русском субституте евангельского креста. Достоевский, таким образом, видел христианский посыл в деятельности современных ему русских революционеров. Религиозный смысл русской революции, революционер как современный апостол – мысль, отнюдь не Мережковским придуманная, он взял ее, увидел, угадал ее у Достоевского. Последняя книга романа называется «Мальчики»: это очевидный поиск апостолов, а, по Вячеславу Иванову, – так и вообще создание некоей Церкви, творчество обетованной общины. (Можно, конечно, этих мальчиков понять и по-другому.) Так что в этом контексте загадочная поэма Блока, в которой Христос предводителем красновардейцами, – отнюдь не открытие и не сверхнормативная дерзость: он договорил то, что до него уже говорили другие деятели русского ренессанса во главе с их пророком Достоевским. Но не надо забывать и Розанова – единственного русского мыслителя того времени, иммунного к христианскому мифу, видевшего опасность христианских срывов и катастроф, по-булгаковски говоря – эсхатологичность разворачивающихся событий. Собственно уже развернувшихся; да и не развернувшихся, а мгновенно случившихся: Россия исчезла в один день, провалившись в яму, вырытую человечеству христианством, писал Розанов. Алеша Кармазов активно участвовал в рытье этой ямы, этого платоновского котлована. В романе даже описывается, как он это делал. Это концовка главы «Кана Галилейская»:

Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоя и люби сии слезы

твои...» – прозвено в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своём даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и «не стыдил-ся испуга сего».

И так далее. Я не могу больше цитировать этот плохой, открыто декларативный, нехудожественный текст, приводивший в восторг различных богоискателей: он был для них, что горьковская «Мать» для позднейшего большевицкого соцреализма. На мой вкус, это пример архискверного Достоевского. Он так же плох, как сцена чтения Евангелия Раскольниковым и Соней, но там было вмешательство катковской цензуры и спешная, абы как, переделка. Здесь же – явная декларация, сделанная с заранее обдуман-ным намерением. Произошло нечто негодное для художественных текстов: идеологическое их разжевывание, протокол о намерениях вместо самодов-леющей художественной ткани. Сцена, безусловно, имеет смысл: это вы-бор Алешей земного пути, завещанного ему, кстати, самим старцем Зоси-мой. Сюжетообразующий стержень здесь, несомненно, присутствует. Но автор забежал вперед, как будто чувствуя, что не дописать ему романа, где героем будет именно Алеша, пошедший на эшафот по причине раннего чело-веколюбия.

Этот отрывок, однако, приобретает совсем иное, и важнейшее, значе-ние, если пойти за текст, в его «бессознательное». Тогда обнажается глуби-на – о, безусловно, ведомая автору! – но, как всегда у него, тщательно и по-рой безвкусно («Дневник писателя») скрываемая. В сущности, Достоевс-кий раскрыл здесь карты, сделав вид, что он вообще в карты сроду не иг-рывал. Целование земли – безусловный эвфемизм. А подлинная речь идет всё о том же «землебстве».

Проще и яснее говоря, Достоевский видит демоническую сторону хри-стианства, проблематичность самого Христа. Он ведь уже давно знает, что «человеколюбие» – палка о двух концах, что человека, эту грязную и жест-токую тварь, любить не за что. Знает он и другое: что не следует по этому случаю морализировать, – но брать человека, как сам и сказал, со всеми его почесываниями. Знал он также, что революция человеколюбцев – со-циализм – принесет невиданные бедствия, потребует ста миллионов голов. Знал – но, как всегда, «раскидывал чернуху»: говорил о христианстве как необходимой предпосылке социализма, когда не будут «делиться», но от-дадут имение по доброй воле, по любви. Социализм способен возвести ис-ключительно человек-христианин. Но человека-христианина нет и быть не может – вот где пойнт и тайна Достоевского. Сильнее: и не должно быть. В сущности, Достоевский – на стороне Великого Инквизитора: вот чего не хотят или боятся понять. Христос непомерно зависил планку, требуя от чело-века непосильного ему. И это опасно. Это порождает негативистскую гордыню, «Ставрогина». Человек не должен быть «хорошим» – вот смысл «карамазовщины», причастен коей и милый мальчик Алеша. Христианст-во – не лучший способ решения человеческих проблем, христианское

делание опасно. Христос учил не перестраивать мир, а уходить от него, учил неделанию. И в этом, так сказать, его единственное оправдание. Оправдание Христа – в русской литературе мы не встречались еще с такой темой.

Христос оправдан, если видеть в нем, в современной методологии, *медиатора*. Он примиряет гордыню и ничтожествование. Это и есть тайна креста. Есть великий соблазн думать, что подобную медиацию мы имели в опыте коммунистической России: носитель державного империализма выступал в рабьем зраке, гроза мира смирял гордыню в продуктовых очередях. Земля, однако, русская земля, при этом погибала, истощалась, сходилась на нет. Мать Сыра Земля Марья Лебядкиной сделалась некоей недо-родиною, чуть ли не самой этой Марьей, хромоногой кликушей. Происходило «землеёбство» – не как оплотворяющий, но как разрушающий землю и человека акт. Мистерия в стиле Гитлера, негативный инцест. Поэтому возникал другой уже соблазн, розановский: не медиацию видеть в христианстве, а односторонний негативизм, нигилизм, ненависть к земле и быту. Тут и попы православные с их осетрами не помощь. И осетров тех вывели, извели. Нынешних рыбаей всё еще учит Наздратенко – этот ловец человеков. Да они и сами с усами – браконьерствуют вволю. Азовское море, говорят, скоро совсем обезрыбится. Землеёбство продолжается, распространяясь уже и на водные пространства. Русская революция, произведенная Алешей Карамазовым (допустим, Бухарин, хотя того сравнивали с князем Мышкиным), оказалась прохождением через смерть, но смерть без воскресения.

Русский человек не любит родной земли – вот смысл и как бы резон российского землеёбства. И вспоминается Бакунин, сказавший, что русские все воры и разбойники, включая правительство. Только это было у него надеждой на лучшее, а для нас стало известно чем. В новейшей русской революции – антикоммунистической – победили как раз эти самые воры и разбойники. Включая правительство: Миша Два процента и Пашка-мерседес. Бакунин победил – и почти буквально: власти нет, государства как гаранта общественной безопасности нет. Модель сегодняшнего русского поведения: украсть как можно больше – и убежать. Если не в физическом облике, то банковскими счетами. В ту же Швейцарию, куда в свое время бегали революционеры XIX века.

Кто виноват? – зададимся тривиальным вопросом. Может быть, сама Россия, бывшая русскому человеку не матерью, а мачехой? Похоже, что этот вопрос неразрешим, как проблема курицы и яйца.

Так что Алешино целование земли – это, как уже было сказано, не присяга на верность, а некий двусмысленный акт, и слезы его, при этом точимые, – как бы не крокодиловы. Сталин, говорят, иногда плакал, посылая человека на казнь. Алеша ступает на опасную стезю, о чем автор знает, но до поры до времени помалкивает. Для самого Достоевского это время не наступило, так что ему, можно сказать, повезло. Он даже до Первого марта одного месяца не дожил. Невеселая это была бы картина: увидеть Алешу Карамазова в образе Христа «Двенадцати». Но эта ипостась христиан-

ства была увидена Блоком правильно – если не в букве, то в духе Достоевского. Блоковский Христос – Алеша ненаписанного второго тома.

Но Христос «Двенадцати» – отнюдь не медиатор, он «партиец», он выбрал одну сторону. А ведь есть и другая – и как раз Достоевским в тех же «Карамазовых» описанная. Это – поучения старца Зосимы. Зосима – раскаявшийся и сублимированный Ставрогин, проводимый автором через параллельную сцену дуэли, где тот испытал мазохистское если не исступление, то умиление. Начинается проповедь любви к цветочкам и птичкам – русское францисканство. Вот это и есть истина и программа: любовь к «клеяким листочкам» (листочки эти, кстати, из Пушкина). В России не было Лютера, в чем и видят причину всех ее бед, – но ей, похоже, нужнее (по крайней мере, возможнее) Франциск Ассизский. Не лютеранство, а францисканство – проект русского будущего. Это своего рода «зеленая революция», очень возможная в обществе, не привычном к избыточному потреблению, а потому не нуждающемся в дальнейшей индустриализации и в железных конях. Конь нужен обычный, а трактор – мини: для частника на его малом наделе.

Самое интересное, что в России уже есть свой Франциск. Но его не замечают, отчасти по его же вине, потому что он выбрал словарь и стиль пророка Иеремии. Это Солженицын. Его программа, в сущности, францисканская – избавиться от лишнего, выбросить в окно папашин избыток (и не ткани нарядные, а всё это железо с компакт-дисками заодно). И это не индивидуальный стиль аскета, а объективная необходимость, потребность самой Земли. Хватит ее ебать – высасывать из нее последние соки.

«В Америке много лишних товаров», – гениально сказала теща одного эмигранта, посетившая Землю обетованную. Да и вся нынешняя индустриальная цивилизация, даже с приставкой «пост», – то же землеёбство. Между прочим, это понимал Фрейд, говоривший, что техническое вторжение в природу – не что иное, как сублимированный садизм.

Но и идеологизация Земли, «почвенничество» – прикровенное землеёбство. Это маскировка любовью того, где скрывается ненависть. Вот так Гитлер любил Германию. Почвенничество нужно не как идеология, а как агрикультура, именно как почвоведение. Не в смысле Достоевского, а в смысле Докучаева (подобная мысль мелькнула у американца Биллингтона в его знаменитой книге «Икона и топор»). Почвоведы, встаньте! Нужно земледелие, земле-делание. «Черноречивое молчание в работе» («Чернозем» Мандельштама).

Для России возможно будущее. Оно должно быть выпадением из истории, концом державности (что, собственно, уже произошло) и даже самой мысли о таковой. Она должна пойти по пути исчезнувших сверхдержав – Испании и Швеции. В сущности, ей дан сейчас великий шанс ступить на верный путь, а в ней всё еще мечтают и говорят о новой державности. На какие шиши, Костенька? Но «шиши» могут найтись в самом неожиданном месте. Вспомним о Швейцарии: Россия может стать грандиозной Швейца-

рией, подлинной туристической Меккой, рекреационным залом человечества, каникулярным парадизом. Что-то вроде этого уже, собственно, происходит: я читал о каких-то отважных американцах, добирающихся до Сибири в поисках хариуса. Но этот подспудный, «бессознательный» процесс должен быть осознан и возведен в национальную программу. Это и будет, если хотите, «русская идея». Тут самое место и отцам-пустынникам с их монастырями – естественными объектами не только религиозного паломничества, но и туризма. Отцы-пустынники любят деньги, но заколачивают ее святотатственно, прикрываясь Христом. Туризм дает этому занятию вполне легальную и корректную мотивировку. Православные реликты России – готовый музей. Русская идея – сделать из России Брюгге и Толедо. Лучшее занятие для Алеши Карамазова – археология и палеография. Христианский демонизм в России изжит в опыте коммунизма (об этом – весь Платонов), и наступила пора опробовать второй вариант – старца Зосимы.

Швеция, избавившись от наследства Карла XII, живет хорошо. Испания разбогатела на туризме. Нет ничего постыдного в этом антиисторическом эскапизме. В конце концов, Россия – уже старая страна, заслужившая отдых. Исполнится надежда Чехова: «Мы отдохнем, дядя! Мы отдохнем!» Но если у Чехова здесь шла речь о смерти, то для России такой отдых означает новую, и лучшую, жизнь.

Есть английский фильм – гротескная комедия «Морган» – о чокнутом художнике-шестидесятнике, поклоняющемся Марксу на его хайгеттской могиле. Его эскапады кончаются сумасшедшим домом, где он находит покой, обнаружив незаурядные способности в составлении цветочных клумб. Финал фильма: камера поднимается ввысь, и мы видим, что на моргановской клумбе из гвоздик и маргариток изображены серп и молот.

Нельзя пожелать для России лучшей концовки.

7. Встреча с землеёбом

Притворный ненавистник Фрейда Набоков писал в «Других берегах»:

Есть еще в каждом ребенке стремление к переленке земли, к прямому влиянию на сыпучую среду. Вот почему дети так любят копать в песке, строить шоссе и туннели для любимых игрушек.

А почему? Ответа и объяснения не дается. Это тавтологическое утверждение: опиум усыпляет потому, что имеет усыпляющую силу. Если б Набоков еще вспомнил, что существует фобия сыпучих тел, ему пришлось бы по-другому отозваться о «венском шарлатане». Не будь реальностей, открытых Фрейдом, как был бы возможен Гитлер? Или Набоков всерьез считал, что сублимироваться можно и должно только в искусстве? Насколько глубже был Томас Манн, увидевший в художниках стихию жуль-

ничества и шарлатанства, – поэтому и Гитлера причислившего к оним («Братец Гитлер»).

В той же набоковской книге есть и такие слова:

Невинность наша кажется мне теперь почти чудовищной при свете разных исповедей за те годы, приводимых Хавелом Эллисом, где идет речь о каких-то малютках всевозможных полов, занимающихся всеми греко-римскими грехами, постоянно и всюду, от англосаксонских промышленных центров до Украины (откуда имеется одно особенно вавилонское донесение от помещика).

Однажды мне пришлось увидеть такого малютку, развлекавшегося как раз перелепкой земли. Было это уже давно – году в 47-м, в дачном местечке под Питером, называющемся Мельничий Ручей. Есть там небольшая речонка, и один из ее берегов дачники использовали как пляж. На этом пляже я и наблюдал потрясшую меня (запомнил же навсегда!) сцену. Мальчишка лет восьми-десяти, голый, вырыл в песке небольшую ямку и, раздрочив пипирку, стал ее в эту ямку совать. Этот случай явно опровергает Набокова и подтверждает правоту Фрейда; да Набоков, в случае Хавелок Элисса, и сам не отрицает существования подобных вавилонян. В любом человеческом действии, и у невинных малышей в том числе, можно обнаружить сексуальный подтекст. И даже не путем сложных психоаналитических разговоров, а воочию, как зримый факт.

Наблюдавшийся мной землеёб принадлежит, однако, скорее к ведомству Юнга, а не Фрейда. Его упражнения обнажили древнейший архаический слой коллективного бессознательного, дали возможность заглянуть в праисторию человечества. Всё так и было, как догадывался Руссо и растолковал Деррида. Я увидел малый фрагмент того «праздника», что гипотетически описывал Руссо в «Опыте о происхождении языков», причем для вящего сходства дело происходило как раз у водного источника. Мальчишка, тыкавшийся в земляную ямку, не был чудовищным извращенцем, – он был первобытно, райски невинен. Тут не было ничего «бессознательно-го», вытесненного, а значит, патогенного. Не было идеологической сублимации, как у Гитлера. Это был не Гитлер, но – в худшем, так сказать, случае – Руссо. На языке Деррида, парнишка вышел к основоположному означаемому и единым движением разрушил всю систему знаков. Он «вторгся в мирское пристанище означающего». Это было экспериментальное подтверждение гипотез французской философии – если не Деррида, так того же Руссо. Ему не нужен был даже инцест – он сразу вышел на максимальную глубину: совокупился с Матерью Сырой Землей. Как говорят землеёбы у Сорокина: погребение – это всегда весело. Если в этом случае и обнажилось чье-то бессознательное – так Достоевского с его Алешей, целующим землю. Но для Алеши – как для Гитлера или Бакунина – такое занятие не может быть демонстрацией пристинной невинности, ибо все

они существуют уже в культуре и, следовательно, впадают в глубокий регресс, грозящий подлинной гибелью Земле.

Как уже было сказано, сублимацией в таких случаях должна быть не идеология крови и почвы в разных ее вариантах, а садоводство художника-марксиста Моргана. Серп и молот – да хоть и свастика, – но из цветочков. И птички запоют – не стальной соловей, а настоящий, из семейства воробьиных.

В сущности, что-то в этом роде уже и происходит – но исключительно на теоретическом уровне (постмодернизм как игровое переосмысление «серьезной», с атомной бомбой, культуры) или в разного рода маргинальных движениях: хиппи, панки; любители татуировок – тоже ведь дети цветов. Вообще нынешние игры подчиняются (может быть, невольно) глубокой символике. В рамках так называемого «реального телевидения» беспутную миллиардерскую дочку Пэрис Хилтон отправили работать на ферму для передачи под названием «Простая жизнь». Вышла, конечно, дурацкая комедия – но так и надо.

Давно уже стало ясно, что предаваться так называемым сексуальным извращениям надо открыто, а не таясь: тогда отпадает необходимость маскироваться всякого рода опасными сублимациями. Как известно, неудовлетворенные желания порождают чуму. Выразительный пример из последних – скандалы в американской католической церкви, оказавшейся прибежищем педофилов. Это гомосексуалисты, которые пошли в католическое священнослужение в ложной надежде преодолеть пол путем христианской сублимации. Нынешние гомосексуалисты не скрываются, поэтому им не нужно идеологическое прикрытие, порождающее всякую бесовщину.

Я имею еще кое-что сообщить о виденном мной мальчишке-землеёбе. Я видел его в другой раз за другим занятием: он вставил в мочевого канал щепку и посыпал эту конструкцию песком: еще один пример набоковской игры с сыпучей средой. Это было как-то совсем уж непонятно, но со временем мне пришел на помощь знаменитый Альфред Кинзи – руководитель двух проектов сексуальных исследований («Половое поведение мужчин», 1947, и «Половое поведение женщин», 1953). Для полового просвещения человечества этот Кинзи сделал больше, чем Фрейд со всем собранием его сочинений. У Кинзи всё просто: это статистический подсчет и описание способов сексуального поведения, приводящие к выводу, что так называемой сексуальной нормы просто не существует. Недавно вышла книга о Кинзи, умершем в 1956 году, – его биография, из которой мы узнали о его собственных чудачествах: он любил вставлять в уретру зубную щетку, причём щетинистым ее концом.

Последуем Достоевскому – возьмем этого человека со всеми его почесываниями.





NON FICTION

Владимир Прибыловский
Юрий Фельштинский

ОПЕРАЦИЯ «НАСЛЕДНИК»

Штрихи к политическому портрету В. В. Путина

Глава третья*

ПУТЬ К ПРЕСТОЛУ

Вторая чеченская война как часть пиарной кампании Путина

14 сентября 1999 года, вскоре после взрыва второго жилого дома в Москве, Путин выступил на заседании Государственной думы, посвященном вопросу борьбы с терроризмом. Основные тезисы Путина: 1) восстановление подчинения местных силовых органов федеральным; 2) недопустимость репрессий по национальному признаку; 3) Чечня – террористический лагерь; 4) критическая характеристика хасавюртовских соглашений; 5) временный карантин по периметру Чечни; 6) Чечня остается субъектом РФ; 7) требование от чеченских властей выдачи преступников; 8) безжалостное уничтожение бандитов в случае перехода ими границы; 9) особый экономический режим по отношению к Чечне; 10) формирование чеченского (пророссийского) правительства в изгнании; 11) необходимость закона о борьбе с терроризмом; 12) политики, использующие сложившуюся ситуацию для предвыборных целей, – не лучше террористов¹.

Однако день начала большой войны был предопределен событиями 22–23 сентября в Рязани. После рязанского провала ФСБ взрывы жилых домов в России прекратились. Рязанский теракт был последним в сентябрьской цепи. Начинать военные действия надо было немедленно, до того как российское общественное мнение, опирающееся на тогда еще независимые

* Глава из книги, которую авторы намерены завершить в ближайшие месяцы. Главу первую см. в № 1 «Nota Bene».

СМИ, узнает о рязанских «учениях» и, сопоставив факты, не заподозрит, что, возможно, теракты в России организуют спецслужбы для начала второй чеченской войны.

23 сентября начальник Московского УКГБ Александр Царенко заявил, что взрывы в Москве организовали чеченцы и что виновные уже арестованы (позднее оба московских ингуша, которых А. Царенко имел в виду под «чеченцами», были освобождены ввиду их полной непричастности к терактам). В тот же день российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по аэропорту Грозного, нефтеперерабатывающему заводу и жилым кварталам в северных пригородах чеченской столицы. Путин, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «Что касается удара по аэропорту Грозного, то прокомментировать его не могу. Я знаю, что есть общая установка, что бандиты будут преследоваться там, где они находятся. Я просто совершенно не в курсе, но если они оказались в аэропорту, то, значит, – в аэропорту». Видимо, Путину как премьер-министру известно то, чего не знает еще население страны: террористы, пытавшиеся взорвать дом в Рязани, отсиживаются в грозненском аэропорту.

24 сентября, выступая в столице Казахстана Астане, Путин заявил, что авиаудары наносятся «исключительно по базам боевиков, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. <...> Если найдем их в туалете, замочим и в сортире». В тот же день Патрушев сообщил, что попытки подрыва дома в Рязани не было, были «учения». Но война шла уже полным ходом. 1 октября российская бронетехника пересекла административную границу Чечни и углубилась на пять километров.

К исходу первых двух месяцев второй чеченской войны становится очевидно, что военные действия были развязаны российским правительством для начала реализации стратегического решения: перехода страны с пути реформаторского (ельцинского) на путь военно-чекистско-бюрократический (путинский). Путинские античеченские, прочекистские, написанные языком военного коменданта указы для России 1999 года выглядели дико не только по существу, но и по форме. Так, 6 декабря жителям Грозного был предъявлен «ультиматум Путина» – требование российского военного командования в Чечне к жителям Грозного покинуть город до 11 декабря через «коридоры безопасности». «Лица, оставшиеся в городе, – говорилось в ультиматуме, – будут считаться террористами и бандитами. Их будут уничтожать артиллерия и авиация. <...> Все те, кто не покинул город, будут уничтожены»².

Позже ультиматум был частично дезавуирован как имеющий своим адресатом не всех жителей Грозного, а только боевиков. 13 января Путин санкционировал запрет на въезд и выезд из Чечни мужчин в возрасте старше десяти и моложе шестидесяти лет. Распоряжение о запрете было подписано генералом Виктором Казанцевым, но уже 15 января отменено из-за протестов общественности. 21 января на заседании коллегии МВД Путин предупредил о возросшей опасности новой волны террористических актов чеченских сепаратистов в российских городах.

20 декабря, в День чекиста, Путин восстановил памятную плиту в честь Ю. Андропова на стене здания ФСБ в Москве. 31 декабря подписал правительственное распоряжение о восстановлении начальной военной подготовки в школах. В феврале 2000 года Путин подписал указ о восстановлении особых отделов в армии.

После завершения многодневного штурма Грозного 6 февраля он объявил, что «взят последний оплот террористов – Заводской район Грозного, – и над одним из административных зданий был водружен российский флаг. Так что можно сказать, что операция по освобождению Грозного закончилась». Очевидно, Путин торопился завершить «маленькую победоносную войну» до мартовских президентских выборов. (Через четыре года, в феврале 2004 года, он уже не будет делать вид, что «маленькая война» завершилась, а победу на выборах будет обеспечивать совсем иным способом.)

Путин – и. о. президента

19 декабря 1999 года на выборах в Государственную думу третьего созыва блок «Единство» («Медведь») получил 23,32% голосов в общегосударственном многомандатном округе – второе место после коммунистов (24,29%). Блок «Отечество – вся Россия» (ОВР) Евгения Примакова и Юрия Лужкова получил 13,33%. Тогда же основной конкурент Путина на предстоящих президентских выборах Евгений Примаков заявил об отказе состязаться за президентское кресло. Те, кто планировал еще больше укрепить позиции Путина как претендента на престол, решили сделать его формальным наследником. 31 декабря 1999 года президент Ельцин в предновогоднем обращении преподнес россиянам новогодний подарок – заявил об уходе в отставку с поста президента и назначении Путина и. о. президента до проведения досрочных выборов (назначенных на 26 марта). За это, в соответствии с предварительной договоренностью между Ельциным и Путиным, в начале января 2000 года Путин издал указ об иммунитете первого президента России и членов его семьи против любых судебных и административных преследований.

В январе в новой Думе были созданы две фракции поддержки и. о. президента – «Единство» и «Народный депутат». Две другие центристские номенклатурно-олигархические фракции – «Регионы России» и «Отечество – вся Россия» – также декларировали лояльность Путину. В этих четырех центристских пропутинских фракциях состояло более половины депутатов Думы. В период существования Думы третьего созыва твердое пропрезидентское большинство составляло в ней от 230 до 235 депутатов, почти всегда голосующих в соответствии с командами заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова «по пейджеру». Помимо поддерживающего и. о. президента думского центра практически столь же лояльной стала ЛДПР Владимира Жириновского и большая часть фракции «Союз правых сил».

Имея твердую поддержку центра, администрация президента без тру-

да проводила через Думу необходимое правительству текущее законодательство, требующее абсолютного большинства в 226 голосов. В случае необходимости проведения конституционных законов, требующих квалифицированного большинства (300 голосов), администрация опиралась либо на либерально-центристское «правопутинское» конституционное большинство (центр, ЛДПР, СПС, «Яблоко»), либо на державническое «левопутинское» большинство (центр, ЛДПР, КПРФ, прокоммунистическая Агропромышленная группа Николая Харитонов).

Эпизодически в качестве оппозиции справа («системной оппозиции») выступала фракция «Яблоко», некоторые независимые депутаты (Владимир Рыжков), а также несколько депутатов от СПС (Сергей Ковалев, Юлий Рыбаков, Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин, Владимир Головлев). Колесания между лояльностью и оппозиционностью иногда демонстрировал Б. Немцов – что, впрочем, проявлялось скорее в риторике, чем голосованиях. В Совете Федерации второго созыва в некоторой оппозиции к Путину находился только президент Чувашии Николай Федоров.

Президентские выборы

15 февраля 2000 года Путин был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом на пост президента. 18 февраля он посетил в качестве кандидата Иркутск, где поддержал идеи предлагавшегося Союзом правых сил референдума по четырем вопросам: о необходимости расширения гарантий защиты частной собственности; об ограничении депутатской неприкосновенности; о направлении в зоны вооруженных конфликтов только военнослужащих-контрактников; об ограничении права президента немотивированно отправлять в отставку правительство. В тот же день Путин одобрил идею «запретить секс, насилие и терроризм» на телевидении.

25 февраля было опубликовано «Открытое письмо Владимира Путина к российским избирателям». Через три дня на встрече в Москве со своими доверенными лицами Путин заявил, что «крайне важно создать равные условия для всех участников политической и экономической жизни России. Надо исключить то, чтобы кто-то присосался к власти и мог использовать это для своих целей. Ни один клан, ни один олигарх не должны быть приближены к региональной и к федеральной власти. Они должны быть равно удалены от власти и пользоваться равными возможностями».

На президентских выборах Путин был официально поддержан «Единым» Б. Грызлова – С. Шойгу, НДР Виктора Черномырдина, «Отечеством» Ю. Лужкова, объединением «Вся Россия» В. Яковлева – М. Шаймиева, движением «Народный депутат» Г. Райкова, «Союзом правых сил», «Аграрной партией России» (АПР) Михаила Лапшина и рядом других организаций. Особую и неоценимую поддержку Путину оказало Общественное российское телевидение Б. Березовского.

Плохо ориентировавшийся в избирательной кампании Путин обещал всем всё, что мог. 2 марта на встрече с избирателями в Звездном городке он пообещал поддержать существование российской орбитальной станции «Мир», заверив, что «вопрос только в финансировании, и он будет решен» (через год избранный президент Путин санкционировал ликвидацию космической станции – она была утоплена 6 марта 2001 года). 5 марта в интервью телеканалу Би-Би-Си Путин, в тот момент обращавшийся к западному зрителю, заявил, что не исключает возможности вступления России в НАТО (чем вызвал недоумение многих российских политических деятелей и чиновников).

20 марта во время «рабочей поездки» в Чечню совершил широко обещавшийся в СМИ перелет на боевом истребителе Су-27 в качестве второго пилота-штурмана. Понятно, что этот цирковой номер был рассчитан на поднятие популярности Путина у простых избирателей. Но поскольку толкавшие Путина в президенты люди не объяснили, зачем посадили его в военный самолет, он, отвечая на вопросы американского телеведущего Теда Каппела, растерялся и пролепетал, что на военном самолете летел ради экономии государственных средств.

И все-таки в самолет Путин сел не зря. 26 марта 2000 года он был избран президентом, получив, согласно официальным данным, 39 740 434 голоса избирателей (52,94%).

Как фальсифицируют выборы

Победа Путина уже в первом туре вызывает обоснованные сомнения, поскольку в ряде регионов, в частности, в Дагестане, Башкирии, Саратовской области, Татарии и др., имели место фальсификации в пользу и. о. президента, которому были приписаны десятки тысяч голосов, поданных в действительности за других кандидатов. Официальные списки избирателей, составляемые Центризбиркомом, за три месяца между парламентскими и президентскими выборами выросли на 1 миллион 300 тысяч человек (108 072 000 избирателей на парламентских выборах и 109 372 000 на президентских) – несмотря на ежегодную убыль населения России на 800 тысяч человек. Наиболее правдоподобным реальным результатом, полученным Путиным 26 марта 2000 года, следует считать 48–49%.

Способы фальсификаций на выборах в Государственную думу, равно как и на губернаторских и президентских выборах, более или менее одинаковы. Суммируя данные по выборам и референдумам всех уровней за 1993–2003 гг., можно выделить две категории. Первая: «коррекция» результатов подсчета (без вброса дополнительных бюллетеней); вторая: вброс дополнительных бюллетеней.

Каждая из категорий, в свою очередь, имеет несколько модификаций. Так, при искажении протоколов в графу кандидата от «административного

ресурса» вписывается любое нужное количество дополнительных голосов, взятых «из головы» (лишь бы оно превышало число голосов, поданных за кандидата оппозиции). Искаженные данные заносятся в протокол участковой избирательной комиссии (УИК). Чаще, однако, «корректировка» делается на уровне суммирования данных по УИК в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). В тетрадях выдачи бюллетеней все остается как есть. «Исправление» протоколов (и в территориальных комиссиях, и в окружных) иногда производится под предлогом обнаруженных ошибок.

Основное достоинство этого метода (с точки зрения фальсификаторов) – простота, малая трудоемкость, а в случае «корректировки» на уровне ТИК – еще и незначительное число вовлеченных и посвященных в операцию лиц. Основной минус: уже при элементарном сличении количества выданных бюллетеней (по записям в книгах выдачи) с суммой голосов по протоколам УИК, выясняется, что сумма голосов по протоколу превышает число выданных бюллетеней. Если добавка голосов делалась в ТИК, это выявляется при сличении копий протоколов УИК с протоколами, сданными в ТИК, и (или) с официальными данными сводных таблиц ТИК.

Увеличение числа голосов за нужного кандидата можно получить также за счет приписывания ему дополнительных бюллетеней, реально не выданных, но отмеченных в тетрадях как выданные. В этом случае как взявшие бюллетени отмечают избиратели, традиционно не участвующие в выборах (списки таких избирателей можно купить в имиджмейкерских фирмах, а зачастую они есть и у самих избиркомовских чиновников); умершие или переехавшие «мертвые души»; или «выдуманные люди» с выдуманными адресами (типа лишней сотни квартир в многоэтажном доме). Делается это на уровне УИК. Выявить такую фальсификацию можно либо сравнением количества бюллетеней в урнах с тетрадями выдачи (реальных бюллетеней будет меньше), либо путем опроса лиц, отмеченных в тетрадях как взявшие бюллетени, с целью выявления тех, кто на самом деле не голосовал или умер, или переехал, или вообще не существует в природе.

Кроме этого, в графу поддерживаемого начальством кандидата можно просто переписать голоса, поданные за других кандидатов или кандидата «против всех». Искаженные данные могут заноситься в протоколы УИК во время подсчета бюллетеней, а могут переписываться в ТИКах. Этот способ тоже трудоемкий, так как требует значительного количества арифметических операций по вычитанию и сложению. Преимущество этого способа, однако, в том, что выявить фальсификации на уровне УИК с помощью тетрадей невозможно: для выявления нужно пересчитывать реальные бюллетени из урн, причем с разбивкой по всем кандидатам, а не общее их количество. Но такая же фальсификация, сделанная на уровне ТИК, выявляется еще и при сличении протоколов УИК (или их копий) с данными сводных таблиц ТИК.

Наконец, можно просто уменьшить количество бюллетеней, поданных за «нежелательного» кандидата. Их можно: не засчитать и выбросить (так

было, например, с бюллетенями, поданными за Конгресс русских общин [КРО] Скокова-Лебеда в г. Махачкале в 1995 году, когда мешки с «лишними» бюллетенями за КРО оказались на городской помойке); испортить бюллетени, поданные за «нежелательных», во время их подсчета путем проставления дополнительной галочки (крестика), когда получается, что избиратель проголосовал сразу за двоих, что делает его бюллетень недействительным. Преимущество этого способа, в обоих его разновидностях, – простота. Недостаток: простоте зачастую сопутствует легкость разоблачения. Если «ненужные» бюллетени выбросить, уменьшится общее число бюллетеней. Если же бюллетени «портить», это бросается в глаза: на соседних избирательных участках испорченных бюллетеней 1,5–2%, а тут, предположим, 10%, что, конечно, сразу же вызывает обоснованные подозрения. Но так как вскоре после выборов все бюллетени уничтожаются (во всяком случае, так было в 1993, 1995, 1996, 1999, 2000 годах), доказать, что они были испорчены умышленно, невозможно.

При вбросе дополнительных бюллетеней увеличение голосов за нужного кандидата достигается приписыванием ему дополнительных бюллетеней, подброшенных в урны на участке до голосования, в ходе него или после, без отметки в книгах выдачи. А голосование посредством выносных урн и досрочное голосование – это почти легальный резерв голосов для «нужных» кандидатов. Иногда бюллетени для вброса даже специально допечатывают. Бюллетени подбрасывают как на участках в урны, так и в ТИК уже в мешки – для этого мешки с бюллетенями, вопреки закону, не печатают или же печати просто срывают.

Недостаток этого вида фальсификации – возможность сличения суммы всех голосов по протоколу с количеством выданных бюллетеней (по записям в тетрадях выдачи), а также возможность сличения количества бюллетеней, найденных в урнах, с количеством выданных бюллетеней.

Чтобы этого не произошло, вброс бюллетеней можно производить с дописыванием в книгу выдачи. В этом случае в качестве взявших бюллетени отмечают избиратели, традиционно не участвующие в выборах и всякого рода «мертвые души». За умерших чаще делается «предварительная закладка», за живых «голосуют» в конце дня или уже после завершения голосования. Широко используются также выносные урны и досрочное голосование.

Этот самый трудоемкий и «качественный» способ фальсификации является только путем опроса большого количества избирателей или чисто случайно, если человек, никогда не ходивший на выборы, пришел и обнаружил, что за него уже проголосовали; или если родственник умершего избирателя обнаруживает, что умерший расписался в получении бюллетеня. Понятно, что неявка избирателей на выборы облегчает работу фальсификаторов, а активное участие в голосовании (включая голосование «против всех» или унос бюллетеня с собой) делает работу фальсификаторов более трудоемкой.

Наблюдатели и копии протоколов

Естественно, что фальсифицировать результаты выборов легче, если наблюдатели от партий или международных организаций на участках отсутствуют. Но и наличие наблюдателей ничего не гарантирует. Иногда они настолько зависимы от начальства, что не готовы публично заявить о подлоге. Или же наблюдатель независим, но неквалифицирован и невнимателен. Наконец, наблюдатель может лично следить за всем тем, что делается в УИК, но никак не может увидеть того, что проделывают ТИК. Он может только сравнить данные своей копии протокола УИК с опубликованными сводными данными ТИК. Но для того чтобы уличить избиркомы в искажении результатов, необходимы заверенные копии протоколов УИК. Такие копии УИК обязаны выдавать по первому требованию, однако на самом деле получить исправные копии обычно удается только самым настырным наблюдателям. К сожалению, наблюдатели, как правило, не настойчивы и далеко не всегда достаточно грамотны. В результате копии протоколов, выдаваемые по закону наблюдателям, очень часто заполняются наспех, не полностью, с очевидными ошибками. По таким протоколам можно оценить, была фальсификация или нет, но они непригодны для последующего использования в судах.

В интервью, которое в ноябре 2000 г. дал заместитель председателя Координационного совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов, отмечено, что подавляющая часть копий протоколов наблюдателей, предоставленная для анализа институту, «не отвечает требованиям избирательного законодательства и не является юридическим документом. В большинстве протоколов имеются незаполненные графы, в которые можно вписать любые числа, а потом говорить, что не выполняются контрольные соотношения. Практически все копии протоколов наблюдателей не соответствуют требованиям заверения в соответствии со статьей 21 закона "О выборах Президента РФ"³».

Именно под тем предлогом, что копии неправильно заверены и что в них отсутствуют те или иные графы, прокуратура до сих пор отвергала большую часть заявлений о фальсификациях как не имеющие судебной перспективы, либо сначала принимала дела, но доводила до суда крайне редко, причем в суде дело разваливалось. В 2000 году вследствие одной из жалоб в Генпрокуратуру на фальсификации итогов президентских выборов на избирательных участках в Саратовской области областная прокуратура была вынуждена проверить 20 участков, и результаты проверки подтвердили расхождение протоколов и официально заверенных копий. Но жалобщикам отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку, как заявили прокуратуре руководители подвергнутых проверке ТИКов, при выдаче копии протокола «данные, содержащиеся в нем, с данными оригинала протокола членами комиссии не сверялись»⁴. По существу, прокуратура заявила, что это не избиркомы изменили результаты выборов, а наблюдатели на всех проверенных участках подделали свои копии...

Итоги выборов 26 марта 2000 г.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 26 марта 2000 г. Владимир Путин получил 52,94%. Между тем в ночь с 26 на 27 марта число проголосовавших за Путина вплоть до 2 часов ночи не достигало 50% (в момент окончания выборов в 20.00 за Путина было всего 44,5% избирателей), хотя процент неуклонно увеличивался по мере движения с востока на запад (тогда как на думских выборах 19 декабря 1999 г. наблюдалось обратное: чем дальше на запад, тем лучше была ситуация КПРФ и хуже положение пропутинского «Единства»).

В 2 часа ночи 27 марта председатель ЦИК Александр Вешняков торжественно объявил: «Владимир Владимирович Путин – пятьдесят целых, одна сотая процента». В 10 часов утра 27 марта у Путина стало уже 52%, а по окончательно подсчитанным к 7 апреля данным – 52,94%.

Итоги выборов были близки к данным последних предвыборных опросов наиболее авторитетных социологических служб – они практически не выходили за пределы допустимой погрешности, которая для большинства опросов при существующей методике обычно составляет 3–3,5%. Но всего 2,94% официального «перевеса» над 50%, которые обеспечили победу Путина уже в первом туре, сами укладываются в эту допустимую для существующей социологической методики погрешность. Так что ссылаться на науку социологию в подтверждение победы Путина бессмысленно.

2,94%, которые сделали Путина президентом уже в первом туре, – это 2 миллиона 200 тысяч голосов.

Дагестанский казус

Независимые расследования на предмет выявления фальсификаций президентских выборов 26 марта 2000 г. имели место только по двум регионам – Дагестану и Саратовской области. Нарушения в Дагестане проверяла (по жалобе избирательного штаба Г. Зюганова) думская «Комиссия по изучению практики применения избирательного законодательства РФ при подготовке и проведении выборов и референдумов в Российской Федерации» во главе с председателем комиссии Александром Салием (фракция КПРФ). Согласно официальным данным, в Дагестане за Путина проголосовало 877 853 человека (более 75%).

Комиссия Салия не пересчитывала реальные бюллетени и не сличала их с официальными результатами.

Кстати, дагестанские власти опасались, что комиссия все-таки попытается пересчитать бюллетени хотя бы по некоторым участкам, и приняли соответствующие меры. Махачкалинский офицер милиции Абдулла Магомедов, охраняя вход в здание правительства республики, видел, как чиновники (показавшие ему свои пропуска) вынесли из здания большие мешки с бумагами и сожгли их прямо на улице. Милиционер, сославшись на свои служебные обязан-

ности как охранника, настоял на проверке содержимого мешков и убедился, что там были избирательные бюллетени, заполненные за Зюганова. «Я знаю, как они выглядят, я был наблюдателем на выборах», – сказал милиционер⁵.

Комиссия Салия сконцентрировала свое внимание на сравнении копий протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), полученных наблюдателями, с официальными данными по тем же участкам, зафиксированными избиркомами более высокого уровня – территориальными избирательными комиссиями (ТИК). В распоряжении комиссии Салия имелось 453 копии протоколов УИК (всего в Дагестане 1550 избирательных участков, по остальным участкам наблюдателям от штаба Г. Зюганова копий получить не удалось). Проверке подверглись 14 районных территориальных комиссий и две городские – всего было изучено 174 протокола УИК.

Позднее в публикации А. Салия в «Советской России» были приведены сравнительные таблицы протоколов и официальных данных по трем территориальным избирательным комиссиям – Сулейман-Стальской, Магарамкентской и Кизилюртовской, а также сводная таблица фальсификаций по 16 ТИКах нескольких районов. Например, УИК № 1036 Сулейман-Стальской ТИК: в копии протокола УИК, выданной наблюдателю, значился 801 голос за Зюганова, а в официальном протоколе в ТИК – 150 (украден 651 голос), в копии – 452 голоса за Путина, а в официальном протоколе – 2038 (подарено 1586). УИК № 1044 той же ТИК: у Зюганова украдено 862 голоса из 863, а Путину к его 227 приписано еще 1572 голоса. Всего по 34 из 40 проверенных участков этой ТИК у Зюганова украдено 8462 голоса, а Путину приписано 13 805.

В УИК № 0580 Кизилюртовской ТИК у Зюганова украдено 295 голосов из 495, Путину прибавлено 1151 к его 315. В УИК № 0586 у Зюганова украдено 279 из 399, Путину добавлено 1203 к его 84. Всего по 20 участкам из 26 Кизилюртовской ТИК у Зюганова было экспроприировано 6161 голос, Путину приписано 14 105 голосов.

Комиссия Салия обнаружила, что там, где подписи председателя УИК в копии протокола и в самом протоколе совпадали, изменений в протоколе не было, и на этих участках победил Зюганов. Там, где подписи не совпадали, с огромным отрывом победил Путин, причем подписи, которые значились в копиях наблюдателей, совпадали с подлинными подписями председателей УИК, а подписи в официальных протоколах – не совпадали. Из этого следовало, что копии – подлинные, а вот официальные протоколы УИК были «подкорректированы» в ТИКах.

Комиссия Салия зафиксировала приписки по всем 16 обследованным ТИКах. Если сложить результаты в соответствующей графе сводной таблицы фальсификаций, опубликованной А. Салием, получается более 187 000 голосов, приписанных в Дагестане Путину⁶.

Эти данные вместе с копиями протоколов УИК комиссия Салия еще летом 2000 года передала в Генпрокуратуру, которая и подозреваемых в фальсификациях чиновников не привлекла к ответственности, и «Советскую

Россию» не привлекла за клевету. Председатель Центризбиркома Вешняков тоже не подавал в суд иск о защите своей чести и деловой репутации.

Закладка или вброс дополнительных бюллетеней также имели место в Дагестане. В редакцию «Советской России» прислали из города Избербаш 15 таких бюллетеней за Путина с печатями избирательного участка № 0832. Их фотокопии были воспроизведены в публикации⁷.

В Дагестане на 40% участков не оказалось погашенных неиспользованных бюллетеней. Это означало, что на каждом из этих участков якобы проголосовало ровно столько человек, сколько имелось бюллетеней. Разумеется, это невозможно. Не было никаких сомнений в том, что оставшиеся неиспользованными бюллетени были, вместо того чтобы их погасить, брошены.

Журналистка газеты «The Moscow Times» Евгения Борисова провела собственное расследование фальсификаций на выборах 26 марта по ряду областей, в том числе и в Дагестане. Борисова проверила данные комиссии Салия и пришла к выводу, что, несомненно, украденными в пользу Путина следует считать 57 162 голоса. Остальные десятки тысяч голосов (в таблице Салия, как сказано выше, было более 187 тысяч) она оставила под вопросом, не согласившись с методикой подсчета.

Однако Борисова сравнила с таблицами ТИКов копии протоколов по еще 71 избирательному участку, до которых у комиссии Салия руки не дошли. И по этим участкам картина была той же. В частности, согласно копии протокола по участку № 0876, за Путина было подано 1070 голосов, а по данным территориальной комиссии – 3535 (разница в 2465 голосов); согласно протоколу по участку № 0903, за Путина было 480 голосов, а по данным территориальной комиссии – 1830, и так далее.

63 протокола из 71, изученного Борисовой, свидетельствовали о фальсификациях. Это давало еще 31 101 голос, украденный для Путина. Итого – 88 263 голоса по протоколам, которые составляют всего 16% от общего числа дагестанских протоколов⁸.

Саратовская область

Аналогичная картина наблюдалась и в Саратовской области. Согласно свидетельству члена ТИК отставного офицера А. Бидонко, в 3 часа ночи 27 марта, когда стали поступать данные с избирательных участков, стало ясно, что и Путин, и губернатор Дмитрий Аяцков (в области одновременно проводились губернаторские выборы) не набирают 50%. Всю ночь протоколы переписывались, неиспользованные бюллетени были погашены только утром⁹. Коммунисты подали по этому случаю иск, но суд отказался принять дело к рассмотрению, направив его для перепроверки в ту же ТИК. (Естественно, она большинством голосов постановила, что все было правильно.)

Наблюдатели от избирательного штаба Зюганова сумели получить в Саратовской области 700 заверенных копий протоколов УИК, т. е. 38,6% всех про-

токолов (всего в области было 1815 избирательных участков). Корреспондент «Советской России» Жанна Касьяненко сравнила данные по 28 участкам, и у нее получилось, что Путину приписано по этим участкам 3769 голосов (причем у Явлинского украдено больше всего – 1540 голосов; у Зюганова – 827).

Другие кандидаты тоже не были оставлены заботами ТИКов Саратовской области. Вот самые вопиющие случаи:

- участковая избирательная комиссия № 1576. У Говорухина было 12 голосов, осталось 0. У Памфиловой было 16, осталось 6. У Подберезкина было 3, осталось 0. У Скуратова было 9, осталось 0. Кандидат «против всех» получил 30, осталось 10. Путину добавлено 50 голосов;

- УИК № 1617. У Зюганова украдено 200 из 445 голосов. У Явлинского – 100 из 138. У Тулеева – 40 из 41. У Памфиловой – 30 из 32. У Жириновского – 20 из 28. У «против всех» – 20 из 28. У Титова – 10 из 18. Путину приписано 420 лишних голосов.

Ж. Касьяненко изучила 28 протоколов, воспользовавшись в том числе данными РОИИП. Сам же РОИИП проанализировал 829 копий протоколов с участков Саратовской области (что составило 45,47% всех участков), сравнив их со сводными таблицами территориальных комиссий, т. е. не только протоколы наблюдателей-коммунистов (700 копий), но и протоколы наблюдателей от «Яблока» и других. РОИИП обнаружил около 100 протоколов УИК, данные которых были искажены в сводных таблицах комиссий более высокого уровня, и пришел к выводу, что «большая часть из них дает отклонение в пользу В. Путина»¹⁰.

Правда, РОИИП обнаружил в саратовских протоколах «ряд участков», где голоса приписывали Зюганову. В частности, на участке № 107 Зюганову было добавлено 6 голосов, а на участке № 452 Путину приписали 31 голос, Зюганову – 10, а Жириновскому – 1.

Вследствие одной из жалоб в Генпрокуратуру на фальсификации итогов президентских выборов на избирательных участках в Саратовской области областная прокуратура была вынуждена проверить 20 участков. Результаты проверки подтвердили расхождение данных протоколов и официально заверенных копий. За подписью старшего прокурора отдела управления по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов А. Ж. Макашевой жалобщикам был выдан ответ об отказе в возбуждении уголовных дел, поскольку, как заявили прокуратуре руководители подвергнутых проверке ТИКов, при выдаче копии протокола «данные, содержащиеся в нем, с данными оригинала протокола членами комиссии не сверялись»¹¹.

Мордовия

На участке № 207 г. Йошкар-Ола член УИК с совещательным голосом Л. Коростелев был по распоряжению председателя УИК Н. Е. Большакова насильственно удален милицией из помещения, где производился подсчет бюллетеней. Когда Коростелеву разрешили вернуться в помещение, он обнаружил «массу ис-

порченных бюллетеней с отметкой "за Зюганова". Убежден, что их портили сознательно, специально в мое отсутствие, ставили черточки и дополнительные знаки». Естественно, что копию протокола УИК, составленную Коростелевым, начальник УИК, его заместитель и секретарь отказались подписать.

Башкирия

А вот факты фальсификации методом внесения искажения в первичные протоколы. В Башкирии на участке № 2921 голоса, поданные за Путина и Зюганова, просто поменяли местами: сразу после подсчета было 252 за Зюганова и 110 за Путина, а в официальном протоколе – наоборот.

В башкирской деревне Приютово на избирательном участке № 514 бывшая учительница Клавдия Григорьева присутствовала в качестве наблюдателя при подсчете голосов и записала для себя: 862 голоса за Путина, 356 – за Зюганова, 24 – за Жириновского, 21 – за Титова, 12 – за Явлинского. А в сводке УИК по данным официального протокола значилось: 1092 голоса за Путина, 177 – за Зюганова, за остальных – ноль.

К сожалению, ни данные этого протокола, ни данные других протоколов по Башкирии никакими комиссиями не сличались с бюллетенями, найденными в урнах (26 марта 2001 года истек положенный по закону годичный срок хранения бюллетеней, и их уничтожили). А самочинную запись наблюдателя никакая прокуратура не примет в качестве основания для заведения уголовного дела по статье 142 УК РФ.

Во время президентских выборов марта 2000 г. прямых указаний «сверху» в Башкирии замечено не было, но зато по избиркомам всей Башкирии еще во время голосования были распространены результаты exit-poll'а Фонда эффективной политики. После этого без всяких указаний и инструкций в избиркомах поняли, что окончательные результаты в Башкирии должны быть «не хуже» результатов общероссийского опроса.

Татарстан

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев однажды сказал: «На что мы ориентируем избирателя, так он и голосует. Это прагматичный подход, и так мы работаем с избирателями»¹². Ориентировали, однако, не только избирателя, но и избиркомы. На участке № 2729 так ретиво исполняли рекомендации начальства, что из 286 бюллетеней все, кроме двух, оказались поданными за Путина. Скорее всего, это было сделано уже на уровне УИК.

На другом участке в Татарстане наблюдатель от «Яблока» Ольга Тарасова заметила при подсчете голосов вброс бюллетеней за Путина и одновременное изъятие бюллетеней, заполненных за других кандидатов.

65-летний Алхат Зарипов, который живет в Казани в многоэтажном до-

ме (улица Ю. Фучика, д. 107), на избирательном участке увидел, что в его доме числится 209 квартир, тогда как он точно знает, что их всего 180. В списке соседнего дома тоже оказалось на 108 квартир больше. Зарипов попросил разъяснений, но член комиссии просто забрал списки и ушел.

«The Moscow Times» опубликовала фотографию 71-летнего пенсионера Петра Филиппова из села Татарский Сатлык в Татарии, который пришел под конец дня 26 марта, чтобы проголосовать за Жириновского, но на избирательном участке обнаружил, что за него уже кто-то расписался в получении бюллетеня. В Казани на участке № 263 наблюдатели от КПРФ задержали мужчину с 12 бюллетенями за Путина; на участке № 265 – женщину с такими же неучтенными бюллетенями.

Калининградская область

В Калининграде было зафиксированных не менее 44 случаев расхождения данных протоколов с копиями, полученными наблюдателями. Общая сумма украденных в пользу Путина бюллетеней составила 42 500. Руководитель Калининградской областной избирательной комиссии объяснил расхождение тем, что из-за отсутствия множительной техники копии протоколов заполнялись вручную, а потом подписывались членами УИК без проверки. Иными словами, по версии избиркома, не ТИКи (или УИКи) подтасовали в пользу Путина 42 500 голосов, а наблюдатели, сговорившись, зачем-то подделали данные в своих копиях.

Курская область

В Курске коммунистам удалось по участку № 426 доказать фальсификацию по суду: 104 бюллетеня из 610 были подделаны в пользу Путина. А вот главы двух избирательных комиссий в Курской области были уволены губернатором после того, как в их округах победил Зюганов.

Кабардино-Балкария

Всего по шести полученным наблюдателями протоколам Путину было приписано 2864 голоса. На участке № 179 наблюдатели обнаружили, что на выборы пришли только 640 человек, а из ящика было извлечено 972 бюллетеня.

Приморье

На участке № 1047 после завершения голосования местные жители на-

шли несколько порванных бюллетеней, поданных за Зюганова. Суд дело к рассмотрению не принял.

Чечня и Ингушетия

Разумеется, что никакого отношения к действительности не имеют результаты выборов 26 марта 2000 г. по Чечне. Там никто не сличал документов. Но и без того ясно, что это сплошная «липа»: 191 000 голосов за Путина, около 86 000 – за Зюганова, 35 000 – за Явлинского, 22 000 – за Джабраилова. Если данные по «пацифисту» Явлинскому и чеченцу Джабраилу еще можно признать похожими на правду, то «мочитель в сортире» Путин и империалист Зюганов в сумме вряд ли могли бы получить больше, чем 100–120 тысяч голосов (поскольку такова – по разным оценкам – была численность российских войск в Чечне на март). Все остальное – явная приписка. Простые математические подсчеты показывают, что каждый российский военнослужащий проголосовал в Чечне дважды.

Точно так же в 1995 году фантазия военной администрации дала черномырдинскому НДР по Чеченской республике 48,03%. Это был абсолютный всероссийский рекорд для НДР. А в 1996 году по Чеченской республике Ельцин получил 65,11% в первом туре и 73,38% – во втором.

Почти такое же недоверие вызывают и результаты голосования в Ингушетии: в этой бедствующей благодаря «контртеррористической операции» республике, по официальным данным, за Путина проголосовали почему-то аж 85% (94 000 человек).

Косвенные свидетельства

О том, что на президентских выборах широко применялся вброс бюллетеней в конце голосования за тех, кто в выборах не участвовал, существуют помимо прямых свидетельств, еще и два косвенных.

Первое косвенное свидетельство. Согласно официальным данным Центризбиркома, общее число избирателей, имевших право участвовать в думских выборах 19 декабря 1999 г., составляло чуть больше 108 072 000 избирателей. Всего через три месяца количество потенциальных избирателей выросло... на 1 миллион 300 тысяч человек!

Второй косвенный признак – это скачок официальной «явки» избирателей в последние часы. Параллельно со все увеличивавшимся процентом голосовавших за Путина, в последние 2–3 часа голосования резко увеличился процент явки избирателей. Еще в 7 часов вечера по московскому времени явка была 54%, а через два часа – уже 67%. Выходило, что избиратели, вместо того чтобы смотреть вечером «Особенности национальной рыбалки» по ОРТ или «Ментов» по НТВ, толпами хлынули на избирательные участки.

Сколько всего голосов приписано Путину?

А. Салий попытался прикинуть, сколько же всего голосов по Дагестану украдено в пользу Путина, и у него получилось примерно 700 000 голосов – исходя, очевидно, из цифры 180 000 по 16 ТИКа. Е. Борисова из «The Moscow Times» провела собственный подсчет, исходя из цифры 88 263 на 16% протоколов, и у нее получилось примерно 550 000 голосов. Это из 877 853 голосов, полученных Путиным в Дагестане, согласно официальным данным.

Таким образом, в Дагестане в первом туре президентских выборов на самом деле победил не Путин, а Зюганов.

Можно ли экстраполировать масштаб фальсификаций в Дагестане на всю страну? Видимо, нельзя: Дагестан – одновременно «красный» и мусульманский регион, и именно поэтому там голосуют всегда не так, как в других регионах. Кроме того, там и фальсифицируют смелее, чем в большинстве других регионов страны.

А вот Саратовская область гораздо более показательна для России в целом. Поэтому стоит прежде всего прикинуть, сколько было украдено в пользу Путина в этой области. Согласно цитированному выше интервью руководителя РОИИП И. Борисова, приведившего данные анализа РОИИП по сотне участков Саратовской области, «если аппроксимировать эти данные на всю область, приняв за истину данные в копиях протоколов наблюдателей, то В. Путин "лишится" порядка 4% голосов в области, в которой он набрал 58%, а остальные кандидаты "растащат" эти 4 процента. То есть итоговый результат не изменится: у Путина останется около 54% в Саратовской области» (4% от числа проголосовавших в Саратовской области – это почти 61 000).

Однако, упомянув, что он выводит эти 4% из расчета «менее 100 из 1815 участков», Борисов забывает, что РОИИП сличал данные только по 829 участкам, а не по всем 1815; не около «100 из 1815», а около 100 из 829, что существенно меняет соотношение.

В дополнение к этому, есть все основания полагать, что на участках, с которых копии протоколов наблюдателям не выдавали (или на которых наблюдателей не было), фальсифицировали куда откровеннее. Однако будем все-таки исходить из пропорции, выявленной на тех участках, где копии выдавались. Если Путину добавили 4% (от всех голосовавших саратовцев) на 829 участках, то на всех 1815 участках ему приписали 8,6%, т. е. несколько больше 131 000 голосов. И если из 57,99% (884 049 голосов), якобы поданных в Саратовской области за Путина, вычтуть эти 8,6%, то получается, что Путин в Саратовской области, как и в Дагестане, не выиграл выборы в первом туре, поскольку набрал всего 49,39%.

В Башкирии, где, по официальным данным, за Путина проголосовали 1 387 179 человек (более 60%), точный масштаб фальсификаций мы знаем, к сожалению, только по одному участку – в деревне Приютово. Так вот, если во всей Башкирии фальсифицировали на том же уровне, как в Приютово, то Путину в Башкирии приписали 291 000 голосов.

К Дагестану ситуация приближается, видимо, только в сравнительно малонаселенной Калмыкии (за Путина подано якобы 77 714 голосов – более 70%) и Ингушетии. Выборочные и «точечные» свидетельства по Калининградской и Нижегородской областям показывают, что там результаты корректировались примерно, как в Саратове, а в Приморье, Татарии и Кабардино-Балкарии – примерно, как в Башкирии.

Итак, Путину засчитали в его пользу следующие украденные голоса: 800 тысяч человек, которые по признанию «министерства выборов» «могли проголосовать дважды», 550 тысяч голосов в Дагестане, 291 тысяча голосов в Башкирии, 131 тысяча в Саратовской области, минимум 42 500 в Калининградской области, тотально приписанные десятки тысяч в Чечне и Ингушетии, а далее – Калмыкия, Кабардино-Балкария, Приморье, Нижегородская область, Курская область и остальные регионы. Напомним, что 2,94%, которые сделали Путина президентом уже в первом туре, это всего 2 миллиона 200 тысяч голосов. Поэтому позволительно сделать вывод, что Путин не выиграл президентские выборы в первом туре. Скорее всего, в целом по России Путин получил 48–49% голосов (примерно, как в Саратовской области). Кстати, это та цифра, на которой сходятся большинство экспертов, когда они говорят «не для печати».

Сегодня никто, наверное, не сомневается в том, что во втором туре Путин выборы все равно бы выиграл. Но в начале 2000 года сомнения в его победе были, по крайней мере, у администрации президента и в «министерстве выборов». Поэтому второго тура 7 мая 2000 года не было. Вместо него была проведена инаугурация.

1. Коммерсантъ. 1999. 15 сент.

2. Экспресс-хроника. № 46 (601). 1999. 13 дек.

3. Выборы – это единственная гонка, в которой выигрывает большинство: Интервью с зампреда КС РОИИП Игорем Борисовым // <http://www.roiip.ru/press03.shtml>.

4. Дуэль. № 4 (184). 2000. 10 окт.

5. *Borisova Y.* And the Winner is? // The Moscow Times. 2000. 9 сент.

6. *Салия А.* Дагестанская технология фальсификации. Закон на козе объехали // Сов. Россия. 2000. 27 апр.

7. Там же. 6 апр.

8. *Касьяненко Ж.* Саратовская непрерывка. Конвейер подделок // Сов. Россия. 2000. 18 марта.

9. *Borisova Y.* And the Winner is? // The Moscow Times. 2000. 9 сент.

10. Выборы – это единственная гонка, в которой выигрывает большинство.

11. Полный текст ответа А. Ж. Макашевой опубликован в газете «Дуэль» (№ 4 [184]). 2000. 10 окт.).

12. *Германович А.* Корректировка? Клуб единодушного голосования // Ведомости. 2000. 28 марта.





Алек Эпштейн

В ЛАБИРИНТАХ ИЛЛЮЗИЙ

Деятели культуры и борьба за облик Государства Израиль

Светлой памяти Софьи Исааковны Смородинской

Деятели культуры, и не только в современном мире, почти никогда не могут оставаться вне политики в широком смысле этого слова. Совершенно очевидно, что уход в «чистую» науку или в искусство «ради искусства» не может удовлетворить деятелей культуры на переломных этапах общественного развития, к которым относится, в том числе, и процесс создания национальных государств. Еврейские интеллектуалы, прибывшие в Палестину/*Эрец-Исраэль* из многочисленных стран диаспоры, уже самим фактом своего переселения в страну, духовная и общественная жизнь которой находилась в процессе становления, сделали идеологический выбор, выразив тем самым свою солидарность с набиравшим силу движением за национальное возрождение. Во многих странах как в Европе, так и в государствах так называемого третьего мира, возникших уже в постколониальную эпоху, голос деятелей культуры был одним из наиболее громких в борьбе за национальную независимость. Израильские писатели, ученые, музыканты и художники были «обречены» оказаться в эпицентре бурного социально-политического процесса, кульминацией которого стало создание Государства Израиль. Это не значит, однако, что роль их была строго очерченной изначально. Напротив, анализ идеологических воззрений, политических пристрастий и уровня активности израильских интеллектуалов свидетельствует о различной степени их участия в общественной жизни страны как в догосударственный период, так и после провозглашения независимости.

Американский философ и социолог Кристофер Лэш обозначил три роли деятелей культуры и общественной мысли, примерно соответствующие трем периодам в истории: интеллектуал как голос совести, как голос разу-

ма и как голос воображения. Как отмечал впоследствии Цветан Тодоров, эта теория базируется на определении трех форм легитимности, данном Максом Вебером, – традиционной, рациональной и харизматической (которое, в свою очередь, вероятно, восходит к словам Паскаля: «Есть три средства уверовать: разум, привычка, озарение»)¹. В первом случае деятель культуры выступает как моралист, опирающийся на традиции и религию; это самая древняя модель. Второй тип становится антагонистом первого в эпоху Просвещения, его идеальное воплощение – ученый. Третий тип олицетворяет собой романтический бунт против Просвещения; его воплощением становится маргинал, «проклятый» поэт, художник. Каждый из них выступает под своим знаменем: добро, истина, красота. При этом добро не сводится к красоте и не выводится из истины. Согласно этой – весьма небесспорной, кстати, но от этого не менее важной – точке зрения, художник как таковой, ученый как таковой не могут научить общество морали; в этом отношении они не более компетентны, чем обычные граждане. Представляется, что среди еврейских интеллектуалов *ишува** сформировались все три модели политического поведения: последователи политического сионизма говорили «голосом разума», гуманисты-либералы из организаций «Брит шалом» (существовала в 1925–1933 гг.) и «Ихуд» (основана в 1942 г., просуществовала до конца 1950-х гг.) – «голосом совести», а сторонники ханаанейской идеологии – «голосом воображения». Анализ этого «многоголосия», присущего гуманитарной интеллигенции еврейского *ишува* в первые годы государственной независимости Израиля, в сравнительно-историческом контексте и посвящена настоящая статья.

Несмотря на то, что сионистское движение в период своего формирования и становления было преимущественно движением интеллигенции, его отцы-основатели изначально относились к интеллектуальному труду с некоторым пренебрежением. Впрочем, этот феномен нельзя считать специфической чертой сионизма. Во многих урбанистических странах существует достаточно укоренившаяся традиция противопоставления пролетариев, пусть и менее начитанных, но все же отлично разбирающихся в «жизни», представителям умственного труда, занимающимся «отвлеченными» материями. В семьях московских и питерских интеллигентов 1970-х годов мода на писателей-«деревенщиков» приняла почти повальный характер. Почему-то предполагалось, что именно в истребленной в годы коллективизации деревне все-таки тлеет подлинный ответ на цинизм и двуличие городской культуры эпохи застоя. В далекой от России и Израиля Франции один из величайших мыслителей XX столетия Мишель Фуко в беседе с Жилем Делезом 4 марта 1972 года говорил о том, что «массы сами прекрасно и отчетливо все знают, знают даже намного лучше, чем интеллектуалы, и гораздо лучше могут это выразить». Более того, Фуко утверждал, что «сами интеллектуалы являются частью системы власти, да и

* Еврейская община на территории Израиля до провозглашения государства.

сама идея, что они служат носителями "совести" или "сознания"... также является частью этой системы»². Сионистская идеология, как и любая другая идеология, сформулированная и развитая гуманитарной интеллигенцией, мыслителями и писателями, также отводила интеллектуальному труду сравнительно периферийную роль. Сионизм – и в этом такие столь разные теоретики, как Аарон Давид Гордон, Бер Борохов и Берл Кацнельсон, были согласны между собой – видел наиболее полное воплощение идей еврейского национального движения в формировании образа «нового еврея», привязанного к своей земле – земле *Эрец-Исраэль* – и обрабатывающего ее. Прибыв в Палестину/*Эрец-Исраэль* в 1904 году в считавшемся тогда почтенным возрасте сорока восьми лет, А. Д. Гордон, владевший, кроме идиша, русским, немецким и французским языками, выбрал профессию сельскохозяйственного рабочего, трудился на виноградниках и апельсиновых плантациях. Блестящий интеллектуал и организатор, Берл Кацнельсон, прибыв в Палестину/*Эрец-Исраэль* в 1909 году, также нанялся в сельскохозяйственные рабочие и занимался выращиванием овощей. Даже такие мыслители, как Ахад ха-Ам и Мартин Бубер (1878–1965), считающиеся основоположниками так называемого «духовного» сионизма, с глубочайшим пиететом относились к крестьянскому труду и видели в работе на земле едва ли не основное оправдание еврейского национального движения как такового. «Я верю в великий союз между человеком и землей, – писал Мартин Бубер Махатме Ганди в 1939 году. – Земля эта признает нас, ибо с нашей помощью она плодоносит: и именно потому, что она приносит нам плоды, она признает нас. Наши поселенцы не приходят сюда, точно колонизаторы с Запада, чтобы заставить работать на себя местных жителей; они сами налегают на плуг, они вкладывают свою силу, свою кровь в то, чтобы земля эта стала плодородной. Но мы желаем плодородия ее не только для себя. Еврейские крестьяне начали учить своих братьев, арабских крестьян, более интенсивной обработке земли; мы хотим и дальше помогать им: вместе с ними хотим мы обрабатывать эту землю – "служить" ей, как говорится на иврите. Чем более плодородной станет эта земля, тем больше будет на ней места для нас и для них. У нас нет желания лишать их собственности: мы хотим жить вместе с ними. Мы не хотим господствовать над ними, но сообщая служить земле»³.

Роль, отводившаяся деятелям культуры в этом процессе «служения земле», была весьма ограниченной, а критика, высказываемая ими, либо воспринималась «в штыки», либо просто игнорировалась. Достаточно сказать, что, кроме умершего в 1944 году Берла Кацнельсона, никто из видных руководителей *ишува* не поддерживал постоянного диалога с представителями иерусалимской университетской профессуры, а среди руководителей Государства Израиль не было деятелей культуры – писателей, художников и музыкантов. Во многих европейских странах в первой половине XX века к власти пришли именно яркие представители творческой интеллигенции: писатель и драматург Джордж Клемансо стал в 1906 году премьер-минист-

ром Франции, философ и социолог Томаш Масарик в 1918 году был избран президентом Чехословакии, пианист Игнац Падеревский возглавил в 1919 году правительство Польши, и так далее. В Израиле некоторые ученые принимали активное участие в общественно-политической жизни, и четверо из них в разное время были президентами страны: химик Хаим Вейцман (избран в 1949 году), историки Ицхак Бен-Цви (избран в 1952 году) и Залман Шазар (избран в 1963 году) и биохимик Эфраим Кацир (избран в 1973 году). Однако среди писателей, художников и музыкантов почти не было людей, приближенных к структурам власти, практически никто из них не занимал сколько-нибудь важных государственных постов, а руководители страны редко интересовались их мнением по вопросам, имевшим общественную значимость. Хотя Давид Бен-Гурион время от времени и встречался с писателями (так, 27 марта 1949 года он принял в своей канцелярии группу из тридцати пяти литераторов; еще одна подобная встреча состоялась 11 октября того же года), за исключением Натана Альтермана, Хаима Хазаза и С. Изхара (Изхара Смилянского), бывшего в 1949–1967 годах депутатом кнессета от партии Труда и списка РАФИ, он не поддерживал сколько-нибудь регулярных контактов ни с кем из них⁴. Его встречи с музыкантами, художниками и скульпторами были еще более редкими.

Подобное «отлучение» деятелей культуры от общественно-политической жизни было во многом вызвано близостью многих из них к радикальным движениям, находившимся в оппозиции к руководству страны. Как известно, Д. Бен-Гурион был в числе самых резких критиков З. Жаботинского и возглавляемого им так называемого «ревизионистского сионизма», однако один из наиболее выдающихся израильских поэтов Ури-Цви Гринберг не только был сторонником ревизионистского движения, но даже был избран депутатом кнессета первого созыва от оппозиционной партии *Херут* («Свобода»). С другой стороны, Д. Бен-Гурион крайне критически относился к Советскому Союзу и меньше всего стремился превратить Израиль в одну из стран-сателлитов сталинской России, однако именно к радикальному марксистскому просоветскому движению *Ха-шомер ха-цаир* примкнул в 1939 году выдающийся поэт и переводчик Авраам Шлёнский. В просоветском лагере строителей социализма в 1930–1950-е годы нашли себя и многие другие деятели формировавшейся израильской культуры, среди них – видный поэт и переводчик Александр Пэнн, вступивший после провозглашения независимости Израиля в коммунистическую партию. Некоторые деятели культуры в разные периоды своей жизни успели побывать в обоих оппозиционных лагерях. Так, один из классиков так называемого «поколения ПАЛЬМАХа» писатель Моше Шамир был в 1950-х годах близок к левосоциалистической партии МАПАМ, но после Шестидневной войны стал одним из лидеров движения за неделимую *Эрец-Исраэль*, в 1977 году был избран депутатом кнессета от блока Ликуд, а впоследствии, выступив против отдачи Египту Синайского полуострова, был одним из создателей праворадикальной партии *Тхия* («Возрождение»). Кроме того,

Д. Бен-Гурион был в полном смысле этого слова еврейским национальным лидером, и космополитизм многих деятелей культуры, в частности, литературного критика Габриэля Мокеда и его коллег, создавших в 1959 году журнал «Ахшав» («Сейчас»), не мог не отталкивать его. Не мог он принять и идеологию полного отторжения культурного опыта, накопленного в диаспоре, и создания вместо еврейского народа новой нации – «ивритян», к чему призывали Йонатан Ратош и другие проповедники ханаанейства. Д. Бен-Гурион боролся за создание независимого еврейского государства в Палестине/*Эрец-Исраэль*, а потому позиция И. Л. Магнеса, М. Бубера и других иерусалимских профессоров, призывавших создать единое арабско-еврейское политическое образование, рассматривалась им как прямая угроза реализации целей политического сионизма. Курс Д. Бен-Гуриона всегда отличался прагматизмом, иначе было бы невозможно вести и успешно завершить переговоры с Германией о репарациях всего шесть с небольшим лет спустя после Холокоста, равно как и проводить совместную с Великобританией военную операцию (против Египта) лишь через десять лет после того, как британский военно-морской флот задерживал суда с еврейскими беженцами, выжившими в годы Холокоста и пытавшимися добраться до Палестины/*Эрец-Исраэль*. Поэты, писатели, художники и музыканты, очарованные всевозможными радикальными идеологиями, но менее всего склонные к прагматизму, не без оснований не воспринимались Д. Бен-Гурионом как его естественные союзники и партнеры.

Необходимо отметить, что вопрос о том, насколько конструктивным и плодотворным является участие деятелей культуры, ученых и писателей в политической жизни, очень и очень непрост. На этот счет высказываются диаметрально противоположные точки зрения. С одной стороны, часто утверждается, что именно участие во власти интеллигенции, якобы априори разделяющей либеральные и гуманистические ценности, способно удержать правителей от тоталитарных тенденций. Так, Джон Лукач в своей недавней статье в «Таймс» вновь повторяет утверждение о том, что заимствованное в Англии и Соединенных Штатах из русского языка около ста двадцати лет назад слово «интеллигенция» относится не просто к образованным людям, но к тем, чьи взгляды, по их собственному и всеобщему мнению, шире, необычнее, прогрессивнее и свободнее взглядов правительства и чиновников, независимо от уровня образованности последних⁵. Более того, Дж. Лукач отмечает, что американские (и не только) интеллектуалы всегда отличались склонностью к либерализму и «гордились прогрессивностью своих взглядов». Именно с подобных позиций, кстати, объясняли иерусалимские профессора свое участие в общественной полемике в период так называемого «дела Лавона» в начале 1961 года: демократия в опасности, а раз так, то мы, чьи взгляды априори прогрессивнее и свободнее, молчать не можем! Историк Яков Кац, тогдашний декан факультета общественных наук Еврейского университета в Иерусалиме, отмечал, что гуманитарная интеллигенция обычно воздерживается от активного участия в политической жизни, но это происхо-

дит до тех пор, пока политические события не угрожают принципам свободы и демократии. По его словам, именно опасность попрания этих принципов собрала вместе участников группы протеста, ибо ее цель была не заявить о себе как о новой политической силе, а привлечь внимание общества к угрозе чрезмерной концентрации власти в одних руках (т. е. в руках Бен-Гуриона) и вытекающей отсюда необходимости защиты демократии⁶. Используя ту же риторику «защиты демократии», выступали (и продолжают выступать) многие радикальные критики израильской государственной политики по арабскому вопросу, как, впрочем, и многочисленные интеллектуалы в США и странах Западной Европы, последовательно критиковавшие империализм, антикоммунизм, этническую сегрегацию, сионизм, войны в Корее, Алжире и Вьетнаме и т. д. С другой стороны, история показала, что едва ли не все наиболее кровавые диктаторы XX столетия были окружены значительным количеством поддерживающих их деятелей науки и культуры. Преследования деятелей культуры в тоталитарных странах широко известны⁷, однако фактом остается и то, что ученые, писатели, художники и композиторы в массовом порядке отдавали свой талант на службу коммунизму и национал-социализму в то самое время, когда произведения многих их коллег сжигались и предавались анафеме, а в концлагерях умирали миллионы людей – в том числе и деятели культуры.

Важным этапом в процессе переосмысления роли ученых и писателей в общественной жизни стала вышедшая в 1988 году книга известного британского историка и мыслителя Пола Джонсона «Интеллектуалы», представляющая собой, по сути, обвинительное заключение против литераторов, деятелей науки и культуры, участвовавших в политической жизни. «Интеллектуалы во множестве окружали Бенито Муссолини, причем многие из поклонников дуче не были итальянцами, – пишет П. Джонсон. – Адольф Гитлер шел к вершинам политической власти, одерживая свои основные победы в университетах; его электоральный успех среди студентов и профессоров был намного внушительнее, чем в прочих слоях немецкого общества... Многие интеллектуалы тянулись к нацистским бонзам, принимая непосредственное участие в самых зловещих преступлениях режима. Среди офицеров в мобильных отрядах СС, осуществлявших первый этап истребления евреев в Восточной Европе, было особенно много лиц с академическим образованием. Отто Олендорф (один из руководителей карательной системы нацистской Германии, бригаденфюрер и командир 4-й карательной группы СС, представший впоследствии перед Нюрнбергским трибуналом и казненный за преступления против человечества⁸) имел три университетских диплома и научную степень доктора юриспруденции. О пособниках Сталина из среды российской и западной интеллигенции сказано уже немало; хватало таких подручных и у послевоенных диктаторов, проявлявших живейшую склонность к насилию. Мао, Кастро и Насер были облаканы страстным сочувствием западных интеллектуалов»⁹.

Этому утверждению достаточно трудно что-либо противопоставить

в исторической перспективе. Культура вообще и литература и философия в частности зачастую используются в качестве инструмента для насаждения определенной мифологии, призванной служить моральным обоснованием того или иного режима, и диктаторские режимы не были исключением. Более того, в поисках героического настоящего и в тоске по харизматическим лидерам многие мыслители и деятели культуры, разочаровавшиеся в «голосе разума» и увлекаемые «голосом воображения», стали одними из наиболее ярких провозвестников диктаторских режимов того или иного сорта. Причем речь совсем не обязательно идет о вынужденном прославлении интеллектуалами, страдающими под пятой режима, тиранов, правящих в их собственных странах, хотя и такими примерами избобилует история культуры XX века. И это относится не только к бездарям, для которых воспевание режима – едва ли не единственный путь добиться успеха, или об увлечении деятелями культуры радикальными идеологиями переустройства мира в эпоху революционной романтики, когда еще можно надеяться на то, что грядущий общественный и культурный переворот, вопреки тому, как это всегда происходило прежде, все же несет в себе освобождение. Деятели культуры зачастую бывают очарованы тиранами и тогда, когда дух революционной романтики остается уже далеко позади. Достаточно сказать, что одним из первых, кто восславил Сталина в русской поэзии, был крупнейший поэт Борис Пастернак, опубликовавший 1 января 1936 года в газете «Известия» два стихотворения, в которых самый кровавый диктатор в истории человечества характеризуется как «не человек, – деянье: поступок ростом с шар земной», «он – то, что снилось самым смелым, но до него никто не смел»¹⁰. Великий композитор Сергей Прокофьев, пятнадцать лет живший за рубежом, вернулся в Советский Союз в 1933 году, чтобы три года спустя создать «Ленинскую кантату», которая, несмотря на использование в ней цитат из сочинений Ленина и Сталина, была запрещена к исполнению; впрочем, впоследствии Прокофьев стал шестикратным лауреатом Сталинской премии¹¹. Михаил Булгаков, едва ли не самый выдающийся русский прозаик и драматург ушедшего столетия, написал в 1939 году пьесу о юности Сталина «Батум», причем в качестве вариантов заглавия Булгаков пробовал названия, связанные с героями древнегреческих мифов – аргонавтами, Гераклом. Так, вариантами названия пьесы о Сталине, представляющей его как честного, благородного и романтического революционера-подпольщика, были: «Поход аргонавтов», «Штурман вел аргонавтов», «Геракл», «Кормчий», «Юность штурмана», «Комета зажглась», «Штурман вел по звездам» и т. д., в том числе даже «Мастер»¹².

Еще одним ярким примером той же зачарованности интеллектуалов обаянием тоталитаризма является Германия первой половины XX столетия, в которой достаточно многие писатели, поэты и философы, по крайней мере, в первой половине 1930-х годов, поддерживали гитлеровский режим. Эрнст Юнгер, один из самых популярных «официальных» писателей периода гитлеризма, возможно, являвшийся крупнейшим идеологом тех

сил, из недр которых и вырос германский фашизм, воспевал образ рабочего-солдата, готового к постоянной мобилизации во имя государственного долга. Уже имея опыт участия в Первой мировой войне, Э. Юнгер в 1940 году вновь пошел служить в армию, сначала – в штабе германского военного командования в оккупированном Париже, а затем – на советско-германском фронте. Другой крупнейший философ довоенной Германии, Освальд Шпенглер, также был ярким противником либеральной демократии. В вышедшей в 1919 году книге «Прусачество и социализм» он писал: «Немецкий, точнее прусский, инстинкт таков: власть принадлежит целому, отдельные личности служат ему. Целое суверенно. Государство приказывает, и государству повинуются»¹³. На состоявшихся в Германии 10 апреля 1932 года президентских выборах, которые, кстати, А. Гитлер проиграл, О. Шпенглер отдал свой голос лидеру национал-социалистов¹⁴. Выдающийся философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер открыто поддерживал фашистские принципы: «Долг студентов так же, как и профессоров, – служить народу тремя способами: трудовая служба, военная служба и научная служба»¹⁵. Популярность национал-социалистов в элитарных германских университетах, считавшихся в начале XX века лучшими высшими учебными заведениями мира, была ничуть не меньшей, чем среди широких слоев общества. Многие интеллектуалы крайне неприязненно относились к демократической Веймарской республике и с воодушевлением встали под знамена фашизма¹⁶. Еще до того как в июле 1932 года национал-социалисты выиграли выборы в рейхстаг, они победили на выборах в студенческие советы. После введения в действие 7 апреля 1933 года антисемитского Закона о государственной службе за короткое время из германских университетов были уволены более 1200 преподавателей, главным образом – евреев. Однако массовых выражений недовольства со стороны профессуры и студенчества не последовало¹⁷. Напротив, когда лауреат Нобелевской премии по физике профессор Джеймс Франк оставил университетскую кафедру в знак протеста против антисемитизма, тридцать три представителя профессорско-преподавательского состава Гёттингенского университета в коллективном заявлении расценили его поступок как акт саботажа.

Все это можно было бы, хотя и с известной натяжкой, считать проявлениями бессилия незащищенных творцов перед напорающим деспотизмом машины подавления тоталитарного государства. Однако и деятели культуры, жившие и творившие в демократических странах, также слишком часто, чтобы это считать случайностью, выражали свой восторг по поводу общественного устройства в тоталитарных государствах. Массовое паломничество ведущих западных интеллектуалов в Советский Союз, а также, правда, в меньшей степени, в Китай, на Кубу и другие страны так называемой «народной демократии», продолжалось на протяжении нескольких десятилетий. Как пишет Пол Холландер, «каждое последующее паломничество вносило свою долю во все более явно выраженную ирра-

циональность данного явления»¹⁸. Например, сборник писем и очерков западных интеллектуалов о Советском Союзе, опубликованный в 1932 году, содержал образчики восторженных отзывов более сотни писателей (в основном немцев, американцев, французов и англичан), включая такие фигуры, как Генрих и Томас Манны, Анатоль Франс, Герхарт Гаупман, Ромен Роллан, Андре Моруа, Бернард Шоу, Теодор Драйзер и другие¹⁹.

Так, политический эмигрант, немецкий писатель-антифашист Лион Фейхтвангер, посетив Москву в кошмарном 1937 году, писал: «В послевоенные годы (т. е. после Первой мировой войны. – А. Э.) я стал все отчетливее замечать пробелы и неувязки обычных демократических конституций, и ныне я склоняюсь к мнению, что буржуазные свободы в большей или меньшей степени являются приманкой, при помощи которой меньшинство проводит свою волю. Что же касается Советского Союза, то я убежден, что большая часть пути к социалистической демократии им уже пройдена»²⁰. Назвав тех, кто утверждает, что между Советским Союзом и фашистской диктатурой не существует разницы, «жалкими слепцами», Л. Фейхтвангер, характеризуя культ Сталина, констатировал: «Не подлежит никакому сомнению, что это чрезмерное поклонение в огромном большинстве случаев искренне. Люди чувствуют потребность выразить благодарность, свое беспредельное восхищение... Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающей это новое благополучие»²¹; «Условия, в которых растет советская молодежь, более благоприятны, чем где бы то ни было»²². По словам писателя, в 1937 году «весь громадный город Москва дышал удовлетворением и согласием и более того – счастьем»²³.

Посетившего тюрьмы ГУЛАГа в 1935 году британского политолога Гарольда Ласки привлекли «изумительные отношения между заключенными и тюремными надзирателями и общее настроение людей, которые жили полезной жизнью, не ограниченной этой пыткой отделения от права считать себя личностью, пыткой, которая является доминантной особенностью нашей собственной системы»²⁴. В период, когда сотни тысяч ни в чем не повинных граждан СССР заочно приговаривались Особым совещанием НКВД к десятилетнему тюремному заключению без права переписки (что, как выяснилось позднее, как правило, означало расстрел), Гарольд Ласки писал: «Все заключенные заняты нормальной производственной работой, и все получают заработную плату. Они имеют право на выходные; им щедро дозволяются посещения; их привилегия писать и получать письма практически не ограничена и не подвергается цензуре. Ни у кого из тех, кому довелось увидеть русскую тюрьму и сравнить этот опыт с посещением тюрьмы в Англии, не оставалось сомнения в том, что преимущество целиком на стороне русских»²⁵.

Можно было бы сказать, что вышеприведенные цитаты свидетельствуют о том, что не владеющие русским языком иностранные гости невольно стали жертвой дезинформации. Подобное заключение будет, однако, ошибочным. Воспевавшие ГУЛАГ и сталинский казарменный социализм западные интеллектуалы изначально искренне хотели поверить в то, что

торжество регулируемой справедливости возможно и что опыт СССР якобы доказывает это. Тот же Л. Фейхтвангер писал о своей поездке в Москву: «Я пустился в путь в качестве "симпатизирующего". Да, я симпатизировал с самого начала эксперименту, поставившему себе целью построить гигантское государство только на базе разума, и ехал в Москву с желанием, чтобы этот эксперимент был удачным... Я симпатизировал великому опыту, предпринятому Москвой, с самого его возникновения»²⁶. Американский журналист Луис Фишер также испытывал подобные чувства сопричастности великому эксперименту: «Во всем Советском Союзе ощущалось вдохновение самого присутствия на этом зрелище созидания и самопожертвования. Оно захватило и меня»²⁷. А когда интеллектуалы симпатизируют великому опыту, когда их захватывает вдохновение, они зачастую забывают и о свободе; как иначе объяснить, что такой ярый либерал и едкий сатирик, как Бернард Шоу, заявил: «Мы не можем позволить себе моралистическую манерность, когда наш самый предприимчивый сосед [Советский Союз]... гуманно и справедливо ликвидирует горстку эксплуататоров и спекулянтов, чтобы сделать мир безопасным для честного человека»²⁸.

Решившись (с некоторым опозданием) высказать свое мнение о разоблачениях, связанных с ГУЛАГом, многолетний апологет советского пути развития Ж.-П. Сартр будто бы сказал: «Предположим, что все это правда. Однако у нормального человека тут может быть две реакции. Первая – это констатация: "Ну, я же вам говорил! Как глупо было ожидать, что дело обернется иначе!" А вторая: "Черт возьми! Вот и еще одна великая надежда человечества развеялась как дым!"». Ц. Тодоров справедливо отмечал, что тут просматриваются две прямо противоположные тенденции: изображение интеллектуала как воплощения проницательности и как сеятеля надежд. Сама манера, в которой сформулировано противопоставление, свидетельствует о том, что Ж.-П. Сартру была ближе вторая позиция. Отстаиваемая им точка зрения утопична: представление о некоем идеальном бытии человечества и попытка осуществить его на земле (коммунизм, которым долгие годы увлекался Ж.-П. Сартр, – один из новейших, но не единственный вариант). Ц. Тодоров подчеркивает: «Конечно, утопии были всегда, но от Платона до Руссо их задачей было воспитывать ум, чтобы он смог анализировать мир, а не составлять планы действий для технократов будущего. Утопизм – это совсем другое дело, и сползание к нему произошло, по-видимому, за жизнь одного поколения, между Руссо и Робеспьером, когда последний стал применять на практике и на живых – до поры – людях то, что для первого было лишь средством исследовать логику государства (но утопизм как таковой, конечно же, начал складываться гораздо раньше, он формировался всей тысячелетней христианской традицией). С этого момента интеллектуалы сочили своей обязанностью без усталости изобретать все новые утопии, открывать все новые "окна в надежду", находить места, "зачаровывающие воображение"»²⁹.

В поисках эфемерных утопий, в изобретении все новых «окон, зачаровывающих воображение», израильская интеллигенция не отставала от дея-

телей культуры Запада. Внимательный анализ идеологических воззрений ведущих деятелей израильской культуры показывает, что им не удалось избежать, пожалуй, ни одного из тех заблуждений, через которые прошли европейские и американские интеллектуалы 1920–1960-х годов. Как известно, к 30-м годам XX века американские интеллектуалы, за исключением очень немногих, сосредоточились в левой части политического и идеологического спектра и в 1932 году в массовом порядке поддержали программу коммунистической партии, получившей на выборах всего четверть процента голосов. В это же время многие яркие фигуры среди интеллектуалов Германии, Италии, Испании, Франции, Португалии и Скандинавских стран нашли себя в радикальных националистических движениях консервативного толка. В Израиле среди мыслителей и деятелей культуры нашлись преданные сторонники обеих вышеназванных тоталитарных доктрин.

В декабре 1949 года левосоциалистическая партия МАПАМ провела два важных для себя собрания. Одно из них было посвящено семидесятилетию со дня рождения Сталина, которого партийная газета «Аль ха-Мишмар» («На страже») назовет в некрологе «весной народов»³⁰. Второе было посвящено целям и задачам писателей – членов партии; в нем приняли участие Авраам Шлёнский, Мати Мегед, Моше Шамир, Менахем Дорман и другие известные израильские литераторы. С основанным МАПАМ Центром прогрессивного искусства активно сотрудничало ведущее художественное объединение Израиля того времени – «Новые горизонты». Один из его лидеров, Йоханан Симон, стал автором официального первомайского плаката Федерации профсоюзов. Александр Пэнн, незаурядный поэт и спортсмен (он был инструктором по боксу и сам выступал на ринге), ставший в 1947 году редактором литературного приложения газеты коммунистической партии «Коль ха-Ам» («Голос народа»), писал: «Израиль, СССР – две родины моих», добавив впоследствии: «Я коммунист-еврей... и чем сильнее звучит во мне коммунист, тем выше взмывает во мне еврей». «Я красотой пожертвовал ради сути, – писал он, – и посвятил свою поэзию активной борьбе, служению делу социализма и мира во всем мире». Впоследствии многие писатели и университетские преподаватели вошли в созданное в 1961 году движение «Мин ха-Есод» («От истока»), требовавшее возвращения к идеологическим ценностям отцов-основателей израильского социализма. Даже Израиль 1950–1960-х годов – едва ли не самое коллективистское из демократических государств – казался им чрезмерно индивидуалистическим обществом. Прозападная ориентация Д. Бен-Гуриона казалась им ошибочной как с политической, так и с моральной точки зрения. Оглядываясь назад, можно лишь порадоваться тому, что призывы левых интеллектуалов остались невоплощенными, и соблазн сталинизма, бывший весьма и весьма серьезным искушением в тот период, все-таки обошел Израиль стороной.

С другой стороны, вопреки призывам Ури-Цви Гринберга, Исраэля Эльдада, Йонатана Ратоша и других, идеологии отказа от естественной исторической преемственности также не стали доминирующими в Государстве

Израиль. Как созданный Исроэлем Эльдадом в мае 1949 года журнал «Сулам» («Лестница»), вокруг которого группировались противники светского демократического еврейского государства, призывавшие к восстановлению Израильского царства, в состав которого входила бы вся библейская территория *Эрец-Исраэль*, так и созданный Йонатаном Ратошем в ноябре 1948 года журнал «Алеф», ставший трибуной «ханаанейцев», противопоставлявших формирующуюся в Израиле «новую нацию» евреям стран рассеяния и искавших культурные истоки этой нации в цивилизации языческих племен, населявших Древний Восток до возникновения иудаизма, оставались маргинальными трибунами нетривиально мыслящих художников, не имевших реального политического влияния. Израиль продолжал оставаться преимущественно светским демократическим государством, ощущавшим неразрывную связь с еврейскими общинами стран диаспоры.

Ури-Цви Гринберг, один из создателей новой ивритской поэзии, является ярким примером интеллектуала, говорившего, если воспользоваться классификацией К. Лэша, «голосом воображения». Будучи противником западной модели либеральной демократии, У.-Ц. Гринберг категорически противился введению всеобщей избирательной системы и в одной из статей открыто провозгласил необходимость «диктатуры духовной элиты в зарождающейся еврейской жизни»³¹. В 1961 году, когда возникла серьезная угроза кризиса израильской демократии, он призвал Д. Бен-Гуриона упразднить демократическое правление в государстве, распустить кнессет и «учредить чрезвычайное национальное правительство, в котором жизненно важные решения будут приниматься не избранниками, но избранными, обладающими даром предвидения и способностью мыслить, а также готовностью к действию»³². В противовес многочисленным выступлениям с критикой Бен-Гуриона в начале 1960-х годов, Ури-Цви Гринберг огласил свою полную и безусловную лояльность главе государства. Он призвал его «не снисходить до какого бы то ни было ответа на то, что пишут газетчики, писатели и дельцы и в особенности те, кто называют себя "гуманитариями", сочиняющие "воззвания" со своих олимпийских позиций. Они, витающие в облаках, знают приличия в каких угодно низменных владениях, но не знают никаких приличий в отношении того, кто стоит во главе еврейских владений»³³. Преданность Ури-Цви Гринберга главе израильского правительства носила безусловный характер даже тогда, когда тот действовал явно вопреки позициям ревизионистской партии, в частности, в ходе дебатов и голосования по вопросу о конституции³⁴. Позиция Ури-Цви Гринберга являлась прямым следствием разделяемой им идеи эстетизации политики, которая проходила красной нитью через многие его стихотворения и поэмы. Как пишет Ханан Хавер, «вместо моральных и прагматических соображений У.-Ц. Гринберг клал в основу политической деятельности ограничения и мотивы, носящие исключительно эстетический характер»³⁵. Отсюда, говорит Ханан Хавер, «националистическая, антидемократическая позиция Ури-Цви Гринберга, которая предлагала в панацею от

всех конфликтов эстетическую деятельность поэта, призванного формировать политические реалии»³⁶.

Следует заметить, что эстетический подход к политической деятельности, столь ярко выразившийся в творчестве и мировоззрении Ури-Цви Гринберга, был чрезвычайно популярен среди интеллектуалов и людей искусства того времени в различных странах мира, прежде всего, в фашистской Италии, Германии и Испании. Подобно им, Ури-Цви Гринберг воспринимал будущее нации не как результат долгого и кропотливого труда, но как некий прыжок из одного мира в другой. Нация, равно как и государство, не являлась для него чем-то, что требовалось создавать поэтапно путем земных, человеческих усилий. В его представлении она была некой идеей, которая должна была осуществиться внезапно, как чудесное откровение, ниспосланное Богом, в тот момент, когда еврейский народ окончательно созреет для этого. Как пишет Ханан Хавер, «в противовес идеалу постепенного продвижения к намеченной цели ("дунам за дунамом"), характерному для мировоззрения Рабочего движения, Ури-Цви Гринберг предлагал мессианское решение... Призывы к сдержанности и терпению в надежде на избавление в будущем являлись характерной особенностью тех литературных кругов, которые выступали в поддержку Рабочего движения. Однако Ури-Цви Гринберг в пылу мессианства категорически отказывался следовать этому сомнительному принципу, придав своему отказу политическую окраску»³⁷. Будучи противником доминировавшей в *ишув*е социал-демократической модели сионизма, он был ярко выраженным сторонником националистической парадигмы, которая представлялась ему исполненной духовного величия. В целом можно сказать, что приверженность национальному мифу связана с образностью и метафоричностью мышления, свойственного людям искусства, и прежде всего поэтам. Кроме того, всеохватность национального мифа, как и всеохватность мифа коммунистического, их способность формулировать красочные и исчерпывающие ответы на самые разные вопросы делает их притягательными для многих интеллектуалов, уставших от изнурительных поисков идеала. Радикальные идеологии, во множестве сформированные в первой половине XX века деятелями культуры в большинстве европейских стран, имели все шансы развиваться и укорениться и в Израиле. В этой связи отдаленность гуманитарной интеллигенции от реальных рычагов управления можно считать одним из факторов, обеспечивших сохранение в Израиле демократической формы правления.

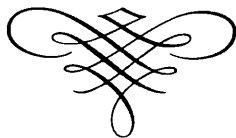
Израильский опыт во многом подтверждает скептически враждебное отношение Пола Джонсона к идущему еще от Платона образу правителя-философа и к участию «профессиональных мыслителей» в органах государственного управления: «Основываясь на трагическом опыте XX века, в течение которого десятки миллионов невинных стали жертвами амбициозных планов, призванных облагодетельствовать человечество, мы можем сказать современникам: остерегайтесь интеллектуалов! Их нельзя подпускать к рычагам государственной власти, и когда они дают советы, относитесь к ним с особен-

ным подозрением... Не обращайтесь на их категорические суждения о политиках и актуальных событиях. Ведь, вопреки их мнению о самих себе, интеллектуалы, как правило, не являются ни индивидуалистами, ни неконформистами. Напротив, они чаще всего ведут себя в соответствии с жестким кастовым кодом, будучи сверхудобными конформистами в отношении тех, к кому благоволят по велению моды или в силу сомнительного идеологического выбора. Именно это делает их особенно опасными как социальную группу, обладающую исключительными возможностями влияния на общество. Пестуя свои аксиомы и создавая вокруг них желанную им атмосферу, они очень часто приводят к разрушительным последствиям»³⁸. Это утверждение базируется на весомой фактической базе применительно к новейшей истории многих стран. Однако те весьма сомнительные идеологические привязанности, которые для израильских интеллектуалов были не менее характерны, чем для их коллег в других государствах, остались без значительных последствий именно в силу того, что их никто не подпускал к рычагам государственной власти. Деятели культуры, очарованные всевозможными формами и вариациями тоталитарных идеологий, как коммунистической, так и националистической, оставались на периферии общественно-политического развития страны, создавая порой значительные художественные произведения, но не оказывая реального влияния на внутри- и внешнеполитический курс государства. И сейчас, по прошествии значительного времени, кажется, что в этом отсутствии влияния и состоял едва ли не основной вклад интеллектуалов в формирование облика Государства Израиль.

-
1. *Тодоров Ц.* Человек, потерявший родину // Иностранная литература. 1988. № 6.
 2. *Фуко М.* Интеллектуалы и власть: Избр. полит. статьи, выступления и интервью. М.: Практика, 2002.
 3. Сионизм в контексте истории. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1993. Т. 2. С. 215–216.
 4. *Keren M.* Ben-Gurion and the Intellectuals: Power, Knowledge, and Charisma. Dekalb: Northern Illinois University Press, 1983. P. 118–151.
 5. *Lukacs J.* The Obsolescence of the American Intellectual // The Times Higher Education Supplement. 2002. 4 October.
 6. *Katz J.* With My Own Eyes: The Autobiography of an Historian / Hannover: Brandeis University Press, 1995. P. 160–161.
 7. См., напр.: *Голомисток И.* Тоталитарное искусство. М., 1994; *Володарский В. М.* Искусство при тоталитарных режимах // Тоталитаризм в Европе XX века / Под ред. Я. Дабкина и Н. Комоловой. М.: Памятники исторической мысли, 1996. С. 209–246.
 8. Энциклопедия Третьего рейха. М.: Локид-Миф, 1996. С. 357–358; *Залесский К. А.* Кто был кто в Третьем рейхе. М.: Астрель, 2002. С. 497.
 9. *Johnson P.* Intellectuals. New-York: Harper and Row. 1988. P. 319.
 10. *Громов Е.* Сталин: власть и искусство. М.: Республика, 1998. С. 224–225.
 11. *Максименков Л.* Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция, 1936–1938. М.: Юрид. книга, 1997. С. 232–235.

12. Соколов Б. Булгаковская энциклопедия. М.: Локид-Миф, 1996. С. 35–37.
13. Цит. по: Пленков О. Мифы нации против мифов демократии. СПб.: Изд-во Христианского гуманитарного института, 1997. С. 355.
14. Савасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат Европы: Предисловие к книге. М.: Мысль, 1993. С. 111. См. также: Merlio G. The Critique of Liberal Democracy in the Works of Oswald Spengler in «The Intellectual Revolt Against Liberal Democracy, 1870–1945» // Ed. by Zeev Sternhell. Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1996. P. 177–189.
15. Энциклопедия Третьего рейха. С. 462.
16. Бахрах Ц. Вызов. Демократия в глазах немецких профессоров и еврейских интеллектуалов в Веймарской республике. Иерусалим: Изд-во им. Магнеса, 2000.
17. Giles G. J. Students and National Socialism in Germany. Princeton: Princeton University Press, 1985.
18. Холландер П. Антиамериканизм. СПб.: Лань, 2000. С. 532.
19. Он же. Политические пилигримы. Путешествия западных интеллектуалов по Советскому Союзу, Китаю и Кубе, 1928–1978. СПб.: Лань, 2001. С. 181.
20. Фейхтвангер Л. Москва, 1937 // Два взгляда из-за рубежа. М.: Политиздат, 1990. С. 206.
21. Там же. С. 209.
22. Там же. С. 175.
23. Там же. С. 169.
24. Laski H. J. Law and Justice in the Soviet Russia. London, 1935. P. 28. Цит. по: Холландер П. Политические пилигримы. С. 227.
25. Там же. С. 229.
26. Фейхтвангер Л. Москва 1937. С. 164–165.
27. Fischer L. Men and Politics. New-York, 1941. P. 189; Цит. по: Холландер П. Политические пилигримы. С. 216.
28. Shaw G. B. Rationalization of Russia. Bloomington, 1964 [1931]. P. 112.
29. Тодоров Ц. Человек, потерявший родину.
30. Аль ха-Мишмар. 1953. 7 марта.
31. Цит. по: Хавер Х. Становление еврейской политической поэзии в Эрец-Исраэль // Институт им. Бялика. Иерусалим:, 1994. С. 149.
32. Хавер Х. Поэзия и государственность: Давид Бен-Гурион и Ури-Цви Гринберг // Алпайм. 1999. №17. С. 223.
33. Письмо У.-Ц. Гринберга Давиду Бен-Гуриону // Там же. С. 232.
34. Там же.
35. Там же. С. 229.
36. Там же. С. 230–231.
37. Хавер Х. В плену утопии. Сде-Бокер: Изд-во Университета им. Бен-Гуриона в Негеве, 1995. С. 78.
38. Johnson P. Intellectuals. P. 342.





Александр Мелихов

СОСТЯЗАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ГРЕЗ

Общественная жизнь не может стоять на каком-то одном единоспасющем принципе, она возможна лишь как вечная борьба многих соперничающих начал, победа каждого из которых несет гибель. Смертоносен всякий монокульт. И монокульт индивида так же опасен, как монокульт общественного целого.

Но...

Либеральная утопия в ее наукообразной версии, несмотря на свой солидный полуторавековой возраст, никак не хочет отправиться на заслуженный отдых вслед за своим фотонегативом – утопией тоталитарной. История человечества есть история освобождения индивида от всех сверхличных уз: централизованно управляемые общества военного типа неуклонно сменяются обществами типа индустриального. Несмотря на то, что социологическая мысль уже больше века назад не оставила камня на камне от этой обольстительной схемы, в передовых кругах до сих пор считается хорошим тоном декларировать, что единственный долг государства – создавать среду для наиболее удобного устройства личных дел его граждан. Для господ Лебезятниковых от либерализма это такая же неколебимая истина, как для красного, коричневого или зеленого фашиста постулат о государстве как орудии, предназначенном исключительно для созидания некоего апофеоза общественного целого. Главное – чтобы исключительно: монофакторные модели только и могут уместиться в уме простого человека, не допускающего, что на какой-то вопрос может быть минимум два равно справедливых ответа, требующих не отвергать, а совмещать альтернативы. Хотя в реальности только так и бывает.

Один из многих парадоксов демократии заключается в том, что она нежизнеспособна без аристократии, готовой жертвовать нуждами сегоднешнего дня ради того, что понадобится лишь будущим поколениям

(а, может быть, и тогда понадобится лишь немногим, да и то в качестве всего лишь прекрасного, всего лишь величественного, не приносящего ощутимой пользы). Жизнеспособно ли общество, состоящее сплошь из аристократов, готовых жертвовать полезным во имя отдаленного или прекрасного, – вопрос сложный, хотя и несколько академический: законченный аристократ всегда редкость, а уж в наше время особенно. Но то, что без аристократии у общества исчезнут всякие мотивы осуществлять какую-то более или менее длительную стратегию, плоды которой будут пожинать другие поколения, – это представляется довольно очевидным.

Отдаленного или прекрасного... Почему «или», а не «и»? Кто же станет жертвовать во имя отдаленного и безобразного, отдаленного и скучного?

Но по-настоящему прекрасной бывает только греза, реальность всегда слишком противоречива, пестра, контрастна, чтобы воодушевлять; любить до самозабвения человек способен лишь собственные фантомы – или, по крайней мере, реальные предметы, преобразованные и украшенные фантазией (чаще, пожалуй, чужой, если речь идет о социальной реальности). Дар ценить плоды фантазии выше материальных фактов и делает человека человеком: только человек способен жертвовать во имя того, чего нет, что существует лишь в его воображении. Собственно, это и есть определение аристократизма – готовность жертвовать наглядным во имя незримого.

И без толики служения незримому невозможно даже самое демократичное и прагматичное общество.

Общество – это и семья, и промышленная корпорация, и нация, и человечество. Но осуществлять сколько-нибудь продолжительные и ощутимые в историческом масштабе программы совместной деятельности во имя будущего пока могут преимущественно лишь нации (имеются в виду так называемые политические нации, включающие в себя всех граждан одного государства). Другие сообщества почти не располагают наследственными институтами, осуществляющими историческую преемственность (у промышленных корпораций, кроме того, и с бескорыстием чаще всего бывает слабовато – не для того они создаются). Поэтому целенаправленную деятельность исторического масштаба с древних времен и по нынешние обычно осуществляет национальная аристократия. (Надеюсь, в свете вышеизложенного излишне разъяснять, что национальная аристократия образуется не по крови, а по готовности жертвовать близким и ощутимым во имя отдаленного и незримого).

Но, поскольку всякая коллективная наследуемая деятельность вдохновляется коллективными наследуемыми фантомами, то и деятельность национальной аристократии должна неизбежно вдохновляться фантомами главным образом не личными и не общечеловеческими, а национальными. Иначе говоря, национальной аристократии (а и никакой гражданин невозможен без доли аристократизма) необходим идеализированный

образ своей страны – страны, не просто обеспечивающей комфорт и безопасность, но трогательной и эстетически привлекательной, – без этой поэтической архаики, по-видимому, не может обойтись ни одно самое демократическое и либеральное государство: государства стоят не столько на корысти, сколько на поэзии. «Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья», – написал я когда-то в «Исповеди еврея», и при всей намеренной заостренности этой формулы сегодня я не вижу в ней ничего унижительного: всякая любовь зиждется на идеализации, то есть на замалчиваниях, приукрашиваниях и даже прямых выдумках. Попытка построить жизнь исключительно на правде обернулась бы злейшей антиутопией.

И одна из самых трудноразрешимых проблем сегодняшней России – отсутствие сколько-нибудь общепризнанного воодушевляющего ее образа, коллективной грезы, которая не была бы опасна для нее самой и окружающего мира. Грезы, которая порождает бы гордость, пускай скорбную гордость, за свою страну, готовность переносить какие-то тяготы ради ее будущего и не способствовала бы внешней агрессии и внутреннему деспотизму. Эти требования к «национальной идее» в российской истории столь часто (вплоть до нынешнего времени) противоречили друг другу, что порой их совмещение представляется столь же неосуществимым, как мечта построить круглый треугольник. Кроме того, взыскуемый образ не должен слишком уж явно противоречить известным фактам, а поскольку в разных социальных группах считаются твердо установленными факты не просто различные, но иной раз и прямо противоположные, то...

Речь может идти скорее о создании внутренне противоречивой системы, в которой каждая социальная группа могла бы найти чарующий ее аспект, к чужим аспектам («иллюзиям») относясь хотя бы без вражды, а еще лучше – с отеческим снисхождением. Построение такой системы – дело не одного года и не одного человека, это работа скорее для художников, чем для идеологов, – это нашему брату законы не писаны, это мы свободны от обязанности непременно сводить концы с концами.



Но если в истории страны прежде всего бросаются в глаза то великие победы, то великие поражения (все равно отзывающиеся во всемирной истории), возникает соблазн и дальше двигаться путем наибольшей простоты – путем исторической инерции: то выбиваться чуть ли не в мировые лидеры, то скатываться на грань исчезновения – тут же, впрочем, начиная грезить о новом витке. Чтобы выбраться из этой опасной спирали – можно однажды достичь таких высот, падение с которых окажется уже несовместимым с жизнью, – великим народам иной раз можно поучиться и у народов малых (я не вкладываю в слова «малый народ» того сак-

раментального значения, которое им придал И. Шафаревич). Малым народам неизмеримо легче выйти из положения, в которое они никогда не имели ни соблазна, ни возможности попасть.

Финны для меня – самый загадочный народ в Европе (я бы даже сказал: в мире, если бы мое европоцентрическое невежество не обязывало меня держаться скромнее). Не имея ни собственного государства, ни изолирующей религии или образа жизни, ни воображаемой всемирно-исторической миссии, без всяких видимых истерик сосредоточиваться, воодушевляться смесью вымыслов и правды, крепнуть, становиться на ноги, выстаивать, обустриваться – во имя чего?.. В чем они видят свое величие (невозможное без примеси ужаса)?..

Бека под властью шведов, неудачные восстания, переход под власть российской короны – снова не по собственному решению, а по договору между шведами и русскими, – независимость, опять-таки дарованная Лениным в явной надежде вскорости забрать ее обратно, гражданская война, которую, кажется, только советская власть сумела возвести из величайшего бедствия в предмет национальной гордости, – и, наконец-то, Зимняя война с Советским Союзом – едва ли не первая за бог знает сколько веков страница канонически (в нам привычном смысле) героическая: вооруженная борьба с внешним агрессором. Борьба, кто спорит, геройская, однако все же проигранная, приведшая к потере десятой части и без того отнюдь не обширной территории. Затем компрометирующий союз с Гитлером... Оно, конечно, куда было деваться, и все-таки союз с нацизмом есть союз с нацизмом – обстоятельство, гораздо более вызывающее к замалчиванию, чем к романтизации. Затем разгром (при многократно превосходящих силах противника, но все-таки разгром), выход из войны, потребовавший военных действий против вчерашнего союзника... Оно, опять же, куда было деваться, да и союзник-то бы таков, что с ним чем хуже, тем лучше, но ведь для национальной легенды в привычном вкусе требуется не прагматизм, а бескорыстие, и неважно, что в международных отношениях оно еще большая редкость, чем в отношениях межличностных. Нет-нет, я очень даже верю в бескорыстие народов, тем более что народы и не могут действовать иначе как бескорыстно – покада они остаются чем-то целым, а не грудой разрозненных прагматиков. Но – народы всегда действуют во имя своих, а не чужих фантомов (не обращая внимания, что большинству их граждан как частных лиц эти фантомы выходят боком).

Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья, и лучше всего воодушевляет, мне казалось, вранье героическое. Притом воодушевляться самой расхристанной победой все-таки гораздо легче, чем даже самым геройским поражением. Как же устроились с этим делом финны, думая, направляясь в исторический музей города Хельсинки. Какие победы они раскапывают в своей истории унижений и поражений? Как, по крайней мере, они оттягиваются на ужасах шведско-российского ига?

Дело началось, как всегда, издалека – чьи-то кости, древний кнут... Затем какая-то история с этнографией, но даже и без языка было ясно, что о доблестях, о подвигах, о славе там если даже что-нибудь и есть, то разве лишь в самых гомеопатических дозах. И, наконец, роковой момент – 1809 год, переход под власть российского деспотизма.

И что же? Раззолоченное кресло Александра Первого при коротенькой табличке: присоединение к России было полезно в таких-то и таких-то отношениях. И все.

Затем снова какие-то трудовые будни – будни, будни, будни, – и, еще раз, наконец, скромное отсоединение от России. И опять никакого пафоса – ни торжества, ни вдохновения: отделение от России было полезно для того-то и того-то: и присоединились – хорошо, и отсоединились – тоже хорошо.

А как же победа «белофиннов» над Красной гвардией – со всеми положенными казнями и тюрьмами? Ни-че-го-шеньки! Я, по крайней мере, ничего не высмотрел. Зимняя война, правда, немножко есть, но без всякого нажима на вечную русскую угрозу – повоевали, мол, и хватит, пора заняться делом.

И дальше снова идут дела, дела, дела...

Как прикажете это понимать? Пресловутое историческое беспамятство? Или финская элита хочет превратить простых людей в пресловутых манкуртов, в Иванов, вернее, Ханну, не помнящих родства? А может быть, это мудрое стремление держать простого человека подальше от трагических вопросов, чтобы не плодить фашизм всех цветов радуги. Ибо в психологическом основании фашизма всегда лежит стремление к простоте: людей, не выносящих противоречивости и непредсказуемости, я и называю простыми.

Разумеется, в либеральнейшей Финляндии выходят книги на самые болезненные исторические темы, но – чтобы прочесть эти книги, ты должен сам захотеть, а просто раскладывать, просят не просят, у всех перед носом раздражающие факты, способные вызвать непредсказуемую реакцию...

Впрочем, почему «не»? Вполне предсказуемую. Реакции простого человека всегда однотипны (в противном случае, он уже не простой). И уместны разве что, когда неприятель стоит у ворот.

Прошу прощения, робко обратился я к своим спутникам, финским врачам-наркологам (спешу заверить, что встречался я с ними не в качестве пациента): в древние, дескать, времена финнам, не имеющим своего государства, как будто не приходилось вести особенно много войн – насколько мне известно, хотя я могу чего-то и не знать (беседуя о всегда щекотливых национальных вопросах, полезно топить прямой смысл в тысячах оговорок), так вот, где же они, финны, если без обиняков, берут национальных героев, которых проще всего творить, конечно же, из полководцев, притом победителей? (Где, иными словами, их Александры Невские, Суворовы и Кутузовы?)

Финны совсем не мало воевали, без промедления ответил самый пожилой из наркологов, шведы всегда вели войну до последнего финского солдата. И нашим героем является именно он – неизвестный солдат. Который все выдержал, не надеясь даже на посмертную славу.

Нашими героями являются крестьяне, воспетые поэтом Рунебергом, который хотя и писал по-шведски, все равно является финским национальным поэтом, его лира яснее всего звучит для финских ушей, поэтически выразился нарколог помоложе. Многие из нас считают национальными героями ветеранов Зимней войны, потупливая взор, сказал третий нарколог. А вместе с ними и женщин, которые держали на себе тыл. И еще мы гордимся тем, что сумели выплатить военные репарации и восстановить нормальную жизнь, прибавил он; и вообще мы умеем быстро выходить из кризисов.

«А как у вас в школе ведется патриотическое воспитание? – вспомнил я свое детство. – У вас учат, что вы лучше всех, – и в чем лучше?» «Нет-нет, – заспешили они хором, – у нас учатся дети разных национальностей, такое говорить нельзя». Тем более что шведский язык – просто второй государственный (в расписаниях поездов, и правда, каждый город имеет два названия, иногда совсем непохожие, типа Турку–Або). Но в семьях многие учат: ты финн, ты должен быть стойким. «Меня воспитывали в большом преклонении перед Зимней войной, – снова, уже грустно, сказал третий нарколог. – Но нынешней молодежи на это, по-моему, уже плевать».

При этом все невольно покосились на самого молодого нарколога. Он заалел, как умеют алеть только блондины, и заговорил с очень облегчающими работу переводчицы запинаниями, но явно обдуманно и убежденно.

Мы, финны, примерно так я могу пересказать его сбивчивую речь, гордимся не тем, что кого-то победили, а тем, что не дали победить себя. Выстояли между агрессивными гигантами Востока и Запада, сохранили свой язык и свою культуру. Но если мы чересчур сосредоточимся на военных подвигах, то можем не заметить совершенно новое испытание, которое уже не требует ни оружия, ни храбрости. В нашу страну прибывают тысячи людей, принадлежащих других культурам, равнодушных к будущему нашего народа, а часто даже настроенных против него из-за того, что они чувствуют себя здесь людьми второго сорта.

Но если когда-то казалось естественным, что человеком первого сорта можно сделаться, только приспособившись к доминирующей нации, то теперь представляется естественным, наоборот, приспособливать доминирующую нацию к себе. Причем та даже не решается открыто протестовать, поскольку сама же, вместе со всей Европой, много лет провозглашает, что не личность должна приспособливаться к обществу, а общество к личности, что все культуры имеют равные права. Но те, кто к нам приезжает, вовсе не считают, что все культуры равны, они убеждены, что их культура лучше. Когда финка выходит замуж за араба, вы думаете, она

будет готовить ему финские блюда? Нет, она будет готовить арабские блюда! И ходить в платке – многие уже ходят!

Он у нас расист, пояснил мне первый нарколог, улыбкой показывая, что шутит, но одновременно словно бы гордясь не то смелостью, не то экстравагантностью своего молодого коллеги. Однако тот возразил почти гневно: «Я не расист, я считаю, что все люди любого цвета кожи имеют право делать все, что делаем мы. Но если они не любят то, что люблю я...» «Считается, что любовь можно вызвать хорошим обращением», – осторожно заметил я. «Да, наши левые тоже думают, что любовь можно купить, – горько усмехнулся алый нарколог. – Они уверены, что наш образ жизни настолько идеален, что отворачиваться от него можно только по недоразумению: стоит нашим недоброжелателям открыть на него глаза, и они сделаются такими же, как мы. А на самом деле, многие из тех, кто у нас поселяется, чем лучше нас узнают, тем сильнее ненавидят. И с этим ничего не поделаешь. Все предпочитают любить свое, а не чужое. Поэтому мы должны научиться обходиться без чужаков. Мы должны начать сами выполнять ту работу, на которую сейчас пускаем иностранцев. Мы должны производить на свет столько же детей, сколько производят они». «Сегодня самое главное стратегическое оружие – мужской член», – завершил первый нарколог, и все с облегчением рассмеялись, радуясь возможности выбраться из безысходной серьезности.

При совместном жительстве народов, в который раз подумал я, в конце концов одолевает тот, чье воодушевляющее вранье воодушевляет сильнее, чья греза сильнее чарует, пьянит: состязание технологий сменяется состязанием грез. Уж кто-кто, а наркологи знают, что трезвыми глазами смотреть на жизнь невозможно, жертвовать человек способен только грезе: трезвая рациональность, наоборот, подсказывает ему все использовать в своих интересах.

Но для мира требуются совсем иные грезы, чем для войны. Принцип «не одолевать других, а сохранять себя», по-видимому, актуален сегодня не только для финнов, но и для русских: наша доля в мировом народонаселении, мировом производстве такова, что не хочется даже лишний раз произносить эту цифру вслух. Правда, опасность превращения в национальное меньшинство русскому народу пока что, кажется, не грозит. Хотя... Однако более актуальным для него выглядит другое испытание, или, как теперь принято выражаться, вызов – это соблазн граждан устраивать свою судьбу отдельно от него. Если все, кто достаточно квалифицирован, энергичен, смел, станут стремиться в более благоустроенные страны, а в России будут оставаться лишь те, кому некуда деваться, – это и станет поражением России в состязании грез (деликатнее выражаясь – культур), за которым неизбежно следует и поражение технологическое. Да, да, ду-

мал я, остановить движение людей от менее преуспевающих народов к более преуспевающим, от абсолютной корыстности к относительному бескорыстию могут только грезы. Теоретически остается, правда, возможность удержать беглецов силой, но это потребует столь жестокого подавления всех внутренних потенций, что лишь ускорит и усилит проигрыш.

В этом новом состязании – состязании грез – от аристократов требуется уже не готовность без рассуждений обращать свою шпагу против того, на кого укажет власть, а готовность отказываться от соблазнов более приятной жизни – даже и для своих детей и внуков – ради продолжения русских грез, русского языка и всех порожденных ими ценностей. И тут нельзя не вспомнить тот народ, который очень много творил на русском языке – из любви к русскому языку, русской культуре, – но постоянно подозревался в недостатке преданности воинственным преданиям, в недостатке вражды к народам-соперникам. Я говорю, разумеется, о еврейском народе (эти, как всегда, о своем, как однажды обронил Солженицын). Сегодня подвергается испытанию не вражда к чужому, а привязанность к своему, и в этом испытании очень многие евреи тоже выполняют функции русской национальной аристократии. Ибо очень многие из тех, кто, начиная с конца восьмидесятых, остался в России, предпочли незримое осязательному, предпочли грезу факту.

Что и есть главное свойство аристократа.

Национальную безопасность сегодня (как, впрочем, и всегда) определяет не только прочность границ, но и прочность грез. И если бы я был президентом, я бы считал одной из важнейших стратегических задач поддержку национальной аристократии. При этом я бы вкладывал деньги не в аристократию какой бы то ни было крови, а в аристократию духа.

То есть в творцов и хранителей грез.





Дмитрий Хмельницкий

ДВА МУЗЕЯ

Йоминг Пэй против Даниеля Либескинда

В Берлине два знаменитых архитектора построили за последние несколько лет два музейных здания, ставших сразу тоже знаменитыми. Это новый корпус Исторического музея Йоминг Пэя и Еврейский музей Даниеля Либескинда. И то, и другое – пристройки к существующим старым музеям. Пикантность в том, что здания отрицают друг друга. За ними стоят не только разные художественные концепции, но и разные профессиональные принципы. По сути – разные профессии.

Пэй построил классический современный музей, может быть, даже слишком классический и ясный. Необыкновенной красоты, прозрачный с боков и сверху холл, с врезанной в него винтовой лестницей и пересеченный на разных уровнях галереями. Кристалл холла контрастирует с замкнутыми просторными экспозиционными залами. Элегантная облицовка желтоватым камнем, скупые и изысканные, тонко прорисованные детали. Предельно современная постройка Пэя, которую можно увидеть только с боковых улиц, гармонирует со старым торжественным зданием Исторического музея, выходящим на парадную Унтен дер Линден. Архитектура Пэя не нуждается в объяснениях, она самодостаточна. Ее нужно видеть.

Если музей Пэя – классический музей, то музей Либескинда – неизвестно что. В прямом смысле этого слова. И тут без подробного анализа не обойтись.



История возникновения в Берлине Еврейского музея имеет несколько аспектов – социальный, научный, архитектурный. И странную предысторию.

В Западном Берлине на Линденштрассе, в красивом барочном дворце XVIII века, располагался музей города Берлина. Музей был организован после разделения города в 1961 г. Здесь имелся небольшой и очень инте-

ресный еврейский отдел. Собственно, из-за недостатка места отдел находился в другом известном берлинском музейном здании, в Мартин-Гропиус-Бау. Экспозиция двух среднего размера залов была посвящена быту и истории берлинских евреев. Экспонировались религиозные книги и свитки, ритуальные предметы, костюмы XVII–XVIII вв., этнографические экспонаты, картины и гравюры. Отдел был сугубо научным (этнографическим) и давал полное представление о месте и роли еврейской религиозной и этнической общины в истории Берлина.

В 1988 году был объявлен архитектурный конкурс на расширение музея Берлина. По программе в новом здании должен был находиться еврейский отдел, а кроме него целый ряд других, более крупных отделов – театральный, отдел моды, графическое собрание, администрация всего музея, архив, библиотека, помещения для сменных выставок и обширные запасы. На весь еврейский отдел, включая постоянные и сменные экспозиции, отводилось 1150 кв. метров из 10 000 запланированных – приблизительно одна девятая часть всех новых площадей. Видимо, с научной точки зрения этого было более чем достаточно. При этом за новым корпусом с самого начала укрепилось сначала условное, а потом и официальное название «Еврейский музей».

В конкурсе, в котором участвовало 150 архитекторов, победил архитектор Даниель Либекинд. Победил на первый взгляд заслуженно. Его проект – динамичная зигзагообразная змейка – выгодно выделялся среди более или менее традиционных работ других участников. Особенно при взгляде сверху – то есть при сравнении пятен застройки. Это был красивый жест, но скорее графический, чем архитектурный. Орнаментальный, а не пространственный. Узкие окна-линии, хаотично и демонстративно пересекавшие фасады во всех направлениях, тоже выдавали вызывающе антиархитектурный – декоративный – подход к задаче.

На уровне конкурсной идеи жест действительно очень важен. В какой степени в нем заложена потенциальная возможность превратиться в пространственный организм – архитектурное сооружение, предстояло выяснить в дальнейшем. Впрочем, с самого начала было ясно, что загнать в узкий зигзаг сложную функцию современного музейного здания будет непросто.



Здесь начинается следующий аспект этой истории – история самого Еврейского музея как научного учреждения. В Германии, по-прежнему одержимой комплексом вины за преступления нацистов, еврейская тема – в любом аспекте – окружена особым пиететом. Отсюда – Еврейский музей вместо еврейского отдела Берлинского музея. Отсюда и все дальнейшие, произошедшие с ним метаморфозы.

На должность руководителя отдела был сначала приглашен израильский специалист по организации выставок Амнон Барцель. Он потребовал полной



Еврейский музей.
Архитектор Даниель Либескинд



Исторический музей.
Архитектор Йоминг Пэй

автономии от администрации Фонда городских музеев, которому подчинялся музей Берлина. Во-первых, автономии идеологической – Барцель разработал свою, в высшей степени сомнительную – с научной точки зрения – концепцию экспозиции. Во-вторых, автономии административной и финансовой. И, главное, – он потребовал отдать в распоряжение Еврейского музея все новое здание Либескинда. В конце концов, Барцель был со скандалом уволен, поскольку парализовал всю работу по разработке новой концепции всего музея. Его место занял гораздо более вменяемый бывший министр экономики США Михаэль Блюменталь. Надо добавить, что в силу уже упомянутого пиетета перед темой еврейское происхождение играло ключевую роль при подборе кандидатур на руководящие должности музея. Что для научного учреждения более чем странно. Скажем, вопрос о том, чтобы именно мусульманин руководил берлинским Исламским музеем, даже не начал бы обсуждаться.

В результате сопровождавших эти события политических игр оказалось, что за несколько лет, прошедших между конкурсом и окончанием строительства, здание сменило назначение. Еврейский отдел превратился в самостоятельный музей. Сначала он получил в свое распоряжение все новое здание, а потом и старое тоже. Теперь в задачи бывшего отдела входило освещение всей тысячелетней истории евреев в Германии. И тут возникли новые проблемы.

История еврейских общин в Германии долгая, но достаточно скромная. Экспонатов на большое здание наскрести очень сложно. Тем более экспонатов, обладающих музейной ценностью. Особое значение Еврейского музея определялось на самом деле громадной ролью, которую сыграл в истории Германии нацистский геноцид. По сути дела, музей возник не из потребности в размещении научных коллекций, а из политкорректных соображений.

Перед руководством музея встала проблема, с которой сталкивались организаторы обязательных музеев Ленина в столицах всех союзных республик. Есть здание, которое нужно заполнить неизвестно чем.



Либескинду такая ситуация во многом облегчила жизнь. Здание потело очевидную функцию, и его оказалось легко представить в виде некоего символического объекта еврейской истории. В виде экспоната-скульптуры. Особенно автору, склонному к символической риторике.

Те, кто посещал еще пустое здание после окончания строительства, получали довольно сильную эмоциональную встряску. В чистом, не вполне законченном виде здание производило впечатление.

В свое время Либескинд придумал для проекта название – «Между линиями». Действительно, ломаные пересекающиеся линии пронизывают все здание – они нарисованы на полу, светятся на потолке, превращаются в окна. Самое эффектное место – прямая многомаршевая лестница, зажатая между высокими стенами. Эти стены связаны между собой в верхней части идущими под разными углами бетонными балками. С площадок лестницы – входы в залы, представляющие собой изломанные пространства, слишком узкие для нормальных помещений и слишком широкие для коридоров.

Экспрессия зигзага педалирована до предела. Хаотически прорезанные световые щели-окна, бесчисленные острые углы. Экспрессия одного и того же накала повторяется во всех помещениях и на всех этажах. Наконец понимаешь: что-то тут не так. Что-то не так со вкусом. Художественное произведение – любое – не может строиться на одной ноте. На одном бесконечном крике. Возникает предположение, что экспрессия поддельная. Что автор хладнокровно и довольно банальными приемами симулирует истерику.

Особенно очевидно это становится в месте, заведомо рассчитанном на самый сильный эмоциональный эффект, – в так называемой «башне Холокоста». Темное, пустое, очень высокое и узкое помещение с тяжелой дверью. В вышине – пятно света. Люди должны заходить сюда, чтобы постоять и выйти, переполненные мыслями о смерти. Символика настолько очевидна и назойлива, что эффект проваливается в пустоту. Вместо экстаза возникает недоумение. Прием, рассчитанный на довольно простую психику? Но он уже не действует на современного человека с минимальным художественным и жизненным опытом.

Снаружи новое здание выглядит довольно странно. Тем более рядом с изящным старинным дворцом. Задуманный автором эффект контраста, возникающий при сопоставлении зданий разных стилей и эпох, предполагает относительную художественную равновеликость компонентов. У Либескинда динамический зигзаг, такой эффектный на генеральном плане, в реальности превратился в бесформенный грузный ангар, облицованный матым алюминием.

Графический жест, за который Либескинд получил первую премию на конкурсе, остался не более чем графическим жестом. Способностей к объемному, пластическому творчеству, необходимых для превращения графического эскиза в пространственную структуру у автора оказалось недостаточно.

Узкие окна, подчеркнuto бессмысленно перерезающие фасады, не спасают положения. Экспрессия остается нарисованной. Станным образом

оказывается, что никаких собственных пространственных находок или даже собственного личного ощущения пространства в музее Либескинда нет. Эффекты вроде бесконечной лестницы и острых углов давно знакомы. Извивающиеся залы-коридоры – совершенно плоские, одной высоты – никуда не открываются, заканчиваются лестничной клеткой или тупиками. Нет останавливающих внимание архитектурных деталей. Нет естественного для архитектора желания дать свое представление о музейном пространстве. Есть однозначный графический прием. Постмодернистский выкрик.

Либескинд считается представителем «деконструктивизма». Именно применительно к его творчеству этот термин демонстрирует изначально заложенную в нем бессмысленность.

Конструктивисты 80 лет назад провозгласили конструктивную логику и структурную ясность основной архитектурного творчества. «Деконструктивизм» Либескинда – это уход от рациональности и системы не в иррациональность и свободу (что нормально), а в бессмысленность. Это антиконструктивизм. Если нормальное окно служит для того, чтобы освещать помещение, то мы сделаем такие окна, чтобы ими пользоваться было невозможно, и там, где они заведомо не нужны, или, наоборот, – мешают. Если нормальное здание должно отвечать какой-то определенной функции, то мы сделаем такое, в какое никакую функцию не воткнуть. И сделал.



В архитектурном смысле здание Еврейского музея представляет собой любопытное, хотя и сомнительное явление. Лучше всего было бы оставить его пустым. Но не было возможности. Пришлось заполнять. То, что получилось, меньше всего похоже на музей. Скорее на ярмарочный павильон. Или на модный магазин мебели. Или на Диснейленд.

Устроители столкнулись с двумя роковыми проблемами – с отсутствием экспонатов музейного уровня и невозможностью полноценно использовать предоставленное им пространство под какую бы то ни было экспозицию.

Вторую проблему решили, закрыв, где можно, косые, мешающие окна изнутри. Залы же разбили на множество закутков и узких проходов, в которых почти невозможно сориентироваться.

Первую проблему решили, утопив немногочисленные настоящие исторические экспонаты в огромном количестве дидактико-педагогического материала. То есть, попросту говоря, подделок и репродукций.

Яркий пример: в стеклянном шкафу выставлен музыкальный инструмент типа балалайки, явно свежееизготовленный. Рядом репродукция старинной миниатюры около 2,5 м высотой, изображающей человека, играющего на таком инструменте. И надпись на стене: «В XV веке в Европе появились первые еврейские учителя игры на лютне». Оказывается, в шкафу – современная копия средневековой лютни. В соседнем закутке выставлен каменный блок с вырезанным в нем готическим окошком из двух арочек с

колонкой посередине. Надпись объясняет: это окно из синагоги в таком-то городе такого-то века. Копия.

Все свободное пространство завешено такими же огромными репродукциями и уставлено всевозможными разноцветными предметами и оборудованием, рассчитанным на развлекающихся подростков. Колонны с торчащими ящиками на пружинах, которые нужно выдвинуть, чтобы узнать, что там спрятано. Колеса, которые нужно провернуть, чтобы посмотреть в скрытое окошечко. Компьютерные игры на еврейскую тематику. Научного смысла такая экспозиция не имеет вовсе, но детям интересно.

Кроме того, имелась еще одна научная проблема. Кардинальная. Средневековые еврейские общины были этнорелигиозными сообществами. Ассимиляция XIX века привела к тому, что многие выходцы из общин стали нормальными деятелями немецкой культуры. История немецкого еврейства как этнической общности практически закончилась в XX веке вместе с исчезновением языка идиш в качестве разговорного.

Чисто научный этнографический подход к культуре немецких евреев сильно ограничил бы возможности экспозиции. Руководители музея решили считать евреями всех, в ком течет еврейская кровь. В полном соответствии с практикой национал-социалистов.

В результате экспозиция музея в огромной степени состоит из демонстрации культурных достижений «лиц еврейской национальности» и их портретов. Один из самых забавных экспонатов – макет универмага знаменитого немецкого архитектора первой половины XX века Эриха Мендельсона. Забавен он, конечно, не сам по себе, а в качестве «достижения еврейской культуры».

В целом Еврейский музей оказался вполне органичным явлением – сочетанием недоархитектуры с недомузеем.

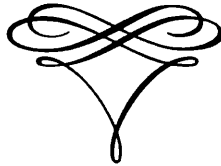


Традиционная, высокопрофессиональная архитектура Пэя и вызывающе претенциозная, любительская – Либескинда сегодня уравновешены в общественном сознании нашей постмодернистской эпохи. Либескинд, пожалуй, даже опережает по очкам. Сегодня в его Еврейский музей ходит больше посетителей, чем в Берлинскую картинную галерею или в египетский музей с их немислимыми шедеврами. И будут еще ходить. Какое-то время.

В истории искусств периодически наступают эпохи приоритета новизны над глубиной. Когда неожиданное решение стоит дороже правильного. Последующий анализ все равно расставляет все по местам. И если неожиданность окажется еще и правильной – значит, повезло эпохе. Так в свое время эпохе повезло с Корбюзье, Райтом, Гансом Шаруном.

Либескинд, на мой взгляд, – решительно не тот случай.





Дан Шапира

ИОРДАНСКИЕ И САУДОВСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В ЧЕЧНЕ

Чеченцы не похожи ни на кого из своих соседей. Для большинства русских разница между разновидностями «чурок» несущественна, а зря. Страна, сосуществующая с исламским и кавказским миром столетия, должна бы стараться понимать, с кем она имеет дело. Пока что чеченцы представляются русским «черными» горскими ваххабитами, не более. Но даже знания нескольких простейших фактов, вполне доступных из общерусской истории и из справочников, было бы достаточно, дабы задуматься. Итак, факты: из всех языков кавказской семьи, которая включает все языки Кавказа и Закавказья (кроме русского, армянского, осетинского, азербайджанского, ногайского и карачаево-балкарского), нахский/чечено-ингушский является вторым по числу носителей, сразу после грузинского, и в несколько раз превышает количество говорящих на любом другом кавказском языке.

Это означает, что на Северном Кавказе чеченцы – второй по численности народ, а если считать вместе Северный Кавказ и Закавказье, то чеченцы окажутся на четвертом или пятом месте. В любом случае, среди собственно кавказских народов чеченцы идут сразу после грузин, а среди мусульманских народов – сразу после азербайджанцев. На Кавказе эти факты всем известны и значение их многим понятно. Более того, так называемая «кавказская идея» – расистско-культурологическое учение, предполагающее политическое и культурное единение всех кавказских народов (без азербайджанцев и армян) под эгидой Грузии, – предполагает теснейший союз грузин и чеченцев. Отголоски этого появившегося в конце XIX века учения легко улавливаются в разных кавказских раскладах и сегодня (Дудаев–Гамсахурдия, Панкиси и проч.).

Очевидно, что понимание этого фона окрашивает затянувшийся российский-чеченский конфликт в непривычные русскому читателю, но понятные кавказцу цвета.

Горцы: исторически таковыми на Кавказе считаются лишь жители Дагестана, точнее, значительная часть их, за исключением ногайцев и, отчасти, кумыков и жителей побережья. Большинство «горских» народов Северного Кавказа обитали до российской экспансии в долине или в предгорьях и были вытеснены в горы русскими войсками. При советской власти начался обратный процесс – переселение вниз, «на плато», диктуемый как интернационалистской идеологией, так и державной прагматикой – возможностью лучшего контроля. В прошлом районы расселения предков нынешних чеченцев простирались далеко на север, до современного русского Черноземья.

Далее: Азербайджан и Дагестан были исламизированы к X–XI векам, Западный же Кавказ, т. е. Черкесия, – в основном к XVII веку, хотя анклавы христианства и язычества сохранялись и позднее. Абхазия стала исламской страной совсем поздно, но это другая тема, на которой мы здесь не будем останавливаться. Что же до Чечни, она оставалась языческой дольше всех, и в ней исламизация совпала по времени с войной против русского вторжения в середине XIX века.

Таким образом, для чеченцев борьба против российской геноцидальной экспансии и принятие ислама оказались связаны в единый тугой узел. По сути, их история началась лишь с героического противостояния российской экспансии и принятия ислама. До этого они были как бы вне истории.

Я употребил слово «геноцидальный» в его точном значении, а не в том смысле, который зачастую придают этому понятию российские «либеральные» демагоги. Русские войска под водительством немецких и швейцарских генералов целенаправленно уничтожали естественную среду обитания чеченцев, сжигали деревни вместе с жителями, вытесняя туземцев в горы. Следует отметить, что в те же годы аналогичные методы использовали и французы в Алжире, боровшиеся против повстанцев Абдель-Кадера. Русские и французские офицеры обменивались опытом геноцида, равно как обменивались опытом ведения джихада и алжирцы с представителями движения Шамиля (до сих идут споры на тему: встречались ли в Мекке Абдель-Кадер и Шамиль; как бы то ни было, оба вождя были в курсе дел друг друга). Таким образом, джихад и угроза геноцида сопровождали чеченский народ почти с самого начала его национальной истории.

На замирение чеченцев России потребовалось почти 40 лет. Не только чеченцы участвовали в сопротивлении российской экспансии, но в ходе этой войны именно они выдвинулись как лидеры общекавказского сопротивления. После покорения Кавказа, стоившего России чудовищных жертв (как из-за упорства и воинского мастерства кавказцев, так и из-за непрофессионализма князя Баратынского), сотни тысяч кавказцев предпочли жизни под властью Москвы переселение на территорию Османской империи.

Османская империя уже в 70-е годы XIX века стояла перед проблемами самоидентификации. Она постепенно теряла прогрессистскую веру в себя как в «государство всех граждан», где мусульмане и христиане пользуются равными правами, поскольку равноправие – или да-

же всего лишь движение в сторону одного – привело к отпадению территорий с христианским большинством на Балканах. Потеря балканских территорий сопровождалась изгнанием и истреблением тамошнего мусульманского и еврейского населения. Все помнят о «болгарских зверствах», карательных акциях башибузуков против болгарских партизан, и никто почти не помнит о геноциде мусульман и евреев на территориях, отходивших к Болгарии, Греции, Сербии. Характерно, что после распада Османской империи ислам сохранился в Европе лишь в трех странах: на Кипре, перешедшем под власть цивилизованной Британии, в Боснии, попавшей под контроль не менее цивилизованной Австро-Венгрии, и в Албании, где это религия большинства, тесно связанная с местным национализмом. На фоне обоснованного недоверия к «своим» христианам, в сочетании с притоком беженцев из христианских или оккупированных христианами мусульманских стран, иммиграция «черкесов» (как называли в Османской империи всех кавказских мусульманских беженцев) представлялась Порте желательной. Османские власти расселяли «черкесов» в Восточной Анатолии, Сирии и Курдистане. В современной Турции живет около 5 миллионов потомков кавказских мусульман; в Израиле – порядка 10 тысяч; не менее нескольких сотен тысяч, если не более, – в Саудовской Аравии; несколько десятков тысяч в Иордании и в Ираке.

Во всех этих странах «черкесов» (а в Турции, Саудовской Аравии и Иордании и собственно чеченцев) всегда охотно принимали в ряды вооруженных сил, где многие из них достигали самых высоких постов. В Иордании ситуация и вовсе уникальна: эта населенная в основном палестинцами страна управляется династией, изгнанной в середине 20-х годов минувшего века из Хиджаза. Будучи чуждой основному населению, она опирается на коалицию местных бедуинских племен юга страны, немногочисленных потомков соратников родоначальника династии эмира Абдаллы, пришедших из Хиджаза, и на местную чечено-черкесскую общину. Лишь выходцы из этих трех групп населения служат в аппаратах безопасности, в специальных частях и тому подобных структурах. Именно чеченские танкисты и десантники жесточайшим образом подавили в сентябре 1971 года мятеж палестинцев в Иордании (так называемый «Черный сентябрь»). Мятежники намеревались захватить власть, чтобы превратить страну в «Палестину» и базу для войны с Израилем. Чеченские и черкесские гвардейцы в папах, с газырями на «черкесках» и кинжалами часто мелькают в телекадрах, фиксирующих прием иностранных гостей в королевских дворцах Иордании.

Это подводит нас к вопросу о нынешней чеченской войне. Всякий, знакомый с израильским обществом, знает, что у выходцев, скажем, из России, даже в третьем и четвертом поколениях, зачастую наличествует некий набор вариантов особого отношения к стране исхода. То же справедливо и по отношению к кавказцам, живущим на Ближнем Востоке, с той разницей, что у них отношение к России окрашено лишь негативными обертонами, с одной стороны, а территории традиционного расселения, ныне находящиеся в Рос-

сии, для них всегда – Родина, а не только страна исхода. Понятно, что происходящее в последнее десятилетие в Чечне и на Кавказе в целом живо интересует этих людей; многие вывозят оттуда невест, некоторые, включая израильских черкесов, известных лично автору этих строк, переселились на родину предков, многие иные отправляются туда по собственной инициативе – сражаться с российскими войсками, довоёвывать Кавказскую войну.

Особенно заметна в чеченской войне роль саудовских и иорданских чеченцев. Как известно, из их среды вышел ряд выдающихся полевых командиров. Более того: значительное число тех, кого в России именуют «арабскими наемниками», являются на деле добровольцами чеченского происхождения – гражданами Саудовской Аравии и Иордании. При этом саудовские граждане склонны реформировать традиционный чеченский ислам, подменяя его ваххабизмом (официальной религией Саудовской Аравии).

Многие из иорданских чеченцев, воюющих в Чечне, до этого служили в элитных подразделениях и службах безопасности своей страны. Речь ни в коем случае не идёт о сознательном вмешательстве Иорданского королевства во внутренние дела России, но когда у вас так много чеченцев на ключевых постах в ваших собственных службах безопасности, достаточно всего нескольких преданных своему делу человек и некоего климата терпимости по отношению к их деятельности, чтобы ситуация оказалась довольно двусмысленной. Причем источником атмосферы терпимости не обязательно должны быть исключительно сами чеченцы – государство, столь зависимое от своих секретных служб, может быть просто вынужденным закрывать глаза на некоторые явления, не вполне осознавая их политический контекст и последствия.

Нет сомнения, что иорданские чеченцы в Чечне быстро усваивают радикальные политические и религиозные взгляды и вступают в контакты с проповедниками джихада из самых разных стран. Чечня в последние годы вообще стала теплицей международного террора, который создал свои ячейки в России, Америке, Европе, Пакистане, Ближнем Востоке. Однако Россия предпочитает рассматривать чеченскую проблему в отрыве от всемирного джихада и поэтому не видит противоречия между своей войной в Чечне и взрывами в Москве, с одной стороны, и поддержкой таких криминально-террористических структур, как, скажем, Палестинская автономия или саудовский режим – с другой.

Однако такая связь существует: опыт, наработанный на площадях Москвы и в ходе сражений в Чечне, успешно применяется в Израиле, Ираке, Афганистане... В джихадистском Интернационале, сражающемся в Чечне, стираются национальные различия, и люди, прибывшие помочь освобождению родины своих предков, становятся обыкновенными воинами ислама, лишёнными национальных черт. Они готовы сражаться не только с русскими, но и с любыми немусульманами и даже с мусульманскими отступниками всех видов.

Поскольку иорданские и саудовские чеченцы, в силу своего высокого

военного профессионализма, в сочетании с идеологической мотивированностью и связями в своих странах, считающихся проамериканскими, являются наиболее опасными террористами, было бы весьма желательно, чтобы Израиль, Иордания, США и Россия изыскивали способы поставить заслон этой утечке квалифицированных профессионалов террора из стран своего проживания и их расползанию по миру. Мне известно, что уже более десяти лет назад эта проблема обсуждалась группой российских востоковедов и одним их израильским коллегой, специализирующимся в области борьбы с террором. Однако это обсуждение ни к чему не привело. Ныне же есть основания полагать, что Израилю удалось бы убедить Иорданию, что существующее положение противоречит ее собственным долгосрочным интересам. Но для этого необходимо, чтобы Россия поддерживала в этом вопросе Израиль, для чего ей пора, наконец, признать, что Арафат такой же «борец за свободу», как Хатаб или Басаев. Без этого ни официальный Израиль, ни официальная Иордания не смогут попытаться помочь России – коль скоро она сама такой помощи не желает.

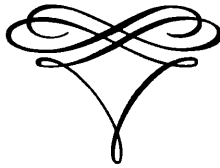
Вроде послесловия

Через два дня после отправки этой статьи в редакцию автору довелось ехать в военном джипе, шофером которого был старшина-сверхсрочник Накши. На вопрос, не черкес ли он, Накши ответил положительно. Воодушевленный интересом к своей персоне, Накши поведал автору следующее: «Коммунисты – еще при царе – изгнали нас в Турцию. Здесь тогда была Турция. У нас тогда был президент Шамиль, он с английской королевой переписывался. Сейчас многие у нас едут в Черкессию, невест оттуда привозят. Но я не хочу туда ехать. Я в Иорданию ездил, встречался там с родственниками – часть их для этого специально из Сирии приехала. Мой родственник – полковник в сирийской армии. Моя бабушка тоже из Сирии. Они на Голанах жили, потом бежали от израильской армии, когда мы (т. е. Израиль. – *Д. Ш.*) захватили Голаны. Я туда ездил – в деревню, где жила бабушка, на Голанах. Мы (т. е. израильская армия. – *Д. Ш.*) ее разрушили, но кладбище осталось в хорошем состоянии».

Потом он показал мне кольцо с выгравированной на нем национальной черкесской символикой. Кольцо это привез в подарок израильскому старшине полковник сирийской армии.

До 1967 года на Голанах, действительно, в основном жили черкесы, большая часть которых – с приходом израильской армии – бежала в Сирию. Так что если Израиль будет вынужден уйти с Голанских высот, то туда вернутся черкесы, изгнанные с Кавказа «коммунистами при царе», 140 лет тому назад.





Александр Кустарёв

УРОКИ ВОЙНЫ В ИРАКЕ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ШЕСТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Итак, мы прибыли в новое столетие – и, может быть, даже в новое тысячелетие – на американских танках и самолётах через Ирак. Образ войны, оставшийся в нашей памяти от ушедшего века, двух мировых и нескольких гражданских войн, похоже, больше не соответствует действительности.

Иракская война прежде всего поражает тем, что, в сущности, была бескровной. Союзники за всю кампанию потеряли меньше людей, чем один батальон за одно сражение во время Второй мировой войны. Ирак потерял на два порядка больше, но и это совершенно несопоставимо с потерями того же Ирака в его недавней войне с Ираном. Этого удалось добиться благодаря поразительным успехам техники, но не только. Союзники вполне сознательно стремились свести потери в живой силе к нулю, материальный ущерб к минимуму. Но и это не всё. Огромного количества жертв и материального ущерба удалось избежать, потому что противник, в сущности, не сопротивлялся.

Установка на «гуманные» методы ведения войны – важное и крупное достижение западной цивилизации. Эта цивилизация в последние два века пережила несколько войн, в которых активно участвовали целые народы. Таковым было принципиальное свойство войн нового времени. До этого друг с другом воевали властители и их личные армии. Народ спасался как мог от грабежей и насилия со стороны наёмной пьяной солдатни. В эпоху народных войн жертвы стали исчисляться миллионами и десятками миллионов. Это был травматический опыт, и он был усвоен. Усвоению его помогли, конечно, резкое снижение рождаемости, рост благосостояния и приобщение масс к достижениям бытовой культуры привилегированных слоёв общества. Проще говоря, детей в семьях теперь мало, вложено в них много, и, чтобы получить процент на эти вложения, нужно, чтобы дети жили как можно дольше, а не шли под пулемёты. Да-

же если нация как электорат и соглашается, чтобы правительство вело войну, она ставит условие: не убивать ни своих, ни чужих, ни гражданских, ни военных. После Вьетнама ни один американский президент не решится объявить войну, если это будет угрожать нации всеобщей военной обязанностью. Вольнонаёмные солдаты идут на риск, но и для них существует приемлемый уровень риска. Если же он превышен, профессией солдата никто не прельстится. В общем, воевать некому, и если нужно всё-таки воевать, то это должна быть война роботов. По крайней мере, с «нашей» стороны. Что же касается противника, то это его проблема.

Одним словом, бескровная война – системный компонент западной цивилизации в нынешней её восходящей или нисходящей – кому как больше нравится – фазе. Смертоубийственные войны возможны только на задворках или за пределами Системы. В постмодерной войне ставка делается не на уничтожение и разрушение, а на дезорганизацию противника и превентивное подавление сопротивления. В некотором смысле война превращается в коммерческую операцию.

Военная стратегия союзников в походе на Ирак с технической стороны интерпретируется по-разному. Глава американского военного ведомства Рамсфелд предпочитает думать, что главную роль в иракской кампании сыграли лёгкие мобильные части. Это, дескать, принципиальное новшество. Генералы же говорят, что это был классический блицкриг, где решающую роль сыграли полный контроль с воздуха, массированный предварительный обстрел и тяжёлые танки. Но все сходятся в одном: техническое обеспечение войны поднялось на принципиально иной уровень. Прежде всего, имеются в виду техника слежения, разведки и точность огневых ударов. Это выглядело внушительно уже во время первой войны в Заливе (1991 г.), когда масштабы использования новых методов едва превышали экспериментальные, а теперь это норма.

Но простое превосходство в боевой силе и технике недостаточно для стерилизации войны. Так называемая «реалистическая школа» считает, что мир на земле наилучшим образом обеспечивает баланс сил, то есть равное взаимное устрашение. Если паритет нарушен, риск горячего конфликта становится выше. Риск начинает вновь возвращаться к нулю, только когда превосходство одной из сторон становится *абсолютным*. Однополюсная система безопасности требует полной монополии полюса силы. Она возможна только в самом своём крайнем варианте – никаких компромиссов и паллиативов. Дело в этом случае обстоит в мире точно так же, как в любом отдельно взятом государстве: у центра силы должна быть полная и несомненная монополия на применение силы.

Осуществится ли такой идеал? К нему, безусловно, ведёт логика нарастающего опережения лидера. Ведёт, но не приводит. Логическую тенденцию нужно подкрепить чем-то ещё. Интересный опыт в этом отношении – попытки предотвратить распространение ядерного оружия. Пока рано судить, насколько они оказались успешными. Но, похоже, что весьма вели-

ка вероятность, что в итоге они успешными не окажутся, не будучи подкреплёнными силой. Лидер, если он хочет не только господствовать, но и берётся обеспечить безопасность хотя бы своих граждан, вынужден давить возможных конкурентов в зародыше. Если нет баланса сил, мир должен быть «зачищен» – превентивно. Это настойчиво рекомендовал американский теоретик и духовный отец нынешних ястребов в администрации Буша Альберт Вольштеттер. Опасный ли это путь? Конечно, опасный. Особенно если мировой жандарм замешкается и решит ударить только тогда, когда потенциальный противник в самом деле будет располагать хотя бы ничтожным арсеналом оружия массового поражения, как это чуть не произошло с Ираком и могло бы произойти, если бы Саддам был расчётливее и терпеливее.

Но некоторые другие опасности неверно диагностированы и сильно преувеличены. Ирак дал в этом отношении интересный урок.

Конечно, наводящий порядок должен иметь в виду, что ему будет оказано сопротивление. Мрачные исторические прецеденты – Вьетнам, Афганистан. Но, похоже, что эти прецеденты либо исторически устарели, либо их просто было мало, чтобы делать обобщения. Война в Ираке показала, что эта опасность преувеличена. Оккупация Ирака оказалась больше похожа на оккупацию Чехословакии в 1938 и 1968 годах.

Все сходятся на том, что Саддам, несмотря на огромное военное превосходство противника, мог дать настоящий бой. Он мог затянуть войну и сделать её гораздо более разрушительной и кровавой. Генералы теперь удивляются, что иракская армия не практиковала налёты на транспортно-конвойные линии союзников. Пара эпизодов была, и сразу стало видно, что это могло бы стать основным методом сопротивления. Но эпизоды не повторились.

Не было и уличных боёв, где союзники сильно растеряли бы своё преимущество в боевой силе и технике. Конечно, если бы саддамовцы попытались втянуть союзников в такую войну, то, скорее всего, союзники на это просто не пошли бы. Они входили в Басру и Багдад осторожно, проверяя готовность противника к сопротивлению, и, если бы сопротивление оказалось достаточно ожесточённым, не стали бы предпринимать затяжной штурм. Армейские эксперты говорили, что не собираются воевать, как русские в Грозном. Какие формы приняла бы осада и как долго она продолжалась бы, теперь уже сказать невозможно. Не исключено, что были бы усилены бомбардировки, и тогда было бы намного больше жертв среди гражданского населения, что опять-таки заставляет вспомнить Грозный. Так что даже в этом случае война выглядела бы совсем иначе и отмирать от неё было бы значительно труднее.

Ирак не использовал ни одну из возможностей сильно увеличить для союзников цену войны – как коммерческую, так и политическую. Тогда если бы Саддам в конце концов всё равно проиграл, то не один. Настоящего победителя в войне вообще не было бы.

Больше того. Если бы война затянулась и ужесточилась, для Саддама это было бы равноценно моральной победе, что помогло бы консолидации арабского мира против Америки и вообще усилило бы антиамериканские настроения в мире, то есть придало бы определённую окраску целой фазе всемирной истории и даже, может быть, повлияло бы на некоторые промежуточные результаты исторического процесса. Саддам ведь как будто этого и добивался. Не мог же он думать, что победит США в военной кампании. А на историческую победу (хотя бы промежуточную) он мог рассчитывать и сам ясно давал понять, что рассчитывает.

Что же произошло? Возможно, сами иракские войска, включая элитные части Национальной гвардии, просто не сочли нужным оказывать бесполозное сопротивление. Мы до сих пор не знаем, как велась кампания со стороны Багдада, то есть какие отдавались приказы, как они выполнялись (если выполнялись) и отдавались ли они вообще. Тут очень важны детали: что происходило в штабе Саддама в первые дни и даже первые часы войны? Вероятно, американские спецслужбы сейчас пытаются реконструировать происходившее на стороне противника, но в широкую печать пока никакие интересные сведения не просочились. Разве что, впрочем, были произнесены такие слова: «Запад должен благодарить Бога, что иракская армия решила не сражаться». Так сказал иракский подполковник Аль-Даббаг, который, как теперь выясняется, был первоисточником знаменитой формулы «45 минут». Это он сообщил о доставке на переднюю линию таинственных ящиков с «секретным оружием», которое якобы могло быть приведено в действие за 45 минут, а то и за полчаса.

Если правда, что армия Ирака решила не сражаться, то почему и как это произошло? Может быть, армия и не собиралась сражаться, прекрасно знала это, и разведка союзников тоже это знала, и всё, таким образом, было чистейшим представлением? Или: иракское командование не предвидело, какое эмоциональное впечатление произведёт на войска подавляющее боевое превосходство противника, когда начнётся «дело». Возможно, войска быстро поняли, что сопротивление бессмысленно, а Саддам так и не понял этого и продолжал настаивать на том, чтобы они сопротивлялись. В таком случае Саддам сильно переоценил моральный дух своих войск и их готовность приносить себя в жертву. И оказалось, что у Саддама не было над ними настоящего контроля. Или ещё: Саддам и сам это понял (если не понимал с самого начала) и сам приказал не воевать. При этом у него был некий запасной план последующего саботажа и иных форм сопротивления. Так можно было думать до того, как Саддама, наконец, поймали. Глядя на него теперь, невозможно поверить, что он эти девять месяцев как-то чем-то руководил. Старик просто прятался – и всё.

Один отставной гебешник, пытаясь объяснить казавшееся необъяснимым бездействие иракской армии, в очередном междусобойнике с телеведущим с умным видом говорил: ясное дело, американцы просто купили иракских генералов. У нас нет доказательств, что это не так. Поэтому тео-

рии гебешника мы можем противопоставить только другую теорию. Англичане говорят «no one bribes when he can bully», то есть «зачем давать взятку, если можно припугнуть». Часто вопрос, конечно, решается простым сопоставлением издержек, но в итоге подкуп всегда оказывается менее экономичным, потому что давший взятку однажды, рискует продолжать до бесконечности. Это знают все жертвы шантажа. Из этого исходят все, кто имеет дело с освобождением заложников. А в случае с Ираком ещё и проводился важный эксперимент по эффективности запугивания. Взятки не только были бы коммерчески убыточны, но и сгубили бы чистоту эксперимента. Если всё-таки вульгарная теория гебешника когда-нибудь подтвердится и окажется, что иракским генералам дали на лапу, то это будет признано скандальной ошибкой – вне всякого сомнения.

Некоторые американские солдаты, озадаченные отсутствием сопротивления, объясняли это по-солдатски просто. Они открыли огонь, рассказывал один из них, мы ответили, и они заткнулись. Это продолжалось не больше пяти минут. Они – трусы.

Но комментаторы-эксперты подозревают другое. Вот, например, американский военный историк Макс Хастингс пишет так: «Когда военные историки будут детально разбираться, что же произошло, они будут теряться в догадках, почему Саддам принял военный вызов США, если у него не было никакого плана ведения войны». Иными словами, Саддам попросту не знал, как он будет воевать. И Хастингс продолжает: «Поведение Саддама можно объяснить только тем, что он – фантазёр, в традиционном арабском стиле. Он верил, что зажигательная риторика действительно поможет против современного оружия»

Это подозрение не лишено оснований. Догадка, что у Саддама вообще не было никакого плана военной кампании, а если был, то совершенно нереалистический, интеллектуально возбуждает. Но никак не может удовлетворить нашу любознательность. Ссылка на некое специфически «арабское фантазёрство» только сбивает с толку. Саддам и его ближайшее окружение, может быть, в самом деле, надеялись на чудо (мать Саддама была деревенской гадалкой, а его отец таинственно исчез; интересно, что сказал бы по этому поводу агент Молдер?). Это – инфантильное магическое сознание, чрезвычайно живучее и даже причудливо укрепившееся в последнее время. Факт очень интересный, бросающий свет на многие псевдополитические действия идеологических движений и даже партий повсюду в мире. Это интересное объяснение поведения Саддама – не очень слабое, но и недостаточно сильное.

Вот объяснение посильнее. Внутренняя логика эволюции режимов этого типа, будь то государства или корпорации, ведёт к тому, что они изживают сами себя и не столько стараются продлить своё существование, сколько не знают, как самоликвидироваться. Признаки того же обнаруживаются в завершающей фазе существования СССР и (в разной мере) стран «народной демократии». В конце своего существования эти структуры

почти атрофируются, и все, кто как-то к ним причастен, подсознательно только ждут какого-то повода, чтобы дезертировать. Включая самого главу режима, хотя он меньше всех отдаёт себе в этом отчёт и ему труднее всех это сделать. Но в случае Саддама дезертирство таки совершилось. Если в этом и были какие-то сомнения, то теперь, когда его вытащили из убежища, для них не остаётся места.

Но есть и ещё более рациональное объяснение, хотя оно остаётся гипотетическим, пока не будет документально подтверждено. Не исключено, что Саддам даже и не готовился к войне, поскольку не верил, что она начнётся. Он думал, что это – холодная война. Он мог при этом рассчитывать на то, что Европа и ООН удержат США. Или он мог думать, что сами США, грозя ему войной, вовсе не намерены ее объявлять. У него были основания так думать. Тот факт, что США всё-таки пошли войной на Ирак, вовсе не означает, что она была неизбежна. Война была рискованным предприятием. Поведение Саддама, не исключено, было чистой воды блефом. Саддам блефовал и проиграл.

В своё время были признаки того, что Саддам планировал некое историческое наступление всего арабского мира на загнивающий Запад, вдохновляясь теориями цикличности в развитии цивилизаций. Для этого ему не надо было читать Шпенглера. У него был свой классик – великий арабский историк и мыслитель Ибн Халдун (XIV в.), развивавший похожие взгляды. Саддам даже назвал его именем флагман иракского флота. После шока 1991 года его интерес к этому варианту, надо думать, угас. И можно предполагать, что тогда он захотел навязать себя Вашингтону в качестве спарринг-партнёра по холодной войне – «холодному джихаду». Поэтому он напускал туману, делая вид, что у него есть оружие массового уничтожения. Мне так кажется (хотя у меня нет никаких доказательств), что ничего у Саддама не было. Мне вся эта история напоминает старый анекдот про советский «ящик». У инженера просят подписку, что он не будет никому рассказывать про своё предприятие. Инженер пожимает плечами и говорит: «Что мы храним в секрете? Мы от них на 20 лет отстали». «Именно это, – отвечает ему "секретник", – и есть наша главная военная тайна».

Инфантильный международный авантюризм Саддама спровоцировал прецедент и привёл к возникновению новой реальности. Можно быть уверенным, что она возникла бы всё равно, но исторически путь к ней прошёл через Саддама.

Обнаружилось, что возможно сравнительно безболезненное оперативное устранение очагов международной опасности (действительной, воображаемой или симулированной). При этом оказалось, что так называемый «национальный суверенитет» может быть нарушен без особых хлопот. До этого предполагалось, что доктрина суверенитета, родившаяся при заключении Вестфальского мира в XVII веке и, казалось, окостеневшая в Потсдаме и в Ялте, будет серьёзным препятствием на пути установления

нового порядка в мире. Опасность отказа от этой доктрины, как и готовность авторитарных режимов к сопротивлению, оказались сильно преувеличенными.

На самом деле нарушение суверенитета практиковалось уже при двух-полусной системе, когда США и СССР регулярно наводили порядок в зонах своего влияния. Теперь эта практика глобализовалась. Этому было оказано серьёзное дипломатическое сопротивление, но никто не стал продолжать это сопротивление «другими средствами». Многозначительный контраст двум мировым войнам XX столетия. Обе они начинались не с прямого конфликта между великими державами, а с нападения одной из них на третью страну. Значит ли всё это, что нынешняя карательная практика станет теперь нормой? Да, значит. Никакое международное право и никакая спиритуальная мораль не гарантируют суверенитета малых стран, если он не обеспечен балансом сил между великими державами, готовыми к войне друг с другом. Макс Вебер видел в этом providentialный смысл самого существования великих держав. Теперь мы можем размышлять, что значит его теорема в условиях, когда великая держава становится единственной в мире сверхдержавой.

В новых условиях мы будем жить в другой среде и по-другому. Бородинская битва, высадка в Нормандии, десять сталинских ударов, ирано-иракские танковые («курские») битвы – слава аллаху, безмерна милость его! – остаются лишь на киноэкранах. Но, увы, у ящика Пандоры нет дна. Новые опасности лезут из него, как пассажиры из переполненного вагона электрички.

Во-первых, размывается граница между сферами внешней и внутренней политики. Это беспокоит. Хорошо, чёрт с ним, с суверенитетом. Мы долго усматривали в нем некую моральную ценность, но теперь видим, что никакой моральной ценности у него на самом деле нет. Но тот, кто завоевал чужую страну, берёт на себя ответственность за её политическую структуру и образ жизни ее населения. Легко устранить атрофированный режим. Чем и как его заменить? Реорганизовать популяцию вовсе не то же самое, что реконструировать фирму. Ещё накануне иракской войны из недр вашингтонского истеблишмента просочилась информация, что ответственные агентства сами не верят в установление демократического стабильного режима в Ираке. Цитировать скептиков на этот счёт можно до бесконечности.

Помимо этого, не следует забывать, что десакрализация суверенитета не только развязывает руки агрессорам, но и усиливает позиции любых сепаратистов. Ирак как будто нарочно для этого существует. Это – лоскутное одеяло народов и конфессий. Если бы они хотя бы были локализованы. Но нет, они перемешаны в больших городах, и поэтому создание на территории Ирака нескольких этнических (или конфессиональных) государств нереалистично и, во всяком случае, чревато жуткими этническими чистками.

Но и это не всё. После того как Саддама не стало и страна открылась, обнаружилось, что он вовсе не держал всё в своих руках, как это казалось на фоне его безжалостных репрессалий. Эксперты, оценивающие теперь ситуацию в стране, сообщают, что на самом деле Саддам делегировал реальную власть на местах разным местным элитам – племенным, денежным, религиозным. Режим Саддама был для них большой «крышей», а теперь, когда ее снесли, они предоставлены сами себе, и загнать их под новую «крышу» будет непросто.

Более того, если не удастся быстро стабилизировать ситуацию в Ираке, это чревато дестабилизацией всего региона. До начала военной кампании очень авторитетный историк и знаток современной войны, работающий в Иерусалиме, Мартин ван Крефельд, считал это вполне вероятным. Прежде всего, полагал он, это может коснуться Иордании. Но от дестабилизации не гарантированы и Саудовская Аравия, и даже Кувейт. Дестабилизация Иордании может втянуть в конфликт Сирию. Дамаск, кроме всего прочего, не хочет забывать, что когда-то территория, именуемая теперь Иорданией, была под его контролем, и в 1970 году Асад, бывший тогда министром обороны Сирии, пытался оккупировать часть Иордании. В этом хаосе Израиль может попытаться окончательно решить палестинскую проблему с помощью этнических чисток. Американцы, сами увязшие в Ираке, не смогут его приструнить. Окажется под угрозой израильско-египетское мирное соглашение. Начнутся нелады с нефтью.

Этот сценарий ван Крефельда исходил из того, что Саддам будет сопротивляться. Этого не произошло, и вероятность такого развития событий стала заметно меньше. Сирия, например, пока не подаёт никаких признаков агрессивности, наоборот. Но не обязательно, что так оно будет и впредь. После ареста Саддама ситуация, пожалуй, опять становится несколько более тревожной. Дело в том, что, как оказалось, нынешняя террористическая герилья в Ираке не имеет к Саддаму никакого отношения, и, таким образом, надеяться, что она с его арестом сойдет на нет, никак нельзя.

Между тем активность герильи нарастает. Сейчас в день происходит 30–40 нападений на войска союзников – в 2 раза больше, чем в июле прошлого года. Американская разведка считает, что за всем этим стоят остатки лояльных Саддаму баасистов. Ими руководит, судя по всему, второй человек саддамовского режима – генерал Иззат Ибрагим. Англичане с этим не согласны. Они думают, что важнее две другие силы: связанная с «Аль-Каедой» группировка «Ансар аль-ислам» и международные джихадисты – возможно, под руководством видного проповедника исламизма Абу Музаб аль-Заркави. Сопротивление баасистов, оживившись сразу после поимки Саддама, может, полагают они, вскоре пойти на убыль. Но два указанных выше формирования на самом деле ждут своего часа. Как исламисты заместили в Палестине людей Арафата, так и здесь произой-

дёт исламизация иракского сопротивления, и Ирак станет главной линией фронта мирового джихада.

Ближний Восток, конечно, особенно горячий регион. Киссинджер, классифицируя регионы мира по их геополитической проблематике, сравнил Ближний Восток с Европой XVI века. Сравнение говорит само за себя. Если теперь здесь ликвидирована возможность военных действий типа европейских войн эпохи модерна, то партизанская война колоссальных масштабов никак не исключена.

Весьма вероятно она и во всем мире. Колоссальное неравенство сил порождает новую психологическую атмосферу конфликта. Полное бессилие и унижение слабых расширяет невидимый и повсеместный фронт партизанского сопротивления, использующего террористические и неконвенциональные методы. Неконвенциональные в двух смыслах. Во-первых, без соблюдения каких бы то ни было правил – шахидство. Во-вторых, с использованием оружия массового поражения. Пока прецедентов последнего не было, но Мартин ван Крефельд считает, что до этого вполне может прийти.

Состояние перманентной герильи стирает разницу между войной и миром. Это самое неприятное. Когда-то говорилось, что война – это продолжение дипломатии другими средствами. Теперь мы можем сказать, что мир – это продолжение войны другими средствами. «На местности» это будет означать бесконечную череду оперативных карательных мер. Но также и мелкоочагового сопротивления этим мерам.

Городская герилья и терроризм заменят и горячую, и холодную войну, а вместе с ними и мир. Мрачных прогнозов на этот счёт предостаточно. Не исключено, что всё будет не так страшно, как полагают пессимисты, но это будет достаточно страшно. Говоря формально, «уровень насилия» в повседневной жизни возрастет.

Как мы будем это ощущать – другое дело. Скорее всего, никак. Скорее всего, мы просто привыкнем к повышенному уровню насилия. Уже стремительно привыкаем. После 11 сентября произошло уже много чего. Масштаб террора увеличивается. В Ираке он повседневен. Число жертв растет. И что? Да ничего. Когда «много» становится «слишком много»? На что ушло больше эмоциональной энергии британского обывателя: на победу в чемпионате мира по регби или на победу в Ираке? На очередной проигрыш английских крикетистов или на гибель военнослужащих в Ираке? Никто не мерил, а между тем – бабушка надвое сказала.

Это – психологическая сторона дела. Но надо будет приспособливаться и к материальным изменениям. Угроза террора, сказавшись на политике страховых компаний, сильно замедлит дальнейший рост благосостояния рядовых граждан. Подорожают отпуска, транспорт. Станет труднее получить кредит. Из-за того, что страховые компании не страхуют недвижимость или требуют непомерные страховые взносы, рейтинг мно-

гих финансовых институций, дающих кредиты под залог недвижимости, уже упал.

Всё большая доля мирового валового продукта будет уходить на меры безопасности. Если не пушки вместо масла, то страховка вместо масла.

Произойдет также вытеснение государств другими агентами конфликта. Государства делали много грязной работы по наведению порядка и предотвращению насилия. Их ослабление может привести к тому, что насилие (грубое насилие, смертоубийство) воцарится в деловой и политической жизни – если от политической жизни что-то вообще останется. Как это произошло на наших глазах в республиках бывшего СССР. Современное государство в результате долгой эволюции и совершенствования стало как никак главным институтом гражданского общества – во всяком случае, в богатых демократиях Севера. Оно осуществляет социальный контроль. И взаимный геополитический контроль в «мире-как-системе-государств». Мы всё время говорим: терроризм, терроризм... А ведь помимо терроризма нам угрожают войны между частными армиями и мафиями, например. И даже, можно опасаться, – религиозные войны между новыми религиями и сектами. Шахидство отчасти (хотя и не целиком) – явление этого порядка.

К этой новой обстановке придётся мучительно приспособляться, и все формы общественной жизни, которые возникнут в ходе этого приспособления, трудно предвидеть. Но некоторые из них уже известны и, по нашим нынешним нормам, покажутся нам уродливыми и унижительными. Борьба с терроризмом и частными войнами неизбежно скажется на степени свободы обывателя. Комендантский час может утвердиться навсегда, что приблизит наш образ жизни к неприятным видениям будущего в черных утопиях типа Оруэлла.

Можно надеяться, что на вечнозелёном древе жизни даже в ходе такого развития событий произрастут и какие-то сладкие плоды. Но в видениях футурологов образы этих плодов почему-то почти не фигурируют. Нехорошие футурологи явно предпочитают очернять будущее. То самое будущее, куда мы прибыли на американских самолётах и танках через Ирак. Здравствуй, время лихое, беспокойное.





Бенедикт Сарнов

КАК ЭТО БЫЛО*

Иосиф Бродский в одном из своих прозаических сочинений («Размышления об исчадии ада»), вспоминая о днях, предшествующих смерти Сталина, говорит, что маленькая их семья в те дни готовилась к отъезду:

Ибо стало известно, что в результате «дела врачей» (в результате сомневаться не приходилось) всех евреев будут перемещать на Дальний Восток, чтобы тяжким трудом на благо своего социалистического отечества они могли искупить вину своих соплеменников: врачей-вредителей. <...> Отца выгнали из армии, где он прослужил всю войну, и на работу нигде не брали; работала только мать, но и она держалась на волоске. Мы жили на ее зарплату и готовились к депортации, и по рукам ходило письмо, подписанное Эренбургом, Ботвинником и другими видными советскими евреями, которое гласило о великой вине евреев перед советской властью и которое со дня на день должно было появиться в «Правде».

Сомневаюсь, чтобы такое письмо тогда «ходило по рукам». Но слухи, действительно, были. Правда, и слухи эти сильно отличались от того, что пишет Бродский. Но он жил тогда в Ленинграде, а я – в Москве. К тому же ему было тогда всего-навсего 13 лет, так что он вполне мог кое-что перепутать: на воспоминания о тех временах могли наложиться более поздние слухи и впечатления.

Мне было тогда – 26. Но и я не могу сейчас точно сказать, когда эти слухи дошли до меня впервые: в последние недели жизни Сталина или уже после его смерти. Но если и после смерти, то – вскоре.

Слухов было много. Но все версии действительно сводились к тому, что вызвали тогда (в феврале 1953-го) куда-то наверх всех именитых со-

* Глава из книги «Случай Эренбурга», которая выйдет в этом году в московском издательстве «Текст».

ветских евреев и предложили им подписать письмо, по сути оправдывающее и даже как бы обосновывающее необходимость высылки всех их соплеменников в места отдаленные. Еврейский народ, дескать, погряз в болоте сионизма, буржуазного национализма, а потому должен быть отправлен на «перевоспитание».

Кто говорил, что именитых евреев, подписавших это письмо, минет общая еврейская участь, кто, напротив, утверждал, что, подписав его, они тем самым признались бы в своей готовности разделить ее.

Это все более или менее совпадает с тем, что рассказывает Бродский.

А вот насчет того, что под тем письмом якобы стояла подпись Эренбурга, мне слышать не приходилось ни разу. Во всех доходивших до меня версиях утверждалось прямо противоположное – подписали будто бы все: и Ойстрах, и Дунаевский, и Ботвинник, и Левитан, и Рейзен, и Ландау, и Маршак, и Гроссман. Говорили, что даже самый главный еврей Советского Союза – Лазарь Моисеевич Каганович – и тот поставил под этим письмом свою подпись. И только Эренбург – единственный из всех! – категорически отказался его подписать.

Рассказывали даже, что Каганович – сам, лично – звонил Эренбургу и уговаривал его подписать. Ничего не поделаешь, мол, надо. А то – еще хуже будет. Но Эренбург и тут устоял. Сказал, что не подпишет, пока сам Сталин не позвонит ему и не скажет, что надо.



О том, как всё это было на самом деле, я узнал от моего друга – известного художника Бориса Биргера. Он с Эренбургом был в более коротких отношениях, чем я, и тот был с ним откровеннее, чем со мною. А Борис, слава Богу, догадался записать всё, что Илья Григорьевич ему рассказал.

Цитирую эту его запись:

Это было поздней осенью 1964 года. Я не помню сейчас, по какому поводу Илья Григорьевич очень просил меня приехать на дачу. Я очень любил этот удивительно красивый и уютный дом на реке Истра, километрах в семидесяти от Москвы. <...> Мы долго сидели, топили камин. Илья Григорьевич рассказал мне историю одного письма, которую потом повторил еще раз в Москве. Он явно хотел, чтобы я ее запомнил как следует.

В последние месяцы царствования Сталина, поздно вечером, точнее уже ночью, так как было после двенадцати, в квартире Эренбургов раздался настойчивый звонок. В эти времена ночные звонки вызывали только одну ассоциацию...

Любовь Михайловна пошла открывать. Гости были на этот раз очень неожиданные – академик Минц (так называемый философ-марксист) и еще один, чью фамилию я не помню. Минц сказал, что он должен срочно побеседовать с Ильей Григорьевичем. Когда они зашли,

Минц положил перед Эренбургом письмо в газету «Правда», под которым было уже довольно много подписей. В этом письме нижеподписавшиеся евреи отказывались от еврейского «народа-предателя». Впоследствии выяснилось, что Сталин выбрал несколько (кажется, 67) евреев – крупнейших ученых, высших генералов армии, прославившихся во время войны, несколько писателей, актеров и т. п., которых считал нужным пока сохранить.

Илья Григорьевич очень резко сказал Минцу, что такое письмо он никогда не подпишет. Тогда Минц стал довольно прозрачно намекать, что это письмо согласовано со Сталиным. И. Г. ответил, что письма он подписывать не будет, но напишет письмо Сталину с объяснением своего отказа.

И. Г. ушел в кабинет, а Минц начал запугивать Любовь Михайловну, весьма образно описывая, что с ними будет, если И. Г. не подпишет письмо. Любовь Михайловна рассказывала, что час, проведенный в обществе «этих двух иуд» (как она выразилась), был не только одним из самых страшных в ее жизни, но и самым омерзительным. Когда И. Г. вернулся с запечатанным письмом, достойная парочка снова было приступила к уговорам, но И. Г. попросил передать его письмо Сталину и сказал, что больше беседовать на эту тему не собирается, и выпроводил их.

Эту запись Борис сделал не сразу, а семь лет спустя после смерти Ильи Григорьевича. Естественно, что не все из того, что было ему рассказано в тот вечер, осталось в его памяти. Быть может, поэтому, а может быть, и потому, что на некоторых подробностях И. Г. просто не считал нужным остановиться, он не отметил, что тот визит Минца и Маринина (так звали второго визитера) был не первым.

Мой коллега Борис Фрезинский посвятил этому сюжету специальное исследование, в котором восстановил всю последовательность событий (*Фрезинский Б. Я.* Власть и деятели советской культуры – проблема адекватного анализа // Исторические записки. № 5 [123]. М., 2002.) Он установил, что «главноуговаривающие» – академик Минц и журналист Маринин (Хавинсон) – сперва приезжали к Эренбургу на дачу, и он просто не стал даже обсуждать с ними эту тему. Беседа с ними в редакции «Правды», как он выяснил, была уже второй. И там тоже о его намерении написать Сталину речи не было.

К тем двум предварительным его встречам с «двумя мерзавцами» мы еще вернемся. А пока отметим только, что та, о которой Илья Григорьевич и Любовь Михайловна рассказывали Биргеру, была, стало быть, уже *третьей* его встречей с ними.

О том, как события развивались дальше, мы тоже узнаем из записок Бориса Биргера. Версий, а тем более слухов вокруг этого сюжета наворочено множество. Но только вот эта запись рассказа Эренбурга, сделанная Биргером, – только она одна! – дает нам возможность с достаточной степенью достоверности представить себе, как *всё это было*.

Сами передать эренбурговское письма Сталину Маринин и Минц, понятное дело, не могли: это было им не по чину. Они вручили его прямому своему начальнику Д. Т. Шепилову. (Он был в то время главным редактором «Правды».) Но и Шепилов далеко не сразу решился передать письмо по адресу. Во всяком случае, прежде чем сделать это, он предпринял еще одну, личную попытку отговорить Эренбурга от его безумной затеи и с этой целью попросил его снова приехать в «Правду». Эренбург приехал. Снова был долгий, мучительный, изматывающий душу разговор. В записи Биргера он изложен кратко, можно даже сказать, конспективно. Но представление о сути и характере этого разговора биргеровский «мемуар» дает достаточно полное:

Шепилов сказал, что письмо Эренбурга к Сталину находится у него и что он его до сих пор не отправил дальше, так как очень хорошо относится к Илье Григорьевичу, а отправка письма с отказом от подписи коллективного письма в «Правду» равносильна приговору. Шепилов добавил, что не будет скрывать от Ильи Григорьевича, что письмо в «Правду» написано по инициативе Сталина и, как понял И. Г. из намеков Шепилова, Сталиным отредактировано, а возможно и сочинено. И. Г. ответил, что он настаивает на том, чтобы его письмо было передано Сталину, и только после личного ответа Сталина он вернется к обсуждению подписывать или не подписывать письмо в «Правду». Шепилов довольно ясно дал понять И. Г., что тот просто сошел с ума. Разговор продолжался около двух часов. Шепилов закончил его, сказав, что он сделал для Ильи Григорьевича все, что мог, и раз он так настаивает, то передаст письмо Сталину, а дальше пусть Илья Григорьевич пеняет на себя. Илья Григорьевич ушел от Шепилова в полной уверенности, что его в ближайшие дни арестуют. Эренбурги уехали на дачу и стали ждать событий. Письмо в «Правде» не появилось. Илья Григорьевич считал, что, возможно, только последовавшая вскоре смерть Сталина остановила опубликование этого страшного письма. Было ли передано письмо Эренбурга Сталину и сыграло ли оно хоть какую-нибудь роль во всей этой истории, И. Г. не знал.

Я спросил И. Г., что же он написал Сталину. И. Г. ответил мне, что он прекрасно понимал, что вслед за опубликованием письма избранных евреев с отказом от своего народа последуют массовые репрессии по отношению ко всем евреям, живущим в Советском Союзе, и поэтому, когда он писал свое письмо к Сталину, он старался прибегать только к тем доводам, которые могли бы оказать хоть какое-нибудь воздействие на Сталина. У И. Г. было слишком мало времени, чтобы как следует обдумать, так как в соседней комнате сидели эти два мерзавца и довели почти до обморочного состояния Любовь Михайловну. И. Г. пытался как можно убедительнее довести до сознания Сталина, что опубликование такого письма покончит с коммунистическими партиями Европы.

Правда, добавил И. Г., он был уверен, что максимум – поредели бы ряды компартий Европы. Но других доводов, способных дойти до сознания Сталина, у него не было.

Из этого биргеровского пересказа содержания эренбургского письма Сталину ясно видно, что самого этого письма Борис не читал. Пожалуй, даже считал, что ни копия его, ни – тем более – оригинал уже никогда не отыщутся. (Потому и счел необходимым как можно точнее записать хотя бы вот это краткое его изложение.)

Однажды я спросил Ирину (дочь Ильи Григорьевича, с которой был дружен), не знает ли она, что было написано в том письме. Она ответила, что не знает, и даже дала понять, что ничего сверх того, что мы знаем, нам, наверно, уже никогда не узнать.

О том своем разговоре с Ириной я не то чтобы забыл, но больше не вспоминал: ну, не знает – и не знает, что тут поделаешь. И вдруг, – прошло, наверное, лет шесть, а то и восемь, – она мне позвонила:

– Бен! Я нашла письмо Ильи Сталину.

Через пять минут я уже держал его в руках.

Это был сложенный вчетверо ломкий листик тонкой – почти папиросной – французской бумаги (Эренбург пачками привозил ее из Парижа), с обеих сторон заполненный еле различимым машинописным текстом, испещренным карандашными поправками – немислимыми эренбургскими каракулями (почерк у него был чудовищный).

Большую часть эренбургских каракулей я разобрать так и не смог, а, кроме того, трудность «расшифровки» усугублялась еще тем, что сквозь прозрачный листок проступали строки, напечатанные на оборотной его стороне, забивая текст первой страницы. Тем не менее бледные буквы портативной эренбургской машинки, хоть и с трудом, все же поддавались прочтению.

Этот черновик сейчас лежит передо мною. И хотя листок папиросной бумаги стал за прошедшие годы еще более ветхим, а полустертые – особенно на сгибах – буквы еще менее различимыми, я все-таки заново разбираю и перепечатаваю его, чтобы как можно точнее восстановить в памяти всё, что думал и чувствовал тогда, когда пытался прочесть его впервые*:

Дорогой Иосиф Виссарионович, я решаюсь Вас побеспокоить только потому, что вопрос, который я не могу сам решить, представляется мне чрезвычайно важным.

Тов. Минц и тов. Маринин сегодня ознакомили меня с текстом письма в редакцию «Правды» и предложили мне его подписать. Я считаю моим долгом поделиться с Вами моими сомнениями и попросить Вашего совета.

* Примечания к цитируемому письму, выделенные курсивом, – мои. – Б. С.

Мне кажется, что единственным радикальным решением (*было «разрешением», но приставка «раз» зачеркнута карандашом*) еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция (*сверху, карандашом – «слияние»*) людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут. Я боюсь, что коллективное выступление ряда деятелей советской русской культуры, объединенных только происхождением, может укрепить националистические тенденции. В тексте имеется определение «еврейский народ», которое может ободрить тех советских граждан, которые еще не поняли, что еврейской нации нет и тем самым облегчить националистическую пропаганду (*конец фразы, начиная со слов «и тем самым» зачеркнут*).

Особенно я озабочен влиянием такого «Письма в редакцию» с точки зрения расширения и укрепления движения за мир (*перед словами «движения за мир» вставлено слово «мирового»*). Когда на различных комиссиях, пресс-конференциях ставился вопрос, почему в Советском Союзе больше нет школ на еврейском языке или газет, я неизменно отвечал, что после войны не осталось очагов бывшей «черты оседлости» и что новые поколения советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от народов, среди которых они живут. Публикование письма, подписанного учеными, писателями, композиторами (*вставлено – «еврейского происхождения»*), которые говорят о некоторой общности советских евреев (*последние три слова зачеркнуты*), может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут теперь сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины.

С точки зрения прогрессивных французов, итальянцев, англичан и т. д., нет понятия «еврей» как представитель национальности, там «еврей» – понятие религиозной принадлежности, и клеветники могут использовать «Письмо в редакцию» для своих низких целей.

Я убежден, что необходимо энергично бороться против всяческих попыток еврейского национализма (*сверху, карандашом – «воскресить или насадить еврейский национализм»*), который неизбежно приводит к измене. Мне казалось, что для этого необходимы с одной стороны разъяснительные статьи (в том числе людей еврейского происхождения), с другой стороны разъяснение, исходящее от самой «Правды» и столь хорошо сформулированное в тексте «Письма» – о том, что огромное большинство трудящихся еврейского происхождения глубоко преданы Советской Родине и русской культуре. Мне кажется, что такие статьи сильно помешали бы зарубежным клеветникам и дали бы хорошие доводы нашим друзьям, участникам движения за мир (*последние четыре слова зачеркнуты и сверху карандашом написано – «во всем мире»*).

Вы понимаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что я сам не могу решить эти вопросы и потому я осмелился написать Вам. Речь идет о важном политическом шаге (*«шаге» зачеркнуто и сверху карандашом написано – «акте»*), и я решаю Вас просить поручить кому-либо

сообщить мне Ваше мнение о желательности моей подписи под таким документом (слова «Ваше мнение» зачеркнуты, и сверху, карандашом, вся фраза выправлена так: «... просить Вас поручить одному из руководящих товарищей сообщить мне – желательна ли опубликование такого документа и желательна ли под ним моя подпись»).

Если руководящие товарищи передадут мне, что опубликование документа и моя подпись могут быть полезны для защиты Родины и для движения за мир, я, разумеется, тотчас подпишу «Письмо в редакцию» (в этой фразе зачеркнуты слова «и моя подпись» и «разумеется»).

С глубоким уважением, И. Эренбург.

Когда мне наконец удалось с грехом пополам расшифровать этот текст, я перепечатал его набело на своей машинке и дал прочитать жене.

Она презрительно фыркнула:

– Письмо лакея.

И хотя меня тоже коробил не только тон и стиль (тут уж ничего не поделаешь – Пушкин, обращаясь к царю или даже к Бенкендорфу, тоже соблюдал все принятые в его время формы обращения к особам такого ранга), но и самый смысл этого послания, я ответил ей:

– Ты ничего не понимаешь!

Смысл послания, весь набор приведенных Эренбургом доводов и аргументов и в самом деле выглядел какой-то дичью. Сперва у меня было такое ощущение, что, сочиняя это письмо, Илья Григорьевич вывалил и собрал в кучу всё, что в тот момент пришло ему в голову, не слишком даже заботясь о том, чтобы одни аргументы хоть как-то состыковывались с другими.

Тут и французы, итальянцы, англичане, для которых слово «еврей» означает лишь религиозную принадлежность, и некоторые отсталые советские граждане, «которые еще не поняли, что еврейской нации нет» (это, как говорится, гвоздь от другой стенки), и «отвратительная пропаганда, которую ведут теперь сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины». (Особенно, помню, изумили меня тогда эти «бундовцы», существование которых представлялось мне ветхозаветной историей.)

И все это выражено словами и оборотами, о которых один мой приятель в тоне юмора говорил, что их «противно взять в рот»: *«Необходимо бороться против всяческих попыток еврейского национализма, который неизбежно приводит к измене...»*.

Но самым противным в этом письме был, конечно, его финал – эта заключающая его угодливая фраза, что, мол, если вы скажете, что я не прав и что это вредоносное «Письмо» надо подписать, то я, разумеется, тотчас же... и т. д.

Этот заключительный пассаж, видимо, и самому автору был особенно поперек души: недаром же слово «разумеется» он зачеркнул, хотя это уже мало что меняло.

Все эти тогдашние мои мысли и ощущения, казалось бы, должны были вынудить меня – если не вслух, то хотя бы в душе – согласиться с женой,

с ее безапелляционным приговором. Но, в отличие от нее, я ясно понимал, в каком не только состоянии, но и положении был тогда Эренбург и какую цель он перед собой ставил.

Тут, наверно, имеет смысл вспомнить «антагониста» Ильи Григорьевича – Василия Семеновича Гроссмана. В разговорах, когда ему случалось о нем упоминать, Илья Григорьевич называл Василия Семеновича максимумом. А в мемуарах вспоминает о нем так:

О Ленине он говорил с благоговением. Большевики, вышедшие из подполья, для него были безупречными героями. Я был на пятнадцать лет старше его и некоторых людей, которыми он восхищался, встречал в эмиграции. Однажды я сказал: «Не понимаю, чем вы в товарищах восхищаетесь?» Василий Семенович сердито ответил: «Вы многого не понимаете...»

В те времена, о которых он здесь вспоминает, «непонимающим» на самом деле был Гроссман, а не Эренбург. Но к февралю 1953-го Гроссман уже далеко обогнал Эренбурга своим трезвым, беспощадным видением реальности.

И, тем не менее, Гроссман – при всем своем ясном понимании происходящего – все-таки подписал то постыдное письмо, под которым Эренбург – едва ли не единственный из всех, к кому тогда обратились, – так и не согласился поставить свою подпись.

Мучительный след этого поступка, тяготившего Василия Семеновича всю последующую его жизнь, остался в его романе «Жизнь и судьба». Там аналогичное письмо вынужден подписать один из главных его героев – Виктор Павлович Штрум. Душевные терзания Штрума и все обстоятельства, связанные с этим его поступком, описаны с такой ужасающей конкретностью, что не возникает ни малейших сомнений: история эта автобиографична. Единственное отличие ситуации, описанной в романе, от той, что происходила с ним самим, состоит в том, что в романе она перенесена в другое, более раннее время. (Действие романа происходит во время войны, и ситуация, относящаяся к событиям 1953 года, естественно, описана в нем быть не могла.) Однако тема «врачей-убийц» там присутствует:

Боже мой, как было ужасно письмо, которое товарищи просили его подписать, каких ужасных вещей касалось оно.

Да не мог он поверить в то, что профессор Плетнев и доктор Левин убийцы великого писателя. Его мать, приезжая в Москву, бывала на приеме у Левина, Людмила Николаевна лечилась у него, он умный, тонкий, мягкий человек. Каким чудовищем надо быть, чтобы так страшно оклеветать двух врачей!

Средневековой тьмой дышали эти обвинения. Врачи-убийцы!.. Кому нужна эта кровавая клевета? Процессы ведьм, костры инквизиции, каз-

ни еретиков, дым, смрад, кипящая смола. Как связать все это с Левиным, со строительством социализма, с великой войной против фашизма?..

Он читал медленно. Буквы вдавливались в мозг, но не впитывались им, словно песок в яблоко.

Он прочел: «Беря под защиту вырожденков и извергов рода человеческого, Плетнева и Левина, запятнавших высокое звание врачей, вы льете воду на мельницу человеконенавистнической идеологии фашизма...»

Ковченко сказал:

– Мне говорили, что Иосиф Виссарионович знает об этом письме и одобряет инициативу наших ученых...

Тоска, отвращение, предчувствие своей покорности охватили его. Он ощущал ласковое дыхание великого государства, и у него не было силы броситься в ледяную тьму... Не было, не было сегодня в нем силы. Не страх сковывал его, совсем другое, томящее, покорное чувство...

Попробуй, отбрось всеильную руку, которая гладит тебя по голове, похлопывает по плечу...

Отказаться подписать письмо? Значит, сочувствовать убийцам Горького! Нет, невозможно. Сомневаться в подлинности их признаний? Значит, заставили! А заставить честного и доброго интеллигентного человека признать себя наемным убийцей и тем заслужить смертную казнь и позорную память можно лишь пытками. Но ведь безумно высказать хоть малую тень такого подозрения.

Но тошно, тошно подписывать это подлое письмо. В голове возникали слова и ответы на них... «Товарищи, я болен, у меня спазм коронарных сосудов». – «Чепуха: бегство в болезнь, у вас отличный цвет лица»...

«Товарищи, скажу вам совершенно откровенно, мне некоторые формулировки кажутся не совсем удачными...»

«Пожалуйста, пожалуйста, Виктор Павлович, давайте ваши предложения, мы с удовольствием изменим кажущиеся вам неудачными формулировки»...

«Ну, Боже мой! Поймите, у меня есть совесть, мне больно, мне тяжело, да не обязан я, почему я должен подписывать, я так измучен, дай-те мне право на свободную совесть».

И тут же – бессилие, замагниченность, послушное чувство закормленной и забалованной скотины, страх перед новым разорением жизни, страх перед новым страхом...

«Товарищи, все это настолько серьезно, что я хотел бы подумать, разрешите отложить решение хотя бы до завтра».

И тут он представил себе бессонную, мучительную ночь, колебания, нерешительность, внезапную решимость и страх перед решимостью, опять нерешительность, опять решение. Все это выматывает подобно злой, безжалостной малярии. И самому растянуть эту пытку на часы. Нет у него силы. Скорей, скорей, скорей.

Он вынул автоматическую ручку.

Эренбург, наверно, думал и чувствовал примерно то же.

Но когда он прочел текст письма, которое должен был подписать, мозг его сразу заработал в другом направлении. (Тому есть документальное свидетельство, но об этом – позже.)

Гроссману даже в голову не могло взбрести, что он может обратиться с письмом к Сталину. Да и что он мог ему написать? Чтобы тот оставил его в покое? Дал ему право на свободную совесть?

Смешно!

Описывая терзания своего героя, Гроссман выпятил лишь одну сторону дела: чудовищную подлость, безнравственность того «компромисса», к которому его вынуждают. Штрума терзает, не дает ему покоя только одна мысль: *«Он совершил подлость! Он, человек, бросил камень в жалких, окровавленных, упавших в бессилии людей».*

Но в задуманной Сталиным акции, как я уже говорил, был еще и другой зловещий смысл.

Не знаю, как Гроссман, но Эренбург сразу понял, что опубликование на страницах «Правды» такого письма задумано, помимо всего прочего, как политическое и моральное оправдание другой, еще более грандиозной провокации, в результате которой со всеми «лицами еврейской национальности» сделают то же, что раньше сделали с калмыками, крымскими татарами, чеченцами, балкарцами и другими народами, на которые Сталин, по слову Твардовского, «обрушил свой державный гнев». И не раздумывая, без колебаний, он предпринял отчаянную попытку остановить – ну, если не остановить, так хоть задержать – исполнение этого сталинского приговора.

Весь смысл и вся стилистика эренбурговского письма были подчинены только этой цели. Он попытался объяснить Сталину на его, сталинском, языке, апеллируя к его, сталинской, логике, все издержки, все невыгоды, все неизбежные отрицательные последствия задуманного Сталиным плана. Меньше всего интересовало его в тот момент, как соотносятся стиль и логика этого его письма со стилем и логикой писателя Ильи Эренбурга.

Но неужели он всерьез надеялся, что ему удастся переубедить Сталина? Что, прочитав его письмо, Сталин откажется от своих замыслов?

Безумие, безумие!

Однако дальнейшее развитие событий показало, что эта – продиктованная отчаянием – безумная попытка повлиять на планы Сталина, в основе своей была не так уж безумна.



В 1990 году в Москве, в издательстве «Советский писатель» вышли три тома мемуаров Эренбурга. Эта книга тогда впервые явилась в свет в полном, нецензурированном виде, без всяких исправлений и купюр. Предисловие к этому изданию было заказано мне. И, когда я работал над ним, мне

пришло в голову, что хорошо бы, воспользовавшись этой возможностью (когда еще представится такой случай!), опубликовать найденное Ириной в эренбургском архиве письмо.

Ирина со мной согласилась. Она только попросила меня (по понятным причинам) пока – до времени – не публиковать его целиком. Убрать наиболее компрометирующие Эренбурга в глазах сегодняшнего читателя абзацы. Во всяком случае – последний: ту самую фразу, где Илья Григорьевич говорит, что, если Сталин будет настаивать на своем, он это ужасное «Письмо в редакцию», разумеется, подпишет. (Лихорадочно сочиняя свое письмо Сталину, Эренбург, конечно, и думать не думал о том, как он будет выглядеть в глазах потомков, если им случится когда-нибудь это письмо прочесть. Но Ирина, ставшая после смерти отца его единственным душеприказчиком, не думать об этом не могла.)

Поскольку я не утверждал, что публикую полный текст письма, а просто цитировал его, оговорив, что привожу его с некоторыми сокращениями, я счел возможным выполнить эту Ирину просьбу.

Итак, в 1990 году – с небольшими, хоть и существенными купюрами – это письмо было опубликовано.

А семь лет спустя в президентском (бывшем сталинском) архиве отыскался оригинал этого письма. И в первом номере журнала «Источник» за 1997 год оно – впервые – было опубликовано полностью. В том же номере «Источника» был опубликован и текст якобы того самого «Письма в редакцию», о котором шла речь в эренбургском обращении к вождю.

Я написал «якобы того самого», потому что, едва только я бегло проглядел этот текст, как мне сразу же стало ясно, что это – совсем не то письмо. Другое.

Оно не обвиняло советских евреев в пособничестве мировому сионизму, а, напротив, защищало их от этих подозрений:

...Русский народ понимает, что громадное большинство еврейского населения в СССР является другом русского народа. Никакими ухищрениями врагам не удастся подорвать доверие еврейского народа к русскому народу, не удастся рассорить нас с великим русским народом...

А кончалось оно так:

Учитывая важность сплочения всех прогрессивных сил еврейского народа, а также в целях правдивой информации о положении трудящихся евреев в разных странах, о борьбе народов за укрепление мира, мы считали бы целесообразным издание в Советском Союзе газеты, предназначенной для широких слоев еврейского населения в СССР и за рубежом.

Мы уверены, что наша инициатива встретит горячую поддержку всех трудящихся евреев в Советском Союзе и во всем мире.

Письмо было жалкое, раболепное, и подписывать его, конечно, тоже было противно. Но совершенно очевидно, что это было совсем не то письмо, которое могло спровоцировать Эренбурга на его отчаянное обращение к Сталину.

Это ощущение мне довольно легко было бы подтвердить анализом обоих текстов. (В тексте этого «Письма в редакцию» нет ни одного из тех выражений и оборотов, на которые ссылается Эренбург в своем письме Сталину.) Но никакого такого анализа тут даже и не надо: достаточно указать лишь на одно – сразу бросившееся мне в глаза – несоответствие.

В тексте этого «Письма в редакцию "Правды"» упоминается взрыв бомбы «на территории миссии СССР в Тель-Авиве». Взрыв этот произошел 9 февраля. А под письмом Эренбурга Сталину, опубликованном в том же «Источнике», стоит дата: «3 февраля 1953 года».

Вот и всё. И никаких других доказательств больше не надо.

Не стану задаваться вопросом, по недомыслию ли и некомпетентности сотрудников журнала «Источник» появился на его страницах этот очевидный ляп, или то была сознательная фальсификация. Важно, что подлинный текст «Письма в редакцию», под которым Эренбург отказался поставить свою подпись, так и остался за семью печатями.

Приступая к этой странице моих воспоминаний, я уже мысленно подготовил для нее такую финальную фразу: «То ли текст этот до сих пор не найден (может быть, даже уничтожен?), то ли сознательно утаивается».

Но замечательная фраза эта мне не пригодилась.



В первом издании эренбурговских мемуаров обо всей этой истории было сказано предельно кратко:

События продолжали разворачиваться. Февраль оказался для меня очень трудным, о пережитом мною я считаю преждевременным рассказывать... Я попробовал протестовать. Решило дело не мое письмо, а судьба.

В последующих изданиях эта невнятная ссылка на какие-то таинственные обстоятельства, время говорить о которых еще не пришло, стала чуть яснее:

События должны были развернуться дальше. Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная, не была осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело замешкалось и Сталин не успел сделать того, что хотел. Конечно, эта история – глава моей биографии, но я считаю, что не настало время об этом говорить.

Не берусь судить, почему он считал, что тогда время говорить об этом еще не настало. Потому что не смог бы сказать всю правду? Но в других случаях это его не смущало. Он всегда исходил из того, что лучше сказать хоть что-то, чем не сказать ничего.

Как бы то ни было, сейчас, я думаю, уже пришло наконец время заполнить этот пробел в его биографии, воссоздать эту пропущенную им главу.

В полной мере ее теперь, конечно, уже не воссоздать. Притом что завеса над этой тайной в последнее время уже слегка приоткрылась, всего, что мог бы рассказать об этом сам Эренбург, мы, конечно, не узнаем. Но зато мы теперь знаем то, чего не знал, о чем еще не мог знать он. Открылись новые факты, новые обстоятельства. И, исходя из этих новых, совсем недавно открывшихся фактов и обстоятельств, я могу теперь с полной уверенностью утверждать, что Эренбург не зря думал, что ему удалось своим письмом переубедить Сталина. Оказалось, что для такого предположения у него были совсем не малые основания.



Насчет того, каким было то письмо именитых советских евреев в редакцию «Правды», о чем в нем шла речь, кем и ради чего оно было затеяно, версий было много. В том числе и противоречивых, взаимоисключающих.

Вот, например, что рассказывает об этом С. И. Липкин в воспоминаниях о своем друге Василии Семеновиче Гроссмане:

Гроссмана пригласили в «Правду»: позвонил ему профессор-историк Исаак Израйлевич Минц, сказал, что он должен прийти, в помещении редакции пойдет речь о судьбе еврейского народа. По пути в «Правду» Гроссман зашел в «Новый мир». Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа «За правое дело». Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо. Твардовский, между прочим, сказал: «Ты хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?» – «Хочу», – сказал Гроссман. Твардовский вспыхнул, рассердился: «Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят».

В «Правде» собрались видные писатели, ученые, художники, артисты еврейского происхождения. Минц прочитал проект письма Сталину, которое собравшимся предлагали подписать. Смысл письма: врачи подлые убийцы, они должны подвергнуться самой суровой каре, но еврейский народ не виноват, есть много честных тружеников, советских патриотов и т. д. Письмо так и не было послано Сталину, вообще оно было задумано не наверху, а оказалось, как нам потом объяснил хорошо информированный Эренбург, затеей высокопоставленных партийных евреев, испугавшихся за свою судьбу со всеми ее привилегиями (Липкин С. Квадрига. М., 1997. С. 543–544.)

Не думаю, чтобы «хорошо информированный Эренбург» говорил им нечто подобное. А если даже и говорил (мало ли, по каким причинам не хотел откровенничать), вряд ли он всерьез считал, что задание это не было спущено Минцу и Маринину с самого верха. У Твардовского, судя по его реплике, записанной Липкиным со слов Гроссмана (*«Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят»*)), тоже не было никаких сомнений насчет того, откуда дует этот ветер.

Есть, правда, еще одно свидетельство, как будто подтверждающее такую (первоначальную) реакцию Эренбурга. Вот что замечает по этому поводу Борис Фрезинский, как я уже говорил, внимательно исследовавший всю последовательность событий:

Они (Минц и Маринин. – Б. С.) приехали к Эренбургу на дачу, но И. Г. отказался подписать письмо (возможно, его не прочитав) и, отнеся дело к их личной инициативе, не придавал этому значения (*Фрезинский Б. Я.* Власть деятели советской культуры... С. 310.)

Высказывая это замечание, Фрезинский ссылается на запись своей беседы с Алей Яковлевной Савич – вдовой Овадия Савича. От Савичей у И. Г. не было секретов. Так что этому свидетельству приходится верить.

Что ж, быть может, сначала он и впрямь подумал, что дело сводится к личной инициативе – не Минца и Маринина, конечно, но каких-то других до смерти перепугавшихся высокопоставленных евреев. Хотя, честно говоря, мне трудно себе представить, чтобы он всерьез предполагал, что такая инициатива могла возникнуть у кого-нибудь самопроизвольно, без прямого указания *автора сценария*.

Глухой намек на то, что инициатива письма именитых евреев в редакцию «Правды» шла если и не «снизу», то, во всяком случае, и не с «самого верха», мы находим и в воспоминаниях Вениамина Каверина:

Идея «еврейского письма» возникла, мне кажется, в больном мозгу, охваченном лихорадкой маниакального нетерпения. Антисемитизм перед процессом «убийц в белых халатах» достиг того уровня, который необходимо было как-то оправдать, объяснить, уравновесить (*Каверин В.* Эпилог. М., 1989. С. 316).

Хоть тут и не сказано, в чьем больном мозгу возникла эта идея (можно ведь понять и так, что в больном мозгу Сталина), но слово «уравновесить» больше склоняет к мысли, что в основе затеи лежал ужас, охвативший евреев, принадлежавших к идеологической обслуге режима.

Всё это, впрочем, не так уж и важно. Гораздо важнее выяснить, в чем состоял смысл этого «еврейского письма».

По Каверину, получается, что совсем не в том, чтобы объявить, что «еврейский народ не виноват», как это понял со слов Гроссмана Липкин:

Зимой 1952 года мне позвонил из редакции «Правды» журналист Маринин и пригласил приехать для разговора, имеющего, как он сказал, «серьезное общественное значение». Я приехал и был встречен более чем любезно. Маринин (его настоящая фамилия была Хавенсон) провел меня в комнату, которая, как я понял, была приемной Давида Иосифовича Заславского, видного журналиста, одного из руководящих работников «Правды». В кабинете Заславского уже разговаривали – и через открывающуюся время от времени дверь я видел старых евреев в орденках, сидевших по ту сторону стола, за которым мелькнула внушавшая мне глубокое отвращение жирная лысая голова Заславского.

Маринин предложил мне познакомиться с письмом, которое, как он мне сообщил, уже согласились подписать видные деятели культуры. И не только культуры: армии и флота.

Я прочитал письмо: это был приговор, мгновенно подтвердивший давно ходившие слухи о бараках, строившихся для будущего гетто на Дальнем Востоке. Знаменитые деятели советской медицины обвинялись в чудовищных преступлениях, и подписывающие письмо требовали для них самого сурового наказания. Но это выглядело как нечто само собой разумеющееся – подобными требованиями были полны газеты. Вопрос ставился гораздо шире – он охватывал интересы всего еврейского населения в целом, и сущность его заключалась в другом. Евреи, живущие в СССР, пользуются всеми правами, обеспеченными Конституцией нашей страны. Многие из них успешно работают в учреждениях, в научных институтах, на фабриках и заводах. И, тем не менее, в массе они заражены духом буржуазного воинствующего национализма...

Я передаю лишь в самых общих чертах содержание этого документа, память, к сожалению, не сохранила подробностей, да они и не имеют существенного значения. Ясно было только одно: решительно отвергая наличие в СССР антисемитизма, мы заранее оправдывали новые массовые аресты. пытки, высылку в лагеря ни в чем не повинных людей. Мы не только заранее поддерживали эти злодеяния, мы как бы сами участвовали в них, уже потому, что они совершались бы с нашего полного одобрения (*Там же*. С. 316–317).

Это длинное письмо Каверин прочитал два раза. Маринин терпеливо ждал. Затем сказал, что этот «убедительный документ» уже подписали Гроссман, Антокольский. Назвал ряд других известных фамилий.

– Гроссман?

– Да.

Это было непостижимо.

– А Эренбург?

– С Ильей Григорьевичем согласовано, – небрежно сказал Маринин.

– Он подпишет (*Там же*. С. 317).

Хорошо зная Эренбурга, Каверин не поверил этому «согласовано». Решил, что Маринин блефует. И оказался прав:

... Не заезжая домой, я отправился к Эренбургу. Он уже знал о письме, с ним говорили, – и встретил меня спокойно. Впрочем, спокойствие у него было разное – случалось, что он скрывал бешенство, равнодушно попыхивая трубой.

– Илья Григорьевич, как поступить?

– Так, как вы сочтете нужным. В разговоре со мной вы упоминались. Если вы откажетесь, они подумают, что отсоветовал Эренбург.

– Так это ложь, что письмо согласовано с вами?

– Конечно, ложь. Разговор был предварительный. Я еще не читал этого письма (*Там же*. С. 319).

При первом визите к нему Маринина и Минца он и в самом деле даже не стал читать принесенное ими письмо. Прогнал их, не читая. Ну, а потом, когда прочесть все-таки пришлось, зловеющий его смысл понял и оценил даже резче, чем Каверин.

Вот как передает его рассказ об этом журналист Зиновий Шейнис (свою беседу с Ильей Григорьевичем он датирует июлем 1953 года):

– Они приехали ко мне домой. Они – академик Минц, бывший генеральный директор ТАСС Маринин и еще один человек. Вопрос о выселении евреев из Москвы и других городов уже был решен Сталиным. Вот тогда Минц и Хавинсон обратились ко мне. Не знаю, была ли это их инициатива или им посоветовали «наверху» так поступить. Они приехали с проектом письма на имя «великого и мудрого вождя товарища Сталина». В письме содержалась нижайшая просьба. Врачи-убийцы, эти изверги рода человеческого, разоблачены. Справедлив гнев русского народа. Может быть, товарищ Сталин сочтет возможным проявить милость и охранить евреев от справедливого гнева русского народа. То есть под охраной выселить их на окраины государства. Авторы письма униженно соглашались с депортацией целого народа, очевидно, в надежде, что сами они не подвергнутся выселению (*Вечерняя Москва*. 28 июня 1991 года).

Текст письма, изложенный Шейнисом якобы со слов самого Эренбурга, конечно, апокрифический. Я бы даже сказал, что он окутан ароматом густой липы. Однако доктор исторических наук Я. Этингер в книге своих воспоминаний «Это невозможно забыть...» (М., 2001) ссылается на него как на достоверный исторический документ.

На месте доктора исторических наук я бы отнесся к этому свидетельству журналиста с большей долей скептицизма. Но Я. Этингер с доверием отнесся и к еще более развесистой клюкве:

Письмо, безусловно, в свое время было уничтожено, и, казалось, что никогда не удастся узнать его полное содержание. Но произошло невероятное. Несколько лет назад мне позвонили домой, очевидно, из автомата; судя по голосу, звонила пожилая женщина. Она попросила меня к телефону. Убедившись, что именно я взял трубку, она несколько приглушенным и испуганным голосом сказала, что знает, что мой отец – известный профессор-кардиолог Я. Г. Этингер. Сообщила, что читала некоторые мои статьи о «деле врачей». Женщина предложила мне ознакомиться с «одним письмом», которое, по ее словам, представляет для меня интерес... Спустя час она находилась у меня дома. Ей было лет 60. Плохо одетая, она производила жалкое впечатление. Женщина никак не представилась, не назвала ни своей фамилии, ни своего имени. Она рассказала мне, что ее умершая 10 лет назад старая мать в течение 30 лет работала машинисткой в одной из центральных газет и печатала, будучи опытной машинисткой, многие важные статьи и документы. У матери сохранился небольшой архив, и, перебирая вскоре после ее смерти бумаги из него, она обнаружила пожелтевший от времени экземпляр письма, озаглавленного «Ко всем евреям Советского Союза». Бегло просмотрев текст, я убедился, что в моих руках находится уникальный исторический документ, призыв-обращение к депортации евреев в отдаленные районы страны. Этот документ разыскивался долгие годы. Я попросил посетительницу разрешить мне сделать копию этого письма. Но она наотрез отказалась. «Если хотите, перепишите его в моем присутствии». Она была запугана, хотя со времени «дела врачей» прошли многие годы. Но страх, посеянный сталинским режимом, унаследованный, очевидно, от матери, продолжал глубоко сидеть в ней.

После того как я переписал письмо, она бережно сложила его в сумку, попрощалась, не оставив ни своего адреса, ни телефона... Мы попрощались, и она исчезла за дверью, навсегда (*Там же*).

Таинственная посетительница исчезла навсегда, но текст принесенного ею «уникального исторического документа», переписанный рукой автора, остался у него. И он приводит его в своей книге, не выражая ни малейших сомнений в совершенной его подлинности.

Приведу его и я:

Ко всем евреям Советского Союза.

Дорогие братья и сестры, евреи и еврейки! Мы, работники науки и техники, деятели литературы и искусства – евреи по национальности – в этот тяжкий период нашей жизни обращаемся к вам.

Все вы хорошо знаете, что недавно органы государственной безопасности разоблачили группу врачей-вредителей, шпионов и изменников, оказавшихся на службе американской и английской разведки, международного сионизма в лице подрывной организации «Джойнт». Они

умертвили видных деятелей партии и государства – А. А. Жданова и А. С. Щербакова, сократили жизнь многих других ответственных деятелей нашей страны, в том числе крупных военных деятелей. Зловещая тень убийц в белых халатах легла на все еврейское население СССР. Каждый советский человек не может не испытать чувства гнева и возмущения. Среди значительной части советского населения чудовищные злодеяния врачей-убийц закономерно вызвали враждебное отношение к евреям. Позор обрушился на голову еврейского населения Советского Союза. Среди великого русского народа преступные действия банды убийц и шпионов вызвали особое негодование. Ведь именно русские люди спасли евреев от полного уничтожения немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В этих условиях только самоотверженный труд там, куда направят нас партия и правительство, великий вождь советского народа И. В. Сталин позволит смыть это позорное и тяжкое пятно, лежащее сегодня на еврейском населении СССР.

Вот почему мы полностью одобряем справедливые меры партии и правительства, направленные на освоение евреями просторов Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Лишь честным, самоотверженным трудом евреи смогут доказать свою преданность Родине, великому и любимому товарищу Сталину и восстановить доброе имя евреев в глазах всего советского народа.

Помимо всех этих, приведенных мною, было еще множество других версий, слухов, легенд. Размышляя над всеми этими версиями, я подумал, что, тщательно их проанализировав, можно было бы, наверно, ответить всю шелуху слухов и легенд и извлечь из них некое рациональное зерно, если и не добравшись до истины, то, во всяком случае, приблизившись к ней.

Соблазн заняться этим был, признаюсь, велик.

Но как раз в то самое время, когда я размышлял над тем, стоит ли мне так уж углубляться во все эти дела, превращая главу из книги воспоминаний в подобие историко-литературного исследования (хотя это ведь тоже моя жизнь), меня навестил приехавший на несколько дней из Петербурга в Москву Борис Фрезинский и сообщил, что подлинный текст того легендарного письма все-таки отыскался.

Мало того!

Он привез мне ксерокопию этого текста, найденного все в том же президентском архиве. Это – гранки. Те самые, которые дали прочесть Эренбургу, предлагая ему их подписать.

Я так уверенно написал «те самые», потому что на полях сохранились замечания самого Эренбурга. Сделанные, правда, не его собственной рукой, а надиктованные им, записанные с его слов то ли Минцем, то ли Маринным, то ли еще кем-то из тех, кто дал ему прочесть это письмо, настоятельно предлагая подписать его.

Но сперва – о самом письме.

Начиналось оно с проклятий, адресованных преступникам, действовавшим «под маской ученых».

Преамбула эта (которой, кстати сказать, в том письме, что опубликовал «Источник», не было) заключалась фразой:

Вместе со всем советским народом, со всеми передовыми людьми мира мы клеймим позором эту клику убийц, этих извергов рода человеческого.

Одной этой фразы было бы довольно, чтобы человек, которому предложили поставить под ней свою подпись, содрогнулся от ужаса. Ведь расписаться под ней – это значило, как говорит герой романа Гроссмана, «совершить подлость!.. Бросить камень в жалких, окровавленных, упавших в бессилии людей».

Но это было только начало.

Дальше – непосредственно за всеми этими проклятиями – следовала короткая формула перехода к главной теме:

Большинство из разоблаченных преступников – еврейские буржуазные националисты, завербованные международной сионистской организацией «Джойнт» – филиалом американской разведки. Не случайно англо-американские империалисты ухватились за еврейских буржуазных националистов-сионистов...

И вот наконец – оно. Главное. То, ради чего всё это затевалось:

...Нельзя не признать, что у некоторой части еврейского населения нашей страны еще не изжиты буржуазно-националистические настроения. Еврейские буржуазные националисты-сионисты, являясь агентами англо-американского империализма, всячески разжигают эти националистические настроения. Они пытаются всеми мерами подогреть и раздуть среди советских граждан еврейского происхождения чувство национальной обособленности и национальной вражды к русскому народу и другим народам Советского Союза. Они хотят превратить евреев России в шпионов и врагов русского народа...

Не так прямо и грубо, как в мифологических вариантах Шейниса, Ерашова и Этингера, но все же достаточно ясно.

Ну, а теперь – к пометкам, которые сделал Эренбург на полях этого текста.

Выражение «некоторая часть», пишет он, может толковаться так, что националистов-евреев очень много. И предлагает свой вариант: «среди некоторых элементов».

Выражение «евреев России» он предлагает заменить формулой: «обманутых ими евреев».

Подчеркнув слова «хотят превратить евреев», диктует свой вариант: «Могут подумать, что всех евреев, в том числе и авторов настоящего письма».

Постоянно повторяющееся в письме выражение «еврейский народ» он предлагает заменить в одном случае на «советских евреев», в другом – на «еврейских тружеников».

Совершенно очевидно, что если бы все эти предлагаемые им исправления в текст письма были внесены, смысл затеваемой акции не слишком бы изменился. И он, конечно, прекрасно это понимал. Недаром все эти свои замечания предварил такой фразой: «На поправках не настаиваю, но отдельные фразы нынешнего текста могут принести вред».

Эта реплика ясно показывает, в каком направлении сразу заработала его мысль, едва только он начал знакомиться с текстом этого письма.

Сразу решив, что он не станет его подписывать, он старается нащупать самые уязвимые, самые слабые (с точки зрения официальной идеологии) его места. Не для того, чтобы исправить их, изменить, сделать менее уязвимыми, а с одной-единственной целью: дезавуировать самую затею.

Дезавуировать же её можно было только одним способом: обратившись к *Самому*. К тому, кто всё это затеял.

Мысль написать Сталину наверняка возникла у него сразу. Иначе разве он оговорился бы, что на своих поправках не настаивает. Он словно бы ткнул носом авторов письма в их некомпетентность, в их «политическую незрелость»: я, мол, вас предупредил, а там – дело ваше, действуйте как хотите. Не исключаю даже, что он тут же дал понять этим мелким сталинским фишкам (Минцу и Маринину), что будет «сигнализировать» обо всех их промашках в вышестоящие инстанции.

Вряд ли, конечно, он всерьез рассчитывал, что этот его «ход» сработает. Он просто тянул время. Делал всё, что было в его силах.

Однако – случилось чудо.

«Ход» сработал.



Я уже говорил, что текст «Письма в редакцию "Правды"», опубликованный в 1997 году в журнале «Источник», показался мне фальшивкой. Но потом я подумал: а кому понадобилось изготавливать такую фальшивку? С какой, собственно, целью?

И простая догадка вдруг осенила меня: а что, если этот текст был *вторым*? Новым письмом, сочиненным по указанию Сталина, вдруг решившего изменить первоначальный сценарий?

Я внимательно перечитал под этим углом зрения текст «Источника», и – сразу всё стало на место. Сразу бросились мне в глаза отдельные реп-

лики, фразы, речевые обороты, в которых нельзя было не узнать хорошо всем нам знакомые интонации сталинского голоса:

Разве не факт, что в Израиле всеми благами жизни пользуется лишь кучка богачей, в то время как подавляющее большинство еврейского и арабского населения терпит огромную нужду, лишения, влачит полунищенское существование. Разве не факт, что правители Израйля навязали израильским трудящимся двойной гнет – еврейского и американского капитализма.

Кто не знает, что в действительности США являются каторгой для еврейских трудящихся, угнетаемых самой жестокой машиной капиталистической эксплуатации. Кто не знает, что именно в этой стране процветает самый разнузданный расизм и в том числе антисемитизм. Кто, наконец, не знает, что антисемитизм составляет также отличительную черту тех фашистских клик, которые повсеместно поддерживаются империалистами США.

Помимо этих знаменитых сталинских повторов, были там и другие следы легко узнаваемой сталинской речи. Его стиль, его речевая манера:

Но давайте разберемся в том, кого в действительности представляют правители государства Израиль, кому они служат...

Далее. Интересы каких евреев отстаивает международная сионистская организация «Джойнт»...

Разберемся и в этом вопросе...

Осененный своей догадкой, читая всё это, я словно увидел живого Сталина. Вот он неторопливо прохаживается по своему кабинету, медленно роняя чугунные гири своих риторических вопросов:

– Развэ нэ факт?..

И:

– Кто нэ знает?..

Потом останавливается и, подняв руку с указующим перстом или любимой своей трубкой, возглашает:

– Далее...

Или:

– Разбэремся в этом вопросе.

А перед ним, на полусогнутых, стоит какой-нибудь, скажем, Шепилов, судорожно старающийся запомнить каждую драгоценную фразу вождя. А может быть, даже и записывает. (Иначе откуда же там вдруг взялись бы все эти, скорее в устной речи уместные: «Далее...» и «Разберемся в этом вопросе...»)

В этой открывшейся вдруг моему взору картинке ничего такого уж ошеломляюще нового для меня не было. Я ведь и раньше прекрасно понимал, что если письмо, появившееся в «Источнике», не было фальшивкой,

если этот текст действительно был *вторым*, долженствующим заменить отмененный, забракованный *первый*, то сделать все это могли только «по личному указанию товарища Сталина».

По-настоящему новым в этом тексте при внимательном его чтении для меня оказалось совсем другое.

В сущности, *всё содержание* этого нового, второго, письма развивало главный аргумент, главный тезис Эренбурга, выдвинутый им в его обращении к Сталину:

Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут. Это срочно необходимо для борьбы против американской и сионистической пропаганды, которая стремится обособить людей еврейского происхождения.

Это Эренбург.

А вот – самое начало *второго* «Письма в редакцию "Правды"»:

Есть люди, которые, выдавая себя за «друзей» и даже за представителей всего еврейского народа, заявляют, будто у всех евреев существуют единые и общие интересы, будто все евреи связаны между собою общей целью. Эти люди – сионисты, являющиеся пособниками еврейских богачей и злейшими врагами еврейских тружеников.

Эренбург предлагает:

Я убежден, что необходимо энергично бороться против всяческих попыток воскресить или насадить еврейский национализм... Мне казалось, что для этого следует опубликовать статью или даже ряд статей, подписанных людьми еврейского происхождения, разъясняющих роль Палестины, американских буржуазных евреев и пр. С другой стороны я считал, что разъяснение, исходящее от редакции «Правды» и подтверждающее преданность огромного большинства тружеников еврейского происхождения Советской Родине и русской культуре, поможет справиться с обособлением части евреев и с остатками антисемитизма. Мне казалось, что такого рода выступления могут сильно помешать зарубежным клеветникам и дать хорошие доводы нашим друзьям во всем мире.

Автор (или авторы) второго письма точно следуют этому эренбурговскому совету:

В Советском Союзе осуществлено подлинное братство народов, больших и малых. Впервые в истории трудящиеся евреи вместе со

всеми трудящимися Советского Союза обрели свободную, радостную жизнь.

Не ясно ли, что легенда об империалистической Америке, как «друге» евреев, является сознательной фальсификацией фактов. Не ясно ли также, что только заведомые клеветники могут отрицать прочность и нерушимость дружбы между народами СССР.

Враги свободы национальностей и дружбы народов, утвердившейся в Советском Союзе, стремятся подавить у евреев сознание высокого общественного долга советских граждан, хотят превратить евреев России в шпионов и врагов русского народа и тем самым создать почву для оживления антисемитизма, этого страшного пережитка прошлого. Но русский народ понимает, что громадное большинство еврейского населения в СССР является другом русского народа...

У трудящихся евреев всего мира – один общий враг. Это – империалистические угнетатели, на услужении которых находятся реакционные заправилы Израиля...

Эти текстуальные совпадения напомнили мне один эпизод из истории, скажем так, советской пропагандистской машины.

У всех на памяти знаменитые слова Сталина о Маяковском, который «был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей, советской эпохи». Но мало кто знает, что этот сталинский, говоря нынешним языком, *слоган* целиком был взят им (лишь слегка перефразирован) из обращенного к нему письма Лили Юрьевны Брик.

Сталин никогда не гнушался такого рода заимствований. Не погнушался и на этот раз.

Но на прямую связь нового, *второго* «Письма в редакцию "Правды"» с письмом Эренбурга указывают не только текстуальные совпадения.

Если вдуматься в смысл эренбурговского письма Сталину (постаравшись отвлечься от тошнотворно-раболепного его слога), мы увидим, что самая суть его обращения к вождю состояла в том, что в интересах «мудрой сталинской политики» умнее было бы переключить ярость масс с врагов внутренних (то есть советских евреев) на врагов внешних (американских империалистов и израильских богачей-капиталистов).

Как видим, Сталин оценил преимущества этой, подсказанной ему Эренбургом тактики.



К публикации письма Эренбурга Сталину в журнале «Источник» было сделано такое подстрочное примечание: «На документе имеется помета: "Поступило 10.X.53 г. с дачи И. В. Сталина"». А маленькое предисловие к публикуемому тексту письма заключалось такой фразой: «Какой-либо реакции Сталина на обращение к нему писателя в архиве обнаружить не удалось».

Реакция, однако, была.

Собственно, само это отсутствие прямого выражения какой-либо реакции как раз и является самым красноречивым свидетельством того, что письмо Эренбурга не только было Сталиным прочитано, но и произвело на него впечатление. На письмах, не требовавших ответа, а тем более принятия каких-либо решений, он обычно делал пометку: «Мой архив. И. Сталин». (Именно такая резолюция была поставлена им на обращенном к нему письме Б. Л. Пастернака.) Письмо Эренбурга Сталин в архив не отправил, оставил его при себе. Значит, размышлял над ним, что-то такое обдумывал.

Все это, конечно, домыслы.

Но теперь в этих домыслах уже нет никакой нужды. Анализ *второго* письма именитых евреев в редакцию «Правды», написанного под диктовку Сталина, яснее ясного говорит нам о том, что обращение Эренбурга не только дошло до того, кому было адресовано, и не только было внимательно им прочитано, но и, что называется, принято к сведению. Без особой натяжки можно, пожалуй, даже сказать, что оно было использовано как руководство к действию, к некоторому изменению ближайших сталинских планов.

Этот второй вариант «Письма в редакцию "Правды"», переписанный по указанию вождя, разительно отличается от первоначального текста. Смысл документа стал не просто другим, а прямо-таки противоположным тому, о чем шла речь в первом письме. В сущности, это был уже совсем другой документ.

Если сформулировать это коротко, поначалу «Письмо в редакцию "Правды"» было задумано как *мандат* на расправу с еврейским населением страны. Мандат, который власть как бы получала от самих евреев (в лице самых именитых их представителей). Второй же вариант внятно давал понять, что всем этим планам дается *отбой*.

Я не думаю, что Сталин, прочитав письмо Эренбурга, так-таки уж совсем отказался от своих планов. Но он был осторожен. Умел выжидать. Если даже и не знал испанскую пословицу, гласящую, что ненависть – это блюдо, которое следует есть холодным, действовал всегда именно по ней, по этой поговорке.

Что мы знаем точно, так это то, что из-за эренбурговского отказа поставить подпись под «Письмом в редакцию "Правды"» и из-за его письма Сталину дело пошло не так, как намечалось по сценарию.

Сценарий ведь рассчитывал на полное, абсолютное, тотальное послушание «дрессированных евреев». Предполагалось, что все, вызванные «на ковер», подпишут как миленькие. А как же иначе? Куда денутся!

Как и всегда, сработает то, что Сталин назвал морально-политическим единством советского народа. О том, какой смысл вождь вкладывал в эту свою формулу, лучше всего скажет такой, ходивший в те времена анекдот.

Вызывает как-то товарищ Сталин верного своего пса Лаврентия и говорит:

– Скажи, Лаврентий. Ты не боишься, что народ у нас может выйти из повиновения?

- Да ну что вы, Иосиф Виссарионович, – отвечает Лаврентий.
- А вот у меня есть такое опасение, – задумчиво говорит вождь.
- Нет, – смеется Лаврентий. – Я в нашем народе уверен.
- А в интеллигенции?

– В интеллигенции – тем более. Хотите, сделаем такой эксперимент: объявим, что с завтрашнего дня на Красной площади будет проводиться ежедневная порка всего населения.

– Да ты что, Лаврентий! Ведь это же вызовет бунт. Может быть, даже революцию...

– А вот увидите! – говорит Лаврентий.

В общем, уговорил, подлец.

Объявили.

На следующее утро стоят они у окна сталинского кремлевского кабинета и видят, как приближается к Красной площади какая-то толпа – с флагами, транспарантами, лозунгами.

– Ну вот, – оборачивается Сталин к Лаврентию. – Что я тебе говорил? Сперва демонстрация, потом бунт, а там и революция. Так ведь и мы начинали. Доигрался ты со своими экспериментами.

– Не торопитесь с выводами, Иосиф Виссарионович, – говорит Лаврентий. – Пусть подойдут поближе.

Колонна демонстрантов приближается, и все отчетливее становятся видны буквы на плакатах и транспарантах. И вот уже можно прочесть, что написано на первом транспаранте. И вождь читает: *«Мы, действительные члены Академии наук СССР, требуем, чтобы нас выпоролы первыми!»*

Но на этот раз дело стало развиваться не по анекдоту.

Произошла заминка.

Один ли Эрнбург отказался подписать «Письмо в редакцию» или нашлись еще два-три строптивца, точно сказать нельзя. (В «Источнике», где было опубликовано *не то письмо*, к тексту его было сделано такое примечание: «По некоторым сведениям, наряду с И. Г. Эрнбургом отказались подписать письмо генерал Я. К. Крейзер и певец М. О. Рейзен».)

Что же касается Эрнбурга, тут – не слух, не версия. Как говорится, «это не факт, это действительно было».



Дотошный историк Костырченко, много сил потративший на разоблачение «депортационного мифа», попутно, вскользь, мимоходом разоблачил еще и этот, связанный с именем Эрнбурга. Оказывается, тот факт, что Эрнбург так и не поставил свою подпись под тем роковым письмом, – тоже не более чем миф. Красивая легенда:

Сомнения писателя дошли до всесильного адресата, который тем не менее не позволил ему уклониться от исполнения номенклатурного

долга. Так под обращением наряду с прочими появился и автограф Эренбурга.

На подписном листе к обращению в редакцию «Правды» (РГАНИ. Фонд 5. Оп. 25. Д. 504. Л. 177–179) имеются также оригинальные автографы С. Я. Маршака, В. С. Гроссмана, М. О. Рейзена, М. И. Ромма, Л. Д. Ландау, И. О. Дунаевского и многих других видных деятелей еврейского происхождения (*Костырченко Г. В.* Тайная политика Сталина. М., 2001. С. 681).

Несмотря на все эти скрупулезно точные и потому, казалось бы, неопровержимые указания на номера архивных фондов, описей и листов, в подлинность этих документальных свидетельств я не поверил. И решил для себя, что не поверю до тех пор, пока не увижу пресловутый эренбургский «автограф» собственными глазами.

Однако поверить, – вернее, признать несомненность самого факта – пришлось.

Начать с того, что его подтвердил (сперва в разговоре со мной, а потом и в той своей работе, на которую я уже ссылался) Борис Фрезинский:

А. Я. Савич, вдова ближайшего друга О. Г. Савича, рассказывала мне, что, когда в те самые февральские дни 1953 г. они были в московской квартире Эренбургов, И. Г. срочно вызвали в «Правду». Уезжая, он сказал Савичам: «Не уходите», и они остались ждать его возвращения. Эренбург вернулся поздно и совершенно подавленный. Он сказал, вытирая лоб (что делал всегда в минуты сильных переживаний): «Случилось самое страшное – я подписал...» Рассказав это, А. Я. Савич поняла, что я ее рассказу не поверил. Зная черновики письма Эренбурга Сталину, я действительно не мог принять этого рассказа А. Я. Савич и потом даже не включил его в беловую запись ее воспоминаний. «Боря, вы мне не верите? – печально спросила А. Я. Савич. – Я помню это, как сейчас». Лишь теперь, когда стало известно, что Эренбург подписал второй, существенно отличный от первого, вариант коллективного письма, я понимаю, что письмо Эренбурга Сталину и рассказанное Алей Яковлевной не противоречат друг другу, и мне грустно, что я уже не могу сообщить ей об этом... Это письмо подписали и те, про кого существует устойчивый слух, что первое письмо они не подписывали, – Рейзен, Крейзер, Ерусалимский (*Фрезинский Б. Я.* Власть и деятели советской культуры... С. 312).

Вот, оказывается, как было дело.

Как мог он его не подписать, если все его сомнения, замечания, доводы и аргументы были учтены, приняты во внимание *тем, кто продиктовал новый текст?*

Конечно, подписывая даже такое письмо, он чувствовал себя опоганен-

ным. Но теперь он, по крайней мере, мог быть уверен, что сделал всё, что было в его силах, чтобы остановить безумие.



Боря Слуцкий однажды спросил меня (он любил задавать такие неожиданные «провокационные» вопросы):

– Как, по-вашему, кто правильнее прожил свою жизнь: Эренбург или Паустовский?

Я ответил, не задумываясь:

– Конечно, Паустовский.

– Почему?

– Не выигрался в эту грязную игру, был дальше от власти. Не приходилось врать, изворачиваться, кривить душой.

В тот момент я не вспомнил, что и сам Эренбург однажды сказал: «Любям, страдающим морской болезнью, советую глядеть на берег. Меня не укачивает на море, но не раз меня укачивало на земле. Тогда я старался хотя бы издали взглянуть на Константина Георгиевича Паустовского».

Не знаю, помнил ли это эренбурговское признание Слуцкий. Но от меня он, наверняка, ждал именно того ответа, который услышал. И у него уже заранее было готово возражение.

– Нет, вы не правы, – покачал он головой. – Конечно, Эренбургу пришлось идти на компромиссы. Но зато скольким людям он помог! А кое-кого так даже и вытащил с того света...

Тогда я, конечно, остался при своем мнении. (Он, разумеется, при своем.)

Но сейчас я подумал – а что, если бы он спросил меня:

– Как, по-вашему, кто правильнее прожил свою жизнь – Эренбург или Гроссман?

Тогда я – это уж точно! – без колебаний ответил бы:

– Конечно, Гроссман!

Но сейчас, думая о той роли, которую Илье Григорьевичу случилось сыграть в тот роковой миг нашей истории, я уже не могу с такой уверенностью ответить на этот вопрос.

Да, Гроссман был свободнее. Он не звал слепоту находкой. Когда прозрел, написал обо всем, что увидел, узнал, понял. И дорого за это заплатил.

А Эренбург не хотел глядеть этой страшной правде в глаза. До последнего дня своей жизни оставался «в игре», «подвывал и даже лаял».

Но Гроссман в смятении подписал то ужасное, первое письмо. А Эренбург поступил так, как поступил.

И дело тут совсем не в том, кто из них оказался морально выше. Или – скажем так – чье моральное падение было глубже: Гроссмана ли, который уступил силе и сдался, или Эренбурга, который, «наступив на горло собственной песне», заставил себя, сочиняя письмо Сталину «взять в рот» все

эти гнусные казенные слова, вспоминать и изобретать все эти фальшивые, лживые аргументы.

И то и другое было одинаково тяжело и одинаково противно.

Но, в отличие от Гроссмана, Эренбург не только ясно увидел, «куда влечет нас рок событий», но и попытался если не остановить, так хоть задержать это стремительное скатывание страны к самому краю пропасти. И кто знает, что произошло бы за те две недели, если бы Сталину не донесли, что произошла «заминка», и если бы он не прочел это «лакейское», как презрительно обозвала его моя жена, эренбурговское письмо.

Весь этот страшный узел развязала, конечно (лучше сказать – разрубил) внезапная смерть Сталина. И нередко поэтому мне приходилось слышать – чаще от старших моих современников, – что в дело вмешался Бог.

Профессия русского Бога не синекура, однажды сострил Тютчев. Профессия еврейского Бога еще меньше похожа на синекуру: Ему то и дело приходится проявлять свою божественную волю, чтобы в очередной раз спасти от гибели свой «избранный народ».

Но орудием исполнения своей воли Господь избирает людей.

В одной – до сих пор неопубликованной – поэме моего друга Эмки Манделя (она называлась «Начальник творчества») главный ее герой, партийный функционер «среднего звена», вот этот самый «начальник творчества» не верит в естественную смерть вождя:

– Тут козни кроются во мгле,
Не досмотрели, грех наш тяжкий...
Как будто сам собой в Кремле
Не мог скончаться старикашка.
Как будто может лёт годов
Застыть. Как будто смерть пуглива.
Подозревал он месть врагов
И даже руку Тель-Авива,
И клялся, – с каждым днем лютей, –
Что тут враги. Сумели ж, черти!
И – зря. К позору всех людей
Вождь умер собственной смертью.

Всё-таки вряд ли это было так.

Не стану апеллировать к знаменитой книге Авторханова «Загадка смерти Сталина», ни к трудам других историков, пытавшихся доказать, что Сталину помогли умереть его соратники. Скажу только одно: версия эта, безусловно, заслуживает самого серьезного и внимательного рассмотрения.

Как я уже говорил, «дело врачей» было – по замыслу Сталина – прологом новой грандиозной чистки партийной верхушки. Об этом достаточно ясно говорило уже само «Сообщение ТАСС», появившееся в «Правде»

13 января. Как там было сказано, арестованные врачи признались, что после убийства Жданова и Щербакова они собирались умертвить маршалов Василевского, Говорова и Конева, генерала Штеменко и адмирала Левченко. Но там не было ни слова о том, что они должны были убить Маленкова, Берия, Хрущева, Жукова, Булганина.

Намек был достаточно ясный.

А в передовой «Правды» – написанной или продиктованной самим Сталиным (там легко угадывался его почерк), – говорилось совсем уже прямо:

Что же касается вдохновителей этих наймитов-убийц, то они могут быть уверены, что возмездие не забудет о них и найдет дорогу к ним, чтобы сказать им свое веское слово.

Трудно поверить, чтобы «соратники» вождя не поняли, что это злое предупреждение адресовалось не какому-то там мифическому «Джойнту», а прямо и непосредственно им. Все они были «ребята практикованные», сами прошли сталинскую криминальную школу – в отличие от Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и других «лохов» из «ленинской гвардии».

Так что жизнь и смерть вождя были для них вопросом их собственной жизни и смерти.

Но могло, конечно, случиться и так, что вождь все-таки умер «собственной смертью».

Мой дружок Камил Икрамов (сын секретаря ЦК Узбекистана Акмаля Икрамова, расстрелянного вместе с Бухариным), юность которого прошла в сталинских лагерях, среди множества совершенно замечательных лагерных историй рассказал мне такую.

Всех, с кем ему привелось там отбывать свой безразмерный срок, судили за шпионаж. Вряд ли надо объяснять, что на самом деле шпионами они, конечно, не были. Но случилось так, что среди этих мнимых шпионов оказался один настоящий. То ли румынский, то ли венгерский, то ли еще какой...

И вот этот настоящий шпион время от времени говорил:

– Вам-то хорошо. В 53-м году Сталин умрет, и всех вас выпустят на свободу. А мне – и дальше сидеть...

Мнимые шпионы над этой его постоянной присказкой только посмеивались.

– Да откуда ты взял, что Сталин умрет именно в 53-м году? – иногда все-таки спрашивал у него кто-нибудь из них. И тогда, пожимая плечами, он отвечал:

– Помилуйте, да ведь это же известно!

И объяснял, что в каком-то там – сейчас уже не помню, в каком именно – году у Сталина был первый удар. В 49-м, когда ему стукнуло 70, и его че-

ствовали, а он не произнес в ответ на приветствия ни слова, – второй. (Потому и не произнес ни слова, что после перенесенного инсульта к нему еще не вернулся дар речи.) А в 53-м, во всяком случае, не позднее 53-го, последует третий удар, которого он, конечно, не переживет. Там, у них, на Западе, это всем известно. Ну, может быть, не всем, но для него, профессионального разведчика, это никакой не секрет и никакая не тайна.

Не знаю, может быть, Камил все это и выдумал. Или это одна из тех лагерных баек, которыми тешили себя несчастные замордованные зэки.

А может быть, – чем черт не шутит! – там, у них, на Западе, в ихних шпионских кругах, и в самом деле давно уже рассчитали, что Сталин не переживет 53-го года.

Но даже если вождь и в самом деле «умер собственной смертью», одно несомненно: когда случился с ним этот предугаданный западными спецслужбами третий удар, соратники, безусловно, помогли ему отправиться на тот свет.

Это признает даже его дочь Светлана, ни на грош не верившая в заговор и насильственное умерщвление отца:

...73-летнему старику с повышенным кровяным давлением безусловно *помогли помереть* тем, что оставили его в состоянии *удара*, без врачебной помощи в течение 12 (или больше...) часов. Да еще *волокли* в другую комнату.

Что *взрослые* люди не поняли простого факта, что это был *удар* – никогда не поверю. Признаки были налицо: паралич, потеря речи и сознания (*Аллилуева С.* Письмо Роману Гулю, 12 янв. 1977 года // *Гуль Р.* Я унес Россию. Т. 3).

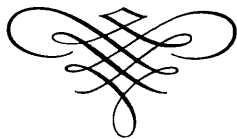
Так что, если даже и впрямь в дело вмешался Бог, орудием господней воли, как и во множестве других подобных случаев, все-таки были люди. И одним из этих орудий выпало стать Эренбургу.

Письмо Эренбурга «на высочайшее имя», как я уже не раз говорил, было написано 3-го февраля. Сталину оставалось жить еще целый месяц.

За этот месяц могло случиться многое. Но вот произошла какая-то заминка. Что-то случилось. Решено было изменить – нет, не генеральный план, конечно, а всего лишь тактику. Стремительный, бешеный ход событий задержался всего лишь на какие-нибудь две-три недели. Но эти две-три недели решили всё.

Смерть, уже занесшая свою косу над головами миллионов людей, отступила.





Наталья Зейфман

СУДЬБА ИЗ РУК ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА*

Определить его роль в моей жизни словом Учитель – мало, правильно добавить весомое из бывших – Благодетель. Возможно, тому причиной давняя семейная история, а может, не я одна могу назвать его так, не знаю. Об истории – несколько слов. У моего отца по службе в Московской Военно-химической академии был друг, математик Анисим Федорович Бермант, вузовский учебник которого и сейчас известен каждому технарю. Жили в доме, построенном Академией незадолго до войны. Семьи сотрудников Академии увозил в эвакуацию в Самарканд отец, и Бермант поручил его опеке жене и детей. По возвращении из эвакуации близость продолжалась. Когда, к примеру, дочь Бермантов Люлька (это она учила меня поочередно двумя ногами сходить по ступенькам) заболела скарлатиной, их старший сын Миша жил у нас. В детской моей памяти Анисим Федорович вечно конфузит меня, тыкая пальцем в пузо и изображая, как со свистом выходит воздух, или тормозит: «Почему такие черные глаза? Опять забыла умыться?!» – и я пугаюсь: вдруг и вправду?

Отца арестовали в январе 1950 г. Он вернулся из заграничной командировки в разгар борьбы с космополитизмом и как еврей сгодился для обвинения по статье 58а – измена Родине. Его сняли с поезда, а в дом пришли с обыском вечером; мама держала меня на коленях, ее трясла мелкая дрожь; наутро меня отправили в школу со словами: «Папа ни в чем не виноват, никому ничего не рассказывай». Куда там! Весь двор уже перешептывался: понятые рассказывали, что у нас нашли пушку.

Пошла другая жизнь, с привычным взглядом в окошко: не идет ли папа.

* П. А. Зайончковский (1904–1983), историк, профессор Московского университета, почетный член Британской академии, автор множества исследований и публикаций по истории России XIX – начала XX в., глава научной школы. Осенью этого года к его столетию в Москве готовится вторая, посвященная ему международная конференция, для которой и предназначен мемуар.

Следствие длилось полтора года: Лубянка, Лефортово, Суханово – мама ходила по тюрьмам с передачами, ждала ареста, считала копейки на хлеб (купить за 3 или за 5? А продавщица в ларьке злобно: «Сколько можно думать?!»). Фронтовой приятель отца Д. В. Горбовский, с семьей которого по-соседски дружили (жили дверь в дверь), тихонько спрашивал маму: «Как Вил?», разве что случайно столкнувшись с ней на лестнице, и убегал, услышав чьи-то шаги. Он потом стал начальником Военно-химической академии.

Так вот, а Бермант не страшился устраивать спектакль, направляясь к нам: он надевал парадный костюм и шел из своего подъезда не прямо в наш, через один соседний, – нет, под взглядами всезнающих жильцов он сначала обходил вокруг жидкого газона весь двор, охваченный, как арена, большим П-образным домом в шесть этажей. А отца в это время пытали, в том числе и для того, чтоб он дал показания на Берманта, известного неумеренностью в опасном своем остро словии. Хуже того, одно из страшных обвинений, разрабатываемых следствием – «в связях с иностранцами», – базировалось, в частности, на доносе о встрече отца в Америке с тамошним родственником Анисима Федоровича (речь шла о возможности опубликовать какую-то его математическую статью).

Мне кажется, я помню каждый пряник, который близкие приносили в то голодное время в дом, а Валентина Николаевна Бермант однажды принесла большой шоколадный торт с орехами! В профессорском тогда уже кругу Анисима Федоровича она старалась для мамы продать привезенные отцом из-за границы вещи (помню черные лаковые туфли и красную лаковую сумочку на ремешке, которые я не успела поносить). Потом кончилось следствие, отец не подписал политических обвинений, следовательно сказал маме, что мы выиграли один шанс на миллион (уголовную статью вместо страшной первоначальной), отца отправили на 5 лет в ссылку на Енисей, мама успела два раза к нему съездить, второй раз с нами, детьми; обсуждался вопрос, где жить после ссылки (нельзя было около железнодорожных станций). Наконец, умер Сталин, июнь 1953, и – утром звонок в дверь. Стоит Валентина Николаевна, с газетой (мама и бабушка вспоминали с восторгом: «В. Н.! Со спущенными чулками! Так спешила!»). Это Анисим Федорович прислал ее сообщить об амнистии, под которую подпадал отец.

Петр Андреевич появился в нашей жизни не сразу после возвращения отца. От Берманта он, конечно, слышал всю эту историю. Он и Анисим Федорович познакомились на Рижском взморье, где отдыхали вместе с женами, и подружились. Потом дачное соседство на 42-м км по Казанке (на кооперативе, куда Бермант сумел втащить Петра Андреевича, он, можно сказать, потерял здоровье). После внезапной смерти Анисима Федоровича в 1958 г., которую отец и Петр Андреевич тяжело переживали, они стали сближаться. По выходным завели привычку встречаться в Сокольниках, чтобы погулять по парку и потрепаться. Отец мой умер 60 лет в 1971 г.

Но пока все живы, лето 1957 г., мы с двоюродным братом (его фамилия

тоже не обнадеживала – Шейнерман) окончили с медалями школу, у него серебряная, у меня золотая, т. е. ему при поступлении в институт надо сдавать один профильный экзамен, а мне – только пройти собеседование. Время уже и еще не сильно кроважское, однако насчет евреев непонятно: гласных указаний нет, негласные никто не отменял, внедренный сталинскими годами антисемитизм сидит в душах людей, и без того к нему склонных, – короче, ясно, что детей надо при поступлении оградить от случайностей. Я волокусь за братом брать анкеты в Строительный институт, где Бермант заведует кафедрой. Я из тех отличниц, которые не знают толком, чего хотеть, но тут близкие начинают сомневаться в Строительном, не в силах соединить в воображении меня и стройплощадку, и анкету я не заполняю. Альтернатива – исторический факультет Московского университета, где друг Берманта, профессор Зайончковский. Но в столичном университете хуже, чем в старой России: не на всяком факультете норма для евреев трехпроцентная, бывала и нулевая. Зато и у Петра Андреевича старые понятия, он считает, что русский дворянин должен помогать евреям. Старший брат – химик – произносит: «Иди туда, хоть книжки считаешь!» Вот, догадываюсь я, именно это мне и нужно.

Дальше, папа везет меня на 42-й км предъявить Петру Андреевичу, тот меня разглядывает и расспрашивает (сидим за дачным деревянным столом на лужайке). Сочувствую себе тогдашней: он такой большой, лицо крупное, с неправильными чертами и маленькими, глубоко запрятанными, слегка раскосыми глазами, едва различаю его рокошущую скороговорку, строгий, но от его доброты зависит мое будущее. Видимо, разговором он доволен: главное, говорит, не дать меня на собеседовании потопить, а для этого он сам должен быть председателем комиссии.

Смутно помню собственно действо, кажется, оно происходило в темноватом кабинете декана И. А. Федосова: передо мной было нечто вроде Тайной вечери во главе с П. А.; и град вопросов, от которых я успешно отбилась, и лестный восторг брата (поступившего в Строительный), когда я ему эти вопросы-ответы пересказывала, замирая от миновавшего ужаса. Кстати, вышла-таки трехпроцентная норма: из 150 человек на нашем курсе я знала пятерых евреев. Из них две мои сразу же близкие подруги: Валерия Леоновна Лейбович, дочь сотрудницы П. А. по университетской библиотеке, сдававшая экзамены второй раз, он и ее подстраховывал, и Лилия Наумовна Белинская, украинка по матери и по паспорту, с которой мы вместе проходили собеседование. Она помнит с моих слов, что на вопрос, как же она проскочила, П. А. ответил, что, подводя итоги и насчитав свыше пяти предписанных евреев, члены комиссии слегка испугались, но, просмотрев ее личное дело с указанием национальности, успокоились: «Пройдет!» (сама я помню только, что он ответил: «Прозевали!»).

Я робела перед ним всегда, но поначалу особенно сильно: я стеснялась, когда он вылавливал меня в студенческой толпе, наклонялся поцеловать ручку, делая при этом характерное для бывшего кадета прихлопывание

каблуками, и передавал привет родителям (по моим детским понятиям, я попала в университет как бы не совсем легитимно, будто была виновата в своем еврействе). Его же, в отличие от меня, нисколько не смущало наше приватное знакомство. Его не смущало и мое малолетство, он сразу достоверно предупредил меня, что один из преподавателей, семинар которого мне предстояло пройти, «стучит на своих студентов». А в университете было неспокойно: через месяц после начала занятий нас собрали, чтобы разъяснить, за что осудили на разные сроки группу молодых историков, – закончилось «дело Краснопевцева»*. Мы слушали молча, не понимая хитросплетений обвинения, зато вполне страхась мерзости происходящего.

Мне поначалу казалось, что стоит заниматься археологией, потом это прошло, но пора было выбирать специализацию, и Петр Андреевич, подумав, посоветовал нам с Лерой Лейбович идти на средневековую Францию к Нине Александровне Сидоровой, лучшему, на его взгляд, из преподавателей. Мы и пошли. Уныло учили средневековую латынь, но когда в качестве темы для курсовой мне были предложены фаблио, а ей еще что-то в этом же роде, обе спасовали: скучно. Повинились перед Н. А. и побежали спасаться к Зайончковскому. Наша группа начинала 4-й курс, а П. А. начинал вводить в науку новый пласт исторического знания, до него немыслимый и основанный на комплексе источников, им самим к тому времени уже в значительной мере опубликованных, – он обратился к исследованию внутренней правительственной политики 1870 – начала 1890-х гг. Он закрывал пропасть, как бы не замечая ее, между нашим временем и той живой для него Россией, где были его корни. Это был его метод: игнорировать схемы, находиться в атмосфере реалий, из них творить историческое исследование. Все данные им на выбор темы были привлекательны своим несоприкосновением с последующей предреволюционной эпохой, требующей от тогдашнего историка необходимых клише. А моя семейная история, пережитое отцом, его рассказы близким о тюрьме, под которые я засыпала в нашей единственной комнате (бабушка храпела, и папа иногда уходил ночевать к Бермантам), – конечно, внушили мне отчетливо ощущаемую брезгливость, если не ко всему советскому, то уж к этим клише – точно. В числе предложенных Зайончковским тем была правительственная политика в области просвещения. Я прикидывала: университеты – сложно, начальная школа – наверное, скучно, и выбрала нечто среднее, что через годы в названии диссертации прозвучало так: «Среднее образование в системе контрреформ 1880-х годов»¹. И началась жизнь! Для курсовой я просматривала старые газеты и журналы, а для дипломной работы П. А. засадил нас, по своему обыкновению, уже и в архивы. Становилось ясно, как в любви, что это, наконец, мое!

* Нелегальная организация «Союз патриотов», которую возглавлял аспирант исторического факультета МГУ Лев Краснопевцев. В 1957 г. были арестованы девять человек – в основном выпускники истфака МГУ и научные сотрудники Института востоковедения (*примеч. ред.*).

Как всегда, П. А. организовал практику для своей группы в Центральном историческом архиве, и в начале 1962 г. мы поехали в Ленинград. Все было замечательно: город, архив в доме Лавалей на набережной у Сенатской площади, расписные плафоны в читальном зале, снег, отвесно падающий в тесный дворик за окном, даже переплетенные в синюю вошеную бумагу дела министерства народного просвещения. Среди прочих напутствий, Петр Андреевич велел нам с Лерой непременно пойти в Александринский театр: там впервые за долгие годы запрета был поставлен Булгаков («Бег»), мне это имя было внове. На последнем курсе он водил нас в Исторический музей, потом в отдел рукописей Ленинской библиотеки, который тогда еще находился в главном здании Пашкова дома, глядящем на Моховую. Прошли дверь со словами над ней основателя Румянцевского музея «На Благое Просвещение» и по чугунной винтовой лестнице поднялись в кабинет, обставленный мебелью из светлой карельской березы. Восемь лет, с конца 1944 г., это был кабинет Зайончковского, который после фронта пришел заведовать отделом. Потрясение, испытанное мною на отдельской выставке рукописей, по которой нас водила его ученица, несомненно, сказалось на моей судьбе. Кстати, через пять лет я сама делала новую ее экспозицию. В связи с этим позволю себе здесь маленький сюжет о Петре Андреевиче. Экспозиция приурочивалась к помпезному празднованию советской властью своего 50-летия, а мы включили в нее автограф стихотворения О. Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (рукописный отдел был смелым тогда). С помощью Мариэтты Чудаковой, уже года два работающей в отделе, «Вопросы литературы» напечатали мое сообщение о юбилейной выставке с упоминанием еще не вполне легитимного Мандельштама, не говоря уже о самом стихотворении, с его концовкой: *«И всю ночь напролет жду гостей дорогих, // Шевеля кандалами цепочек дверных»*. Утекло сколько-то воды, и я не поняла, почему Петр Андреевич взволнованным голосом спрашивает меня по телефону: «Наташа, а Вы знаете, кто Вы? Вы – советский архивист!!» Я опешила, а он, оказывается, держал в руках 3-й том американского трехтомника Мандельштама с указателем имен, в том числе и моим (они включили мою статейку в библиографию), с восхитившим его определением. Право, еще раз я слышала такой голос, когда он сообщил, что стал членом Британской академии.

В марте 1962 г., когда я впервые пришла заниматься в отдел рукописей, он только-только переехал во флигель Пашкова дома на ул. Фрунзе. Теперь это снова Знаменка, и стоит мертвое пустое здание с заколоченными железом окнами первого этажа и распахнутыми бесхозно форточками второго. Вон мое окно, смотрит сбоку на въездные со Староваганьковского переулка во двор ворота. И я смотрела на них почти четверть века. А тогда – двухсветный читальный зал с весенним солнцем сквозь новые желтые занавеси, посреди зала на постаменте девушка в мраморном кресле, поглощенная чтением: с плеча спадает рубашка, из-под нее ножка с нежными паль-

чиками. Есть и мраморный бюст нахмуренного молодого Ленина, но он в дальнем от входа углу, что непривычно (бывало, их меняли местами: в зависимости от хода отдельской истории).

И тут голосом Петра Андреевича, который, не складывая с себя бремя ответственности за учеников, занялся нашим трудоустройством, снова явственно говорит Судьба: «Ну, куда, дорогая моя, Вы хотите, – спрашивает он, – в отдел рукописей или в Исторический музей?» (там и там его ученики и друзья, он может просить о помощи). Я вспоминаю темные захламленные закоулки музея и уверенно поддакиваю Провидению: в отдел рукописей! Моя Лера уже потихоньку работает в ФБОН* (и до сих пор там, много лет уже это ИНИОН**). Однако прежде надо освободить нас от обязательного распределения – в школы Владимирской области (известно, что мы не нужны там, но положено...). Опять для П. А. хлопоты, однако он ими будто и не затрудняется: просвещением во Владимире ведает его фронтовой друг Василий Вячеславович Криштафович, он высылает нужные справки об освобождении (мы и вправду там не нужны). У меня сохранилось письмо отца с необычным обращением: «Сердечный Петр Андреевич!» – по поводу «вольной» на опекаемых им «двух девиц», полученной от Криштафовича (по традиции, последний становится и другом отца). А я поступаю в распоряжение Сарры Владимировны Житомирской, которую Петр Андреевич оставил после ухода из отдела рукописей в 1952 г. временно исполняющей обязанности заведующей, что поразительно накануне «дела врачей». Она будет возглавлять отдел 22 года, и при ней он укрепитсЯ как одно из достойнейших культурных заведений. Я проживу в нем 26 лет, и, когда уйду, за мной буквально, не в переносном смысле, заколотят дверь флигеля; а бывшее достоинство отдела к тому времени переместится в наши воспоминания.

«Не знаю, где Вы мне понадобится», – сказала Сарра Владимировна при нашем знакомстве. Через много лет я допрашивала ее, трудно ли ей досталось оформление меня в отделе кадров, но она не помнила, – год был 1962, как известно, не из худших, и я сразу понадобилась расставлять каталожные карточки на фонды, возвращаемые к жизни из спецхрана. Три с лишним года я работала в читальном зале. Привычно бежала к телефону: «Наташа! Петр Андреевич!!» Телефон стоял в «бронеполках», где хранились заказанные читателями материалы, и я помогала П. А. делать сверку, зачитывая нужные ему места из рукописей. В отделе всё было проникнуто духом Петра Андреевича. Это сказывалось в почтительном отношении к читателям («Ах, Вы издалека и только на три дня, – хлопотала хранитель Г. Ф. Сафронова. – Быстро заказывайте рукописи, и Вам их немедленно принесут»), в заботе об информационно-справочных изданиях, им ещё затеянных, в совершенствовании каталогов, в связях с широким кругом ученых и литераторов, поддерживающих экспертизы за-

* Фундаментальная библиотека по общественным наукам АН СССР (примеч. ред.).

** Институт научной информации по общественным наукам РАН (примеч. ред.).

купочную политику отдела, в неформальном, наконец, стиле руководства, присущем С. В. Житомирской.

О Зайончковском-начальнике обожали рассказывать анекдоты. И я перескажу их, не впервые, но с тем же чувством. Например, Петр Андреевич, очень внимательный к судьбе подчиненных, велит вывесить приказ: «Такому-то – к четвергу закончить диссертацию!» Или – принимает на работу сотрудника: «И последний вопрос: Вы порядочный человек?» Смеялись, вспоминая, как среди совещания вдруг звонила его жена Ираида Павловна, и Петр Андреевич начинал уговаривать дочку Лялю съесть котлетку. Восхищались обычной краткой концовкой его архивных описаний, без положенных ложнозначительных умозаключений, а просто: «Таково содержание архива Милютина», к примеру. Помню, обзор первого разобранного мной архива – знаменитого земца Д. Н. Шипова², – мне ужасно хотелось закончить формулой П. А., и чертыхающаяся подруга Маризтта с усилием выколотила из меня несколько положенных итоговых фраз (я сохранила рваненькую бумажку с записью моих слов ее явно раздраженной рукой). Через много лет, вскоре после смерти Зайончковского, я заканчивала биографию полузабытого тогда декабриста, предвещающую книгу его писем и воспоминаний, и с наслаждением вывела: «Так прожил свою жизнь Владимир Иванович Штейнгейль» – римейком той фразы Петра Андреевича и маленьким салютом в его честь³.

Однако совсем не все было весело в начале моей работы в отделе рукописей: надо было завоевывать право на перевод в архивную группу, доказывать способность к научной работе, выпрашивать характеристику для прикрепления к аспирантуре, и я сидела вечерами, писала, доказывала, а тут еще явная, изводящая меня неприязнь заведующей читальным залом (с годами это у нее прошло), и до того, что я подумывала, уж не уйти ли? Сама ли сказала об этом Петру Андреевичу или кто-то из родителей, но помню, как я сдавленно реву в своей рабочей комнате, а он прикрывает собою дверь и урезонивает: «Ну, дорогая моя (это было его всегдашнее обращение, и доброе, и сердитое), что уходить, так везде может быть, ведь Вы молодая, только что благополучно вышли замуж, это не всякому приятно...».

Да, молодость, бесконечно консерватория, театры, выставки, путешествия, а папа свое: хватит развлечений – кто знает, как жизнь сложится, надо себя защитить, пора браться за диссертацию, звони, наконец, Петру Андреевичу. После удачной дипломной работы и почти красной книжки П. А. пробовал добиться для меня места в аспирантуре моего родного университета, но не преуспел. Теперь речь шла о прикреплении для сдачи кандидатского минимума к Саратовскому, куда он ездил преподавать. И вот я снова иду в высотный дом у Красных ворот, подъезд 10, этаж 9, квартира 179. И снова робею до отупения. У меня это выражалось, например, так: П. А. назначает мне прийти в 12 часов. – А Вы будете дома? – И он кипит: «Ну, дорогая моя, если я сказал в 12...» Ох, какой длинный список литературы по истории русского феодализма я получила для первого экзамена! И думала про себя:

не хочется, не одолею, а Петр Андреевич, оставив задыхающегося в лае Тотошу за дверью, провожал к лифту, приговаривая: «Моя ученица должна все это знать». Он всегда провожал до лифта и передавал поклон «Вилу Осиповичу и Катерине Моисеевне», архаично чуть упрощая имена родителей...

И вот прошло лето, отданное бесконечному обязательному чтению, и П. А. везет меня к Ю. Г. Оксману, который тоже преподает в Саратове и поэтому имеет право принять у меня экзамен. Оксман сидит к нам лицом за большим письменным столом, странно похожий на отцовского старшего брата дядю Яшу, и после недолгого их разговора я плавно отвечаю на первый вопрос о Соборном Уложении 1649 года. Но Петр Андреевич очень волнуется (он в дороге объяснял мне, «что такое Оксман», хотя это было лишнее), и едва я открываю рот, чтобы изложить Записку Карамзина «О Древней и Новой России» (но делаю, видимо, слишком глубокий вдох), решает, что я ее не читала, и пускается в упреки. Мне все же удастся что-то сказать, и Юлиан Григорьевич с добрым лицом ставит мне четверку. Мы возвращаемся на троллейбусе по Ленинскому, я всхлипываю, а Петр Андреевич повторяет, на этот раз с извинительной интонацией: «Моя ученица должна все знать».

Я тяну с кандидатскими экзаменами, делаю паузы, и не я его, а он меня тербит с диссертацией. И сердится, и не мне, а отцу дарит «Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг.»: «С любовью, автор. 28/1.66 г.» Родители возвращаются из дома отдыха ВТО под Рузой, где были по следам Зайончковских (или вместе, не помню), очень довольные тем, какой успех у тамошней публики имели рассказы Петра Андреевича. Его сопоставления, например, цифры, которые он называл, когда говорил о штатах столичных Охранных отделений Российской империи, – они укладывались в десятки! – поражали искушенных в современных делах слушателей. В узком кругу он делал то, чем потом Н. Я. Эйдельман так восхищал со сцены. А я мало бывала у него, и тратить его время на разговоры, кроме деловых, не решалась. Хотя нет, вот запись в моем дневнике от 30.10.1972 – я в этот день привезла ему диссертацию: «1 ч. 15 разговаривали о всяком (Касвинов, Война, Справочник)», но что за ней стоит, могу только догадываться. А однажды мы сидели в кабинете, который всегда чудесно отдавал стариной (большой письменный стол с бронзовым мальчиком и подсвечником и стеклянной чернильницей; картины, теперь уже позапрошлого века: натюрморт с корзинкой и выпавшими из нее яблоками, женщина, наклонившая в молитве лицо под белой накидкой), и П. А. растолковывал мне, как принижена официальным постулатом роль личности в истории, и все добивался: «Вы согласны, дорогая моя?» Другой раз он упомянул, что в поздних писаниях Герцена явственно выражено неприятие им революции в пользу либерализма, – «Вы почитайте...». Я тогда прочувствовала на себе выражение «глаза открылись»: как? Хрестоматийный революционер Герцен?

В дарственных надписях Петра Андреевича на подаренных мне книгах всегда присутствуют слова «учитель» и «на память» – он думал о себе после жизни, а память учеников и их работы были его продолжением. Есть и упрек

мне: «Дорогой Наташе Зейфман от учителя, возлагающего на нее все же надежды. Любящий автор. 2/II.69». Еще год, и я еду к нему на дачу для окончательного разговора о теме диссертации. Он выпустил недавно «Российское самодержавие в конце XIX столетия», и я в растерянности: «Вы же уже все написали...», а он в ответ: «А это, дорогая моя, выяснится, когда Вы возьмётесь за дело». И оказался прав. И был очень доволен, когда выяснилось, что не все... Я взяла сейчас в руки подаренную им книгу и увидела с изумлением забытое: он заканчивает краткое предисловие благодарностью мне и еще одному своему студенту «за информацию о некоторых архивных документах». К размышлениям на тему: учитель как нравственный образец.

Когда я, в конце концов, взялась за работу, на него опять упали хлопоты обо мне: надо было организовывать публикации статей. А осенью 1971 г. я не удержалась от соблазна – нанялась к В. А. Каверину разбирать его архив, тайно от отца, П. А. и С. В. Житомирской, которые не простили бы мне этого отвлечения от главного дела. Оно, натурально, опять застопорилось. Тут умер папа, и к ответственности за меня перед памятью Берманта для П. А. прибавился ещё и долг перед моим отцом. 27.03.1972 (день захоронения урны с прахом отца) я записала в дневнике слова П. А., сказанные маме, что надо бы мне все-таки успеть защититься при нём. Одному радуюсь, что в ходе написания диссертации я его не утомляла. Как-то естественно вышло, что, получив меня от друга своего – Зайончковского, С. В. Житомирская потихоньку разделила с ним обязанности моего научного руководителя. Во всяком случае, она первой читала главы диссертации. И, когда я привезла ему готовый текст, он спросил: «Так как она у нас называется?» У меня в дневнике записано 8.12.1972, что через полтора месяца после того дня (он куда-то уезжал) П. А. позвонил С. В.: «Прекрасная, зрелая диссертация. Доработок немного». Зато в разговоре по телефону со мной строг, как обычно: «Хорошо, но Вы безобразно считаете – ни в одной таблице до 100% не сходится» (таблицы был его конек!). Еще декабрьская запись: «У мамы Криштафович. Он очень мил, говорил комплименты, рад, что у Вила Иосифовича такая дочь. Они (В. В. с женой) были у П. А., он сказал, что диссертация блестящая». Это тот давешний мой освободитель.

Всю организационную часть, связанную с защитой, Петр Андреевич взял на себя. Было ужасно жаль, что он заболел, на самой процедуре не был и не слышал адресованных ему слов моей благодарности и похвал, которые заслужила его ученица. Снова задумываюсь, в чем, собственно, он был мне учителем, кроме такого рода основных вещей, как тема исследования, им предложенная, или воспитанное им стремление базироваться на источниках, без чего для него не было науки и что обеспечило долголетие его работам. Нашему курсу он не читал лекций, а в семинар к нему я не успела, задержавшись в средневековой Франции (раз три, правда, он приглашал нас, нескольких опоздавших, на собеседования домой). Но несколькими замечаниями в разговоре он умел освободить от произвольного подчинения штампам, а щепетильность по отношению к источникам передалась мне в

виде панической боязни натяжек... Хотелось перенять независимость и чистоплотность, которой отличались его работы от потока исторической продукции, оформленной по канонам того времени всеми необходимыми атрибутами правоверности автора. Так, однажды я была поражена, увидев во вступлении к диссертации по истории феодальной России поток цитат из классиков марксизма-ленинизма, хотя руководителем диссертанта был самый выдающийся в то время, по мнению Петра Андреевича, историк русского средневековья. Со мной же произошла такая история – я расскажу ее в продолжение рассуждения о себе как его ученице. Когда после защиты я пришла сдавать диссертацию в Ученый совет, секретарша сунула мне для обязательного заполнения анкету, в которой среди прочих была строчка: сколько цитат из классиков марксизма-ленинизма содержится в диссертации (филолог М. Чудакова, да и не одна она, никак не соглашались поверить, что этот пункт мне не примерещился). Я поплелась к секретарше: «А что делать, если у меня только две цитаты?» (я сама, предполагая что-то подобное, из трусости прикрылась двумя замечаниями Ленина о школьных делах 1880-х гг., оправдывая себя тем, что беру их как свидетельство современника, – он учился в это время). Добрая девушка тоже растерялась: «Нет, лучше не пишите ничего». Так я и сделала.

Ну вот, Петр Андреевич мог бы считать свою роль в моей жизни завершенной. Но нет, сразу после утверждения результатов защиты он вступил в полосу трудных и неприятных для него переговоров с новым директором Библиотеки им. Ленина Н. Н. Сикорским (от которого зависели условия и его работы в ней) – он добивался, чтобы меня повысили в должности. Бесполезно – при Сикорском попала в опалу Житомирская, благородные традиции отдела рукописей начали исчезать (теперь, к примеру, читателю, будь он из любого далека и ненадолго, рукописи подавали на третий день после заказа, а еще любили отклонять заказ, с апломбом заявляя, что он-де не соответствует заявленной теме), отдел стал разваливаться: старые сотрудники уходили сами или их переводили в другие подразделения, – известная многим печальная, но характерная история. Враги Житомирской натурально и успешно играли на струнах антисемитизма в душах ее подчиненных, ну и я тут – как объект клеветы и травли. Зайончковскому директор отвечал, что у меня мало научного стажа или, скажем, печатных работ... В июле 1978, судя по моему дневнику, П. А. даже предложил мне на пять лет перейти в его группу для составления предметного указателя к 11-му тому справочника по мемуарам. Я мучалась, уходить ли, ведь ясно было, что надо бежать, но так не хотелось бросать любимое дело и оставшихся ему верных коллег. Тут разом освободилось несколько вакансий, и через 4 года после защиты я получила, наконец, положенную ставку. Наши телефонные разговоры стали реже, но в каждом из них Петр Андреевич спрашивал, как здоровье мамы и мужа, сколько уже лет детям (он путал, кто у меня, но твердо знал, что дети, слава Богу, есть) и хватает ли нам денег. И в каждом – с гордостью говорил, что работает, и называл порядковый номер очередной монографии.

Небеса наградили его красивой смертью: он умер, как мечтал, за работой, в спецхране библиотеки, куда регулярно приходил по делам своего библиографического справочника. Через год, в следующем сентябре, мы отметили его 80-летие: за длиннейшим рядом составленных вместе столов в помещении какой-то столовой в аспирантском здании университета сидели его ученики и коллеги, руководил речами Н. Эйдельман. Пошла жизнь без него, но для меня все равно с ним, поскольку судьба продолжала осуществляться в заданном им направлении. Из отдела рукописей пришлось все же уйти, я работала больше двух лет в библиографическом отделе у В. И. Харламова: светлая ему память, он выпросил меня, несмотря на то, что в отделе кадров его спрашивали: «А Вы знаете, кого берете? Ведь они живут с пальцами международного сионизма на шее» («они» – новые начальники рукописного и с моими пальцами, разумеется, – я одна там такая оставалась). И участвовала в проекте библиографического справочника «Литература русского зарубежья», которым с американской стороны руководил ученик Зайончковского профессор Терри Эммонс. Потом муж решил увезти семью в Израиль, и мы, ничего не понимая в своем будущем, говорили друг другу: «Ну что ж, что-то в жизни сделано, а там будем перебирать апельсины». Однако вышло иначе: мы уехали в октябре 1991 г., а в июне 1992-го я уже работала в архиве Яд ва-Шем, израильского национального института, тема которого – Катастрофа европейского еврейства, Холокост. Пригодилась моя специальность историка и профессия архивиста: задача отца и Петра Андреевича завершилась, они защитили меня в этой жизни. А я пригодилась Израилю, поскольку с моим участием Яд ва-Шем стал пополняться копиями необходимых ему документов из российских архивов, которые как раз в это время раскрылись. И тут мне был уготован подарок: встреча, некоторым образом, с Петром Андреевичем.

Летом 1995 г. в очередной командировке в Россию я занималась просмотром фонда Комиссии по изучению Великой Отечественной войны, который хранится в архиве Института истории РАН. Один из разделов этого фонда состоит из рассказов переживших немецкую оккупацию людей. Для интервьюирования Комиссия высылала на места своих эмиссаров, но к ней стекались и документы из других источников. Листаю я, листаю, привычно одним взглядом выхватываю содержание, и вдруг – такой знакомый почерк, не может быть... и подпись внизу – невероятно! Вернулась к заголовку и стала читать:

Гв.- майор П. Зайончковский. Докладная записка начальнику 7 отдела Политуправления СФ майору тов. Зусманович.

На основе опроса местных жителей г. Харькова мною установлены следующие данные о политико-моральном состоянии войск противника.

Гражданка Скорнякова Ираида Павловна, научный сотрудник биологического факультета Х.Г.У., проживающая по Ивановской ул., д. № 25, показала следующее:

В последние дни пребывания немцев в Харькове имелось немало случаев, когда отдельные солдаты, желая остаться и сдать в плен, просили приюта у местных жителей. Я знаю несколько случаев этого на нашей улице. Мне также известно со слов живущего у нас в доме 13-ти летнего мальчика Юры, взятого эсэсовцами дивизии «Адольф Гитлер» для хозяйственных работ в одну из рот... и т. д.⁴

Похоже, это был момент знакомства Петра Андреевича с будущей женой. Я позвонила Ираиде Павловне, рассказала о находке, она обрадовалась, принялась вспоминать, каким он был в то время: некрасивый, но так хорошо воспитан, такая редкость в тогдашнем ее харьковском кругу... она быстро поняла, что надо принять его ухаживания. Поговорили о том, как ей получить копию записки. Я не каждый раз бывала у нее в свои приезды в Россию, но старалась звонить в дни рождения и памяти Петра Андреевича, а иногда и в ее день рождения (в последний раз Ляля ответила: «Мама не может говорить, Наташа. Она умирает»). Однажды, будучи у нее, я вытащила со стеллажа новое издание солженицынского «Бодался теленок с дубом», где он раскрыл имена людей, помогавших его работе. Среди них были и библиотечные сотрудники Зайончковского. Ираида Павловна удивилась: «Вы не знали, что его группа тайно искала нужные Солженицыну сведения?» На книге была дарственная надпись автора Ираиде Павловне «в память о неоценимой помощи Петра Андреевича». Я в тот визит сделала снимок их обоих: догадалась посадить ее под его замечательным карандашным портретом 1954 года. Зашла женщина, покупавшая ей продукты, и сфотографировала нас вместе, стоящими позади письменного стола П. А., чтобы видны были все обычные на нем предметы. А последний раз мы навестили ее вместе с М. Чудаковой, которая тоже чувствовала, что откладывать некуда, и бросила все другие дела. Ираида Павловна двигалась трудно, она заранее предупредила нас, что придется самим накрыть на стол и убрать посуду («вымою только сама!»). Говорили о тяготах быта, о недомоганиях, потом застряли на теме взрослых дочерей; ее лицо при этом было полно достоинства.

И еще об одном чуде, на Святой земле, которое завершило наше с Петром Андреевичем общее дело. Из горы папок с архивными выписками для диссертации я, уезжая в Израиль, взяла с собой на память одну, тонкую, с моей карандашной надписью «Евреи» на старой обложке, еще из Рукописного. Вместе с другими вещами и бумагами, казавшимися важными (моя тетрадь с записями по французскому языку, например, – у нас в университете была очень удачная французженка), она была в чемоданчике, который мы выпустили из рук последним. Не тут-то было: остальной положенный по весу багаж уже уехал на конвейере, а чемоданчик не пустили: небольшой перевес, но за него – холодно и злорадно сказано – надо заплатить. Рубли все отдали брату, родные и близкие ушли (было, было ощущение последнего прощания), страшно смотреть на мамино красное лицо и поте-

рянные лица детей, и мы оставляем чемоданчик на полу, подоткнув его, как подкидыша, в уголок, чтобы ему было уютнее, только выхватываем из него что попало и тихонько запихиваем в карманы и сумки: муж в безумии схватил паяльник и оставил записную книжку со всеми телефонами из конченной жизни. Через полгода мы стали потихоньку приходить в себя, и я спросила у него: «Не помнишь, а "Евреев" взяли?», но оба не помнили. Прошло еще время, и папочка сама выплыла, а среди пришедших багажом книг нашелся микрофильм с очень важным когда-то документом из ленинградского Исторического архива. И когда наш друг Самуил Шварцбанд, затеявший в своем иерусалимском Еврейском университете многотомник «Jews and Slavs», стал настаивать, для моей же пользы, чтобы я дала туда что-нибудь, я вспомнила про «Евреев». В свое время мы с Петром Андреевичем отказались от запланированной поначалу в диссертации главы о национальном аспекте школьной правительственной политики периода контрреформ: в начале 1970-х слово «евреи» скрежетало на зубах, да и места не хватало. Я ограничилась двумя страницами, где под сурдинку рассказа об истории пресловутого циркулярного распоряжения министерства народного просвещения о «кухаркиных детях» упомянула о введении в 1887 г. процентных норм для евреев. Так вот, прочла я документы, что были в папке и на микрофильме, и увидела, что мне дан шанс понять мою тему, наконец, до конца. Оказалось, что еврейский вопрос лидировал в истории охранительных усилий правительства, он лежал в основе затеянной в министерстве народного просвещения сословной контрреформы среднего образования, а из всех паллиативных каверз, заменивших ее, процентные нормы оказались самими долгоживущими. Благодарю Случай, и Провидение, и дружбу, которые позволили мне завершить исследование и воздать должное Петру Андреевичу за его роль в моей судьбе: я посвятила статью памяти учителя⁵.

1. Зейфман Н. В. Среднее образование в системе контрреформ 1880-х годов: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1973.

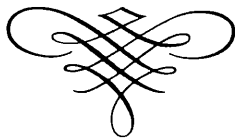
2. Зейфман Н. В. Архив Д. Н. Шипова // Записки отдела рукописей ГБЛ. Вып. 31. М.: Книга, 1969. С. 115–142.

3. Зейфман Н. В. Декабрист Владимир Иванович Штейнгейль // Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т.1. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1985. С. 48.

4. Архив Института истории Российской Академии наук. Фонд 2, Комиссия по изучению Великой Отечественной войны. Разд. 6, «Оккупированные территории», оп. 6, Харьков, д. 66, л. 1–2.

5. Zeifman N. Еврейский аспект охранительной политики Александра III (К истории введения процентных норм в средней школе) // Jews and Slavs / Hebrew University of Jerusalem, 1995. Vol. 4. P. 133–155.





Игорь Ефимов

НЕЗДЕШНИЙ

Памяти Евгения Шифферса

– Прятал свои усилия
он в темноте ночной.
Всё, что он сделал: крылья
птице чёрной одной.
– Ветер мешает мне, ветер.
Уйми его, Боже, уйми.
Что же он делал на свете,
если он был с людьми?

И. Бродский

Первая встреча была не с человеком – со спектаклем. «Антигона», пьеса Жана Ануя.

– Вы уже видели «Антигону»? Нет?.. Говорят, надо бежать смотреть, пока не запретили. Нет, это не в театре... Собрались молодые актёры и поставили... Показывают где придётся... Кто постановщик?.. Какой-то Шифферс... Выпускник театрального института.

И вот спектакль. На сцене бывшего дворца, ныне – Дома писателей. Никаких декораций. Актёры в чёрном. Пьеса про то, как двое братьев затеяли смуту в государстве и сами в ней погибли. А воцарившийся владыка Креон повелел их даже на том свете за бунт наказать. И под страхом смерти запретил совершать над ними священные похоронные обряды. А их сестра, Антигона, не послушалась, прокралась к телам и совершила положенные воскурения, омовения, жертвоприношения. Исполнила священный долг сестры, завещанный ей богами. И теперь её должны казнить.

Вот так.

А мы уже знаем, конечно, что в нашем царстве-государстве миллионы людей были казнены без суда. И почти у каждого есть в семье погибшие: отец, мать, брат отца, сестра матери, отец матери, мать отца. И даже имена погибших опасно произносить вслух. И мы проглотили это и живём себе. И время от времени слышим, как из репродукторов вылетают слова: «Память священна! Помни о тех, кто отдал жизнь за тебя!» Но уже знаем: решать, что положено помнить, а что надо забыть, будет царь Креон. Или как там его нынче зовут? Никита? Леонид?

Нет, всё же не этим брал спектакль. Не злободневными намёками, не тем, что наши цензоры-редакторы называли «неуправляемый подтекст». Что-то было ещё, что-то ещё...

Актёры стоят лицом к залу. Они говорят не друг другу, но даже и не нам. Будто видят кого-то над нашими головами. Кого-то, кого им нужно убедить в своей правоте. А она у них – у каждого своя. У Антигоны (незабываемая роль Ольги Волковой), у стражника (Володя Михайловский), у Креона (Иван Краско). Ведь и всевластному повелителю нелегко – ради спокойствия в государстве – отправлять на смерть невесту собственного сына. И ты пропускаешь тот момент, когда колдовство театра завладевает тобой. Когда ты перестаёшь быть зрителем-оценщиком, которому просто повезло попасть на модное зрелище. Когда тебе возвращена детская способность переполняться настоящим ужасом от того, что происходит на сцене. Когда от движения руки стражника по стволу автомата неодолимый – до боли в груди – страх затекает в сердце.

Потом секция драматургов Союза писателей устроила обсуждение спектакля. Было сказано положенное количество критических банальностей, хвалебных пошлостей. Постановщик Евгений Шифферс смотрел на выступавших так, будто и это обсуждение было либо продолжением спектакля, либо подготовкой следующего и ему предстояло распределить роли между выступавшими. Сам он сказал немного. Запомнилось про природу театра: что в глубине этого действия лежит суд, и вот они взяли «дело Антигоны» и пересмотрели его.

После обсуждения мы разговорились, познакомились, начали встречаться. У меня к тому времени была написана пьеса, «непроходимая» в обычном театре. Он ещё питал надежду, что ему дадут возможность создать независимую труппу, искал контактов с новыми драматургами, художниками, актёрами. Но очень скоро темы наших разговоров ушли от театральных дел. Кафка и Паскаль, Лютер и Шестов, Ницше и Владимир Соловьёв – вот, кем мы зачитывались, кем делились. И как трудно нам доставались эти книги, как случайно – или это только казалось, что случайно? – доплывали они до нас!

Помню, что именно в эти годы у петербургской старушки Ганзен – дочери знаменитых переводчиков с датского – я отыскал-выпросил-получил-перепечатал для самиздата машинописные переводы Кьеркегора, сделанные ещё в 1914 году, но так и не выходившие по-русски. А Шифферс добыл рукописный перевод «Процесса», сделанный с польского! От Яши Виньковецкого приплыл к нам самиздатский перевод книги Поля Тиллиха «Мужество быть». О Шпенглере, Хейдеггере, Ясперсе мы впервые

узнавали из советской идеологической брани и разоблачений и уже потом всеми правдами и неправдами доставали их книги.

Мы оба пытаемся закрепить брожение мыслей в написанных фразах, даём друг другу читать, откликаемся письмами на прочитанное. Он сохранил эту переписку и много лет спустя включил её без редактуры в свой роман «Смертию смерть поправ». Сейчас эта переписка напоминает диалог двух космонавтов, затерявшихся в космосе абстрактного умствования, пытающихся настроиться на волну друг друга. Я в этот момент доплыл до планет, именуемых Кант, Шопенгауэр, Кьеркегор. Он весь погружен в переживание-осмысление буддизма, йоги, Блаженного Августина, Святой Троицы. Мы слышим друг друга с трудом, всё больше и больше слов утрачивают свой простой – словарём утверждённый – смысл, требуют громоздкой расшифровки. Но ведь о главном, о важном, о серьёзном говорить нам больше просто не с кем. И мы стучим, стучим клавишами своих машинок, заполняем умозрительный космос своей философической морзянкой.

Но это всё ночами, в одиночестве, не прилюдно.

А на поверхности продолжается жизнь советских шестидесятых. И на этой сцене место-роль-костюм-маска Евгения Шифферса совсем иные. Он полон взрывной творческой энергии. (Позже, в статьях он начнёт пользоваться выражением «атака энергий».) Он не боится ни театральных авторитетов, ни партийного начальства, он обладает магической силой притяжения, которая затягивает в его орбиту слушателей и зрителей, писателей и музыкантов, рабочих сцены и шофёров, детей и женщин. Невысокий, плотный, с золотым зубом в улыбке, со шрамом на лбу, с огромными, загибающимися вверх ресницами, он как будто несёт вокруг себя непрерывное театральное действо, в котором он и актёр, и автор, и режиссёр, и билетер, и король, взирающий на сцену из ложи.

Шрам – след войны. Да, он был тяжело ранен, перенёс операцию в госпитале, у него до сих пор частые головные боли. Но даже и война ему досталась редкая, необычная: 1956 год, вторжение советских войск в «братскую» Венгрию. Он рассказывает о боевых действиях на улицах Будапешта с весельем и азартом. «Моя самоходка только высунется из-за угла – поливают из автоматов. Мы в другой конец улицы – и оттуда: тата-та-та. А, оказывается, это они на грузовике переезжали взад-вперёд, как на тачанке. Ну, мы дождались этого грузовика – как шарахнули по нему!»

Я – в полном шоке. Рассказывает, как участвовал в карательной экспедиции против восставшего народа, и ничуть не стыдится! Мне довелось летом 1956 года – студенческая практика – работать в термическом цеху Кировского завода, закаливать танковые траки, так я и то чувствую себя виноватым перед венграми, когда представляю, как эти траки давили их баррикады. А он...

Потом понимаю: из той части умозрительного космоса, куда его занесло, человеческие страдания, кровь, насилие выглядят мелко-далёкими, случайно-неважными. Для него это лишь детали вечного Процесса, вечного самоотрицания материи, вечного стремления «к сияющей точке Омеги». Для нас – его

друзей и современников – гражданская война в России, победа большевиков – великое несчастье, историческая катастрофа. Для него – лишь очередной кипучий всплёск вечного противоборства. Он абсолютно искренен в этом, он способен заразить своим видением революции зрителей, читателей, даже редакторов, даже идеологических церберов. Думаю, именно этой искренностью он так завлёл-заразил кинорежиссёра Александра Иванова («идейно проверенного» постановщика «Поднятой целины»), что тот взял его своим помощником на съёмки фильма о революционной эпохе – «Первороссияне».

Помню этот фильм урывками. В нём не было ни сюжета, ни человеческих характеров, ни исторического правдоподобия, ни узнаваемых интерьеров, пейзажей, картин. «Здесь» и «сейчас» были выброшены, выжжены, забыты. Вся зрительная ткань была пропущена через призму «везде», «всегда».

Человек в чёрном стоял в голой комнате, подсвеченной голубоватыми софитами. Он держал руку в кармане застёгнутого – сюртука? френча? мундира? Наверное, он был злодей (актёр Юлий Панич). Потом появлялась женщина, сидящая на полу (Лариса Данилина). Она играла с годовалым ребёнком, улыбалась ему. Потом разжимала руки, отпускала. Жест предельного доверия, рождённого любовью. И ребёнок ковылял по полу, пуская слюни и вздымая ручонки. В какой-то момент мы понимаем, что он ковыляет к чёрному злодею. Тот ждал его, не вынимая руки из кармана.

...Вооружённые всадники пересекают бурлящую речку. Куда, зачем? Нам не говорят. Это угроза, беда – в чистом виде. Мы узнаём чёрного злодея – он во главе отряда, с винтовкой за плечом. Они выезжают на бескрайний травяной склон, выкрашенный красным цветом до самой вершины холма. Исчезают.

...Снова водная гладь. И вдруг из-под неё прыжком вылетает купальщица. Мы узнаём ту самую женщину с ребёнком. Она в белой рубашке, сквозь мокрую ткань темнеют соски. Что она делает тут в реке? Откуда пришла, где ребёнок? Неважно, неважно... Это просто взрыв ликования, подводный запуск ракеты счастья – знак, символ...

Конечно, советская кинематография не могла пропустить на экраны такой сгусток мейерхольдо-брехтовского сюрреализма. Фильм вышел изрезанным до неузнаваемости. Ещё раньше фильма был обруган и запрещён спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный Шифферсом в Театре Ленинского комсомола. Тучи вокруг него сгустились. Начинался очередной зажим идеологических гаек. В конце 1965 года были арестованы Синявский и Даниэль, участились обыски и допросы. Шифферсу пришлось уехать в Москву, а оттуда – в Тарусу.

Наша переписка и обмен рукописями продолжались. Но слышать друг друга нам было всё труднее. Его главное духовное увлечение – история сражений человеческой души с собственной телесной оболочкой. Христианские подвижники и буддийские мудрецы, отшельники и йоги, Франциск Ассизский и Нил Сорский, Блаженный Иероним и Григорий Палама. Но тут же и маркиз де Сад, и Савонарола, и Григорий Распутин. Великие мореплаватели в Море духа – да, но и великие пираты. Меня же больше интересуют – заволаживают – сражения людей друг с другом. Войны, революции, бунты,

набеги, погромы – откуда? почему? Но также и счастье, и горе, и тоска – что они такое? Отчего душа у нас болит, отчего – ликует? Платон и Толстой, Достоевский и Камю, Плутарх и Ключевский, Гёте и Пушкин – ответьте!

О Шифферсе из Москвы доходят слухи. Что были попытки поставить что-то в «Современнике» совместно с Ефремовым, на «Таганке» – с Любимовым. Сорвалось. Что с театром покончено. Что он крестился. Что принял сан священника, что проповедует на дому узкому кругу новообразованных. Что тяжело болел, чуть не умер.

Когда мы снова встретились через несколько лет, можно было подумать, что он опять вернулся с войны. С такой, где главным врагом был голод. Посреди исхудавшего иконописного лица светились глаза – два оазиса в зарослях ресниц. Рассказывал о том, что такое «мистика поста», что такое «умная молитва», «умное делание»... Сам себя укротивший, сам себя научивший, до космического духовного полюса доплывший, Божьей милостью живым вернувшийся. Умудрённый картограф духовного космоплавания, умеющий при этом и в земных плаваниях отыскать проходы в опасных проливах. Взял у меня рукопись только что законченной мною «Практической метафизики», обещал переправить на Запад. Да, есть каналы, да, религиозные книжки текут ручейком, да, появляются посланцы. Фотоплёнку не побоятся увезти.

В начале 1970-х он появился по каким-то делам в Ленинграде. Позволил. «Приезжай. Есть новости про московитские книжки...»

Новости были: экземпляр выходящего во Франкфурте журнала «Грани» (№ 82–83, 1973), с большим – главным – куском из «Практической метафизики» некоего Андрея Московита (мой самиздатовский псевдоним). Со вступительной статьёй Романа Редлиха, называвшейся «Философами рождаются». Конечно, я был польщён, окрылён. Ему было приятно так порадовать меня, приятно, что он сумел помочь. Но мои плавания были ему любопытны – не более. Он вскоре вернулся на свой корабль, свою ракету. Поднял паруса, уплыл.

В вышедшем недавно сборнике «О возможности философии» (Олег Генисаретский, Давид Зильберман, Александр Пятигорский, Евгений Шифферс. Редактор-составитель Владимир Рокитянский. Издательство «Путь», Москва, 2001) Шифферс так описывает некоторые эпизоды своего «плавания»:

«...У меня начались вещие сны и видения... Мне в снах были показаны белоснежные свитки, написанные синим огнём; я видел Св. Марию с Христом младенцем... Однажды я оказался в белых облаках; там сидел *Белый Будда*; я пошёл к нему и сказал (у меня на груди иконка!): «Это Мать Божия», а он, Будда, поклонился иконе (мне?) и положил мне руки на темя...» (стр. 229–230).

Сейчас, оглядывая плаванья-блуждания духовного космоплователя Шифферса, можно увидеть, что направление они имели страстно экуменическое. Он пытался отыскать в за-умных, до-понятийных сферах внутреннюю связь всех мировых религий. «Народы-языки, – пишет он, – осуществляют своё культурное строительство в со-отнесении с *культовой* практикой, священными текстами, методом аскезы... Как проповедовать? Как *тактично* свершать «перемену ума», «за-умие» (метаное) в обращении к народам, освящённым

традицией?.. На уровне «символо-творческой рефлексии», на уровне языка подобная проповедь вряд ли возможна, но она возможна на *уровне молчания*, на уровне созерцательного опыта *святого, мудреца, аскета, йога*, на том уровне, который претворяется в *знак, в символ, в язык ритуала*» (стр. 231).

И всё же он снова и снова покидает язык *молчания*, пытается говорить словами. Многие темы его поздних писаний – теперь вспоминаю – ветвились уже и в наших разговорах.

– Ну, объясни, покажи, назови: какая именно часть православной обрядности мешает тебе войти, слиться, присоединиться к церкви, к телу Христову? – просил он с любопытством.

Неохотно (зачем об очевидном?) я сдавался его дружелюбию, говорил словами то, о чём следует именно *тактично молчать*. Сознавался, что не могу, например, верить-принимать евангельские рассказы о чудесах. Сам Христос нигде не обещает чудес, говорит только о вере в Пославшего. Дьявол предлагает Ему в пустыне доказать Свою божественность чудесами – Он отказывается сделать это. Отец Небесный дал Сыну Своему – среди прочих даров – невероятный поэтический дар. Каждое слово Его долетает до меня через две тысячи лет, одолевает ухабы переводов с языка на язык, звучит, сверкает, светит. Только великий поэт мог так ясно и любовно описать Свою связь с Творцом, с Пославшим. Не нужны мне другие свидетельства Его избранности.

Или непорочное зачатие. Эту легенду мы находим только в рассказе Луки – эллина по происхождению, никогда не видевшего Христа своими глазами, не слышавшего Его. Он тоже был поэтом, но поэтом, взращённым на эллинской традиции, со всеми её превращениями бога в быка, в лебедя, в золотой дождь. Сам же Христос нигде ни словом не упоминает о чудесности своего земного рождения, не выражает никакой сердечной привязанности к своим родителям. Много раз говорит Он слушающим Его, что и они – дети Божьи, что только от них зависит «быть сыном в доме Отца своего или рабом». Весь культ Богородицы, Благовещения – тягостная для меня дань язычеству, идолопоклонству. Недаром Пушкин сделал его объектом своего поэтического сарказма.

Шифферс искренне недоумевал:

– Пойми – он же Бог! Он может пройти куда захочет, явить себя, где Ему вздумается. Почему он не мог явить себя в чреве избранницы Своей?

– Потому что обычное, повседневное, «порочное» зачатие уже воспринимается мною как непостижимое чудо Господне. Я ещё не смею назвать себя христианином, но без всякого насилия над разумом верю, что Бог может входить в душу каждого человека напрямую, даже если этот человек был рождён от замужней женщины обычным, – то есть, Самим Господом и созданным – порядком. Не лучше ли оставить все эти окольные пути Зевсу-Юпитеру и его лебедино-бычьим воплощениям?

Он вздыхал, жалел меня, прощал.

И снова погружался в мир своих видений, озарений, картин, *прикровенный* (это уже из словаря Олега Генисаретского). Там столько было нового, неизвестного людям, ждавшего своего Адама, чтобы быть названным. И

эти новые слова-имена всегда клубились, клубятся в посланиях-писаниях космоплателей духа, вылетают требовательно в нас – скептиков, неучей, недоумков. *Синергия, синонимия, «третий глаз», ничтожность, этимация, со-умершие, ипостасность, дхьяни-будда, апофатика Шуньяты...*

Может быть, недаром в фамилии Шифферс так настойчиво звучит слово «шифр». И, может быть, эта созвучность намекает нам, приоткрывает то, чем он и ему подобные занимаются в жизни: расшифровывают таинственные письмена Бытия.

Мы честно силится понять, силится услышать. И нам не дано узнать в этой жизни, кто был виновен в непонимании: они ли не нашли верных слов; мы ли остались теми вечными «афинянами», которые вежливо говорят пророку: «Об этом послушаем тебя в другое время» (Деяния 17:32). Речи их темны – но не потому ли, что сам объект их исследования есть первоизданная «тьма над бездною»? И не потому ли так темны бывают строки высокой поэзии, пытающейся прорваться в те же сферы? Стихотворение Бродского «Диалог», строчки из которого взяты эпиграфом для этой поминальной статьи, могло бы, мне кажется, послужить и лучшей эпитафией, завершающей – воссоздающей – земной путь Евгения Шифферса:

– Листьев задумчивый лепет,
а он лежит не дыша.
Видишь облако в небе,
Это его душа.
– Теперь я тебя понимаю:
ушёл, улетел он в ночь.
Теперь он лежит, обнимая
корни дубовых рощ.

– Крышу я делаю, крышу
из густой дубовой листвы.
Лежит он озера тише,
ниже всякой травы.
Его я венчаю мглою.
Корона ему под стать.
– Как ему там под землёю?
– Так, что уже не встать.
Там он лежит с короной,
там я его забыл.
– Неужто он был вороной?

– Птицей, птицей он был.





Евгений Мороз

ОККУЛЬТИСТ ИЗ ОГПУ И ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ

Эпизод истории 20-х годов

Выдающийся еврейский историк Симон Дубнов, описывая в своих мемуарах советскую Россию 20-х годов, с печалью вспоминал об одном старом знакомом, некогда поразившем его страстной любовью к хасидским песням. На глазах Дубнова этот экзальтированный романтик превратился в советского чиновника, прошел *«путь от хасидского опiums веры до "трезвого" безбожия по заказу начальства»*¹. Очень многие российские евреи прошли в те годы подобный путь.

Поздним вечером 14 июня 1927 года следователи ленинградского ОГПУ Нахамсон и Лулов – выходцы из семей любавичских хасидов – в сопровождении шести солдат и председателя домкома пришли на квартиру духовного лидера хасидизма – шестого Любавичского ребе Иосифа-Ицхака Шнеерсона. После обыска они арестовали хозяина. Из квартиры, расположенной на Моховой улице, ребе отвезли в тюрьму на Шпалерной. На следующий день там же оказался и секретарь Шнеерсона – Хаим Либерман.

В своих воспоминаниях Шнеерсон пишет, что следователи с самого начала прибегли к тактике запугивания². «Преподавание малолетним и несовершеннолетним религиозных вероучений» являлось в то время уголовно наказуемым деянием, которое – согласно 122-й статье Уголовного кодекса – грозило исправительно-трудовыми работами на срок до одного года. Но следствие этим не ограничилось. Задержанным было предъявлено обвинение в «контрреволюционном саботаже», что, согласно 14-му пункту печально знаменитой 58-й статьи, было чревато многолетним сроком лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах – расстрелом³. Намерения властей были самыми серьезными. Шнеерсон утверждает в своих мемуарах, что решение о расстреле уже было принято, и лишь энергичная кампания протес-

та в России и за рубежом изменила ситуацию. Сначала расстрел решили заменить десятилетним заключением на Соловках, но, в конце концов, 27 июня Постоянная (судебная) комиссия приговорила Шнеерсона и Либермана к трехлетней ссылке. Шнеерсон был отправлен в Кострому.

Однако приверженцы Любавичского ребе на этом не остановились. В 20-е годы в России еще сохранялись некоторые возможности облегчить судьбу репрессированных. Хотя «Общество помощи политическим ссыльным и заключенным» – своего рода «Политический Красный Крест», – которым руководила бывшая жена Максима Горького Екатерина Павловна Пешкова, официально было распущено в 1917 году, в действительности, его деятельность продолжалась вплоть до середины 30-х. Как говорил об этом один из сотрудников Пешковой – Михаил Винавер: *«Во времена Дзержинского мы могли помочь тысячам, при Менжинском – сотням. Потом пришел Ягода...»*⁴. Добавим, что при Ежове, который сменил Ягodu, в числе репрессированных оказался и сам Винавер. Однако описываемая нами ситуация имела место в то время, когда ОГПУ возглавлял В. Р. Менжинский. Пешкова использовала свои знакомства с членами советского правительства, несколько раз была на приеме у Менжинского, обращалась и к начальнику Ленинградского ОГПУ Станиславу Мессингу⁵, но тот отказал в поддержке, издевательски заявив, что не желает провоцировать антисемитские настроения широких масс, столь откровенно выделив представителя иудейской религии из общего числа репрессированных священнослужителей. Тем не менее уже 11 июля – меньше чем через месяц после ареста – дело Любавичского ребе было пересмотрено Коллегией ОГПУ, и Шнеерсон вернулся в Ленинград. Опасаясь мести ленинградских чекистов, он переехал в Малаховку (под Москвой). Однако ребе по-прежнему был в опасности, о чем, в частности, можно было судить по агрессивным газетным публикациям, инициированным Еврейской секцией – особой структурой, созданной в феврале 1918 года при ЦК РКП(б) для ликвидации еврейских политических и общественных объединений, неподконтрольных коммунистам. После обращения депутатов латвийского парламента, от которых зависело заключение торгового договора с СССР, Шнеерсон получил разрешение на выезд в Латвию. Советская пресса сообщила, что Любавичский ребе выслан за организацию еврейской контрреволюции и что советская власть *«размотала по ветру осиное гнездо [хасидизма] в Ленинграде»*⁶.

Во второй половине 20-х годов советская власть начала подлинную войну против религии, и арест Шнеерсона совпал по времени с заключением митрополита Сергия. После убийства в Варшаве советского полпреда Войкова (7 апр. 1927 г.) последовал всплеск репрессий. Любавичский ребе приводит в мемуарах слова служащей тюремной канцелярии: *«Двенадцать человек привезли этой ночью... служителей культа. И русских, и немцев, и поляков, одного муллу и одного еврея – это вас. А троих – одного русского, грузина и поляка – провели с охраной через темный коридор... прямо в третий отдел и оттуда – в подвал. Расстреляли без расследования»*⁷.

Из Риги Шнеерсон уехал в Варшаву, а в 1940 году, уже после оккупации немцами Польши, сумел перебраться в США. Мало кому из людей, попавших в руки ОГПУ, довелось умереть в своей постели – тем более за пределами России.

Описывая арест Шнеерсона, Михаил Бейзер указывает на один любопытный факт. Хотя секретаря ребе Либермана арестовали только на следующий день после Шнеерсона, а потому он успел перепрятать или уничтожить все компрометирующие документы, по непонятным причинам он все же оставил дома «письма "философа-мистика" Барченко, нееврея, выпытавшего у раввина Шнеерсона тайны Маген-Давида»⁸. Письма оказались в распоряжении следствия. Бейзер сообщает о письмах Барченко, ссылаясь на ксерокопию дела Либермана («Дело 898 по обвинению гр. Либермана Хаима Рувимовича»), которая была предоставлена в его распоряжение проживающим в Иерусалиме Зезвом Вагнером.

В списке предъявленных обвинений было одно – совершенно анекдотическое, – пишет в своих мемуарах Шнеерсон. – Выложив на стол пачку писем, Дегтярев (начальник следственного отдела Ленинградского ОГПУ. – Е. М.) сказал:

– Вот письма, которые раскрыли нам твой истинный облик. Они полны мистики, они необычны и весьма подозрительны... Какие у тебя контрреволюционные связи с профессором Барченко?

Ребе рассмеялся.

...По поводу обмена «мистическими» и подозрительными письмами с профессором Барченко, – вспоминает позднее ребе, – я рассказал им следующее:

– Профессор Барченко давно изучает каббалу. По его словам, он мечтает проникнуть в таинство Маген-Давида, потому что верит в его сверхъестественную силу. Профессор убежден, что разгадавший эту тайну способен выстроить и разрушить бесконечное количество миров... Он пришел ко мне впервые три года назад, рассчитывая на мою эрудицию в области каббалы, и просил открыть ему «тайну Маген-Давида». Я терпеливо объяснил профессору Барченко, что он в плену иллюзий. Хасидизму ничего неизвестно о каких-либо тайнах и магической силе Маген-Давида.

В тот вечер, как мне показалось, профессор Барченко прислушался к моим объяснениям. Однако в дальнейшем он снова вернулся к этой навязчивой идее и продолжал засыпать меня письмами с прежней нелепой просьбой, на которые я вынужденно, из обычной человеческой вежливости, время от времени отвечал... Вот и вся «мистика» моей переписки с профессором Барченко⁹.

Сведения о знакомстве Шнеерсона и Барченко содержатся также в письме, написанном в 1928 году одним из ближайших приверженцев Лю-

бавичского ребе, который сопровождал своего духовного наставника при выезде из России, – Элияху Алтгаузом¹⁰. Элияху Хаим Алтгауз отличался от тех выходцев из еврейских местечек, которые «перековались» в годы советской власти. Он словно оставался в пространстве хасидской легенды – достаточно сказать, что квартиру Шнеерсона на Моховой улице Алтгауз называет в своем письме *«дворцом ребе»*. Эта причудливая образность сочетается с весьма обстоятельным изложением событий, которое позволяет дополнить рассказ Шнеерсона любопытными подробностями.

Прежде всего, письмо указывает на точную дату встречи. Барченко приехал из Москвы в день праздника Симхат-Тора, т. е. 11 октября 1925 года, а встреча с ребе состоялась 12 октября. Со слов Шнеерсона Алтгауз пересказывает в своем письме содержание состоявшегося тогда разговора. По словам Алтгауза, Барченко заявил, что занимается *«скрытой мудростью, основанной на толковании чисел, чтобы открывать скрытое и узнавать будущее»* и, хотя считает себя человеком, достигшим высокого уровня посвящения, просит ребе о помощи, так как тот является величайшим мудрецом-каббалистом (в тексте – *«величайший мудрец Израиля, мудрый мудростью каббалы, от которого ни один секрет не скрыт»*). Шнеерсон был готов усомниться в здравомыслии своего собеседника, однако тот предвидел такую возможность и предъявил некий документ *«от великих профессоров Москвы»*, которые удостоверяли его нормальность. Кроме того, Барченко предъявил также удостоверения из *«Политодола»* и *«Совнархоза»*, которые должны были доказать его лояльность советской власти.

Как свидетельствует Алтгауз, Шнеерсон скептически отозвался об учености Барченко. Тем не менее ребе, не желая обижать гостя, пообещал, что Менахем-Мендл (будущий зять и преемник Иосифа-Ицхака Шнеерсона, которому было суждено стать в 1950 году седьмым Любавичским ребе) найдет необходимые сведения в книгах каббалистов и переведет их на русский язык. Ребе объяснил свое решение тем, что Менахем-Мендл хорошо владеет каббалистической лексикой и обладает навыками перевода. Вернувшись в Москву, Барченко прислал *«несколько сот золотых рублей»*, дабы оплатить дорогу Менахема-Мендла, который должен был приехать из Екатеринослава в Ленинград, однако ребе немедленно вернул ему деньги. Барченко был смущен таким поворотом событий и, как сообщает Алтгауз, написал длинное письмо, чтобы доказать ребе *«свою праведность, чистосердечность и прямоту»*. Зимой 1926 года он снова посетил квартиру на Моховой, где познакомился с Менахемом-Мендлом. В течение следующего года они обменивались письмами, и Менахем-Мендл даже побывал у Барченко в гостях.

Рассказ Алтгауза подтверждает и мать Менахема-Мендла – Хана Шнеерсон. Она вспоминала, что ребе поручил ее сыну составить для Барченко трактат о символике Маген-Давида в свете талмудического учения и каббалы. К сожалению, работа эта не сохранилась. Остается удовлетвориться лишь свидетельством Ханы Шнеерсон, по словам которой, «письменный стол ее сына был завален рукописями с математическими выклад-

ками, а готовый труд из-за множества расчетов и формул походил на математический трактат»¹¹.

Похоже, что в мемуарах И.-И. Шнеерсона изложены не столько реальные факты контактов ребе с Барченко, сколько содержание ответа, данного Шнеерсоном следователям. Ребе хотел убедить их в том, что его знакомство с Барченко – не более чем случайный курьез, поэтому о трактате, написанном Менахемом-Мендлом, он предпочел умолчать. Создается впечатление, что прием, оказанный Шнеерсоном случайному гостю, трудно объяснить «обычной человеческой вежливостью». Тут явно было что-то большее. Добавим к прочим загадочным обстоятельствам этой истории и то, что письма Барченко оказались в руках ОГПУ. Было ли это случайностью?

Чтобы разобраться во всех этих странностях, необходимо присмотреться к личности таинственного гостя Любавичского ребе.

Следует отметить, что тема увлечения оккультизмом в 20-е годы в СССР мало разработана. В самой этой тематике есть налет скандальности, ненаучности. Многие авторы пытаются эксплуатировать подобные сюжеты в своих интересах, трактуют их в беллетристическом стиле, домысливают «интересные» подробности. Нечто подобное происходит и с темой нацистского оккультизма, который по ряду признаков близок к советскому феномену. Но есть и серьезные публикации, основанные на тщательном изучении архивных материалов, связанных с данным сюжетом¹². К числу такого рода документов относятся сохранившиеся в семейном архиве дневники и записи последователя Барченко – Александра Александровича Кондияйна, некоторые документы в Государственном архиве РФ в Москве, в том числе текст лекции Барченко о символике Таро, протокол допроса высокопоставленного покровителя Барченко – Г. И. Бокия (архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) и др. Эти документы позволяют понять подоплеку истории, описанной в мемуарах Шнеерсона.

Говоря об Александре Васильевиче Барченко, следователь и Любавичский ребе могли называть его профессором лишь в силу неосведомленности – образование этого человека сводилось к годичному курсу петроградской Педагогической академии, каковой он завершил в 1920 году. В юности Барченко пытался учиться на медицинском факультете сперва в Казанском, а потом в Юрьевском (Дерптском) университетах, но из-за недостатка средств был вынужден прервать обучение. Какое-то время он служил чиновником в министерстве финансов, много путешествовал, писал романы на оккультные темы. В годы Первой мировой войны Барченко посвятил себя изучению особых форм энергии и телепатии. Вскоре после революции 1917 года он читал лекции о сакральном смысле древних мифов, о бывших цивилизациях – носителях особых знаний. Поиски духовного абсолюта и высшей силы подвигли Барченко к признанию новой власти, которая тоже нацелена была на прорыв в некое неведомое. Барченко выступал на кораблях Балтийского флота, поражая революционных матросов описаниями «золотого века», который он отождествлял с первобытным

коммунизмом. И вот, когда в 1920 году Барченко планировал экспедицию на Тибет для поисков легендарной Шамбалы, двое моряков захотели его сопровождать и обратились с соответствующей просьбой в Наркомат иностранных дел. Ситуация напоминает сюжет «Аэлиты» Алексея Толстого, где матрос сопровождает исследователя в экспедиции на Марс.

Впечатлительность и мобильность революционных матросов – вопрос особый. Интереснее другое: после 1917 года многие российские оккультисты подпали под обаяние коммунистической идеологии, которую они были склонны интерпретировать в свете собственных представлений. Практически одновременно с Барченко читал на кораблях Балтфлота лекции о коммунизме писатель-мистик Иероним Ясинский. В рядах Красной армии оказался и «последний русский розенкрейцер» – ученый и поэт Борис Зубакин, друг Михаила Бахтина, в 1920 году посвящавший в оккультную премудрость будущего великого кинорежиссера, а в то время молодого красноармейца – Сергея Эйзенштейна¹³. К мистикам коммунистической ориентации следует причислить и Николая Константиновича Рериха, уверовавшего в середине 20-х в то, что он – воплощение Будды-Мантреи и что ему суждено приблизить чудесное царствие Шамбалы, основав буддийско-коммунистическое государство на просторах Тибета. По некоторым сведениям, уже в начале 20-х годов Рерих стал объектом агентурной разработки советских разведывательных органов, использовавших его как агента влияния в США. Кроме того, они планировали совершить с его помощью коммунистический переворот в Тибете¹⁴. Летом 1926 года Рерих вел в Москве переговоры с главой Народного комиссариата иностранных дел Г. В. Чичериным, с которым некогда вместе учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Тогда же Рерих высыпал к подножью ленинского Мавзолея коробок земли, привезенной с Тибета, и вручил советскому правительству так называемое «Письмо махатм», в котором эти легендарные правители буддийского мира приветствовали коммунистических вождей и призывали их к теснейшему сотрудничеству. В следующем году Рерих организовал экспедицию в Лхасу. Путешественники захватили с собой граммофон, чтобы в пути вдохновляться вагнеровскими мелодиями из «Полета Валькирий» и «Парсифаля». Однако Вагнер не помог. В результате вмешательства англичан, которые предупредили далай-ламу, экспедиция Рериха не была допущена в столицу Тибета.

За шесть лет до этой авантюры мечта о создании на Дальнем Востоке великого теократического государства вдохновляла и непримиримого врага коммунистов барона Унгерна, который сумел захватить внутреннюю Монголию, вытеснив оттуда китайские войска¹⁵. Овладев монгольской столицей Ургой, Унгерн первым делом уничтожил всех оказавшихся там евреев – беженцев из России. Число таковых было сравнительно невелико, однако Унгерн оказался единственным из лидеров белого движения, который не просто попустительствовал погромам, а сам организовал резню. Добившись союза с буддийским духовенством, Унгерн вступил в перегово-

воры – посредством переписки – с далай-ламой. Когда армия Унгерна была разгромлена войсками Красной армии, он попытался осуществить поход на Лхасу, однако, оказавшись перед такой самоубийственной перспективой, его воинство взбунтовалось и изгнало предводителя. В результате Унгерн попал в руки красноармейцев и 15 сентября 1921 года был расстрелян в Новониколаевске. Стоит добавить, что начальником обоза Унгерна был старший брат Николая Рериха – Владимир¹⁶.

Рерих и Унгерн – каждый по-своему – воплощали наиболее значительные достижения красного и белого мистицизма, легенды вокруг этих имен сложились уже в 20-е годы. Еще при жизни Унгерна некоторые ламы на востоке Монголии объявили его воплощением воинственного духа-хранителя буддизма – Махакалы, точно также нашли тибетцы, выразившие готовность признать претензии Рериха. Что касается России, то в 70–80-х годах минувшего века в стране утвердился подлинный культ Рериха, своего рода «рерихомания», характеризовавший переход значительной части российского общества от догматического марксистского материализма к откровенно мистическим настроениям. В наши дни, когда даже в Государственной думе всерьез рассуждают о том, что расширение НАТО на восток спровоцировало природные катаклизмы, так как потревожило дух Сталина в Потсдаме¹⁷, а российские министерства обороны, чрезвычайных ситуаций и внутренних дел пользуются услугами астрологов¹⁸, данная тематика приобрела особую актуальность.

Хотя Барченко не обладал такой широкой известностью, как Рерих и Унгерн, некоторые обстоятельства биографии собеседника Любавичского ребе представляются необычайно любопытными. Более десяти лет Барченко был сотрудником спецотдела ОГПУ, в функции которого входили такие деликатные задачи, как слежка за высокопоставленными чиновниками Кремля и соваппарата, разработка шифров для внутреннего употребления, расшифровка вражеских кодов и пр. Барченко не ограничился просвещением революционных матросов – он сумел обзавестись поклонниками и в среде советской правящей элиты. Не случайно даже генерал ФСБ Георгий Rogozin, который возглавлял до 1996 года аналитический отдел Службы безопасности Президента России и был своего рода придворным астрологом, упоминал в своих выступлениях о Барченко. На высказывания этого «российского Мерлина» ссылается в своей книге Олег Шишкин¹⁹.

В 90-х годах появилась серия публикаций, посвященных Барченко, и, хотя многие детали по-прежнему не ясны, общая картина вырисовывается достаточно четко. Известно об увлечении Барченко идеями французского мистика конца XIX – начала XX столетия Сент-Ив д'Альвейдра, о его связях с петербургскими теософами, последователями Блаватской, о влиянии на него книг Элифаса Леви, о знакомстве с оставшимися в России учениками Гурджиева. Особую роль в формировании воззрений Барченко сыграли контакты с тибетскими ламами, которые посещали Санкт-Петербург–Петроград–Ленинград, а точнее – буддийский храм, открытый в 1915 году в

пригороде Старая деревня. Барченко, который осенью 1923 года поселился в монашеском общежитии храма, был хорошо знаком с его обитателями, включая и посланника далай-ламы – Агвана Дорджиева, удостоенного в свое время приема у Николая II. Сам Барченко особо выделял среди своих буддийских наставников ламу Нага Навен и Хаян Хирва. Нага Навен представлял в России интересы панчен-ламы, второго по значимости лица в ламаистской иерархии, являвшегося – по ламаистской традиции – особым хранителем учения о Шамбале. Следует отметить, что в это время панчен-лама был не в ладах с далай-ламой и искал покровителей за пределами Тибета, обратив особое внимание на советскую Россию и некоторые круги в революционном Китае. Другой наставник Барченко Хаян Хирва был не менее яркой личностью. Он был членом ЦК Монгольской народной трудовой партии, занимая при этом пост начальника Государственной охраны.

Революционные буддисты посвятили Барченко в учение Калачакры, которое российский мистик переосмыслил в соответствии с воспринятыми им ранее оккультными идеями. Барченко был убежден в том, что самые разные его учителя воспроизводят идеи единого древнего знания, которое являлось достоянием давно исчезнувших великих цивилизаций. Помимо буддистов, на Барченко оказали влияние также представители секты странников-голбешников (от «голба» – подполье), родственной секте бегунов, которые исповедовали идею поисков земного рая – Беловодья, отчасти аналогичного буддийской Шамбале. В письме бурятскому ученому Голбожаву Цыбикову, известному своей книгой о паломничестве в Тибет («Буддист-паломник у святынь Лхасы»), Барченко сообщал, что один из голбешников – костромской крестьянин Михаил Круглов – сам разыскал его в Москве и посвятил в свое учение²⁰. Голбешники, которые бывали в Тибете и Монголии, использовали систему символов-идеограмм, заимствованных из буддийских тантрических учений. Барченко воспринял это как подтверждение идеи об универсальных истоках «древней науки». Позже Барченко познакомился с духовным учителем голбешников – жившим в Костроме старцем Никитиным, о котором упоминает и Рерих²¹, по-видимому, узнавший о Никитине от Барченко. Чтобы установить более основательные контакты с буддистами, Барченко планировал поездку в Тибет. С их помощью он надеялся найти Шамбалу – чудесную страну, где драгоценная мудрость древних учителей сохраняется в наиболее чистом виде. Однако по ряду причин эта экспедиция не состоялась, и Барченко ограничился исследованиями на Кольском полуострове. Он утверждал, что обнаружил здесь следы древней северной цивилизации, чьи традиции были унаследованы саамскими шаманами²².

В рамках настоящей работы нет места для подробного изложения воззрений Барченко. В общем, можно сказать, что его интересовали универсальные законы Вселенной, подобные так называемому «золотому сечению», он пытался постичь закономерности, определяющие ритм всех энергетических процессов. Это напоминает отчасти проект Сент-Ив д'Альвейдра, связанный с изобретением так называемого «Археометра»,

но созвучно и направлению поисков выдающегося ученого-физика А. Л. Чижевского, чьи идеи о влиянии ритмов солнечной активности на природу и историю человечества перекликаются с рассуждениями Барченко. Стоит отметить, что предсказания Барченко природных катаклизмов порой оказывались верными. Так, в мае 1927 года, находясь в Бахчисарае, Барченко предсказал землетрясение в Крыму, которое и в самом деле произошло несколько месяцев спустя. Добавим также, что в ходе северной экспедиции Барченко продемонстрировал некоторые целительские способности. Кондияйн свидетельствует, что он излечил тогда безнадежно больного туберкулезом, от которого отказались врачи.

Изыскания Барченко могут послужить одним из примеров того, насколько тонка и условна иногда грань между безумием и гениальными прозрениями. Впрочем, гениальность все-таки остается под вопросом, одержимость же Барченко безумными фантазиями – факт несомненный. Для понимания рассматриваемого феномена следует вспомнить о специфической атмосфере 20-х годов, когда вместе с гибелью прежней, казавшейся непоколебимой реальности начала XX века возникло ощущение достижимости любых целей. Не удивительно, что в такой атмосфере рождалось множество самых фантастических проектов – как в сфере науки, так и в сфере политики. Чего только стоят опыты по скрещиванию обезьяны и человека, которые осуществлялись тогда в Советском Союзе²³. Добавим к этому первую сексуальную революцию, чарльстон, эпидемию разводов и стремительное укорачивание юбок. В 30-х годах многие линии продолжают, но общий процесс, особенно с середины 30-х, теряет свое многообразие и буйную свободу. Если 20-е годы это веймарская демократия, итальянский фашизм и близкий к нему по своей экспрессивной, формалистической стилистике тогдашний советский режим, то 30-е – это немецкий национал-социализм и зрелый сталинизм.

Возвращаясь к личности Барченко, отмечу, что многое объясняется его несомненной талантливостью и личным обаянием, что позволяло ему производить впечатление не только на революционных матросов. В частности, он заинтересовал выдающегося ученого В. М. Бехтерева. В 1923 году тот пригласил Барченко принять участие в деятельности Комиссии мысленного внушения, созданной за год до этого при Институте мозга. Однако перспектива участия в научных экспериментах Барченко не соблазнила, и он выбрал иной путь. Он поставил целью *«скорейшее ознакомление крупнейших идейных руководителей Советской власти с истинным положением вещей, с истинной ценностью тех древнейших бытовых особенностей Востока, к разрушению которых Советская власть подходит так примитивно и грубо не из злостных побуждений, но по неведению, действуя с глазами, завязанными ей авторитетом западно-европейской академической науки»*. Барченко был уверен в том, что *«самым сильным, самым авторитетным и убедительным орудием в этом может послужить подтверждение, что Восток до сих пор владеет в неприкосновенности не только случайно уцелевшими практическими формулами тантрической науки»*²⁴.

Ни малейших сомнений в том, что центры древних знаний, в первую очередь – Шамбала, действительно существуют, у Барченко не было. Его беспокоило лишь то, что этими бесценными сокровищами могут завладеть враги советской власти. Учитывая, что подобные планы и в самом деле возникали у немецких национал-социалистов, которые даже установили связь с некоторыми тибетскими монастырями, можно лишь удивляться верности его опасений. Проект Барченко, который желал осчастливить своими оккультными познаниями советское руководство, в ряде отношений очень напоминает активность нацистов в этой же сфере. К примеру – деятельность мистиков из мюнхенского общества Туле, которые вскоре после окончания Первой мировой войны взяли под свое покровительство молодого Гитлера²⁵.

Впрочем, в 1920-х годах подобные просветительские порывы возникали и в рамках российской традиции – у оказавшихся в эмиграции идеологов евразийского возрождения России. Пережив травму изгнания, они начали в положительном свете воспринимать победу большевиков в России и тешили себя надеждой найти с ними общий язык, что позволило бы им облагородить социальную политику коммунистов, привив к ней высокую православную духовность. Евразийские теоретики полагали, что коммунистическая идеология *«есть вера мнимо-религиозная и не устоит перед верой религиозно подлинной»*²⁶, они рассчитывали, что в результате их вмешательства *«на смену царствования безбожных коммунистов и капиталистов наступит Евразийское православное советское царство трудящихся»*²⁷.

Отмечу, что в 1917–1918 годах Барченко был лично знаком с будущим идеологом евразийского учения – Львом Платоновичем Карсавиным, который, судя по сохранившимся воспоминаниям, бывал у него дома. Во время одного из таких визитов Карсавин познакомил Барченко с графологом Константином Константиновичем Владимировым²⁸. Любопытно, что в то же самое время Карсавин общался и с Дубновым, сотрудничая с ним в качестве члена организованной по распоряжению Временного правительства Комиссии по так называемым ритуальным процессам, в основе которых были легенды об изуверских убийствах христиан евреями²⁹.

Можно констатировать, что Барченко удалось достичь большего, нежели оторвавшимся от русской почвы евразийцам. Когда последние пытались вступить в контакт с коммунистической властью, их порыв оценили как проявление некоего блаженного идиотизма и цинично использовали энтузиастов идеи православно-евразийского возрождения в интересах советских спецслужб³⁰. С Барченко все произошло иначе. Бывший сотрудник Петровича Карл Федорович Шварц (в обиходе – «Карлуша»), ставший с 1923 года частым гостем Барченко в большой квартире на углу улицы Красных зорь (Каменноостровский пр.) и Малой Посадской, свел его с Глебом Ивановичем Бокием – руководителем спецотдела ВЧК–ОГПУ.

В ряде отношений Бокий выделялся из общей массы функционеров нового режима – не только интеллигентностью, но и нежеланием пользовать-

ся преимуществами чиновника высокого ранга, несомненной принципиальностью и идеализмом³¹. Он мог отказаться следовать указаниям самого Ленина – например, когда тот пытался защитить от обвинения в воровстве ценностей из Гохрана одного из своих старых знакомых³². О Бокии писал в своих мемуарах Федор Шалапин («Маска и душа»). По его словам, это был единственный чекист, произведший на него приятное впечатление. Однако стоит напомнить, что при всех своих достоинствах Бокий руководил «красным террором» в Петрограде. Впрочем, следует указать и на то, что в сентябре 1918 года он выступил против самосудов, за что был изгнан из города Г. Е. Зиновьевым.

Арестованный в 1937 году, Бокий признался на следствии, что уже после введения нэпа и в особенности после смерти Ленина он разочаровался в линии партии³³. Не принимая участия во внутрипартийной борьбе, Бокий предпочел ей занятия «древней наукой», которая, по словам Барченко, может даровать своим adeptам магическую власть над миром. Во второй половине 1925 года он организовал кружок по изучению «древней науки», в который входили и сотрудники спецотдела. Барченко, после переезда в Москву, читал лекции членам этого кружка.

По свидетельству вдовы Барченко Ольги Павловны, будучи в Москве, ее супруг выступал также перед членами некоего тайного «кремлевского кружка», куда его ввел секретарь ЦИК СССР Амель Енукидзе³⁴. Впрочем, об этих поклонниках «древней науки» известно немного. Более определенные сведения сохранились о кружке сотрудников спецотдела. Он функционировал не менее двух лет. В числе его участников были такие известные люди, как первый руководитель Евсекции Семен Диманштейн и Генрих Ягода, ставший в 1924 году заместителем председателя ОГПУ³⁵. Среди слушателей Барченко были и бывшие следователи ЧК Эдуард Морицевич Отто и Александр Юрьевич Шмидт (оба эстонцы), которые в свое время начали вести дело Леонида Каннегисера, убийцы Урицкого, но были отстранены за «антисемитские настроения» и уволены из ЧК (они считали, что покушение на Урицкого организовали сионисты и бундовцы³⁶). Одной из самых преданных учениц Барченко была Лидия Николаевна Шишелова-Маркова – дочь известного лидера «Черной сотни» Н. Е. Маркова (Марков 2-й), который прославился своим прозвучавшим в Думе призывом к физическому истреблению еврейских подданных Российской империи. В 1918 году Барченко посещал оккультистский кружок двоюродного брата Маркова Д. В. Бобровского, где познакомился с Марковым и его дочерью. Последняя так увлеклась учением Барченко, что отказалась отправиться с отцом в эмиграцию (где тот, в конце концов, стал сотрудничать с немецкими нацистами³⁷) и в целях облегчения своего положения в советской России сменила фамилию, выйдя фиктивно замуж. Это ее спасло на некоторое время. А в 30-е годы все приверженцы эзотерических учений, независимо от происхождения, стали жертвами репрессий (большинство учеников Барченко, как и сам он, не пережили 1937 года). Их настигло то самое обвинение в

шпионаже, от которого Барченко пытался защититься с помощью документов, предъявленных им Шнеерсону. На следователей НКВД новой формации подобные документы впечатления произвести не могли.

Однако во второй половине 20-х положение коммунистов-окультистов казалось вполне благополучным. В то время Барченко активно работал над проектом созыва съезда носителей «древнего знания», принадлежащих разным конфессиям. Пытаясь осуществить свой проект, Барченко отправился в 1927 году в Бахчисарай, где установил связь с членами мусульманского дервишского ордена Саиди-Эддини-Джибави. Позже он пригласил в Москву сына шейха этого ордена и познакомил его с Бокием. В тот же период Барченко побывал в Уфе и Казани, где познакомился с дервишами орденов Накш-Бенди и Халиди. Он планировал также встречу с главой исмаэлитов Ага-Ханном, что впоследствии вменили ему в вину как свидетельство связей с английской разведкой. В марте 1927 года Барченко вновь приехал в Кострому и встретился там с сыном шейха мусульманского ордена Саадия. Эти экзотические контакты привлекли внимание ОГПУ. В Костроме Барченко арестовали, но вскоре освободили – по ходатайству Бокия.

Контакты с Любавичским ребе были частью общего плана Барченко. О том, что Барченко с ним встречался, показал на допросе в НКВД Кондаин, однако, как заявляет Александр Андреев: «*какие-либо подробности этих встреч нам не известны*»³⁸. Приходится констатировать, что если специалисты по еврейской истории не знакомы с феноменом советского оккультизма, то исследователям последнего не известны хасидские свидетельства. А они представляют исключительный интерес, хотя бы потому, что это единственный случай, когда сообщения Барченко и его сподвижников о контактах с религиозными лидерами подтверждаются сведениями из независимого источника. Только сложив два этих блока информации, можно получить полную картину.

В 1918 году Барченко заявлял, что Библия и Талмуд – хранилище великой мудрости древних, однако только через семь лет после этого он попытался войти в контакт с носителями иудейской традиции. Барченко надеялся, что кто-то из наследников «древнего знания» откроет ему чудесные тайны, дающие магическую власть над миром. Похоже, что к концу 1925 года, когда после запрета на экспедицию в Тибет окончательно провалились планы вступить в прямой контакт с Шамбалой, Барченко стал возлагать самые сокровенные свои надежды на каббалу. Как свидетельствует шестой Любавичский ребе, мистик из ОГПУ пытался узнать у него великую истину, которая дала бы ему ключ к созиданию и разрушению миров и, значит, открыла бы путь к построению коммунистического рая на земле.

Однако если вступавшие в контакт с Барченко революционные буддисты и голбешники сами грезили о надконфессиональном, «мистическом Интернационале», то для хасидов данный проект был категорически неприемлемым. И дело было не только в его фантастичности. Пересказав слова Барченко о том, что изучаемая им наука близка каббале, Алтгауз до-

бавил: *«не рядом они будут помянуты»*³⁹ – с точки зрения правове­рного хасида, сама мысль о том, что святая каббала может быть хотя бы упомянута рядом с каким-то «гойским» мудрствованием, казалась чудовищной. Нет оснований считать, что Шнеерсон отличался в данном отношении от своих приверженцев. Об этом свидетельствует и письмо Алтгауза – рассказ об изысканиях Барченко он завершает так: *«стало нам известно, что эта наука не имеет какого-либо отношения к будущему, и запрещается нам ожидать от нее чуда и помогать Барченко в обретении мудрости каббалистических книг»*. Слова эти могут воспроизводить только резюме самого ребе. Для непримиримого ортодокса Шнеерсона рассуждения Барченко могли представляться лишь безнадежной ересью. Это было столкновение представителей разных миров, которые были не в состоянии найти точки соприкосновения в области духовных интересов. Почему же ребе оказался так любезен по отношению к своему гостю? Если свидетельство Шнеерсона позволяет лучше понять характер отношений Барченко с представителями различных религиозных конфессий, то сведения о Барченко позволяют понять поведение Шнеерсона. Содержащееся в письме Алтгауза упоминание о документе из *«Политотдела»* явно лишено смысла – этот придворный, охранявший *«дворец ребе»* на Моховой улице, просто не разбирался в наименованиях советских учреждений. Очевидно, Барченко предъявил удостоверение сотрудника ОГПУ, которым он действительно располагал. Не менее любопытно и другое свидетельство Алтгауза. По его словам, Барченко сообщил ребе, что у него есть разрешение на занятия тайной наукой, что он организовал для этого специальное общество, *«и многие из великих в это общество вошли»*. Надо полагать, речь шла о кружке, действовавшем под покровительством Бокия в рамках спецотдела.

О том, какое впечатление произвело все это на Шнеерсона и его окружение, можно понять из поведения секретаря ребе Либермана, который явно намеренно оставил в своей квартире письма Барченко, хотя имел возможность уничтожить их вместе с прочей перепиской. Очевидно, письма сотрудника ОГПУ рассматривались Любавичским ребе и его окружением как охранная грамота. Общение с Барченко ни к чему не обязывало, однако позволяло надеяться на помощь.

Это может показаться наивным, ибо для следователей, допрашивавших Шнеерсона, упоминание о каком-то московском профессоре, занимавшемся какой-то экзотикой, в действительности мало что значило. Они попытались использовать содержание писем Барченко в интересах обвинения, но, похоже, не особенно настаивали на этом. И, тем не менее, расчет Шнеерсона на помощь знакомому из спецслужбы оправдался. Как сообщил на следствии Кондияйн: *«при помощи Бокия Шнеерсон был освобожден из ссылки и выслан из СССР»*⁴⁰. Оснований сомневаться в искренности Кондияйна нет. Но сведения эти он мог почерпнуть только от Барченко. Вопрос, следовательно, в том, насколько слова Барченко соответствовали реальности. Он мог фантазировать, выдавать желаемое за действительное.

Свидетельств pro или contra – нет. Мне, однако, представляется, что данная информация выглядит вполне правдоподобно и позволяет объяснить тайные нити развернувшейся тогда интриги. Глава спецотдела ОГПУ Бокий обладал исключительными возможностями повлиять – не привлекая к себе особого внимания – на решение ленинградской Коллегии ОГПУ. Мессинг, вызываясь отказавший Пешковой, не решился бы проигнорировать просьбу своего столь высокопоставленного сотрудника. Судя по свидетельству Кондияйна, так и произошло. То, что в воспоминаниях ребе об этом ничего не говорится, ничего не значит. Ребе мог просто не знать об этом, к тому же, как можно заметить, в мемуарах он умалчивал о многих обстоятельствах своего общения с Барченко. После того как Шнеерсон перебрался на Запад, признаваться в близком знакомстве с сотрудником советской спецслужбы было явно не в его интересах. К примеру, оказавшись в Риге, он пытался дискредитировать председателя ленинградской еврейской религиозной общины Льва Гуревича, объявив его тайным агентом ОГПУ⁴¹.

Все это заставляет с особым вниманием отнестись к свидетельству Кондияйна. В протоколе его допроса есть еще одна любопытная деталь – он сказал, что контакты Барченко со Шнеерсоном осуществлялись через К. Ф. Шварца, причем «*когда Шнеерсон проживал в Варшаве, Шварц продолжал поддерживать с ним связь*»⁴². Похоже, что и после эмиграции ребе из России Барченко сохранял интерес к его предполагаемым тайным знаниям, а Шнеерсон, в свою очередь, не торопился прерывать контакты со знакомым из спецотдела ОГПУ, надеясь, что он будет в состоянии помочь кому-либо из хасидов, оставшихся в СССР. Только сталинский Большой террор положил конец всем этим иллюзиям.

1. Дубнов С. М. Книга жизни: Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. СПб.: Петербургское востоковедение, 1988. С. 273.

2. Шнеерсон И. И. Записки об аресте / Сост. и перев. Д. А. Гуревич. Нью-Йорк, 1980.

3. Бейзер М. Евреи Ленинграда 1917–1939: Национальная жизнь и советизация. М.–Иерусалим: Мосты культуры–Гешарим, 1999. С. 214–215.

4. Дубнова-Эрлих С. Хлеб и маца. СПб.: Максима, 1994. С. 223–224.

5. Бережков В. И. Питерские прокураторы: Руководители ВЧК–МГБ 1918–1954. СПб.: Блиц, 1998. С. 119–125.

6. Безбожник у станка. 1927. № 12. С. 10. Цит. по: Бейзер М. Евреи Ленинграда. С. 216–217.

7. Шнеерсон И. И. Записки об аресте. С. 61.

8. Бейзер М. Евреи Ленинграда. С. 213–214.

9. Шнеерсон И. И. Записки об аресте. С. 117–119. Непоследовательность изложения – описание действия то от первого, то от третьего лица – объясняется тем, что приведенная цитата заимствована из той части книги, которая была написана не Шнеерсоном, а составлена его близкими со слов ребе.

10. Likkutei Dibburim. An Anthology of Talks by Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson of Lubavitch. Vol. V. 1990. С. 1375–1377. Я приношу благодарность руководителю Санкт-Петербур-

бургского центра «Хабад Любавич» р. Цви Пински, который указал мне на хасидские источники, рассказывающие о встрече Любавичского ребе с Барченко.

11. *Шнеерсон И. И.* Записки об аресте. С. 220.

12. Первооткрывателем сюжета был Олег Шишкин, обобщивший материал своих более ранних журнальных публикаций в работе «Битва за Гималаи: магия и шпионаж» (М., 1999). Далее я пользуюсь вторым – дополненным изданием: *Шишкин О.* Битва за Гималаи: магия и шпионаж. М.: Яуза; ЭКСМО, 2003. При всех возможных замечаниях, работа Шишкина, безусловно, ценна тем, что вводит в оборот множество важных архивных документов, а также сведения, сохраненные ближайшими родственниками героев его повествования, среди которых были сын и внук Александра Васильевича Барченко – Светозар Александрович и Александр Светозарович Барченко. Следует особо отметить также работу: *Андреев А. И.* Время Шамбалы: Оккультизм, наука и политика в советской России. СПб.: Издательский дом «Нева», М.: ОЛМА-Пресс, 2002.

13. *Немировский А. И., Уколов В. И.* Свет звезд или последний русский розенкрейцер. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 57, 59.

14. Подробно об этом: *Шишкин О.* Битва за Гималаи.

15. Благодаря изданной в 1923 году книге Фердинанда Оссендовского «Сквозь край людей, зверей и богов» («Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów», в русском издании – «Звери, люди, боги» [Рига, 1925]; в 1994 г. переиздана в Москве – изд-во «Пилигрим») демонический «черный барон», мечтавший о создании великой восточной империи, стал известен на Западе. Ныне он стал культовым героем русских правых радикалов. Как представляется, наиболее полная и объективная информация об Унгерне дана в статье Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни: Феномен судьбы барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга» (Дружба народов. 1992. № 10. С. 14–96).

16. Не менее любопытна судьба другого брата Николая Рериха – Бориса Константиновича. Он был арестован в 1931 г., после чего полтора года работал в Особом конструкторско-техническом бюро № 12. Вместе с Н. Е. Лансере Б. К. Рерих проектировал ленинградский «Большой дом» – огромное здание, построенное рядом со старой тюрьмой на Шпалерной, которое до настоящего времени является центром российских правоохранительных органов и спецслужб в Санкт-Петербурге. В качестве поощрения за успешный труд Б. К. Рерих был досрочно освобожден в 1933 году (*Моргачева Т. В.* К биографии Бориса Константиновича Рериха // Вестник «Мемориала». № 6. СПб.: НИЦ «Мемориал», 2001. С. 258–261).

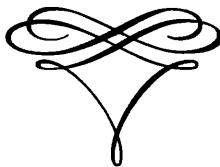
17. Об этом заявил председатель думского Комитета по геополитике, второй человек в партии Жириновского – Алексей Митрофанов, причем в обоснование своих откровений он ссылаясь на консультации с некими специалистами по тонким энергиям (Аргументы и факты. № 31 [июль]. 1997. С. 2.). Подробнее о подобных настроениях российской политической элиты в статье: *Мороз Е. Л.* Соблазняющие власть: евразийский фантом // Барьер. № 7. 2002 (СПб.). С. 21–48.

18. *Михайличенко Б.* Прорицатель в погонах // Московские новости. 2002. № 1–2 (18–21 янв). С. 42; *Смирнова М.* Лженаука // Версия. 2003. 14–20 апр. С. 29; Весна тревоги нашей: Астрология проникла уже и в министерство обороны // Известия. 2003. 15 марта. С. 6.

19. Когда один из рецензентов упрекнул Шишкина в чрезмерном доверии к этому источнику, тот ответил: «Что же касается цитирования генерала Рогозина, бывшего заместителя руководителя службы безопасности президента, то я бы хотел указать... что у таких людей есть свои источники информации, к которым я бы советовал относиться серьезно» (Независимое военное обозрение. 1999. 17 сент.).

20. Андреев А. И. Время Шамбалы. С. 107.
21. Рерих Н. К. Сердце Азии // Рерих Н. К. Избранное. М., 1979. С. 177.
22. История северной экспедиции Барченко привлекла особое внимание одного из современных «неоязычников» – В. Н. Демина, который активно пропагандирует тему гиперборейской древности. Разоблачению гиперборейских фантазий посвящена статья Сергея Гарнаги «Потерянный рай. Конец мифа о Гиперборее» (Совершенно секретно. 2001. № 1). Согласно этой публикации, скальные комплексы, которые Барченко принял за древние артефакты, в действительности имеют природное происхождение.
23. Шишкин О. Красный Франкенштейн. Секретные эксперименты Кремля. М., 2003.
24. Там же.
25. Гудрик-Кларк Н. Окультизм: корни нацизма. СПб., 1993. См. также: Первушин А. Окультизм тайны НКВД и СС. М.: ОЛМА-Пресс; Издательский дом «Нева», 1999.
26. Евразийство: Опыт систематического изложения. Б. м.: Евразийское книгоиздательство, 1926. (Пути Евразии. Русская интеллигенция. М., 1992. С. 358. [репринт]).
27. Степанов И. Белые, красные и евразийство. Брюссель, 1927. С. 63.
28. В 1917–1918 гг. Владимиров работал в ЧК и даже после ухода из органов продолжал сотрудничать с ними в качестве осведомителя. Однако в 1927 году вспомнили, что в годы революции у Владимирова были контакты с одной из подданных Великобритании, и его расстреляли как английского шпиона.
29. Дубнов С. М. Книга жизни. С. 439, 444; Кельнер В. Е. Дубнов, Платонов и другие / (Комиссия для научного издания документов ритуальных процессов в России. Петроград, 1919–1920 гг.
30. Бросса А. Групповой портрет с дамой // Иностран. лит. 1989. № 12; Савкин И., Козловский В. Евразийское будущее России // Ступени. 1992. № 2.
31. Разгон Л. Плен в своем отечестве. М., 1994. С. 65, 94–95 и др.
32. Бережков В. И. Питерские прокураторы: Руководители ВЧК–МГБ 1918–1954. С. 38.
33. Протокол допроса Бокия от 17–18 мая 1937 года. См.: Андреев А. И. Время Шамбалы. М.: ОЛМА-Пресс, 2002. С. 209–220.
34. Там же.
35. Там же. С. 241.
36. Морев Г. А. Из истории русской литературы 1910-х годов: К биографии Леонида Каннегисера // Минувшее. Т. 16. М., 1994. С. 145.
37. Ганелин Р. Марков 2-й о своем пути от черносотенства к гитлеризму // Евреи в России. Петербургский еврейский ун-т; Институт исследований еврейской диаспоры. СПб., 1998. С. 211–218.
38. Андреев А. И. Время Шамбалы. С. 169.
39. Likkutei Dibburim. An Anthology of Talks by Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson of Lubavitch. Vol. V. С. 1375.
40. Андреев А. И. Время Шамбалы. С. 363.
41. Бейзер М. Евреи Ленинграда. С. 217.
42. Андреев А. И. Время Шамбалы. С. 363.





Антеро Киуру

ДХАРМАРАДЖА В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ

Наконец-то в России увидел свет двухтомник трудов Бидии Дандарона. Уже то, что он оказался нужен и кто-то смог добыть денег на издание, может внушить надежду, что не все еще потеряно для этой странной страны.

Рассуждения о трагическом положении науки в советское время уже давно воспринимаются как общее место. Но сегодня больная совесть интеллигента-либерала утешает его надеждой, что все пострадавшие будут реабилитированы, и упущенное – наверстается. Что ж, может быть, естественные науки, несмотря на трудности, еще оживут, но есть области, где однажды упущенная возможность не повторится уже никогда. Убитые не воскресают. И только гадать можно, чем могло обернуться для России убитое слово...

I

Бидья Дандарон родился 13 декабря 1914 года в Кижинге, в Бурятии, в семье бурятского философа и поэта ламы Агван Силнам Тузол Доржи – друга и сподвижника дхармараджи («царя закона», или «царя учения», – высшего духовного авторитета) Бурятии Лубсана Сандана Цыгенова (1842–1920-е годы). (С именем Лубсана Сандана связан придворный скандал: во время аудиенции Николая II бурятскому духовенству он единственный не поклонился императору: царь духовный перед царем светским не склоняется). Цыгенов вместе с тибетским хамбо-ламой Джаягсы-гэгэном из монастыря Гумбум сознательно покинули свои обители и основали в сибирской тайге поселение буддистов-практиков. Позже, во время гражданской смуты, Лубсан Сандан создаст на территории Бурятии ламаистское государство. Подданные его, согласно буддийским догматам, в войне не участвуют, что равно раздражает и красных и белых.

В возрасте четырех лет Дандарон был признан перерождением Джаягсы-гэгэна. Лубсан Сандан дал ему имя Ригзин (*санскр.* – видьядхара, отсю-

да светское имя Бидья)*. Дхармараджа взял Дандарона под свое покровительство, и, когда из Лхасы прибыла делегация лам, чтобы по обычаю отвести юного перерожденца в Тибет, его Учитель ответил: «Он нужен здесь». В 1921 г. Лубсан Сандан передает Дандарону свое духовное могущество и титул Дхармараджи. Эту церемонию удалось наблюдать советскому буддологу Б. И. Панкратову (1982–1937). Вскоре Лубсан Сандан исчезает. Дандарон постигает буддизм в монастырях и при этом учится в общеобразовательной школе. Его популярность среди верующих исключительно велика. В конце 20-х годов начинается широкая антирелигиозная кампания. Дандарон по настоятельным просьбам верующих уезжает в Ленинград, поступает в Ленинградский институт авиаприборостроения. Он постоянно посещает лекции на восточном факультете университета, куда поступить ему, как сыну ламы, «социально чуждому элементу», не удалось, активно занимается языками. В 1937 году 22-летнего Дандарона арестовывают и по обвинению в шпионаже и создании подпольной организации приговаривают к высшей мере наказания. Потом расстрел заменяют на 25 лет лагерей. В лагере он продолжает свое образование. В его окружении были профессора, журналисты, а после разгрома Квантунской армии появились и ламы. Там он пишет свои книги: «Взаимоотношения материи и духа», «Эстетика необуддизма». Последнюю один из лагерных учеников Дандарона поляк Кокошка, в конце войны отпущенный на Запад, вынес из зоны под гипсом на сломанной руке. В конце 45-го года Дандарона освобождают, но на свободе он пробыл меньше года. Он пишет Сталину письмо с ходатайством о возрождении буддийских монастырей в Бурятии. В 1946 году его повторно арестовывают, но в этом же году в Бурятии открываются Агинский и Иволгинский дацаны (монастыри). В 1956 году Дандарона освобождают и реабилитируют.



Чтобы понятнее была обстановка, сложившаяся к тому времени, стоит вспомнить некоторые вехи истории российской буддологии. Маргинальное положение России – ни Европа, ни Азия – чревато положением медиативным, центральным – «и Европа, и Азия», обогащающим азиатскую духовность европейской рациональностью. Но несчастная судьба этой страны ни разу не дала отлиться синтезу в законченные формы. Традиции российской буддологии не менее стары, чем буддологии английской, чей авторитет в этой области сегодня неоспорим. На территории России к началу XX века было около полусотни монастырей, более двух сотен храмов в Бурятии, Туве и Калмыкии, а в 1915 году буддийский храм был открыт и в Петрограде. Но, в отличие от Англии, Россия

* Ригзин (*тибет.*) и видьядхара (*санскр.*) – «держатель закона».

от входивших в империю буддийских регионов не была отделена морями. В российскую науку приходили люди, изначально включенные в буддийскую культуру, такие, как Г. Ц. Цыбиков – первый европейский ученый, побывавший в закрытом городе Лхасе – священной столице Тибета. Уже при Николае I трудились Якоб Шмит и Антон Шифнер (тибетско-русский словарь и грамматика Шмита вышли в свет в 1839 году). К началу XX века российская буддология представлена именами мирового уровня: В. П. Васильев, И. П. Минаев, Г. Ц. Цыбиков, С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской и его ученики О. О. Розенберг и Е. Е. Обермиллер. (Когда индийский ученый Р. Санкритяна посетил европейские индологические центры, то на вопрос: «Кто в Европе является крупнейшим специалистом в области буддийской философии?» – он и в Париже и в Берлине получил однозначный ответ: «Щербатской».)

«Гроза семнадцатого года // Пришла...» Уникальная буддологическая школа, созданная Ф. И. Щербатским, понесла первую невосполнимую потерю. В 1919 году в возрасте 31 года из жизни ушел Отон Отонович Розенберг. Великолепный ученый, чьи три, изданные к тому времени работы – «Проблемы буддийской философии», «Введение в изучение буддизма по японским и китайским источникам» и лекция «О мирозерцании буддизма на Дальнем Востоке» – стали классикой мировой буддологии. Только в англоязычных странах они издавались за прошедшие годы более 50 раз. И ни разу на родине. По замечанию одного из современных исследователей, «в личной судьбе Розенберга не было окончательной ясности, а большинство других учеников Ф. И. Щербатского оказались незаконно репрессированными». В самом деле, в судьбе О. О. Розенберга «нет окончательной ясности». До сих пор неизвестно, как он погиб, – то ли был расстрелян в качестве заложника как «чуждый элемент», то ли сгорел в тифозной горячке, то ли бандитами убит. Словом, непонятно: «наш» или «не наш». Достаточное основание для забвения.

Не более счастливы оказались учитель и оставшиеся в живых коллеги. Несмотря на резко ухудшившиеся условия работы, прервавшиеся связи с остальным научным миром, зарубежными коллегами, невероятные трудности с изданием печатных трудов, востоковеды, как и большая часть российской интеллигенции, первые годы после революции испытывали «культурный энтузиазм». Тогда еще казалось, что люмпена, всплывшего на волне революции, можно приобщить к высокой культуре. Для самой широкой публики читались лекции о Востоке (блестящая лекция О. О. Розенберга, о которой говорилось выше, вошла в золотой фонд мировой буддологии, а была прочитана на открытии первой буддийской выставки в Петрограде в 1919 году для солдат и матросов, согнанных комиссарами «в целях повышения культурного уровня»). Вышел первый (и оставшийся единственным) выпуск из серии «Памятники индийской философии», издается журнал «Восток». Энтузиазм поддерживался и всячески подогревался большевиками так называемой ле-

нинской гвардии типа А. В. Луначарского, Л. М. Карахана, Л. Б. Красина, желавшими придать в глазах мирового общественного мнения некий лоск бандитской власти, да и не упускавших случая поэксплуатировать мировой авторитет ученого. Только благодаря помощи Щербатского, вместе с Красиным участвовавшего в переговорах, в 1922 году в Лондоне была открыта Русская торговая миссия, что, по сути, означало прорыв дипломатической блокады большевистской России. Не в последнюю очередь Щербатскому, влиявшему на академические круги, которые, в свою очередь, давили на политиков, обязаны большевики потоком продуктов и медикаментов с Запада, отправленных в помощь голодающему Поволжью.

Но ближайшие же годы все расставили по своим местам. Сперва под угрозой оказалось существование академической и университетской науки. Стали сказываться многолетняя оторванность от других культурных центров, практическая невозможность контактов, отсутствие издательской базы, отсутствие учебников и пособий, невозможность полевых исследований. Новая власть набирала силу, шлифовала идеологию, и все громче раздавались голоса, требовавшие прекратить изучение «опиума для народа» и «поповского языка» – санскрита. По инициативе историка М. Н. Покровского с 1929 года по всей стране было прекращено изучение древней истории и классических языков. В том числе, конечно, и изучение истории Азии и санскрита. Школе Щербатского, практиковавшей чтение источников с первых лет обучения, был нанесен чувствительный удар. Он был не последним. Вместо людей, знакомых с основами традиционных восточных культур, «подрастало в шинелях с наганами» племя востоковедов в штатском. Новое племя было хорошо натаскано лишь в злободневных политических лозунгах и убеждено, что их «абсолютное и даже трогательное невежество» по части классических языков вполне компенсируется «политической грамотностью». В 1931 году в образовавшемся после слияния всех академических учреждений (Азиатского музея, Института буддийской культуры, тюркологического кабинета и т. д.) Институте востоковедения АН была создана ячейка содействия обществу марксистов-востоковедов, поставившая своей целью «разоблачение и разоружение антимарксистской реакционной и псевдомарксистской профессуры, обеспечение марксистского руководства, сколачивание единого фронта за полное утверждение марксистско-ленинской идеологии». Члены ячейки выступали за полный отказ от изучения классических культурных традиций и переключение на занятие современной экономикой и политикой, историей национально-освободительных движений. Институт буддийской культуры превратился в Индо-тибетский кабинет при Институте востоковедения АН. По инициативе профессора А. П. Баранникова в 1936 году из него выделился Новоиндийский кабинет, возглавил который, естественно, сам Баранников. Во вновь созданный кабинет «перебросили» значительную часть

сотрудников и учеников Ф. И. Щербатского. Зато обком навязывает Федору Ипполитовичу нового сотрудника – рекомендованного академиком-секретарем отделения общественных наук АН СССР А. М. Дебориным тюрколога Х. И. Муратова. (В 1938 году Деборин уже благодарил Муратова за успешно выполненную работу «по очищению института от враждебных элементов».) Все окончательно рухнуло на заседании президиума АН СССР в марте 1937 года. К этому времени единственным изданием, где еще можно было опубликовать работы по темам классической буддологии, оставалась лишь знаменитая «*Bibliotheka Buddhica*». Но и над ней давно висела угроза закрытия. Еще в 1934 году, после соответствующего решения ЦК, Щербатскому с большим трудом удалось отстоять серию. Но на заседании президиума АН СССР была представлена «рецензия», а по существу донос, подписанный Х. И. Муратовым, кандидатом философских наук А. А. Петровым, возглавлявшим в ячейке содействия обществу марксистов-востоковедов «бригаду» по разоблачению буржуазной синологии, и кандидатом философских наук (закончившим правовой факультет Киевского университета народного хозяйства) Я. Б. Радуль-Затуловским. Рецензия объявляла «*Bibliothek'u Buddhica*» «печатным органом буддийско-ламаистской религии», труды Ф. И. Щербатского «откровенной пропагандой идеалистической философии... направленной против марксизма-ленинизма» и заканчивалась выводом о том, что «академик Щербатской и его ученики, культивирующие издание буддийских теологических трактатов и исключительно акцентирующие изучение древней Индии, объективно играют роль пособников английского империализма...» В это же время в «Вестнике АН СССР» появляется статья «Институт востоковедения», в которой тематика работы индо-тибетского кабинета характеризовалась как «вредительская». Статья подписана, кроме того же Муратова, В. В. Струве и учеником Щербатского В. И. Кальяновым. (Владимир Иванович Кальянов – до недавнего времени единственный автор воспоминаний о Щербатском, после него возглавивший индо-тибетский кабинет. После смерти Федора Ипполитовича в 1942 году в г. Боровом Казахской ССР терроризировал домоправительницу Щербатского, пока не вывез всю библиотеку покойного. В изданном им переводе древнеиндийского эпоса «Махабхарата» есть несколько великолепных по качеству текстов. По отчетам индо-тибетского кабинета, в последний год Ф. И. Щербатской возглавлял работу над переводом «Махабхараты»). К августу 1937 года из учеников Щербатского в индо-тибетском кабинете осталась лишь тибетолог-лингвист Е. Н. Козеровская. Работа кабинета свелась к составлению тибетско-русского словаря. Из всех учеников Федора Ипполитовича живым из сталинских лагерей вышел один – Б. В. Семичов. А. И. Востриков, М. И. Тубянский, М. А. Ширяев и многие другие погибли. До 1946 года в печати вообще не упоминалось о школе Щербатского, пока о ней не напомнил академик Н. И. Конрад. Буддологичес-

кая школа была уничтожена. Традиция чтения религиозных и философских текстов, казалось, полностью прервалась.

II

И тут наступает «оттепель»... Бидия Дандарон, со своим огромным духовным потенциалом, всесторонне – и светски, и традиционно – образованный, владеющий санскритом, тибетским и монгольским языками, оказывается удивительно кстати. Он, младший научный сотрудник Бурятского института общественных наук, возрождает традицию чтения первоисточников, собирает вокруг себя реабилитированных к тому времени бывших лам. Его главное занятие – разбор и описание самого богатого в мире собрания монгольских и тибетских рукописей и ксилографов. Благодаря Дандарону образуется некий симбиоз: молодые ученые практически не знали материалы, с которыми работали, ламы – не знали русского языка и принципов научной буддологии, но вместе они возрождали российскую науку. Чтобы понять, что сделал для науки Бидия Дандарон, нужно хотя бы представлять себе те трудности, с которыми сталкивается исследователь буддийских текстов. Как правило, в монастырских библиотеках хранятся «конвалюты» – подшивки разрозненных листов из разных сочинений, объединенные какой-либо темой. Для того чтобы разобраться, из какого сочинения тот или иной лист, нужно обладать огромными познаниями в буддийской философской и религиозной литературе и недюжинной памятью.

В 1957 году в Россию возвращается Ю. Н. Рерих. Как вспоминает его ученик и тогдашний подчиненный А. М. Пятигорский, «одним из его первых вопросов мне было: "Вы знаете Дандарона?". Я сказал, что не знаю. Юрий Николаевич улыбнулся и сказал: "А я знаю". И вдруг снова началась буддология, как никогда или, как когда-то».

В 1959 году Бидия Дандарон и Юрий Николаевич Рерих разработали детальный план буддологических исследований. Вокруг них собирается группа молодых востоковедов: Елена Семеко, А. М. Пятигорский, В. Н. Топоров, М. Ф. Альбидель, О. Ф. Волкова, Л. Э. Мялль. В 1960 году Ю. Н. Рерих умер от болезни сердца. В 1963 году Бидия Дандарон совместно с Б. В. Семичовым, единственным оставшимся в живых учеником Щербатского, издает краткий тибетско-русский словарь, ставший на многие годы неперенным спутником европейских буддологов. Тогда же Дандарон перевел и издал буддийский терминологический словарь «Источник мудрецов».

И вновь обратимся к историческому контексту. В начале 60-х годов Институт востоковедения возглавил Бабаджан Бабаджанович Гафуров – личность колоритная и неординарная. Будучи первым секретарем ЦК КП Таджикистана, он на XX съезде отказался выступать с критикой Ста-

лина. На вопрос Хрущева: «Почему?» – ответил: «Голосовать я буду правильно, а критиковать не имею права». Это было концом его партийной карьеры. По советской традиции, опальному вельможе было «рекомендовано сосредоточиться на науке». Он реорганизует, а вернее, пересоздает Институт востоковедения. В первую очередь Гафуров развивает издательскую базу («наука без публикаций захиреет»), что дает ему возможность «делать имена» нужным людям и их родственникам – факт публикации двух книг давал возможность стать старшим научным сотрудником, что способствовало престижу и давало солидную прибавку в жалованье. Защита же диссертации для этой публики была чисто формальным актом. С одной стороны, при Гафурове возникают коррупционные структуры «издательство–институт–ЦК», с другой – созданная им издательская база обслуживала не только желавших «остепениться» партукратов и их родственников. Но «гнильца» не могла не затронуть окружающих. Цепочку авторов для Гафурова подбирал Г. М. Бонгард-Левин, ныне – весьма уважаемый русскими «патриотами» академик. Юноша из чрезвычайно интеллигентной семьи, известный в академических кругах тем, что в детстве «писал на коленки всем светилам отечественной науки», был замечен и привлечен академиком И. И. Минцем. Связанный с верхушкой партийного аппарата и академическими кругами, Бонгард-Левин являлся своеобразным «центром», вокруг которого группируется круг достаточно талантливых людей с «гибкой совестью» (Валерий Андрусов, Виктор Лысенко, Нат. Исаева).

Первое размежевание в среде молодых буддологов произошло в 1968 году, после введения советских войск в Чехословакию. Началась кампания «подписантства». Люди, не побоявшиеся поставить свои подписи, были так или иначе «отмечены» властями. Чаще всего это был запрет на публикации, «замораживание» продвижения, отстранение от преподавательской работы. Татьяна Елизаренкова (индолог, исследователь Вед – «вечный младший научный сотрудник»), Октябрина Федоровна Волкова (лишена права преподавания), А. М. Пятигорский, Н. Л. Жуковская (этнограф, буддолог, историк ламаизма – «вечный мнс»), Нат. Лубоцкая, Е. Семеко, Б. Огибенин и другие, которых я не знаю. И оказалось, что почти все эти люди, так или иначе, связаны с Дандароном и его окружением. А сам Дандарон в это время – с середины 60-х годов – занимается истолкованием основных положений буддийской философии для обогащения и развития современного философского и научного знания. В 1970 году написана его основная книга «Мысли буддиста» – пособие для начинающих буддистов-практиков. У него появляются ученики из Москвы, Ленинграда, Тарту, Вильнюса, Каунаса, Кишинева. С 1968 по 1972 год происходит срастание научной буддологии с духовным поиском. «Люди в поисках вечной истины» – А. Железнов, В. Монтлевич, Р. Альбедиль, Р. Крапивина.

И его духовная активность тоже не может не беспокоить власти.

К 1972 году уже разработан достаточно детальный план «дела буддистов», которое может одним ударом и заставить притихнуть распоясавшихся ученых, и прижать «мракобесов». По заявлению аспирантки Бурятского института общественных наук Долгармы, обвинившей Дандарона в проведении «развратных ритуалов», Бидия Дандарон арестован. Москву и Прибалтику накрыла волна обысков. У известного санскритолога и буддолога Октябрины Федоровны Волковой (1926–1988) изымают все буддийские книги, допрашивают А. М. Пятигорского, Л. Э. Мялля. Вместе с Дандароном арестовывают и четверых его учеников. Однако возмущение международной научной общественности вынудило КГБ спустить это дело на тормозах. Четверых учеников Дандарона после 10-минутного обследования признают душевнобольными («вялотекущая шизофрения»). Дандарона судят. Эксперты обвинения (Ксения Герасимова и, по слухам, Г. М. Бонгард-Левин, хотя его заключение на суде не зачитывали) признают его книги антисоветскими. Мнение эксперта-философа из Минска Раисы Крапивиной о том, что ни в действиях, ни в книгах Дандарона «нет состава преступления», судом не принимается, и Бидию Дандарона приговаривают по трем статьям (70-я – «антисоветская агитация и пропаганда», 297-я – «причинение вреда здоровью граждан под видом отправления религиозных ритуалов» и 99-я – «хищение госимущества»: во время тантрических ритуалов Дандарон использовал свой молитвенный коврик, к тому времени уже числившийся за музеем) к пяти годам заключения.

Лагерь Выдрино на южном берегу Байкала. Дандарон не сдается. В письмах ученикам он развивает идею синтеза буддизма с современными положениями физики и философии, пишет новый труд о карме народов, судьбе Союза с позиции теории тантры. «Черная тетрадь» исчезает при очередном лагерном обыске. 26 октября 1974 года Дандарон уходит из этого рождения.

Вспоминая о сталинских лагерях, Дандарон часто повторял, что странствующему из рождения в рождение буддисту очень полезно родиться в России, и, смеясь, добавлял, «заметьте, я говорю буддисту, а не буддистам – это очень значимая поправка». В начале 70-х годов Дандарон с помощью друзей и учеников построил в Кижинге ступы своим учителю и отцу. Через некоторое время они были уничтожены. В середине 70-х годов в одном из дворов города Тарту была воздвигнута ступа в память Дандарона. Дважды предпринимались попытки ее сломать, но она стоит и по сей день.





• КАЗУС БЕНИ МОРРИСА •

«Бен-Гурион был прав: без выселения палестинцев еврейское государство не могло бы возникнуть... Если бы он изгнал их всех, существование государства Израиль было бы гарантировано на многие поколения... В истории бывают такие ситуации, когда этническая чистка оправдана... Общество, которое хочет уничтожить вас, вынуждает вас к уничтожению его».

Если бы эти слова принадлежали правому политику, они, наверняка, не вызвали бы особого интереса. Произнесенные левым израильским историком Бени Моррисом (*Гаарец*, 9.1.2004), они всколыхнули весь левый (и не только левый) Израиль. Оправдание этнических чисток выглядит особенно пикантно в устах человека, профессиональная известность которого покоится на ряде книг о проблемах палестинских беженцев. В этих книгах он подробно, опираясь на документы, показал, что проблема палестинских беженцев была, во многом, порождена политикой насильственного изгнания арабов, проводившейся израильским политическим и военным руководством в годы Войны за независимость (1948–1949). Когда-то эти книги создали автору репутацию ненавистника Израиля, заядлого левого радикала и «постсиониста». Академические круги объявили ему бойкот и зачислили в список так называемых «новых историков», который включает ряд израильских историков, критикующих и разоблачающих израильский истеблишмент в разные периоды существования государства. Новая книга Морриса, готовящаяся к изданию в Кембриджском университете, – это очередная порция разоблачительных материалов. Найденные Моррисом документы свидетельствуют о том, что Война за независимость сопровождалась массовыми расстрелами арабского населения и насилием над женщинами. Моррис насчитывает 24 случая гражданских экзекуций, во время которых было расстреляно около 800 арабов. По его данным, было совершено около 12 групповых изнасилований. Некоторые офицеры, осуществлявшие эти экзекуции, были убеждены, что полученный ими приказ о вытеснении арабского населения предполагает применение таких акций устрашения, как расстрел.

Никто из них не подвергся наказанию. В частности, не были наказаны командиры, осуществлявшие выселение 50 тысяч арабов из Лода.

Все это, несомненно, военные преступления, сказал Моррис в интервью журналисту «Гаарец» Ури Шавиту, нельзя оправдать насилие. Нельзя оправдать расстрелы. Но все следует видеть в правильных пропорциях. В сравнении с количеством убитых в той же Боснии, 800 расстрелянных – небольшое число. Это не перестает быть военным преступлением, но следует помнить, что речь шла о кровавой гражданской войне, в ходе которой Израиль потерял 1% своего населения. В истории бывают ситуации, когда этнические чистки необходимы и, следовательно, оправданны. Когда выбирать приходится между этнической чисткой и геноцидом, т. е. уничтожением твоего народа, этническая чистка становится предпочтительней. Можно понять этих офицеров. Можно понять их мотивы. Действуя иначе, они проиграли бы войну, и еврейское государство никогда не было бы создано.

Бен-Гурион настаивал на трансфере арабов. И он был прав. Он понимал, что без этого государство не устоит. Но в конце войны он дрогнул. Это была серьезная историческая ошибка. Если бы он осуществил трансфер на всей территории страны, от Средиземного моря до реки Иордан, уровень безопасности был бы гораздо выше, а число страданий меньше. Сегодня оставшиеся в Израиле арабы – это мина замедленного действия. Они все быстрее скатываются к полному отождествлению себя с палестинцами, что превращает их в потенциальную пятую колонну. Как в демографическом, так и в оборонном отношении они – угроза безопасности еврейского государства. Если Израиль вновь окажется перед экзистенциальной угрозой, как это было в 1948 году, и израильские арабы нанесут ему удар в спину, их следует изгнать полностью и окончательно. Разумеется, разговоры о трансфере могут ошеломить западных либералов и других любителей политкорректности. Но не следует забывать, что и сами арабы заполучили для себя 22 государства отнюдь не потому, что превосходили всех своими добродетелями, а потому, что завоевывали, безжалостно уничтожали и обращали в ислам другие народы. И великая американская демократия тоже вряд ли возникла бы без массового уничтожения индейцев.

В то же время нужно признать, что трансфер – это крайняя, вынужденная мера. Израиль, по словам Морриса, обязан испробовать другие пути. Нужно было испробовать путь Осло. Однако сегодня уже очевидно, что для палестинцев Осло – всего лишь обманный маневр. Арафат попросту обманул израильтян. После Кемп-Дэвида очевидно, что его истинная цель – поэтапное уничтожение Израиля. Этого хочет почти вся палестинская элита, и именно поэтому она не согласна отказаться от права беженцев на возвращение. Она не согласна на создание палестинского государства ни на 30 процентах территории Палестины, ни на 80 процентах – только на всех 100 процентах.

Самым разумным решением в нынешней ситуации было бы создание двух государств. Это единственная альтернатива изгнанию всех евреев или изгнанию всех палестинцев, или их взаимному уничтожению. Но поскольку 30–40% рядовых палестинцев не хотят такого решения, оно нереально.

Нынешнему поколению израильтян мира не видать. Оно обречено жить с оружием в руках. Будущее наших детей представляется мрачным. Даже если Израиль уцелеет, здесь еще многие десятилетия не будет нормальной, спокойной жизни. И дело не только в той нутряной ненависти палестинцев к евреям, которая заставляет их желать каждому из нас судьбы взорванных в автобусе людей. Европейцы угнетали народы Африки не меньше, чем израильтяне палестинцев, тем не менее африканского террора в Париже, Брюсселе или Лондоне не наблюдается. Немцы убили много больше евреев, чем евреи палестинцев, тем не менее евреи не взрывают автобусы в Мюнхене или Берлине. И в случае палестинцев ненависть далеко не все объясняет – есть нечто более глубинное, связанное с исламом и арабской культурой.

Исламская культура – это мир чуждых нам ценностей. Человеческая жизнь в нем имеет иную, нежели в иудео-христианской культуре, цену. Понятия свободы, демократии, открытости и творчества чужды этой культуре. Иноверцы, не принадлежащие этому миру, рассматриваются как законный объект для обмана и убийства. Месть – ключевая ценность арабской племенной культуры. Если они заполучат химическое, бактериологическое или атомное оружие, они его применяют. Если им представится возможность, они совершат геноцид. В этом смысле они современные варвары. Современное арабское общество аплодирует убийцам. В определенном смысле оно само стало обществом убийц. Человечество имеет право защищаться от общества массовых убийц так же, как оно защищается от преступных индивидуумов. Может быть, когда-нибудь это общество выздоровеет. Но пока не будет найдено лекарство, человечество должно защищаться. Нужно быть реалистами. Может быть, это не совсем политически корректно, но политическая корректность всегда искажает историю. Аналогичная ситуация в истории уже была. Современный Запад напоминает Римскую империю третьего–пятого веков нашей эры, когда варвары стояли у ворот Рима. Да и феномен массового проникновения мусульман на Запад имел прецедент – в том же Риме. Римляне допустили варваров в свое общество, и те подорвали его изнутри.

То, что происходит сегодня, это война Запада с современными варварами. Мусульманская цивилизация, с ее отношением к свободе, демократии, к человеческой жизни, – это типичная варварская цивилизация. Идет война цивилизаций, и президент США Буш ошибается, когда отрицает этот факт. Дело не в Бин-Ладене. Это война с иным миром, который исповедует иные ценности. В этой войне Запад сильнее, но он пока не знает способа остановить эту волну ненависти. И в этой войне Израиль – на передовой, в самом уязвимом участке западной линии обороны – как некогда государство крестоносцев. Такова судьба сионизма. Сионизм всегда был трагически апокалиптичен. Сама идея создания еврейского государства была апокалиптической. Учитывая характер ислама и арабского общества, было наивно надеяться, что еврейское государство сможет жить в мире со своим окружением. Сионистская идея как таковая была легитимной и позитивной, но она никогда не обеспечивала подлинной безопасности евреям – ни в 1881 году, ни в 1948 году, ни, тем более, сегодня, потому

что через каких-нибудь 20 лет Израиль может настичь атомный кошмар, и народ, который страдал 2000 лет, может быть уничтожен. Это может оказаться концом сионистского эксперимента. И это куда страшнее, чем всё, что испытал крохотный сегмент арабской нации в 1948 году в Палестине. С точки зрения космической справедливости, все это жестоко и ужасно. Евреи были главными жертвами в ходе 2000-летней истории, и теперь они снова оказались ее главными потенциальными жертвами. Они составляют ничтожное меньшинство в огромном враждебном море арабов, которые хотят их уничтожить. Поэтому Бен-Гурион был прав, когда говорил, что защитить еврейское государство может только сила. Только она может принудить арабов согласиться с еврейским присутствием. Только понимание, что они не способны его уничтожить. Это не значит, что евреи не должны стремиться к политическому решению. Но, в конечном счете, всё решит только наша готовность применять силу.

«Вы присоединились к правому лагерю?» – спросил Бени Морриса в заключение интервью Ури Шавит. «Нет, – ответил профессор Моррис. – Я по-прежнему считаю себя левым. Я по-прежнему поддерживаю принцип двух государств для двух народов. Я просто не верю, что это приведет к надежному миру».



Интервью Бени Морриса вызвало шквал откликов, преимущественно из левого и арабского лагеря. Вот несколько кратких резюме. Доктор Талим Самари из Рамаллы: «Называя арабов "варварами", проф. Моррис зарабатывает себе популярность в правых израильских кругах». Джеймс Адлер, Кембридж: «Если бы прежние разоблачения проф. Морриса и его нынешние заявления были известны миру в 1947 году, ООН не разрешила бы создание сионистского государства». Бени Мизрахи, Рамат-Ган: «Сначала слова Морриса бьют молотком по голове, вызывая отвращение и гнев. Потом закрадывается подозрение: а что, если он прав?». Юваль Явне, Иерусалим: «Всякое национально-освободительное движение прибегает к террору. Так действовала Ирландская революционная армия, и точно так же поступали сионисты в борьбе с арабами и англичанами до образования государства». Д-р Хагай Рам, Беэр-Шева: «Как коллега проф. Морриса, должен заявить, что он пользуется званием историка для изложения мнимосторических взглядов и расистских концепций, оскорбляющих палестинских студентов, которые составляют большинство на историческом факультете Беэр-шевского университета». Мохаммед Бараке, член израильского парламента от арабской партии: «Не вступая в спор с клеветническими заявлениями проф. Морриса, хочу лишь спросить, почему, собственно, его считали левым?» Адам Хеллер, Холон: «Так ли уж замечательно наше еврейское государство, чтобы его существование оправдывало те зверские деяния, о которых говорит Моррис в своем интервью? Сомневаюсь в этом, как сомневаюсь в том, что так уж замечательна и пресловутая американская демократия». Ори Ор, Кирьят-Тивон: «Сказанное Бени Моррисом лишь подтверждает мое давнее убеждение, что Бен-Гурион возглавлял обычную банду

преступников». Рони Вайс, Рамат-Ган: «Моррис неправ, обвиняя Арафата в провале Кемп-Дэвида. Вся вина лежит на Бараке, потребовавшем присоединения еврейских поселений к Израилю, что разделило бы палестинское государство на три кантона. Арафат был согласен на государство на всей территории Газы, Иудеи и Самарии со столицей в Восточном Иерусалиме, но Барак не хотел и слышать об этом». Элиот Вейс, Тель-Авив: «Пример истребления индейцев, приведенный Моррисом, лишний раз подтверждает расистский и ксенофобский характер американской политики».

Ни один серьезный арабист на интервью Морриса не отреагировал.

• ИДЕОЛОГИЯ «АЛЬ-КАЕДЫ» •

«Питающие исламский террор идеологические корни куда глубже, чем корни социальные и все иные. За этим террором стоит философия, которая выросла из учения египетского мыслителя Саида Кутба», – пишет в статье «Философ исламского террора» (*Нью-йорк таймс*, 23.3.2004) американский журналист Пол Берман, автор книги «Террор и либерализм». В попытках понять эту философию иногда обращаются к нашумевшей в свое время на Западе книге Кутба «Вехи», но это ошибка: «Вехи» – всего лишь пылкий, но довольно расплывчатый манифест террористического крыла исламского фундаментализма. Развернутое изложение философии и вытекающей из нее идеологии, стоящей за этим манифестом, содержится в 15-томном сочинении Кутба «В тени ислама», переведенном на английский язык еще в 70-х годах минувшего века, но, к сожалению, оставшемся почти незамеченным на Западе.

Кутб родился в 1906 году в Египте, получил традиционное мусульманское образование и окончил вполне секулярный Каирский колледж. В молодости писал романы, стихи и критические эссе, в которых исследователи отмечают определенное влияние западного индивидуализма и даже экзистенциализма. В 1940-е годы Кутб некоторое время жил в США, где получил вторую степень по педагогике в колледже штата Колорадо. По возвращении на родину быстро стал одним из интеллектуальных и духовных лидеров египетской фундаменталистской организации «Мусульманские братья», выступавшей за освобождение Египта (и всего мусульманского мира в целом) от западного колониализма. Определенная созвучность этих лозунгов насеровским идеям панарабской национальной революции привела «Мусульманских братьев» к временному сотрудничеству с Насером. Приход Насера к власти разочаровал исламистов, стратегической целью которых было возрождение теократического исламского халифата, и «Мусульманские братья» выступили против Насера. В 1954 году Кутб, вместе с другими лидерами организации, был арестован, затем выпущен на свободу, через некоторое время снова арестован и приговорен к 10 годам тюрьмы. В тюрьме, работая, в основном, по памяти, он создал

многоотомный философско-юридический комментарий «В тени Корана», последовательно излагающий философию и идеологию фундаменталистского исламизма. В 1964 году, по окончании срока, был освобожден, но спустя несколько месяцев арестован в третий раз, обвинен, вместе с другими лидерами «Мусульманских братьев», в попытке свержения и убийства Насера и в 1966 году повешен в Каире.

Брат Саида Кутба – Мохаммад, спасаясь от насеровских преследований, бежал в Саудовскую Аравию. Позже Мохаммад Кутб стал профессором исламских наук, и одним из его учеников был Усама Бин-Ладен. После создания организации «Аль-Каеда» ее главным идеологом стал бежавший из Египта доктор Айман аль-Завахири, один из учеников Саида Кутба и руководитель подпольной вооруженной группы «Египетский исламский джихад». Таким образом, идеологические корни «Аль-Каеды» по двум линиям восходят к учению Кутба. Этот факт заставляет внимательнее присмотреться к наследию египетского мыслителя.

Ислам, говорит Кутб в своем главном сочинении, это, прежде всего, образ жизни во всей ее полноте. Предписания, извлеченные из учения Пророка, должны составлять основу всей жизни мусульманина подобно разноцветным нитям, образуя ее каждодневную ткань. Иными словами, будучи жизнью, которая одухотворена Кораном, ислам – это неразрывное единство материального и духовного. Коран дарует человеку полноту и гармонию существования, это животворный оазис, в тени которого душа отдыхает от палящего солнца пустыни и обретает силы, необходимые для тяжелого повседневного существования. Жизнь по Корану – единственно истинная, одухотворенная, наполненная смыслом и целью жизнь. Возможность приобщиться к истинной жизни дарована Всевышним всему человечеству, но, к сожалению, солнце ислама пока не возшло над всем миром. Более того, сегодня сам ислам находится под угрозой. Поэтому его защита – священный долг каждого истинного мусульманина.

Опасность, грозящая исламу, является следствием жесточайшего духовно-го кризиса современности, поразившего прежде всего западное общество. Считается, что истоки роковой ошибки, приведшей к нынешнему тупику культуры, – еще в Древней Греции, философы которой впервые провозгласили тезис о всесиили разума. Верно, этот тезис, впоследствии усвоенный европейской культурой, частично повинен в нынешнем торжестве грубого материализма, власти технологии над духовностью, утрате гармонии и единения человека с природой, росте потребительства и упадке морали. Но первая и самая главная ошибка была допущена не в Афинах, а в Иерусалиме. Через пророка Моисея Всевышний дал евреям Закон, следование которому призвано было пронизать, одухотворить и освятить всю человеческую жизнь. Однако евреи превратили этот Закон в систему жестких и неодухотворенных ритуалов. Всевышний послал в мир второго пророка – Иисуса Христа, возвестившего необходимость возрождения оскотеневшего иудаизма, дабы вернуть ему духовное начало. Однако конфликт между учениками Христа и жестоковещными иудеями привел к тому, что апостолы Иисуса не сумели сохранить суть

нового учения. Логика борьбы с иудаизмом вынудила их чрезмерно акцентировать в христианстве именно его духовную сторону – в ущерб Закону. Если иудеи увидели в послании Всевышнего «только Закон», т. е. систему житейских и обрядовых действий, то христиане увидели в нем «только Дух», т. е. веру. Для иудея спасение от Божественного гнева состояло в обрядовом, бездумном выполнении Закона, для спасения христианина достаточно горчичного зернышка веры. Так возник трагический разрыв между верой и повседневной жизнью, между существованием человека в Законе и его существованием в Духе, между реальной и духовной жизнью индивидуума, выраженный во фразе: «Богу Богово, кесарю кесарево», – которую апостолы приписали Христу. Зародившаяся в лоне христианства европейская культура оказалась изначально разорванной на секулярную и сакральную, и этот разрыв был закреплён чередой решений первых христианских соборов, тоже превративших Божественное учение в набор жестких догм, только на сей раз духовного плана.

Постепенное расширение зияющего разрыва между секулярным и сакральным привело к тому, что западная культура стала бездуховной; наука, оторванная от религиозно упорядоченной жизни, стала противостоять религии; мысль пришла в разлад с верой; естественная тяга к познанию вошла в конфликт с естественной тягой к Богу. Конечным итогом этого рокового расхождения стало так называемое «отделение религии от государства», что означало окончательную утрату человеком целостности бытия. Христианский Запад оказался в состоянии «скрытой шизофрении». Ее проявления очевидны. «Освобожденная» от духовности наука порождает технологию, которая наделяет людей могучими средствами для достижения своих материальных целей, но лишает их целей духовных. Западными людьми владеет ощущение бессцельности существования. Их жизнь состоит лишь в непрерывной погоне за благами и удовольствиями. Но дело не ограничивается Западом. Сегодня эта скрытая шизофрения стала угрожать всему человечеству. Пользуясь своим научно-технологическим и экономическим могуществом, христианский Запад насильственно насаждает во всем мире бездуховность, бессцельность и разорванность бытия. Единственная преграда на пути этого ложного бытия – ислам. Поэтому ислам для Запада – главный и смертельный враг. Подобно крестоносцам, нынешний Запад пытается уничтожить ислам с помощью своих армий и своих союзников – прежде всего, евреев. Евреи – извечные противники ислама и не могут быть иными, потому что ислам возрождает истинный смысл Божественного Откровения и тем самым подрывает претензии евреев на единоличное владение этим смыслом. Пособником христиан в борьбе с исламом являются также те мусульмане, которые заражены западной «шизофренией» и тоже тяготеют к отделению сакрального и светского, ислама от жизни. Эта антиисламская коалиция выступает сегодня в новый крестовый поход против ислама.

Борьба между либеральным Западом и исламским миром – это не борьба за территории, экономические ресурсы или мировую гегемонию. Конфликт является не политическим, а идеологическим, мировоззренческим, духовным. Подлинная борьба идет из-за ислама, ставка в ней – религия, точнее – челове-

ческая душа. Идет всемирная, историческая борьба за душу человека. Уничтожение ислама будет означать утрату последней надежды человечества, торжество его откроет человечеству путь к истинной жизни. Христианские крестоносцы и еврей-сионисты хотят уничтожить ислам, чтобы, лишив людей последней надежды, окончательно завладеть их душами и умами. Либеральный Запад пытается низвести ислам до уровня ритуала и личного верования, ограничить и затем свести на нет его одухотворяющее влияние на всю жизнь человека. Речь идет о попытке фактического уничтожения мусульманской религии и замены ее секулярными концепциями с их собственными ценностями, институтами и целями. Секулярные реформисты из числа самих мусульман (вроде Насера или Кемаля Ататюрка) помогают в этом Западу.

Объединенному натиску извне и изнутри подлинные исламисты должны объявить священную войну («джихад»). Это главная задача молодого исламистского авангарда. Конечной целью этого авангарда должна стать ликвидация разрыва между секулярным и сакральным, восстановление полноты жизни в исламе, искоренение секулярных законов, установленных людьми для людей, и восстановление власти Божественного Закона (шариата) во всех сферах человеческой жизни. Это позволит окончательно освободить человека от подчинения другому человеку. Радостное и добровольное исполнение Божественного Закона, наполняющее жизнь глубоким смыслом и духовностью, будет означать полную и окончательную свободу человека и возрождение его человеческого достоинства. Человечество вернется к идеалу, к естественному закону Бытия. Закон, свобода, человечность, справедливость и духовность вновь сольются в Божественном единстве. Ислам станет образом жизни всех людей, станет самой их жизнью. Они, наконец, обретут истинное счастье, ибо жизнь «в тени Корана» – это высшее благо. В борьбе за это будущее могут погибнуть многие из «авангарда». Но о жизни и смерти нельзя судить по одним лишь внешним приметам. Смерть погибших за дело Всевышнего дает новый импульс борьбе, они и после смерти остаются активной силой, формирующей жизнь, и в этом смысле они – вечно живые.

Тем на Западе, заключает Пол Берман, кто удивляется фанатизму образованных и состоятельных террористов, хладнокровно нацеливших самолеты на здания Всемирного торгового центра, следует попытаться представить себе духовный мир этих исламистов, которые предельно остро сознают, что участвуют в грандиозной исторической битве за судьбу человечества, за его душу. У этих людей есть своя философия, во имя которой они готовы на смерть. Эта философия поднимает глубокие и важные проблемы бытия. Может ли Запад противопоставить им равную заинтересованность в этих серьезных проблемах? Философию Саида Кутба можно одолеть лишь на философском же уровне, в противном случае Запад может выиграть сражение, но проиграть войну.



• ЛИБЕРАЛИЗМ В ЭПОХУ ТЕРРОРА •

Либерализм добился триумфа в современных западных обществах, с их принципами демократии, индивидуализма и человеческих прав. Но именно в силу этого повсеместного триумфа события 11 сентября оказались такими травматическими для западных либералов. «Эти события, – пишет Эдвард Ротштейн в статье "Левые переживают тяжелые времена в эпоху террора" (*Мэйнстрим, март 2004 года*), – заново поставили вопрос об универсальности либеральной идеи и потребовали бескомпромиссного анализа основных концепций и принципов либерализма. Либерализм оказался перед требованием нового согласования с реальностью». Эдмунд Бурке некогда писал, что «политика должна быть приспособлена не столько к человеческому разуму, сколько к человеческой природе, в которой разум составляет только часть, и притом не самую большую». Это требование относится и к политическим идеям, прежде всего – к западному либерализму, апеллирующему к человеческому разуму.

«Извлекли ли западные, в частности – американские, левые либералы должный урок из этих событий? Осознали ли они необходимость пересмотра своих взглядов?» – продолжает тему Майкл Вальцер в статье «Может ли существовать честная левая?» (*Диссент, март 2004 года*). В американских леворадикальных кругах ни война в Афганистане, ни война в Ираке не были восприняты как справедливые или даже попросту необходимые. Вступление Америки в войну обуславливалось требованием предварительного доказательства виновности талибанов, «Аль-Каеды» или Саддама либо получением Соединенными Штатами одобрения ООН. Неоднократно выдвигалось условие, что война не должна сопровождаться гибелью гражданского населения. Некоторые левые из академической среды занимались скрупулезным сравнением числа погибших в Афганистане и в Ираке с цифрой погибших 11 сентября, словно любое превышение этой цифры лишает силовые акции США легитимности. Это отрицание левыми фундаментального морального различия между преднамеренным и непреднамеренным убийством напоминает слова историка Питера Пульцера: «Когда военным преступлением объявляется гибель каждого гражданского лица, само понятие военного преступления теряет смысл. Когда геноцидом называется каждая бомбежка или выселение жителей деревни, становится невозможным распознать истинный геноцид. Когда Освенцим везде, его нет нигде».

Принципиальная неспособность левых либералов честно реагировать на события рождает тяжкие сомнения: может ли вообще существовать «честная левая» в единственной сверхдержаве? Эмоциональные причины «неправедного негодования» левых вполне очевидны. Это, несомненно, подспудное чувство вины, порожденное комфортной жизнью в США; озлобление, накопившееся в течение многих бесплодных лет пребывания в оппозиции; самоненавистничество, вызванное стыдом за политику своей

страны. Однако существуют и более глубокие причины подобного отношения левых радикалов к реальности. Первой из таковых следует считать неизжитую марксистскую идеологию. Левые либералы все еще не избавились от вульгарного марксистского деления мира только на угнетенных и угнетателей. Их главная ошибка в том, что они не видят никаких иных причин конфликтов, кроме классово-экономического неравенства людей. Такой подход мешает левым либералам осознать, что корни террора могут лежать также в плоскости глубинных религиозных и мировоззренческих различий. В представлении марксистствующих либералов, религия – всего лишь «форма», в которой выражается оправданная ненависть угнетенных и обездоленных. В лучшем случае некоторые левые говорят об «Аль-Каеде» или талибанах как о «клерикальных фашистах». Однако в действительности исламский радикализм – это не фашизм, равно как исламский террор – во все не война против низшей расы или иной нации. Это нечто куда более глубокое. «Аль-Каеда» не защищает интересы обездоленных. Она ведет священную войну против «неверных». Левые радикалы не понимают мировоззренческой глубины нынешнего противостояния. В их представлении, всякая группа, объявившая войну имперской державе, автоматически является выразителем политических или экономических интересов обездоленных людей.

Другая причина леволиберальной слепоты в том, что многие левые интеллектуалы в Америке давно уже живут в собственной стране как внутренние эмигранты, не отождествляя себя со своими согражданами. Они лишены чувства солидарности с ними, истолковывая малейший намек на патриотизм как политическую некорректность. Отсюда едва ли не отсутствие простой человеческой, эмоциональной реакции на 11 сентября. Их реакция на это событие свидетельствует о специфическом равнодушии к проблемам безопасности и судьбам своих сограждан. С точки зрения левых радикалов, защита граждан страны – исключительно дело властей. Левые видят свою задачу в том, чтобы всегда находиться в оппозиции властям, защищая от их посягательств гражданские права и свободы. Они не осознают, что право граждан на свободу должно быть соотносено с их правом на безопасность. Левые готовы бороться с любым ограничением свободы, усматривая в таком угрозу авторитаризма, но одновременно отказываются от ответственности за жизнь и безопасность людей. Не беря на себя эту ответственность, левые радикалы еще более отчуждают себя от общества, свободы и права которого они берутся защищать.

Моральным оправданием поведения левых радикалов является их «сочувствие слабому». Их нравственная аксиома гласит, что, живя в самой богатой и сильной стране мира, нельзя критиковать людей, живущих намного беднее и хуже. С тех самых времен, когда левые радикалы вычитали в марксизме, что мир делится на угнетателей и угнетенных, Новая левая считает своим долгом всегда и при всех обстоятельствах быть на стороне последних. Солидарность со слабыми – самый мощный импульс левой поли-

тики. Однако такое представление об обязательной солидарности со «слабыми» не сопровождается у левых радикалов пониманием права и даже необходимости критиковать «слабых», когда последние действуют вразрез с принципами гуманизма и морали – например, убивают невинных людей. Левый радикализм сартровского толка заранее отпускает «слабым» все их грехи.

Можно ли выстроить честную левую позицию? – спрашивает Вальцер. Прежде всего, для этого нужно признать, что материальные интересы не исчерпывают круг мотивов человеческого поведения. Поведение людей, в том числе и террористов, не объясняется только социальными или экономическими интересами. Прimitивно видеть во всем «погоню за нефтью» или стремление к «равенству в благах и правах». И вообще, следует быть осмотрительнее в желании объяснить всё, исходя только из собственного понимания мира. Людям, апеллирующим к разуму, надлежит быть поистине открытыми и к иным толкованиям. Столкновение с исламским радикализмом и другими разновидностями политизированной религии показывает, что острейшие конфликты могут питаться религиозными причинами и быть даже более непримиримыми, чем требование перераспределения материальных благ.

Чем более левые радикалы будут замыкаться в отчужденности от своих сограждан и чем озлобленней они будут в результате этого становиться, тем слабее будет их общественная поддержка. После 11 сентября от честных левых требуется прежде всего солидарность со своими согражданами. Можно оставаться сколь угодно критичными к политике властей, но нельзя забывать свою ответственность за людей, с которыми делишь общую судьбу. Честные левые должны отказаться от привычки во всем винить свою страну. Не все в мире плохо по вине США. Левые хорошо рассуждают о справедливом распределении богатств, но они плохо разбираются в справедливом распределении заслуг и вины. В XX веке Америка вела разные войны – справедливые и несправедливые, но левые американские радикалы всегда были против всех этих войн, без разбора. Пора начать различать. Пора перестать во всем винить своих сограждан. Мир, включая страны третьего мира, полон ненависти, жестокости и коррупции, и в этом во многом повинны правители (хотя и не только) этих стран. Мы вправе обвинять других тоже; более того – только обвиняя подлинных виновников, можно завоевать подлинных соратников. За ценности либерализма и демократии нужно бороться везде, не только у себя дома.



• ДОСЬЕ FAREWELL •

«Известно, что у триумфальных разведопераций тысячи отцов, а провалы разведки – сироты. Перед вами – неизвестные страницы "Досье Farewell". Операция по компьютерному саботажу, осуществленная скромным экономистом Гасом Вайссом, привела к мощнейшему взрыву в Сибири и способствовала победе Запада в холодной войне с СССР» – так начинает свою сенсационную статью в газете «Нью-Йорк таймс» (февраль 2004) известный обозреватель Вильям Сафир. Статья эта была перепечатана многими газетами мира и вызвала шквал возмущенных откликов в России. Как сообщает Сафир, в начале 1974 года, в разгар так называемой «разрядки», Вайсс, работавший в администрации президента Никсона, доложил начальству, что советская разведка проявляет повышенную активность в сфере кражи западных технологий, в первую очередь – компьютерных. Никсон в ярости наложил запрет на экспорт в СССР американских компьютеров и программного обеспечения. Это затормозило развитие советской экономики. Позже, когда в СССР, с помощью ФРГ и Великобритании, начали строить газопровод Сибирь–Европа, американские спецслужбы вновь забеспокоились. Поставки советского газа в Европу позволяли Кремлю держать руку на клапане, питавшем европейскую экономику, и вдобавок давали бы Советам ежегодно 8 млрд долларов за поставку газа, что, в свою очередь, позволяло им форсировать реализацию ракетных и космических программ.

Тогдашний президент Франции Миттеран, выступавший против этого проекта и участия в нем немецких и британских союзников, предпринял решительный шаг. На совещании западных лидеров в Оттаве в июле 1981 года он сообщил американскому президенту Рейгану, что в распоряжении французской разведки имеется список западных технологических новинок, которые научно-технический отдел разведслужбы СССР запланировал тайно приобрести или похитить. Этот список передал французам полковник КГБ Владимир Ветров (которому была дана агентурная кличка Farewell). Многие цели, намеченные в этом списке, к тому времени были уже достигнуты, и это позволило Советам в конце 70-х годов несколько сократить научно-техническое отставание от Запада. По указанию Рейгана, тогдашний директор ЦРУ Вильям Кейси поручил своим сотрудникам разработать план нейтрализации советских намерений. Именно тогда Гас Вайсс разработал и предложил Кейси хитроумный план, согласно которому американцам следовало не только не препятствовать, но, напротив, – помогать России в приобретении интересующего ее компьютерного оборудования, но при этом оснастить это оборудование такими программами и чипами, которые со временем пришли бы в негодность, затормозив или вообще сорвав осуществление советских проектов. Одновременно в информацию о технологиях американских разведывательных самолетов и системы космической обороны, которую намеревалась заполучить Москва, должны быть внедрены ошибки, которые направят советских разработчиков по ложному пути.

Одно из первых мест в советском списке приобретений на Западе занимало компьютерное оборудование для управления работой уже упомянутого сибирского газопровода. Когда официальная советская заявка на это оборудование была отклонена американцами, КГБ попытался с помощью своего тайного агента в Канаде похитить соответствующие программы в одной из канадских фирм. Узнав об этом из полученных от Ветрова сведений, американцы встроили в эти программы так называемого «троянского коня». Как рассказывает бывший министр ВВС США Томас Рид в вышедшей недавно книге «Над бездной», «программное обеспечение управления насосами, турбинами и клапанами трубопровода было настроено так, чтобы давать сбои. При этом оно задавало такую скорость прокачки и такие параметры работы клапанов, которые привели бы к возникновению давления, намного превосходящего предел прочности стыков и сварных швов. Результатом этой операции стал самый мощный неядерный взрыв и пожар, когда-либо зарегистрированные спутниками из космоса».

Мощность взрыва, прогремевшего в сибирской тайге в июне 1982 года, оценивалась в 3 килотонны ТНТ. Однако он произошел вдали от населенных пунктов и не повлек за собой человеческих жертв. ЦРУ хранило в тайне эту операцию, а КГБ тоже не торопился признаваться в своем провале. Но с этого момента вся приобретенная или похищенная американская программная технология оказалась под подозрением, и это существенно затормозило работу советских инженеров и ученых. «Ветрова арестовали и казнили в 1983 году, — заканчивает свою статью в "Нью-Йорк таймс" Вильям Сафир. — Год спустя Кейси приказал ликвидировать сеть советского промышленного шпионажа в Америке. "Досье Farewell" было закрыто. Гас Вайсс умер несколько месяцев назад. Сегодня пришло время вспомнить, что порой нашим джеймсам бондам удавались серьезные дела».

Пресс-служба российской ФСБ в ответ на соответствующий запрос сообщила, что ей ничего не известно о сведениях, сообщенных в статье Сафира. Вместе с тем в российском (и частично западном) Интернете появились многочисленные комментарии, которые ставят под сомнение и даже решительно отрицают правдоподобие этих сведений. Как пишет один из американских комментаторов, «взрыв сибирского газопровода произошел не в 1982, а в 1989 году, в Башкирии, и привел к огромным (400 человек) жертвам, поскольку пламя охватило два пассажирских поезда, проходивших в это время вблизи. Кроме того, в описываемое Сафиром время компьютерное управление промышленными процессами было большой новинкой даже в США, что уж говорить об СССР, где такое управление осуществлялось пневматическими системами. Даже если удалось бы сбить русским программную систему с "троянским конем", конструкторы советского газопровода должны были потребовать доступа к коду, чтобы самим оценить его качество и надежность, а если бы почему-либо не смогли это сделать, то, скорее всего, встроили бы в систему свои противоаварийные устройства». С иных позиций, но не менее категорически отвергает версию Сафира выступивший в российской Сети Фатех Вергасов, ко-

торый в описываемые годы работал главным диспетчером штаба строительства газопроводов в Западной Сибири. «В то время на газопроводах никакой "софт" (программное управление) не применялся, – пишет Вергасов. – Да, импортное оборудование часто имело исполнительные сервомеханизмы, но они никогда не задействовались в единую систему телемеханики из-за обычной нашей безалаберности и отсталости. А, кроме того, в газопроводе давление резко поднять вообще нельзя – для этого нужно разогнать компрессор, а у него есть механический предельный регулятор оборотов. Да к тому же все компрессорные станции имеют защищающие клапаны-отсекатели – случись хоть атомный взрыв, он снесет только наземную обвязку газовой скважины, будет возгорание, но через пару часов все потухнет».

Еще один автор американского Интернета выражает уверенность, что «Сафир ничего не выдумал – ему попросту подсунули фальшивую информацию. И сделали это сотрудники Белого дома, чтобы отвлечь внимание общественности от провала американской разведки в Ираке. "Троянский конь", заложенный в "чипе", вряд ли мог привести к взрыву газопровода, потому что для создания такого "чипа" необходимо было сначала знать программу, управляющую газопроводом, а такую программу наверняка писали не американцы, а сами русские, исходя из конкретных данных своего газопровода. К тому же взрыв газопровода был бы рискованной затеей, потому что мог спровоцировать Кремль на возмездие». Несколько российских коллег этого американского автора выражают свое мнение о статье Сафира куда более энергичным образом: «Статья похожа на лажу...»; «Полная брехня... Я сам своими ручками крутил задвижки этих клапанов, а компьютеры если там и были, то болгарские "Искры" (восьмибитные калькуляторы) в расчетных отделах бухгалтерии», «Ребята, из Zdnet.ru, кончайте вы переводить всяку Хренотень. В преддверии выборов президента Америки, который своим духовным отцом называет Рони Рейгана, вы еще и не такую пропаганду сможете увидеть»; «В прошлом году заменял древнюю машину в одном из подразделений ТАСС в одной из бывших советских республик, так главный инженер сказал, что эту машину ставили импортные спецы под надзором наших спецов и ребят из ГБ, операция была ихняя, а прикладной софт писали наши, так что сомневаюсь, чтоб в таком серьезном месте, как магистральный газопровод, все отдали бы на откуп импортным господам»; «Больше всего нравится обыденность утверждения о том, что лишь Союз крал у Штатов технологии. На не критично настроенную личность это прекрасно действует: "Как, а разве вы не знали? Так ведь это общеизвестно..." При этом, очевидно по природной скромности, умалчивают о том, что этот процесс шел в обе стороны, и еще неизвестно, кто у кого крал больше технологий. Я уже молчу о том, что после "перестройки" и "единения с миром" западники не сперли из бывшего Советского Союза только самые сверхсекретные технологии или те, которые уж очень глубоко в архивах лежали». И кто-то, с горьким вздохом, завершает: «Совершенно согласен. Но чего хотеть от моральных недотеп типа нашего Президента и свежееизбираемого премьера?

Они по виду производят впечатление пещерных дикарей. Чем дольше живу при Путине, тем больше это надоедает».

Впрочем, среди комментариев появились и другие. «Слышал про интересную историю, – пишет один из российских комментаторов. – Для какого-то завода купили большие ЭВМ, с соответствующей гарантией и поддержкой. Потом года через два они чего-то заломались. Начали звонить туда – сказали, "чтоб ничего не трогали, мы сами приедем, починим". Но у наших инженеров руки чесались, как всегда, а светлые головы занять нечем было. Полезли. Разобрались, в чем дело. Оказалось... в розетках. Были заложены таймеры. Программировались на отказ через два года, а потом еще через полгода на вывод аппаратуры из строя. Может, байка, но поставка мощной вычислительной техники США контролируется правительством и, наверняка, разведкой и Пентагоном. Особенно во времена холодной войны»; «В прошлом году ходила байка, что ФСБ, изучив исходники Windows, которые Майкрософт поставил в рамках какого-то соглашения, нашли код, который в ЦРУ стучит. И типа скандал удалось замять после того, как Майкрософт согласился в русской версии поменять этот код на код, который будет в ФСБ стучать».

Дополнительные сведения об истории «Досье Farewell» сообщил сам Гас Вайсс, который в 1996 году опубликовал свои воспоминания на сайте ЦРУ. «Во время холодной войны, – писал Вайсс, – советская разведка предпринимала энергичные и успешные тайные действия по приобретению западной технической и научной информации. Американское правительство не подозревало об этой активности вплоть до 1981 года, когда французская разведка завербовала полковника Владимира Ветрова, по кличке Farewell, который сфотографировал и передал французам свыше 4000 документов КГБ по этой программе... Оказалось, что еще в 1970 году Совет Министров СССР и ЦК создали при первом отделе Главного управления КГБ новое подразделение – "Директорат Т" и его оперативный отдел "Линия Х" – для добычи информации о западной технологии. Начиная с 1972 года делегации советских специалистов стали прибывать в США в рамках политики "разрядки" для посещения различных фирм и лабораторий. "Линия Х" внедряла в эти делегации своих людей – так, относительно трети состава одной из сельскохозяйственных делегаций, состоявшей из 100 человек, было известно, что это офицеры советской разведки. Во время посещения фирмы «Боинг» один из советских гостей прикрепил к подошвам ботинок клейкую пленку, чтобы собрать на нее образцы используемых фирмой металлов. Использовались все возможные методы, в том числе и вполне легальные, предусмотренные соглашениями о "разрядке". Наблюдая за этой деятельностью, некоторые американские чины заподозрили наличие у русских общего оперативного плана, нацеленного на добывание западных "ноу-хау". Однако прямых доказательств получить не удавалось. Только в 1981 году Миттеран посвятил Рейгана в тайну Владимира Ветрова. 53-летний полковник КГБ Ветров занимался технической оценкой материалов, собранных "Директоратом Т". Должность его была идеальной для сбора необходимой Западу информации. Чем он и занимался, движимый идеологическими мотивами. Он пере-

дал французам список советских организаций, занимавшихся сбором научно-технической информации, а также отчеты "Директората Т" о целях разработанной ими программы и достигнутых результатах. Равным образом Ветров сообщил имена более двухсот офицеров КГБ, приписанных к десяти резидентурам на Западе. Эти материалы подтвердили наши худшие опасения: наша наука помогала советскому военно-промышленному комплексу. "Директорат Т" добился реализации примерно 75% своих целей. На основании этих данных мы осознали, что проблема приобретения Москвой американских технологий является первостепенной для обеспечения нашей безопасности.

В январе 1981 года я предложил директору ЦРУ Вильяму Кейси свой проект "усовершенствования" поставляемой Советам технологии, так чтобы она выглядела подлинной, но впоследствии начинала барахлить. Даже если бы русские раскрыли этот план, они, при их подозрительности, скорее всего, вынуждены были бы отказаться от использования всего, что они у нас заполучали. Таким образом, мы оказались бы в уникальной для спецслужб ситуации, когда наша операция оказалась бы успешной, даже в случае ее провала... Рейган с восторгом принял этот план. 17 февраля 1983 года он подписал Директиву 17 "Об отношениях США и СССР", которая формулировала цели и стратегию ограничения советской экспансии, в том числе в сферах, затрагивавших национальные интересы США, и в частности – в вопросе о продаже Советам мощных компьютеров и компьютерных программ. Вскоре Кейси информировал НАТО, результатом чего стала высылка из Европы свыше 200 агентов "Директората Т". В результате этих действий программа "Директората" была сорвана, и он никогда так и не оправился от этого удара... Но примерно в это же время Ветров стал жертвой трагической случайности. Во время встречи в московском парке со своим коллегой из КГБ и сопровождавшей его женщиной он, по каким-то невыясненным до сих пор причинам, вступил с ними в схватку, ударил ножом и убил офицера и ранил женщину. Его арестовали. В ходе следствия были вскрыты его связи с Западом, и в 1983 году он был казнен. Позднее, когда на Западе появились слухи о существовании "Досье Farewell", Миттеран решил, что Ветров был подсадной уткой, специально подосланной ЦРУ, чтобы проверить, передаст ли он Рейгану материалы, полученные из России, и в гневе уволил своего шефа разведки Ива Бонне. Итог всей этой истории подвел в 1994 году бывший советник Горбачева академик Р. Сагдеев, заявивший, что российская гражданская и военная технология отстает от западной на 15 лет, и прежде всего – из-за отсутствия отечественных суперкомпьютеров. 15 лет – это примерно тот срок, который прошел со времени рейгановского запрета на поставку СССР такой технологии».

Любопытно, что в своих воспоминаниях Гас Вайсс ни словом не обмолвился о взрыве на сибирском газопроводе, которому посвятил свою сенсационную статью Вильям Сафир.





Питер Марш

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

В данной статье я намерен затронуть три темы. Прежде всего, меня интересует вопрос о том, куда нас может завести озабоченность (кое-кто сказал бы «одержимость») вопросами диеты, здоровья и правильного образа жизни, каковая характеризует современное западное общество – в особенности в Англии и США. Приверженность этим узко трактуемым концепциям «здоровья» привела к возникновению новой касты отверженных – не сумевших приспособить свою жизнь к каталогу рецептов того, что «хорошо для нас», то бишь тех, кто, пренебрегая советами нынешних самозванных наставников, не отказался от «вредных привычек».

Во-вторых, я намерен напомнить, что у сегодняшней моды в вопросах здоровья есть кое-какие малосимпатичные исторические предшественники. Возможно, что силы, питающие корни явления, которое я называю «здоровизмом», куда менее безвредны, чем мы склонны полагать.

В-третьих, я хочу показать, что ряд тенденций, наличествующих в нашей культуре, противоречит тому, что мы считаем нашим наследием. Идея об обязанности стремиться к устранению всякого риска для нашей жизни и всего вредного для нашего тела, избегая того, что ранее считалось удовольствием или забавой, возможно, несостоятельна, ибо навязывает образ жизни, для которого наш сформировавшийся в каменный век мозговой аппарат не предназначен.

Дабы избежать упреков в упрощенном, редукционистском или неодарвинистском подходе к пониманию условий человеческого существования, мне придется упомянуть о моем понимании политических тенденций в западном мире. В Лондонском исследовательском центре социальных проблем мы пытаемся выявить причину едва ли не полного исчезновения в последние годы в кругах «слева от центра» интереса к защите демократических свобод – то есть подлинному либерализму. Идеи защиты этих свобод в значительной мере узурпированы политиками правого толка – особенно в США, – тогда как левые все заметнее движутся в направлении принуждения к определенному образу жизни и тому, что вполне точно пе-

редается понятием «фашизм фокус-групп». То бишь, если фокус-группы мистера Блэра полагают, что нечто «плохо», то давайте запретим это, для блага народа. Это нечто новенькое в понимании демократии.

Похоже, что мы далеко отошли от Джона Стюарта Милля, сказавшего в эссе «О свободе»: «Никому – будь то один человек или сколь угодно много личностей – не дано право говорить другому человеческому существу зрелого возраста, что он не должен делать со своей жизнью ради собственного благополучия то, что он – по собственному выбору – делает с ней. Все ошибки, которые он, вероятно, совершит, несмотря на все советы и предупреждения, куда менее значимы, нежели зло, проистекающее из позволения другим принуждать его делать то, что им кажется благом для него».

По-моему, в этой концепции либерализма нет ничего несовместимого с понятием о справедливом и небезразличном к социальным проблемам обществе, которое проповедует перераспределение богатств и помощь обездоленным.

Согласно всем объективным критериям, жизнь в западных странах в наш век самая безопасная за всю историю человечества. Мы здоровее, чем кто-либо из наших предшественников. В среднем мы живем значительно дольше, чем наши ближайшие предшественники. Сегодня детская смертность составляет менее 6 случаев на 1000 новорожденных. Всего 100 лет назад эта цифра равнялась 150. Даже в конце 50-х годов минувшего века в первый год жизни умирало вчетверо больше детей, чем сейчас. Наша пища – вопреки утверждениям противников «помоечных харчей забега-ловок» – не только куда питательней, чем таковая наших предков, но и содержит меньше потенциально опасных компонентов и бактерий.

И при всем том мы никогда в прошлом так не боялись окружающего мира, как сейчас. За отсутствием реальных опасностей, мы изобретаем несуществующие, порой довольно фантастические.

Казалось бы, кому-кому, а уж самым состоятельным слоям нашего общества, более всего защищенным от всяческих опасностей, не о чем особенно беспокоиться, но именно они-то и наиболее подвержены неврозам нашего времени. Они страшатся внезапной смерти, если съедят за обедом нечто, не специально, тщательнейшим образом отобранное и приготовленное, они впадают в панику, если наберут полфунта «лишнего» веса в результате неспособности дотошно соблюсти все пункты рекомендаций своего наставника в фитнес-клубе. Мы дрожим от ужаса при мысли, чем нашим детям грозят контакты с незнакомцами – вопреки факту, что большая часть сексуальных преступлений против детей случается в семье. В состоянии такого рода постоянной паники и раздражительности мы начали утрачивать доверие ко всему, что отдает наукой, предпочитаем верить в гомеопатию и прочие виды неконвенциональной медицины. В то же время, к примеру, начитавшись безответственных рекламных статей, мы не позволяем, чтобы нашим детям делали прививку от кори.

Наше бегство из сферы рациональности проявляется и в других видах

панических состояний, охватывающих нас. Например, адепты здорового образа жизни выступают против развития биотехнологии, которая дает реальную надежду ликвидировать голод в менее счастливых, чем наша, частях планеты. Выступают против из опасений, что мы породим чудовище Франкенштейна – вопреки факту, что американцы потребляют продукты, произведенные биотехнологическим путем, более десяти лет – и без каких-либо негативных для здоровья последствий. Активные борцы с биотехнологией, организуя международные кампании протеста, пользуются для этого мобильными телефонами, вопреки своим же утверждениям, что таковые крайне вредны для наших мозгов – опять же при отсутствии каких-либо реальных доказательств оправданности этих страхов. Это та же разновидность публички, что некогда утверждала, что если поезд идет со скоростью более 30 миль в час, то пассажиры угорят от паровозного дыма, и что электролампы излучают опасное для жизни электричество. Проблема в том, что многие верят им.

Именно в контексте этой пострационалистической эры концепция «корректного образа жизни», питающаяся в значительной мере нарцисстическими идеалами здоровья, начала формировать направление жизни людей способами, которые некогда характеризовали власть религии. Мы теперь следуем фальшивым обещаниям профессиональных проповедников «здоровизма», понуждающих нас верить, что если мы ведем «правильную» жизнь, то будем жить долго-долго и при этом красота наша не увянет.

Это сравнение погони за здоровьем с набожностью не раз использовалось в работах ряда аналитиков, в том числе, например, австралийского ученого Деборы Лаптон. В книге «Императив здоровья» она пишет: «В нашу секулярную эпоху одержимость диетой и другими догмами "здорового образа жизни" стала альтернативой молитве и праведной жизни, стала средством обретения смысла бытия. "Здоровость" заменила "набожность" в качестве мерки совершенства и правильной жизни. Таким образом, проблема общественного здоровья и пропаганда "правильного образа жизни" могут рассматриваться как вклад в моральное регулирование общества».

Новая религия здоровья, помогая многим в нашем обществе обрести чувство моральной значимости, в то же время предоставляет весомые средства давления на отщепенцев – новых отверженных в мире, где концепция «нулевой терпимости» стала каким-то образом «хорошей вещью». (Одно лишь приятие этого термина достаточно, на мой взгляд, иллюстрирует то, до какой степени мы утратили моральные основы бытия.) Те, кто не хочет подчиниться «принудительному оздоровлению» (термин чешского врача Петра Скрабанека), упорствуя в приверженности своим «вредным привычкам», – новые изгои в нашем, все более исполненном страха и нетерпимости мире. Это, по определению практикующего в Восточном Лондоне семейного врача Майкла Фицпэтрика, угрожающая нам тирания здоровья.

Недавно опубликованная книга Майкла Фицпэтрика так и называется: «Тирания здоровья: врачи и регулирование образа жизни». Он работает в

больнице Хэрни, то бишь ежедневно контактирует с десятками больных. Среди которых большое число страдающих депрессией, живущих в страхе перед миром, навязывающим им нормы «здорового образа жизни». Он регулярно сталкивается с теми, кто вину за свои болезни возлагает только на себя, – теми, кого принудили поверить, что они больны лишь потому, что не сумели вести жизнь, которую им предписывает становящееся все более авторитарным правительство.

Вывод его прост: «Врачи должны прекратить читать нотации своим пациентам и посвятить себя их лечению». В этой связи он приводит цитату из книги микробиолога Рене Дубо «Чудо здоровья», опубликованной еще в 1960 году: «По словам одного мудрого доктора, существенная часть обязанностей врача это дать своим пациентам возможность продолжать делать то, что плохо для них, но при этом доставляет им удовольствие – умеренное курение, обжорство и любовь к выпивке».

Именно в этом, полагает Фицпэтрик, суть работы семейного врача, а не в том, чтобы стремиться к установленной государством цели – «просвещению в сфере правильного образа жизни». Отнюдь не отказывая в лечении тем, кто, предположительно, сам вредит своему здоровью. Его обязанность – быть врачом, а не проповедником.

Позиция Фицпэтрика, как и Скрабанека, который опасался, по его словам, «смерти гуманной медицины», напоминает нам выпад Бернарда Шоу против медиков. Выступая в 1909 году в Лондонском медицинско-юридическом обществе, он обвинил врачей в попрании гражданских прав, которое было бы немыслимо ни в какой иной сфере. В заключение он сказал: «... у врача не должно быть никакого права принуждать пациента к чему бы то ни было, даже ради блага самого пациента».

Большая часть медиков была шокирована позицией Шоу, хотя нашлись и такие, кто согласился с его мнением, что здоровье не может быть самоцелью. «Пользуйтесь своим здоровьем до предела, даже до полного износа его, – заявил Шоу. – Для этого оно и предназначено. Прежде чем умереть, истратьте все, что у вас есть».

Позиция Шоу совпадает с таковой русской поговорки. Если вам случится побывать в скромном офисе нашего Исследовательского центра в Оксфорде, вы увидите ее на плакате в прихожей: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет».

Не менее любопытно в этой связи и мнение Марка Твена, высказанное им в автобиографии: «Есть люди, которые начисто лишают себя всего аппетитно-съедобного, всякого спиртного и табачного, которое, так или иначе, обрело сомнительную репутацию. Они жертвуют этим ради здоровья. И все, что они получают в результате, – это здоровье. Очень странно. Это все равно, что истратить все свое состояние на покупку коровы, которая не дает молока».

Тот же Марк Твен советовал нам быть бдительными, читая книги о здоровье, поскольку: «Вы можете умереть из-за опечатки».

Спустя сотню лет мы, похоже, так и не усвоили эти мудрые и либеральные взгляды, несмотря на явные свидетельства негативных последствий «здоровизма» для индивидуума и общества. Если мы заглянем в еще более раннюю историю – во времена Французской революции, то нам откроются истоки тех явлений, против которых выступали Марк Твен, Бернард Шоу и многие другие.

Новый подход к проблемам общественного здоровья во Франции времен революции базировался на идее, что пропаганда «полезной диеты и правильного образа жизни» является важным инструментом обеспечения всеобъемлющего послушания французского народа. А посему, похоже, не было случайным совпадением то, что главой первого в Европе правительственного департамента общественного здоровья, учрежденного в 1798 году, был не кто иной, как доктор Гильотен, прославившийся в качестве изобретателя гильотины.

Комментируя этот исторический период, Петр Скрабанек заметил: «Парадоксально, что эпоха Просвещения, разрушившая фальшивую неоспоримость религиозных догматов и освободившая человека от предрассудков, в то же время выковала новые цепи для порабощения человека, трактуя его как машину, управляемую материалистическими и детерминистскими законами».

Уже в XVIII веке в некоторых европейских странах начали практиковаться различные виды принуждения в сфере здоровья. Например, в Германии в ряде медицинских журналов появился термин «Medizinalpolizei» (медицинская полиция), а позже – «Gesundheits-Polizei» (полиция здоровья). Исследователь истории медицины Джордж Розен считает, что концепция медицинской полиции была частью более масштабных политических сил, которые искали пути увеличения благосостояния буржуазии и аристократии, создав условия, при которых рабочие были бы достаточно пригодны для выполнения отведенной им роли полурабов.

Эта тенденция, по мнению ученого из Института истории медицины Поля Вейндлинга, оказалась чревата далеко идущими последствиями: «Медицина из свободной профессии, каковой она была провозглашена Германской Конфедерацией в 1869 году, стала чем-то другим – врач стал государственным чиновником, служащим не интересам конкретного пациента, а интересам общества и будущих поколений».

Эта конвергенция государственных и медицинских интересов нашла свое выражение и в Британии – в возникшем в начале XX века движении сторонников евгеники. Это движение тут же породило понятие «социальной гигиены», поскольку генетическая селекция не может обойтись без обеспечения норм санитарии, диеты, «правильного» образа жизни и заботы о детях. Если ранее плохое здоровье считалось личным невезением данного человека, теперь это стало (по крайней мере, частично) рассматриваться как следствие его дурных привычек.

Столь опасные философские тенденции оказались привлекательными

для реформистов медицинской сферы в значительной мере под давлением государства, которое накануне Первой мировой войны стремилось к улучшению здоровья нации. По мнению членов комиссии Комитета милосердия и медицины, «в данный период экономического спада» число «физически недоразвитых» бедняков стало неприемлемо большим, а потому необходимы радикальные меры для облегчения этого общественного бремени. Таким образом идеология сторонников евгеники обрела поддержку всего политического спектра – и левые, и правые, и «новые либералы» признавали легитимность государственного контроля над образом жизни всех граждан.

По мнению ряда историков, эти образцы конвергенции государства и врачебной профессии стали прологом политики жестких предписаний в сфере общественного здравоохранения и «правильного образа жизни» – этой сердцевины философии Третьего рейха. Параллели между современным «здоровизмом» и таковым в нацистской Германии столь разительны, что игнорировать их нельзя. Философия «*Gesundheit ist Pflicht*» («здоровье – это долг») с самого начала обрела формы, шокирующе напоминающие современные тенденции в медицине.

Скрытый смысл таких параллелей был выявлен нью-йоркским педиатром, профессором Х. Ханауске-Абелем в опубликованной в 1994 году в Британском медицинском журнале статье «О германской медицине и национал-социализме в 1930-х годах». После этого медицинские власти Германии лишили его лицензии на практику в пределах их страны. Впрочем, позже Верховный суд Германии вернул ему лицензию.

Что же так разгневало медицинское сообщество Германии? Прежде всего, основанный на анализе публикаций немецких медицинских журналов за 1933 год вывод Ханауске-Абеля о далеко зашедшем процессе конвергенции государства и медицины. В результате врачи уже не столько лечили пациентов, сколько навязывали им свое понимание здорового образа жизни.

«Всесторонний анализ ситуации в Германии в 1933 году может не только способствовать лучшему пониманию прошлого, но и помочь оценке настоящего и ближайшего будущего. Тенденции, реализующиеся в медицине и обществе в последнее десятилетие (в первую очередь, в Северной Америке и Европе), могут привести к опасной конвергенции политических, научных и экономических институций. Силы, стоящие за этими институциями, пока не носят столь демонического характера, как это было в Германии, но вектор их развития внушает известные опасения».

Впервые прочитав эту статью, я подумал, что автор, похоже, излишне драматизирует ситуацию. В любом случае, я не думаю, что медики и специалисты по здоровому образу жизни состоят в зловещем неонацистском заговоре. Но чем более я анализирую феномен нетерпимости нашего общества по отношению к тем, кто, как считается, стал рабом «вредных привычек», тем более он напоминает мне концепции «расовой гигиены», «те-

лесной чистоты» и обязанности соответствовать государственной концепции «правильного образа жизни». И это меня крайне беспокоит. Кстати, эпидемиолог Бристольского университета Джордж Дейви Смит полагает, что одна из причин того, почему многие немцы продолжают курить, явно игнорируя мощную антитабачную кампанию, это то, что данная кампания напоминает им времена нацизма. Для Гитлера табак был «генетическим ядом», и начатая по его личному наущению антитабачная кампания была напрямую связана с пропагандой превосходства арийской расы. Аналогичной была позиция Геббельса относительно кофе. И многие немцы все еще помнят об этом.

Равным образом разновидности конвергенции, аналогичные той, что имела место в нацистской Германии, очевидны в деятельности таких неправительственных институций, как Всемирная организация здоровья (ВОЗ), которая в последнее время особенно усиленно опекает развивающиеся страны (к примеру, в Мозамбике ВОЗ затеяла дорогостоящую кампанию о необходимости пользоваться в машине ремнями безопасности, хотя основной вид транспорта там – запряженные в повозку буйволы). Дебора Лаптон отмечает, что логика «здоровизма» ведет к тому, что здоровье становится самоцелью. Для ВОЗ понятие здоровья овеществилось до такой степени, что оно ею определяется как «состояние полного физического, умственного и социального благополучия». В этом определении мне слышатся зловещие нотки. Как сказал директор новозеландского Национального центра здоровья и этики Дэвид Сидхаус: «... в плюралистическом обществе ко всякому, претендующему на точное знание того, что такое достойная жизнь, следует относиться, по меньшей мере, с осторожностью».

Сидхаус считает, что само упоминание о «благополучии» должно быть исключено из списка целей, которые ставит перед собой ВОЗ. Не только потому, что само понятие благополучия слишком размыто для того, чтобы использовать его в качестве критерия эффективности хлопот в сфере здравоохранения, но и потому, что оно изрядно пахнет философией «мы знаем, что лучше всего для вас». Роберт Дауни (Пропаганда здоровья. Модели и ценности. Oxford: University Press, 1990), на основании текста ряда «библей» ВОЗ, которые используются сотрудниками этой организации для проповеди своих идей, продемонстрировал, что ВОЗ очень склонна к патерналистской позиции. Вовозцы подчеркивают, что «благополучие» – это чаще всего субъективное мнение индивидуума о своем физическом и душевном состоянии. При этом обычные смертные, в отличие от пропагандистов «здоровизма», подвластны иллюзиям относительно своего уровня благополучия. Вовозцы пишут: «Субъективное ощущение благополучия может быть ложным и может быть следствием влияний, которые вредоносны как для процветания индивида, так и для общества».

С этой точки зрения пышнотелая дама в Полинезии, которая очень уважаема благодаря своим объемам и весу, а посему живет долго и счастливо, на самом деле жертва иллюзии. Ее Индекс Массы Тела превышает отмет-

ку 30, каковая, согласно догме ВОЗ, является «объективным» показателем благополучия. То бишь эта леди «тучная», а посему ее надо «подвинуть» к обретению «нормальных» объемов, несмотря на то, что в результате она неизбежно утратит былую значимость в рамках полинезийской культуры, что, в свою очередь, чревато для ее жизни массой негативных последствий. Равным образом нет никаких весомых доказательств, что, похудев, она проживет дольше.

Для Сидхауса концепция «объективного» благополучия, которая является центральным для идеологии ВОЗ, – не более чем нагромождение предрассудков. Она всего лишь прикрытие, маскирующее истинные намерения пропагандистов «здоровизма».

В основе всех разновидностей «здоровизма» лежит намерение устранить риск из жизни людей. На первый взгляд намерение, яростно отстаиваемое пропагандистами «правильного образа жизни», вполне благое. Однако, как отмечают многие, и в том числе антрополог Мэри Дуглас, – концепция риска политизирована и нагружена моральным содержанием. Риск тут – секулярный эквивалент греха. Получается, что подвергать свое здоровье риску, когда доступны иные опции, – значит, совершать грех.

Определение понятия риска отдано в руки относительно небольшой элитистской группе (белые, состоятельные) – ученым и медицинским светилам. Большая часть их не курит, мало и редко пьет, беспорядочной половой жизни избегает. Они придерживаются обезжиренной диеты и регулярно посещают гимнастические клубы.

Группа риска – то есть курящие, пьющие, подверженные опасности заразиться болезнями, передающимися половым путем, поедающие жирную пищу и всякие соленья-сладости, избегающие регулярных физических упражнений, – все это бедняки, находящиеся на обочине жизни, рабочие, представители этнических меньшинств и т. п. Настаивая на необходимости изменить стиль жизни, проповедники «здоровизма» имеют в виду не столько себя, сколько других. В этом смысле они, в сущности, моралисты, навешивающие ярлык грешников на целые общественные группы.

Демонизация тех, кто готов рисковать, нагружена опознаваемой социальной и культурной функциями, каковые, по-моему, противоречат позитивным силам, лежащим в самой основе нашей эволюции. Мы достигли всех преимуществ жизни в безопасном и цивилизованном мире именно потому, что наши предки не боялись риска.

С точки зрения эволюционного процесса наши познавательные способности развились не в последние пару столетий, а формировались на протяжении миллионов лет.

Я, разумеется, не имею в виду, что на основании знания о прошлом можно определить, к чему следует стремиться сегодня и в будущем. Такого рода поверхностная аргументация свойственна многим сексистским, расистским и элитистским догмам. При всем том многое из заложенного в человеческой природе за миллионы лет эволюции никуда не делось.

И смею утверждать, что готовность к риску, ощущение полноты жизни и возбуждение, сопутствующие риску, все еще «завязаны» на управляющие нашей жизнью корковые структуры мозга. Мы можем пытаться регулировать склонность к риску, так же как мы регулируем столь же естественные стремления к сексу, доминированию и наслаждению. Но я не думаю, что нам удастся надолго продлить существование «безопасного» общества – того, в котором риск эквивалентен греху.

Когда наше общество становится слишком безопасным, мы испытываем потребность вернуть долю риска в нашу жизнь. Вспомните хотя бы о прыжках с мостов и башен. Только в контексте недавних перемен в жизни западных стран столь рискованные развлечения могли обрести такую притягательность – люди платят за то, чтобы низринуться с головокружительной высоты, дабы в последний момент увильнуть от смерти благодаря эластичному шнуру. Это красноречивый пример гомеостаза – в объективно безопасные времена мы склонны к безрассудству. Мы покупаем «более надежные» машины – большие, крепкие, с ремнями безопасности, воздушными подушками и автоматической системой тормозов. В результате мы (и особенно – мужчины) носимся как угорелые, меньше беспокоясь о возможности оказаться жертвой автокатастрофы.

Все это, по-моему, основано на нашем эволюционном наследии, по-нуждающем нас к обретению баланса между расслабляющим ощущением полной безопасности и парализующим страхом рискованных деяний. Так во время оно это побуждение заставляло первобытного человека выползти из своей пещеры – добыть пищу для своей семьи, чтобы обеспечить выживание своего рода.

Именно этому чувству баланса – существенному ингредиенту выживания и эволюции человеческого рода, тому самому ингредиенту, который столь часто проявляется в том, что ныне считается «вредными привычками», – сегодня грозит опасность утраты. Нам, я считаю, необходимы некоторые «вредные привычки», дабы сохранить нашу принадлежность к человеческому роду.

Что касается аргумента относительно здоровья, определяемого в терминах продолжительности жизни, то он тоже может оказаться несостоятельным. Число пенсионеров растет из года в год, что, конечно же, хорошо, ибо свидетельствует об увеличении продолжительности жизни, но у этого явления есть и свои теневые стороны. Уже очевидно, что финансовое обеспечение пенсионеров государством стремительно уменьшается. К примеру, в последние годы в Британии государство позволяет себе неслыханные по масштабу махинации с пенсионными фондами. Мы просто не способны обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни. Так что снова заговорили о добровольной эвтаназии, о помощи в совершении самоубийства.

Возможно, эту дилемму можно решить за счет иного определения морали – ведь таковая, в конце концов, всегда зиждется на целесообразности

и адаптации к требованиям жизни. Тогда разве не могли бы курильщики стать объектом восхищения за то, что столь самоотверженно сокращают дни своей жизни? А разве не мог бы английский завтрак – «инфаркт на тарелке» – обрести название пищи святых, которые быстро и экономически необременительно дают дуба от избытка холестерина? Как знать?

Как-то я попросил старинного своего приятеля, профессора зоологии Десмонда Морриса написать статью о проблемах питания с точки зрения зоологии. Я думал, что он сочинит что-нибудь остроумное о каких-нибудь там львах и прочих кровожадных существах. Вместо этого он прислал мне трогательное описание смерти своей матери, умершей незадолго до того. Статья называлась «Чуть-чуть о том, чего вам хочется». Вот отрывок из нее:

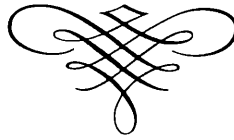
«Увидев содержимое ее трапезы, любой диетолог пришел бы в ужас. Мама придвинула к себе тарелку с жареным мясом, жареной картошкой и еще чем-то, тоже жареным-пережаренным, но при этом сочащимся жиром, и с рвением набросилась на еду. "С рвением" – это я не ради красного словца. Она поела содержимое своей тарелки, чуть ли не урча от удовольствия, поела с алчностью хищника, вгрызающегося в плоть только что задранный жертвы. Хотя она родилась во времена королевы Виктории, она словно бы принадлежала XVIII веку, с его размашистым аппетитом, когда пиршество было пиршеством, и никто и слыхом не слыхивал о полезной для здоровья пище, диетном режиме или рекомендации пережевывать каждый кусок 32 раза прежде, чем проглотить его.

Поглядывая на то, как энергично она опустошает свою тарелку, я составил: дескать, если она и впредь будет игнорировать рекомендации спецов по здоровому образу жизни, то умрет молодой. В устах сына это могло бы показаться хамством, но ей в то время было почти 99 лет, да и чувство юмора у нее было отменное.

Когда – год спустя – она была уже при смерти, я спросил, не хочет ли она чего-нибудь. "Джин и тоник", – прошептала она. Я приготовил ей напиток – пить она могла лишь через соломинку. "Если уж приходится уходить, надо уходить с размахом, – сказала она. – И когда дело касается еды и выпивки, это тоже надо делать с размахом"».

Для меня это более чем достаточный довод для утверждения, что «вредные привычки», в самом деле, нечто значимое – они нас *очеловечивают*.





Майкл Крайтон

ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ КАК НОВАЯ РЕЛИГИЯ

Нередко меня спрашивают: какова, по-моему, самая серьезная проблема, стоящая сегодня перед человечеством? На мой взгляд, эта проблема – в необходимости видеть различия между реальностью и фантазией, между истиной и пропагандой. Людям всегда было крайне трудно осознавать истину, но в наш век информации (или, как я думаю, век дезинформации) эта необходимость приобретает особую значимость и остроту.

Нам приходится ежедневно решать, являются ли возникающие перед нами угрозы реальными, являются ли предлагаемые нам решения верными, являются ли озадачивающие нас проблемы действительно существующими. Каждый из нас имеет какое-то представление о мире, и все мы понимаем, что это представление частично навязано тем, что говорят нам другие люди и общество в целом, частично порождено нашим эмоциональным состоянием, которое мы проектируем на мир, и частично является истинным отражением реальности. И если говорить коротко, то наши поиски истины сводятся к выбору, какие из наших ощущений и мыслей верны, а какие ложные, потому что они навязаны нам, или «проданы» нам, или порождены нашими надеждами и страхами.

Один из примеров такого вызова – вопрос о защите окружающей среды, или современном «экологизме». А для того чтобы избежать недоразумений, для начала с предельной ясностью заявляю, что я абсолютно убежден в нашей обязанности принимать во внимание все последствия наших действий, в том числе их влияние на людей и природу. Я абсолютно убежден в том, что забота об окружающей среде является делом первостепенной важности и что она всегда будет оставаться таковой и в будущем. Я абсолютно убежден в том, что существуют реальные экологические проблемы, и они могут и должны быть решены. Но в то же время я убежден, что выбор правильной линии действий в этом вопросе чрезвычайно труден, а их последствия зачастую невозможно предугадать. И мне кажется, что наш послужной спи-

сок в вопросах экологии, мягко говоря, не впечатляет, потому что слишком часто даже самые лучшие наши намерения оборачивались неудачей.

В университете я изучал антропологию, и один из вынесенных мной уроков состоит в том, что человеческие социальные структуры всегда возрождаются. Они никогда не могут быть полностью изжиты. И одной из таких структур является религия. Сегодня принято говорить, что мы живем в секулярном обществе, в котором многие люди – лучшие люди, самые образованные и просвещенные – не исповедуют никакой религии. Но я убежден, что религию невозможно изъять из человеческой психики. Если подавить одну ее форму, она попросту возродится в другой форме. Вы можете не верить в Бога, но вы по-прежнему нуждаетесь в вере во что-то, что придаст смысл вашей жизни и формирует ваше представление о мире. А такая вера всегда является религиозной.

Сегодня одной из самых мощных религий западного мира является экологизм. Трудно отделаться от впечатления, что экологизм стал религией, которую выбрали для себя горожане-атеисты. Почему я называю его религией? Да ведь достаточно только присмотреться к этого рода убеждениям, чтобы понять, что экологизм в действительности является идеальным переплощением традиционных иудео-христианских верований и мифов.

Смотрите: существовал Эдем, первозданный рай – первичное состояние гармонии и единства с природой, затем произошло грехопадение – загрязнение окружающей среды как результат вкушения плодов от древа познания, и в результате всего этого нас ждет, в конце концов, Страшный суд. Мы грешим энергетическими излишествами и обречены на гибель, если не будем стремиться к спасению души, которое на языке сегодняшнего экологизма именуется сбалансированностью и гармоничностью. Гармония между человеком и природой – это спасение души на языке экологической церкви. Точно так же, как органическая пища является ее причастием, той свободной от пестицидов облаткой, которую вкушают хорошие, благочестивые люди, придерживающиеся правильных убеждений.

Эдем, грехопадение человека, приближающийся Страшный суд – все это глубоко укорененные мифологические структуры. Это базисные, из века в век сохраняющиеся верования. Не исключено, что они вообще запрограммированы в мозгу. Разумеется, я не намерен разубеждать кого-либо в их правильности, как не намерен разубеждать кого-либо в вере в то, что Иисус Христос – это сын Божий, воскресший после смерти. Но причина, по которой я не намерен разубеждать кого-либо в этих верованиях, состоит в понимании, что разубедить кого-либо невозможно. Это не факты, о которых можно спорить. Это вопрос веры.

И точно так же, к сожалению, обстоит дело с экологизмом. Все больше кажется, что никакие факты здесь не помогут, потому что все принципы экологизма покоятся на вере. Речь идет о том, пребудете ли вы во грехе или будете спасены. О том, окажетесь ли вы в стане спасенных или обреченных. О том, будете ли вы одним из «нас» или одним из «них».

Может быть, я просто преувеличиваю для ясности? Боюсь, что нет.

Потому что сегодня мы знаем о мире много больше, чем знали сорок или пятьдесят лет назад. И то, что мы знаем сегодня, не так уж согласуется со многими из основных экологических мифов – и, тем не менее, мифы эти не умирают. Давайте же присмотримся к некоторым из них.

Никакого райского сада нет. Его никогда и не было. Что представлял собой этот Эдем блаженного мифического прошлого? То время, когда детская смертность составляла 80%, когда из пяти новорожденных лишь один доживал до пяти лет? Когда каждая шестая женщина умирала от родов? Когда средняя продолжительность жизни составляла 40 лет, как в Америке позапрошлого века? Когда эпидемии гуляли по планете, одним махом отправляя на тот свет миллионы людей? Когда миллионы людей умирали от голода? Это и был рай?

А как насчет тех первобытных народов, которые якобы жили в гармонии с этой райской средой обитания? *Она тоже никогда не существовала, эта гармония.* Первобытные племена, едва они вторглись на американский континент через Берингов сухопутный перешеек, немедленно принялись уничтожать сотни видов крупных животных и продолжали это занятие в течение нескольких тысяч лет, пока сюда не пришли белые люди, чтобы еще более ускорить этот процесс. А как насчет образа жизни этих племен? Мирный, исполненный любви к ближнему, гармоничный? Едва ли. Эти первые обитатели Нового Света жили в условиях перманентной войны друг с другом. Тысячелетия прошли во взаимной ненависти, в межплеменной вражде, в постоянных войнах. Индейские племена Америки – все эти команчи, сиу, апачи, могавки, аптеки, толтеки, инки – знамениты своей воинственностью. Некоторые из них практиковали убийство новорожденных детей и человеческие жертвоприношения. А племена, не столь яростно воинственные и жестокие, были поголовно истреблены или вынуждены были строить свои деревни высоко в горах, чтобы обеспечить себе хотя бы минимальную безопасность.

А как насчет условий человеческого существования в других местах земного шара? Новозеландские маори регулярно совершали массовые побоища. Даяки острова Борнео охотились за черепами. Полинезийцы, жившие в самых райских условиях, какие только можно себе вообразить, постоянно воевали и, в конце концов, создали такой жестокий социальный строй, что человек мог лишиться жизни только за то, что нечаянно ступил в след племенного вождя. «Благородный дикарь» – это выдумка, он никогда не существовал. Тот факт, что и сегодня, через 200 лет после Руссо, все еще есть люди, которые верят в эту выдумку, говорит о цепкости религиозных мифов, об их способности сохраняться даже вопреки многовековому противоречию фактам.

В XX веке даже некоторые ученые упорно не признавали существования в прошлом каннибализма, утверждая, что это выдумка белых людей, нацеленная на демонизацию аборигенов. Лишь тридцать лет назад эти ученые наконец признали, что да, каннибализм действительно был присущ человеческим существам. А между тем все это время, на протяжении почти всего XX века, жители новогвинейских высокогорий продолжали поедать мозги своих врагов, пока, наконец, не удалось убедить их, что этот обычай угро-

жает им смертельной нейрологической болезнью «куру». И лишь совсем недавно выяснилось, что «благородные Тасадаи» с Филиппинских островов – попросту рекламный трюк, несуществующее племя. А африканские пигмеи оказались едва ли не самыми жестокими убийцами на всей планете.

Короче говоря, романтический взгляд на естественное существование как на блаженный Эдем могут разделять лишь люди, никогда на деле не общавшиеся с природой. Люди, ведущие «естественный» образ жизни, отнюдь не романтичны. Они могут исповедовать определенные спиритуалистские верования, они могут ощущать некое единство или одухотворенность всей природы, но при этом они по-прежнему убивают животных и выкорчевывают растения – чтобы есть, чтобы жить. Потому что иначе они погибнут.

И если кто-нибудь, даже сегодня, попробует прожить хотя бы несколько дней «наедине с природой», он быстро разочаруется в своих романтических фантазиях. Попутешествуйте в джунглях острова Борнео, и вы очень скоро обзаведетесь жуткими язвами на спине, вас облепят насекомые, которые будут кишеть в ваших волосах и забиваться в нос и в уши, вы станете жертвой инфекций и болезней, и, если рядом с вами не будет опытного проводника, вы очень быстро умрете от голода.

Но, скорее всего, даже на Борнео вам не удастся остаться «наедине с природой», потому что все свое тело вы покроете антимооситной мазью и примете другие меры, чтобы не «общаться» с прочей местной живностью.

Телевизионное поколение полагает, что природа будет вести себя в соответствии с их ожиданиями. Оно надеется, что в реальной жизни можно обойтись навыками, почерпнутыми из телепередач. Осознание того, что природный мир подчиняется собственным законам и плевать хотел на чьи-то ожидания, чревато шоком. Зажиточные, образованные горожане привыкли строить повседневную жизнь по своему усмотрению: покупать одежду и декорировать квартиры, в определенных пределах самостоятельно формировать привычный образ жизни. Но природа далеко не так послушна. Напротив, она требует, чтобы *вы* приспосабливались к ней, а в противном случае – вы обречены. Это жестокий, могучий и ничего не прощающий мир, с которым большинство западных горожан вообще не знакомо.

Много лет назад я путешествовал в горах Каракорума в западном Пакистане. Наша группа должна была пересечь реку. Это была ледниковая река, неглубокая, не больше метра, но очень быстрая. Наш проводник натянул канаты, чтобы можно было за них держаться, и мы начали переходить реку один за другим, с величайшей осторожностью. Я спросил проводника, зачем мы так осторожничаем, глубина-то – какой-то жалкий метр. Он ответил: смотри, положим, ты оступишься и сломаешь руку или ногу; мы в четырех дня пути от ближайшего большого селения, где есть радио; даже если я всю дорогу буду бежать, пройдет не меньше трех дней, пока за тобой прилетит вертолет – если он вообще найдется; а за три дня ты вполне можешь умереть. Вот почему нужна величайшая осторожность. Потому что в мире природы даже одна ошибка может стоить жизни.

Вернемся, однако, к религии. Если Эдем – это никогда не существовавший вымысел, если человечество никогда не было благородным, миролюбивым и добрым, если мы не совершали грехопадения, что тогда сказать обо всех прочих экологических догмах? Как насчет спасения, гармонии с природой и Страшного суда? Как насчет надвигающейся экологической катастрофы, истощения топливных ресурсов и глобального потепления, которые якобы угрожают нам, если мы все не бросимся немедленно на колени и не начнем с утра до ночи охранять окружающую среду?

Любопытно отметить, что в последнее время из списка этих катастроф кое-что исчезло. Хотя проповедники от экологии вот уже полвека кричат о демографическом взрыве, в последнее десятилетие в демографии земного шара произошли неожиданные перемены. Рождаемость снижается почти повсеместно, и, как результат этого, только на моем веку предсказания относительно будущей численности населения Земли упали с 20 миллиардов до 15, потом до 11, а теперь до 9 миллиардов, а то и меньше. Кое-кто считает даже, что около 2050 года население мира достигнет максимума, а затем начнет уменьшаться. Кое-кто предсказывает, что в 2100 году людей будет меньше, чем сейчас. И что – можно нам, наконец, порадоваться, возликовать? Упаси боже! Немедленно, безо всякой передышки, поднялся крик об очередной угрозе – только на этот раз уже не демографического взрыва, а «демографического коллапса». Со всех амвонов послышались мрачные прогнозы касательно жутких последствий «постарения человечества». Никто не хочет признать, что некие фундаментальные страхи, сопровождавшие все наше поколение, попросту оказались ложными. По мере продвижения в будущее эти апокалиптические страхи исчезли, как мираж в пустыне.

Ну, ладно, выходит – проповедники ошиблись. Один из их прогнозов оказался ошибочным. Так что? Человеку свойственно ошибаться. Увы, дело не в одном этом предсказании, им несть числа – пророчествам, которым не дано было осуществиться. Нам угрожает истощение нефтяных запасов; 80 миллионов американцев умрут от голода к 1980 году (предсказание Поля Эрлиха); каждый год с лица Земли исчезает 40 тысяч биологических видов, и к 2000 году на планете останется лишь половина видов всего живущего. И т. д., и т. д., и т. д. Казалось бы, допустив такое множество ошибок в прошлом, экологисты должны были бы стать несколько осторожнее. Но ведь речь идет о религии. Вспомните того чокнутого, что ходил с плакатом по улицам Нью-Йорка, – на плакате красовалась дата конца света. Когда конец света не наступал, он попросту менял дату на плакате. Одна из главных особенностей религии состоит в том, что ее не заботят факты, потому что вера не имеет ничего общего с таковыми.

Тогда разрешите мне самому сообщить вам некоторые факты. Я знаю, что они вам неизвестны, потому что газеты молчат о них. Я могу сообщить вам, что ДДТ – не канцерогенное вещество, что оно вовсе не ведет к гибели птиц и что его не следовало запрещать. Я могу сообщить вам, что люди, которые добились его запрета, знали все это и, тем не менее, настояли на своем. Я могу сообщить вам, что запрет на применение ДДТ стал при-

чиной смерти десятков миллионов голодающих, преимущественно детей, смерть которых лежит на совести равнодушного, сытого, технологически развитого западного общества, утверждавшего свою новую экологическую религию с помощью фантастического мифа о пестицидах и нанесшего этим необратимый вред третьему миру. Запрещение ДДТ было одним из самых постыдных эпизодов американской истории XX века. Мы знали правду, и все равно ввели этот запрет, и дали миллионам людей умереть.

Я могу заверить вас, что тот, кто курит рядом с вами, не причиняет ни малейшего ущерба вашему здоровью, и наши медицинские организации всегда это знали. Я могу заверить вас, что доказательства реальности глобального потепления гораздо слабее, чем соглашаются признать его глашатаи. Я могу сообщить вам, что доля земли, занятая всеми американскими городами, вместе со всеми их дорогами и подъездными путями, не превышает 5% от общей территории страны. Я могу сообщить вам, что пустыня Сахара сокращается, а общий объем льда в Антарктике увеличивается. Я могу рассказать вам, что эксперты, участвовавшие в организованном журналом «Science» коллоквиуме, пришли к выводу, что сегодня не существует технологии, которая позволила бы остановить рост выброса углекислого газа. Для этого нужна совершенно новая технология – типа термоядерной, а без этого ничего нельзя сделать, и все попытки такого рода будут пустой тратой времени и ресурсов. Эти эксперты заявили, что заверения ООН, будто существуют какие-то альтернативные технологии, которые якобы вот-вот позволят нам справиться с выбросами углекислого газа, являются попросту ложными.

Я мог бы привести подтверждения всех этих фактов и процитировать соответствующие статьи в ведущих научных журналах, вроде «Science» или «Nature». Но все эти ссылки, скорее всего, заинтересуют лишь немногих, потому что религиозные убеждения не зависят от фактов – это вопрос веры. Такие убеждения не поколеблешь ничем. Все, кому доводилось иметь дело с фундаменталистами, знают, что одна из их главных проблем состоит в том, что они не видят себя со стороны. Они ни за что не согласятся признать, что их образ мышления представляет собой всего лишь один из многих возможных, которые могут быть так же верны. Напротив, они убеждены, что лишь они идут верным путем, а все остальные заблуждаются; они заняты спасением человечества и хотят помочь нам увидеть вещи в правильном свете. Они хотят помочь нам спастись. Они абсолютно несгибаемы, и их совершенно не интересуют другие точки зрения. В современном сложном мире фундаментализм опасен именно в силу своей жесткости и глухоты ко всяким иным идеям.

Я готов утверждать, что пришло время круто изменить подход к проблемам экологии, наподобие того, как это было сделано во время Года Земли в 1970, когда эти проблемы были впервые поставлены. Но на этот раз мы должны изъять эти проблемы из сферы религии. Мы должны покончить с мифологическими фантазиями и прекратить апокалиптическую истерику. Вместо этого следует поставить дело на надежную научную основу.

Существуют две причины, по которым, как мне кажется, пришла пора

покончить с религией экологизма. Во-первых, мы действительно нуждаемся в защите окружающей среды, а такая защита не очень эффективна, если она исходит из религиозных убеждений. История учит, что религии имеют обычай убивать, и экологизм уже убил от 10 до 30 миллионов людей только в 1970-е годы. Это малоприятный факт. Охрана окружающей среды должна вестись на объективной и поддающейся проверке научной основе, она должна быть рациональной и гибкой. И еще она должна быть аполитичной и внепартийной. Смешивать экологическую озабоченность с бурными политическими или партийными страстями означает закрывать глаза на горькую истину, которая состоит в том, что в этом вопросе партии не отличаются друг от друга ничем, кроме риторики. Вера в то, что республиканцы справятся с делом лучше, чем демократы, лейбористы лучше, чем консерваторы, или левые лучше, чем правые, нисколько не поможет выработке эффективного экологического законодательства. Поэтому нужно изгнать партийную политику из нашего экологического мышления.

Вторая причина еще более важна. Исповедующий ту или иную религию полагает, что она дает ответы на все вопросы, но неприятная истина состоит в том, что в экологии мы имеем дело с невероятно сложной, развивающейся, динамической системой и, как правило, не знаем, каким путем надлежит следовать. Те, кто говорит, будто знают единственно правильный путь, попросту демонстрируют этим особенности своего характера или своих убеждений, но отнюдь не уровень своих знаний. Весь наш прежний экологический опыт убеждает, что мы должны быть скромными, предельно скромными перед лицом тех громадных задач, которые пытаемся решить. Нужно пробовать различные подходы. Нужно быть открытыми к различным идеям и трезво оценивать результаты своих усилий. В этом деле религиозная зашоренность – дурной помощник.

Но как же вырвать экологизм из объятий религий и снова сделать его научной дисциплиной? На это можно ответить просто: следует ввести более строгие критерии того, что считать «знанием» в экологических вопросах. Мы по горло сыты политизацией так называемых фактов, которые на поверку оказываются ложью. Не то чтобы эти «факты» были лишь преувеличениями некой правды, не то чтобы некие группы или организации «раскручивали» правильные факты, всего лишь представляя их в наиболее выгодном для себя свете, – нет, все чаще и чаще нам попросту подсовывают очевидную и явную ложь. Ложь, о которой интересанты к тому же прекрасно знают, что она ложь.

В конечном счете, только наука может спасти нас от политики всех видов. И если мы позволим политизировать науку, мы пропали. Мы вступим в интернетовский вариант средневековья, в эпоху вынюхиванья ересей, в эпоху темных и диких предрассудков. Это не то будущее, которого заслуживает человечество. Это наше прошлое. Поэтому настало время отречься от экологической религии и вернуться к экологической науке. И строить нашу политику только на этой основе.



ПАМЯТИ СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА*

Я не имею ничего общего с ближним кругом друзей и поклонников Сергея Сергеевича Аверинцева. Я видел его несколько раз в жизни; читал какие-то его книги; не любил его. Тем не менее, я считаю нужным воздать ему должное – именно в качестве постороннего. Посторонний взгляд тоже имеет своё право. В конце концов, всякий публичный человек (а Аверинцев таковым был) работает не только на клакеров и на свою тусовку, но, прежде всего, на публику.

Мой голос – это голос даже не из партера (где сидели и сидят люди почище), а с балкона. Но всё-таки и мне не зазорно вспомнить его. Незлым тихим словом.



С. С. Аверинцев

1

Жест и поза – два французских слова, которым в России не повезло. Обычно иностранцы приглашаются в русский яз. на почётные должности: обозначать либо высокое, либо дорогостоящее, либо престижное. Но здесь что-то не срослось, вакансия оказалась сомнительной. В осадок выпало неприятное слово «позёр», отдающее «позором». Ну а к «жесту» прицепились какие-то жантильные эпитеты – «эффектный» и, того хуже, «бессильный»**.

* www.topos.ru

** Латинское *gestus* – «положение, поза, жест» – восходит к той же основе (архаично-му глаголу *gero*), что и *gestae* – «подвиги, деяния».

Если обратиться к самому делу, выясняется вот что. Жест – это действие (даже, если угодно, деяние), рассчитанное не на практический результат, а на реакцию зрителей. В свою очередь, поза – это застывший жест: человек «всеим своим видом», собой являет какую-то фигуру – скажем, «безмолвной укоризны», или «исступленного фанатизма», или «демонстративного безразличия», или ещё чего.

Однако позу и жест у нас принято недооценивать. По двум причинам. Во-первых, чувствительность как таковая – в том числе чувствительность к «эффектному» – в России вроде как не в почёте. Считается, что Москва не верит слезам, охам-вздохам и заламыванию рук. Увы, чаще всего хвалёное пренебрежение к «этим всем выкаблучиваниям» имеет основанием не здоровый практический смысл, а банальное несовпадение словарей. И Москва, и Россия в целом не так уж жестоковыжны и далеко не здравосмысленны. В конце восьмидесятых даже самые дрянные позёры срывали бешеный аплодисмент на банальнейших жестах: кто жёг партбилет, кто в трамвае ездил – помните? Вот то-то.

С другой стороны, принято увязывать жест и позу не только с фальшью, но и с импотенцией, с отсутствием «дела». Жест, дескать, изображает, а значит – не совершает этого в реальности. Скажем, Толстой за плугом – это жест: «Пахать подано». Подразумевается, что ничегошеньки он этим самым плугом не напашет: «Баловство это всё барское».

Однако ж, поза и жест могут отличнейше сочетаться с хорошей продуктивностью. Скажем, поза *чистого учёного*, жителя башни из слоновой кости – неотзывчивого на злобу дня, не знающего отчества Президента и имени премьер-министра и не вполне понимающего, какое у нас тысячелетие на дворе. Такой человек при всём при том может быть не только блестящим спецом, но и очень успешной публичной фигурой – успешной именно благодаря принятой позе демонстративной выключенности из контекста. Снять очки, поправить галстук, возвысить голос: «Не знаю, как это сейчас у вас тут принято, но вот Перикл по этому поводу сказал бы...» – и дальше убийственная диатриба, заведомо освящённая авторитетом седой древности.

2

Сергей Сергеевич Аверинцев был, что называется, культовой фигурой. Нет, бери выше: культовой фигурой его признавали даже те, кто сам имел культовый статус. В гуманитарных кругах 70–80-х годов его имя было окружено аурой... не скажу «благоговейного почитания», но что-то такое в воздухе витало. Про Аверинцева рассказывали анекдоты, напоминающие житийные истории, и травили байки, исполненные трепета. Его лекции собирали толпы блестящих студиозусов («сидели в проходах», а то и на головах). Впрочем, людей в пиджаках приходило не меньше. Домашний телефон Аверинцева тщательно скрывался и выдавался только проверенным людям – называва-

ли безумцы и поклонники. На путеводный адрес «Москва, проспект Вернадского, д. 119, кв. 4» всё время шли какие-то невнятные ходоки.

Аверинцева назвали – с придыханием – *гуманитарием европейского уровня*. Что это такое, никто толком себе не представлял: в смутно колыхающейся дымке плавал немецкий филолог позапрошлого века, помноженный на «нищше», «Йозефа кнехта» и пару раз виденного итальянского профессора из левых, заезжавшего в какой-нибудь Тбилиси на какое-нибудь разрешённое местными большевиками научное тусовище. Но Сергей Сергеевич этому размытому образу вполне удовлетворял. Извечная советская *allotria* находила в С. А. свою образцовую противоположность.

Был ли Аверинцев выдающимся учёным? Вопрос не очень подходящий к моменту, но неизбежный. Ответ положительный: был. Несмотря на то, что никаких особенных открытий и прорывов за ним не числится (равно как и своей «научной школы») он не создал), *учёным* он всё-таки оставался, причём в той области, где очень просто перестать им быть. С другой стороны, *выдающийся учёный* – это, прежде всего, социальная роль. Аверинцев отыгрывал её блестяще. Тут на него работало всё, включая смешные привычки и физические недостатки, – пресловутые шарфики, в которые он кутался «от простуды», или его знаменитый голос, абсолютно пародийный, «утячий» (им он читал стихи; и не просто читал, а выпустил, «когда стало можно», несколько грампластинок). Но зато Алексей Фёдорович Лосев (человек, мягко говоря, непростой и противоречивый) не возражал против аттестации Сергея Сергеевича в качестве «своего ученика»: кажется, никто больше в эту категорию не вписался, несмотря на обилие заявок.

Зато Аверинцев был хорош как литератор, причём оригинального жанра. Он оставил после себя непревзойдённые образцы того, что можно назвать «гуманитарной научной прозой».

Отдельно надо сказать о «необъятных, энциклопедических познаниях» Сергея Сергеевича. Аверинцев имел репутацию универсального разума, настолько рафинированного, что само снисхождение к микроскопическим умственным способностям собеседников требовало от него определённого усилия. Характерно то, что в этом не было никакой зависти: советским гуманитарным людям, читавшим иностранные книжки с кровавыми слезами и со словарём, с их кривой тоской по мировой культуре, самим хотелось, чтобы среди них был хоть один такой – для которого эмпирии духа были бы как открытая книга. Аверинцев охотно шёл навстречу этим ожиданиям, устраивая маленькие спектакли, например, посреди лекции или беседы как бы по учёной рассеянности неожиданно переходя на итальянский или койне, Фрейда называя Фройдом или обрывая цитату из Ансельма Кентерберийского досадливым «ну, вы и так знаете». Сейчас это может показаться смешным – но тогда восхищённые слушатели чувствовали себя зваными на пир духа всеблагих, собеседниками Пифагора, Зороастра, Йозефа Кнехта, etc.

При этом никто не ждал от Аверинцева *безупречности* – важной черты Настоящего Учёного, как его обычно воспринимают. Сергею Сергеевичу было

можно ошибаться: перевернуть цитаты, путать имена, допускать элементарные ляпсусы, цитировать в научных статьях стихи «по памяти» и т. п.* Всё это списывалось всё на ту же благородную рассеянность: великий человек до такой степени погружён в горнее, что забывает не только дальнее, но и кое-что из, так сказать, срединного.

Декларируемая рассеянность играла и более существенную роль: она позволяла Аверинцеву не замечать советскую власть.

3

Отношение советских людей к советской власти всегда было драматичным. Во всяком случае, много драматичнее, чем отношение швейцарских граждан к своей швейцарской власти. Я не имею в виду якобы всеобщую ненависть к «совку»: это позднеперестроечный миф. Просто советская власть, в силу своей специфики, воспринималась населением как угодно, но только не как *обыденная данность*. Соответственно, советский человек мог относиться к «софье власьевне» по-разному (в том числе с восторженной преданностью), но не безразлично.

С другой стороны, это вынужденно небезразличное отношение не могло выразиться ни в каких практических действиях – скажем, в политике или даже в искусстве. Власть функционировала сама по себе и наказывала за любое вмешательство в свои дела. Впрочем, впоследствии она перестала даже утруждать себя какими-то специальными репрессиями: стена между ней и «прочим населением» выросла до небес, так что какое бы то ни было действие по отношению к ней стало не то чтобы преступным, а просто невозможным. Поэтому единственной доступной формой выражения чувств остался жест. Обозначение поступка без самого поступка. Начиная от пионерского салюта и кончая пресловутой фигой в кармане.

Особенно тяжёлым было положение советских интеллектуалов, в особенности гуманитариев. Их «софья власьевна» доставала особенно сильно. Доставала не только «цензурой и расправами» (то есть «не давала книжку почитать»), а ещё и тем самым, что интеллектуалам издревле положено и прописано – именно в качестве позы, – как раз это самое *царственное безразличие*, «незаинтересованность взгляда», с лёгким оттенком презрения ко «всей этой возне там наверху». Поэтому какие-нибудь там субботники или профсобрания, большинством народа переживаемые как обычные мелкие неприятности, приводили их в ярость. Власть принуждала интеллектуалов участвовать в «этих своих играх», причём принуждала грубо, – что переживалось не только как личное, но и как сословное унижение.

* Например, в своих ранних комментариях к Гессе он умудрился перепутать «инь» и «ян» (см.: *Гессе Г. Игра в бисер*. М., 1969. С. 539). В дальнейшем такие квипрокво в его трудах попадались постоянно, особенно когда речь шла о вопросах, Аверинцеву лично неинтересных.

Выходов было, в общем, три. Первый, героический, – диссидентство в той или иной форме: «Если вы не даёте себе труда не мозолить нам глаза, что ж – мы будем вас ненавидеть». Второй, цинический, – уход в «советскую карьеру» (например, в советскую научную карьеру). И, наконец, третий путь, самый сложный, – имитация этого безразличия, попытка жить так, как будто советской власти нет.

Выглядело это отчасти нелепо – примерно так, как может выглядеть тщедушный гражданин в очках и с книжечкой, на которого навалился назюсюкавшийся зюзя и что-то мычит. Не имея возможности стряхнуть с себя сей неблагоприятный груз и не желая унижаться до собеседования с уродом, гражданин делает вид, что погружён в чтение настолько, что просто не замечает тяжести, мычания и «некоторого амбре».

Аверинцев был не единственным, кто избрал подобную стратегию поведения, – но он выдерживал позу лучше всех.

Сергей Сергеевич никогда не был диссидентом в прямом смысле этого слова, хотя эта карьера (а диссидентство в 70-х уже приобрело черты своего рода карьеры) была для него открыта. Разумеется, он исполнял все ритуалы «честного человека» – типа подписывал какие-то «открытые письма» властям и, наверное, имел с того положенные неприятности. Но любили его не за это. А, скажем, за анекдот про то, как Сергей Сергеевич по случайности забрёл на партсобрание, увидел кумачовый лозунг «Наше будущее – коммунизм» (или что-то в этом роде), прочитал это вслух и довольно громко сказал: «ну-ну, *посмотрим*».

Об истинном характере его отношений с «софьей власьевной» можно судить по деталькам, видимым только в лупу. Например, библиографические списки к его книгам и статьям смотрелись, на советский глазок-смотрок, довольно-таки вызывающе. Согласно советскому этикету, в каждой гуманитарной монографии должны были быть ссылки на Маркса–Энгельса–Ленина, причём в специально отведённом для этого разделе «Классики марксистско-ленинской философии». Раздел этот предшествовал всем остальным и как бы напоминал, кто здесь хозяин. Аверинцев же эти приличия как бы игнорировал, причём весьма изобретательно. В ранней книге «Плутарх и античная биография» имеется единственная ссылка на Маркса, причём запрятанная на своё законное алфавитное место, среди прочих авторов на букву «м». Получалось, что страшного «папу Карло» *поставили на место* – небрежным таким расставленным жестом.

А в «Поэтике ранневизантийской литературы» ссылки на «классиков» отсутствовали как класс. Следует иметь в виду: в самой книжке не было ничего крамольного, кроме трёх абзацев с очень мягкой критикой «экономического детерминизма», – все, конечно, понимали, «про что речь», но это ещё не выходило за пределы дозволенной фронды. Так что речь не в смелости автора (были и смелее), но – в *красоте жеста*.

Впрочем, красивые жесты чередовались с осторожными. То же самое название книжки про византийское христианство – «*Поэтика*» – было знакомым: оно означало его вписывание в остроумную конвенцию между советски-

ми гуманитариями и советскими идеологическими органами, согласно которой можно было заниматься «в том числе и сомнительными вещами», при условии не называть их прямо, а придумывать пристойные эвфемизмы. Все эти «эстетики-поэтики» (читай: «цветочки-лютики») были симулякрами, не столько призванными обмануть цензуру, сколько показать ей безобидность своих занятий: «мы тут плюшками балуемся, товарищ начальник».

В детстве я очень сожалел, что среди чарли-чаплинских фильмов нет ленты (ну или хотя бы эпизода) – *Чаплин на минном поле*. Так и видишь: вот Чаплин рассеянно пинает взрыватель мины, и тот со звоном отлетает, не причинив вреда; вот он бросает за спину окурок, и там что-то взрывается, но осколки летят в другую сторону; вот он уже почти наступил на опасное место, но тут у него развязывается шнурок... и так далее. Аверинцев в своих играх с «советскими» демонстрировал примерно такой класс игры. Разумеется, за всем этим стояли вполне продуманные поведенческие стратегии, скрытые от глаз публики. Аверинцев *выстраивал* своё поведение – сознательно и аккуратно, он знал механику этих игр, знал, где можно нажать, а где нужно сдать, и так далее. Тот же вопрос со ссылками на «классиков» был, разумеется, «решён на нужном уровне». Но на поверхности всё выглядело именно что «легко и небрежно». И даже догадываясь, что эта лёгкость и небрежность наигранная, публика аплодировала.

Впрочем, иной раз случается и спотыкаться. Например, в семидесятом году разразился неприятный внутриакадемический скандал, связанный с выходом пятого тома официозной «Философской энциклопедии».

Аверинцеву там принадлежала статья «Христианство», из текста которой слишком уж сильно выпирало то, что её автор – никакой не «научный атеист».

4

Христианство Аверинцева – отдельная важная тема.

В ту эпоху «быть христианином» (православным, а того пуще инославным) означало быть инакомыслящим. Но инакомыслящим с совершенно особым статусом, о котором придётся сказать подробнее: сейчас эти тонкости уже не очень памятны, а то и вовсе непонятны.

Православная церковь была почти единственной организацией, существовавшей легально и при этом официально признанной «отделённой от государства». Цена этой отделённости – особь статья, но это был совершенно неубираемый пункт, освящённый авторитетом Владимира Ильича Ленина, на оной отделённости сильно настаивавшего.

Соответственно, с верующими нельзя было обходиться так же, как с прочими «несознательными». Например, некоторые важные для православных мероприятия – скажем, крёстный ход – приходилось разрешать. Правда, публику отвлекали от этого известными способами: например, пускали «как раз в этот день» по телевизору музыкальную программу, где показывали «даже

Скорпионс и самую АББУ». Но это была именно заманка, а не прямой административный запрет.

Соответственно, любой *активный верующий* рассматривался как своего рода легальный диссидент. Наказать непосредственно «за крестик на шее» не представлялось возможным – зато устраивали всякие негласные обструкции. Особенно плохо приходилось людям видным и популярным.

Сергей Сергеевич мог «заниматься христианством» легально – в качестве византиниста, а также как специалист по ветхозаветному иудаизму. Но – «заниматься», а не «быть».

Кстати, о Византии как теме. Византистика – дисциплина крайне неблагодарная, особенно на фоне того чёрного пиара, который был сделан на Западе для второго извода Римской империи и который был всосан русской общественностью. Тон был задан чаадаевскими строками: *«Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась хранина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии...»*. Отношение к Византии как «жалкой и презираемой этими народами» (читай – европейцами, то есть Хозяевами Дискурса, в том числе и научного) так и осталось. Плюс к тому же уровень и качество знаний, потребных для серьёзного занятия византийской проблематикой, всегда был очень высок. В целом получалось, что заниматься Византией – всё равно что изучать «средневековую Венгрию»: нужно учить невероятно сложный язык, разбираться в тёмной и непонятной, как история мидян, истории, чтобы потом всю жизнь ковыряться в каких-то никому не интересных вещах... «То ли дело la belle France».

Огромная заслуга Аверинцева состоит в том, что он сделал Византию модной. В самом лучшем смысле этого слова: статус византистики поднялся невероятно, причём не только в глазах специалистов, но и широкой публики, не чуждой «запросов». «Поэтику ранневизантийской литературы» читали, примерно как «Мастера и Маргариту», – брали на день-другой у друзей, ксерили (как самиздат) или покупали за хорошие бабки. Средняя цена на хороший экземпляр у «спекулей» в начале 80-х была где-то 60 р., но особо жаждущие брали и за столбик. Это был успех, масштабы которого сейчас трудно даже вообразить.

Но вернёмся на прежнее. Аверинцев, конечно, был христианином «меневского склада». То есть, попросту говоря, экуменистом, филокатоликом и юдофилом.

Сейчас всё это звучит нелестно, но тогда это была позиция понятная и оправданная. Его филокатолицизм и юдофилия оправдывались традицией, то есть соответствующими убеждениями русских религиозных философов, прежде всего Владимира Соловьёва и Вячеслава Иванова. То есть всё это было в высшей степени интеллектуально и респектабельно. Сейчас, когда прокатились симпатии стали модными, а юдофильство – строго обязательным, как марксизм-ленинизм, это всё может вызвать не самые лучшие чувства – но надо делать скидку на Zeitgeist. Аверинцев и в самом деле любил католичество как высшее проявление любимой им западной культуры (которая для него

была Культурой Вообще) и искренне преклонялся перед евреями и всем еврейским – преклонялся, причём не по обязанности, а зряче, разбираясь, входя в тонкости.

В дальнейшем, однако, его филокатолицизм и юдофильство приняли «известные и ожидаемые формы». Уже в эмиграции, в «австрийский» период, он причащался и молился в католических храмах, дружелюбно общался с папой римским и т. д.

5

В славный период перестройки Аверинцев, как и многие другие, был использован демшизой в качестве «ещё одного кирпича в рожу коммунякам».

Политическая карьера С. А. была недолгой. Он был депутатом на знаменитом Съезде (сам не хотел, но попросили Очень Уважаемые Люди), где сполна вкусил того, что обречён вкусить артист, выходящий за пределы привычной роли. Впоследствии он сравнил себя с Катонем, «чьи предложения тоже не проходили». Сравнение безвкусное, но Сергею Сергеевичу вообще стал изменять вкус: верный признак кризиса жанра.

Какое-то время его ещё примеривали на роль нового властителя дум по сахаровскому образцу. В тот период была выпущена и самая популярная – точнее, самая массовая – книжка С. А. Называлась она «Попытки объясниться» и вышла в библиотечке журнала «Огонёк». Если кто не помнит – перестроечный «Огонёк» (сильно напоминавший по своим идеям «Искру» позапрошлого века) выходил каким-то гигантским, миллионным тиражом, равно как и «библиотечка». Таким образом, этот сборничек статей стал самым известным творением ума Аверинцева. Интересно, что он начинался с рассуждения о позе и жесте, в буквальном смысле этих слов. С. А., невинно кокетничая, говорил о жесте «отвлечения от письменного стола» – неохотного, с усилием, переключения внимания учёного анахорета на презренную злобу дня. Впрочем, для анахорета Аверинцев был слишком искушён в текущих раскладах – но это уж ладно.

Однако впоследствии ставка была сделана на тотальный цинизм, в каковскую парадигму никакие «великие умы» и «водили народов» не вписывались по дефиниции. Жоркие и хищные демократы первой волны не нуждались в дядечках, которые могли не вовремя ляпнуть «тише, тише, осторожно». А от Аверинцева, «с его блажененьким взглядом и закосом под дурачка» (это не мои слова, это буквальная цитата из разговора тех времён с одним демшизоидом средней руки), вполне можно было ожидать чего-то подобного.

И затею эту оставили. Аверинцеву в качестве утешения выписали какую-то премию – «извини, мужик, не срослось».

Разумеется, Аверинцев был и остался «радикальным демократом»: иных вариантов не предлагалось, да и быстрое отлучение от политики позволило Аверинцеву сохранить в неприкосновенности раннее «демократское», «сахаровское» самосознание.

Равно как и эмиграция.

Последние годы жизни Аверинцев провёл в «самом сердце европейской культуры» – в Вене, в стандартном для гуманитарного эмигранта высокого уровня статусе профессора русской литературы. Наверное, там ему было хорошо: венское золото, помпезность, запах лошадиного помёта, сладкий, как шоколадный торт «Sacher», и невыветрившийся дух давно канувшей в Лету империи – это как раз то, что нужно умному усталому человеку, чтобы спокойно встретить старость.

Он время от времени ещё что-то писал «на Россию дедушке» – это даже публиковали в русских журналах. Но чем дальше, тем больше уютный войлок забвения (а вернее сказать *необязательного уважения* – когда «почитать ещё можно», но уже не нужно реагировать на сказанное) укутывал каждое его слово. Он ещё что-то говорил, что-то делал – однако с каждым его словом толщина войлочного слоя только увеличивалась. Закутанный в вату, он прожил десятилетие в гемютном комфорте и спокойствии, каковые, без сомнения, вполне заслужил. Здесь, по эту сторону жизни, он получил от Господа награду свою. И это радует – ну хотя бы как многообещающий прецедент.

Ему и в самом деле нечего было больше делать в России – страшной, дикой, косматой стране, среди того ада, который устроили для его бывших соотечественников его друзья – или друзья друзей. Он стал несвоевременен и неуместен. Зато в Вене он охотно играл роль человека «несвоевременного и неуместного» – то была последняя роль, которая ему ещё оставалась. Оставшиеся поклонники отсылали в Россию по e-mail истории вроде: «Идём мы в Вене по улице, Аверинцев пытается перейти дорогу, не обращая внимания на машины. Маша кричит: "Стойте, вас задавят!" А он: "Меня не задавят. Я человек прошлого века"».

Он также писал бранчливые письма о неподобающей стилистике исполнения вагнеровских опер; рассуждал о христианской семье; осторожно, не нарушая приличий, намекал на некоторые несовершенства либерализма, в ту пору как раз победно вострубившего на весь мир в чудесную дуду. В России его стали уже забывать. Время от времени он мотался в Москву на какие-то мероприятия, читал какие-то доклады. Наверное, от этого была какая-то польза. Но та аура, которая окружала его в советские годы, уже пооблетела. Ужо не до того-сего, и всё скрутилось не слава Богу.

А о чём сейчас не время говорить, о том следует промолчать.





ПРОЗА

Василий Аксенов

ВОЛЬТЕРЬЯНЦЫ И ВОЛЬТЕРЬЯНКИ*

Старинный роман

Глава вторая,

*где генерал Афсиомский принимает философа Д'Аламбера
и где становятся очевидными пользительные свойства орехового масла*

Прошло три дня после толь же блистательного, коль и скандального театрального триумфа, прежде чем генерал Афсиомский паки узрел Вольтера. Газетные слухи тем временем своими лепестками и нелепостями обескураживали посланника: «Король принял поэта в Версале и после двухчасовой беседы подарил ему свой собственный письменный набор», «Король и кардинал приказали связать Вольтера и вывезти его за пределы Франции, где турки только и ждут, чтобы посадить его на кол», «Луи Пятнадцатый внял мольбам умирающей от чахотки мадам де Помпадур и вновь назначил творца "Генриады" своим придворным историографом», «Великий Вольтер в третий раз препровожден в Бастилию, на этот раз без предметов своего домашнего обихода», «Русская царица устами своего представителя, только что прибывшего в Париж генерала (по имени не назван), предлагает за французского гения миллион ливров выкупу», «Французский двор просит больше»... Слухи эти в арендованный генералом особняк на острове Сен-Луи еще до выхода в печать доставлял его секретарь, премьер-майор Дрожжинин прямо из кафе «Прокоп»,

* Первые главы нового романа Василия Аксенова были опубликованы в журнале «Октябрь» (30.1.2004). Представляем на суд читателя вторую главу романа.

где, по всей вероятности, и всходило все это тесто. Ксенопонт Петропавлович внимал слухам и думал: уж не сам ли Вольтер их заквашивает в сем вечном взбухающем слухами граде: ведь такие слухи стоят сундука золотых пиастров, господа; вот именно, пиастров, пиастров! Сам он в ожидании весточки от друга подолгу сиживал в покойном кресле у окна и взирает на текущие мимо воды Сены, что именем своим тревожила его вельми далекие рязанские воспоминания, а в частности, напоминала буколику зарождения иных плодотворных наследий.

На ночном торжестве в отеле Сюлли генералу удалось удачно выбрать позицию, чтобы ненароком, под видом обмена кумплиментарными благообряжениями, шепнуть в живое ухо старика, что при нем на имя филозофа прибыло конфиденциальное послание из Царского Села. Эко как полыхнули очи Вольтера, не дашь ему и пятой части хронологического возраста! Быстрым разумом своим он мигом оценил исключительность сей экспедиции и, чтобы сбить с толку востроухих слухачей правительства, тут же запустил вдохновенную тираду об исторических шагах Санкт-Петербургской Академии в сторону просвещения, о достойных всяческих похвал достижениях ученых россиян, в частности, пейзаина месье Ломоносова: а правда ли, что славное имя переводится на язык Корнеля: «comme casse le nez»? – ах-ха-ха, клянусь Мельпоменой, иные носы в наш век заслуживают доброй ломки! – и таковыми изящными молниеносностями дал понять старому другу Ксено, что серьезный разговор впереди.

Между прочим, по воле чистого случая дом для пребывания графа Рязанского был взят внаем на той же набережной, где с его подопечными уношами случилась первая парижская облыскурация. Внедряясь далее в подробности, скажем, что он стоял просто вплотную с тем малоприятным лежалищем антивольтеровского сутяги. Полагая себя в аристократическом квартале, граф с недоумением внимал всяческим шумам и воням, доносившимся из поблизости, а однажды прямо в окно к нему одним махом влетел ворох желтых от старости перьев из вытряхнутой подушки.

Не подлежит исключению, что выбор сей случился опять же по вине недотеп из секретной экспедиции. Вот так же тридцать лет назад вечно опохмеляющиеся «витязи незримых поприщ» выписывали графу подорожную и намотали там несусветное отчество Петропавлович, поелику батюшку-то в сем заведении звали во все времена Петром Павловичем. Да если уж всю правду речь, ведь и крестное имя извратили почти до утраты смысла путем замены «ф» на «п», а с фамилией и вообще получился сущий куршлюз: сроду ведь фита в подобных позициях не фигурировала, а уж польское-то окончание целиком остается на совести опохмеляющихся. Вот так, в конечном счете, и образовался в российской и европейской истории некий феномен по имени Его Высочайшепревосходительство генерал-аншеф Ксенопонт Петропавлович Афсиомский (через фиту), его светлость граф Рязанский. Прочтя впервые это начертание, генерал было весь вызверился, поклялся устроить полную обчистку проклятой конторы, но потом решил, что подобная облыс-

курация (это было его словечко) легче будет выделять ее носителя в исторических анналах.

С историей у графа были весьма серьезные отношения. Лезь ли будет предположить, что без нея он себя не мыслил, что мнил себя только как деятель оной, а, будучи хоть ненадолго выдвинут за ее (напоминаем, истории) пределы, становился не ахти как здоров, нервозен, отчасти уж не злобновал ли ко всему роду человеческому. Вот и сейчас, пребывая аж третий день вне истории, он начинал мизантропствовать. Ох уж этот «большой свет», нельзя на него положиться ни дома, ни тем паче в Париже! Экий почет выказали во дворце Сюлли, экое произошло изрядное, поистине историческое шествие посреди блистательной ассамблеи, а теперь, извольте, любимец общества, Конт де Рязань всеми напрочь забыт, никто не ищет, не делает визитов, не приглашает. Значит, если сам не делаешь визитов, никто и не вспомнит, не взирая на триумф? Значит, надо все время не ходить, а дефилировать? Вот появляется небезызвестный друг Вольтера, Ксено де Рязань, вот он дефилирует, слегка по-светски покашливая, *defiler et tousser*, по своему обыкновению, дефиле и туссе, туссе и дефиле, и все в восторге, все счастливы, что снова появился со своим «туссе и дефиле», со своим прекурдефляпистым франсе, с кумплиментами а-ля Вольтер, а если тебя в таком виде не видно, значит, ты забыт, немедля стерт, так? Как сказал бы тот же Вольтер: *Il faut sans cesse tourner aux fourmilieres*, мой Ксено, ведь даже муравьи забывают друг друга, если долго не встречаются.

Натюрельман, при других, не столь важных государственных обстоятельствах надо б было сразу самому начать делать визиты и министрам, и префекту, и епископам, а главное, дамам, и Помпадур, и герцогине Мэнской, увы, увы, до встречи с основной, озаглавленной самой Государыней персоной он не может не только высшим блюстительницам света делать визиты, но и к малышке Нинон не поспешит наведаться. Значит, такая идет полоса истории: одиночество, выжидание. Он сидит в покойном кресле из тех, что в будущем будут называться «вольтеровскими», и созерцает в окне катящие с монотонной настырностью воды Сены. Ну почему хотя бы уж бумаги не спросить, не очинить перьев, не двинуть дальше задуманную утопию, герой коей некий Ксенофонт Василиск в поисках Гармонии уже и Землю покинул, унесся на Луну, однако и там не может сыскать неуловимую деву. Так он бродит среди лунных ям, и везде население с ним делится своими терзаниями сродни нашим, как на Востоке, так и на Западе, и только на сатурнических кольцах цветет благодатное славянское царство под мудрым оком девы Гармонии; да как туда добраться супротив притяжения светил?

Нет, сударь мой, такое важнейшее для всего человечества (часто вместо сего красивого слова он почему-то выборматывал «пчеловодство») сочинение нельзя продолжать в чужом наемном доме. Вот завершу свою историческую ролю и засяду где-нибудь в Царском, в окрестностях Государыни, и первым делом ей самой буду направлять главы, а вовсе не псевдодругу Сумарокову Александру, как его отчество, вовсе не в нынешние плачевныя литературныя.

Так он сидел день за днем и только гонял секретарей Дрожжинина и Зодиакова за сплетнями, за газетой, за напитком «тизан», за бутылкой орехового масла. В этом чертовом масле, быть может, только и было хоть малое, но оправдание историческому сидению. Его предписывали втирать в корни оставшихся волос, и тогда траченое поле вроде бы начинало паки колоситься. Граф, однако, догадывался, что плодородие тут может пойти гораздо глубже энтих присной памяти, почти незримых луковок и, в конечном счете, приведет голову тела к рождению важных фраз государственного и литературного характера.

Однажды он увидел в окне плывущее по течению всеми четырьмя ногами кверху раздутое туловище коровы. Глядя на бессмысленность сего неживого предмета, он вдруг преисполнился скорби. Дохлая корова уплывала в пучины мироздания с той же каменной тайной, с коей четыре года назад уплывала над траурным конвоем незабвенная цесаревна-императрица Елизавета Дщерь Петрова, та, что запретила казнить, что пошла себе пятнадцать тысяч платий, что победоносничала в Семилетнюю войну и чьи горячие ляжки, оседлавшие его в студеную ночь 1740 года, еще помнили гренадерские плечи. Как прикажете это понимать, месье Ореховое Масло? гневно вопрошал он. К чему вы меня толкаете? К каким излияниям гиньоля? Не к сущему ли богохульству, непригодному для государственного мужа?

Он гневно встал и потребовал парик. Немедленно ехать, делать визиты! Вольтер небось давно уже укрылся в своем Ферне под защитой кальвинистов. Кто его знает, что он тут без меня натворил! Ведь было же время, когда два государя Европы подозревали его в шпионстве, а лучший ученик, коего в те времена паче для недосказанности именовали «протектором господина Мапертюю», приказал бросить учителя в узилище. Нет, сам я туда не поспасу, не хватало еще нарваться на приживала Шувалова Ивана Ивановича. Надо немедля слать к нему Николая и Михаила! Хватит уже брандахлыстничать по Парижу со своими курфюрстиночками-профурсеточками! Ну что за дети эти ребенки, повадились в циркусы да к итальяским кукольникам! Пора за дело!

И в этот как раз горячий «муман» (le moment) вошел премьер-майор Дрожжинин и доложил, что к нему посетитель, месье Д'Аламбер, член Французской Академии. С париком в руке граф застыл потрясенный: вот что значит резкое движение в сторону Истории! Сразу откликается! Шлет своих людей! Да ведь это же тот самый Жан Лерон Д'Аламбер, 1717 года рождения, проживающий в городе Париже, кого так жаждет Государыня иметь в нашей столице и кому предлагает астрономическое – даром что астроном! – жалованье в 100 000 франков!

Далее, трусая самым непозволительным его званию фасоном в опочивальню к шкафам с одежею, нахлобучивая парик (намеренно чуть-чуть старомодный, чтобы не забывалось историческое прошлое), граф извлекал все больше д'аламберовских страниц из своих мыслительных – мерси, месье Ореховое Масло! – архивов. Да-да, вот именно: это он, тот самый, что отклонил пригла-

шение Ея Величества, галантейшим образом сославшись на некие непреодолимые обстоятельства, кои были вельми известны просвещенному обществу Европы (и Петербург не исключение) как состояние любовной зависимости г-на Д'Аламбера от блистательной мадмуазель Леспинас! А еще до этого он отклонил приглашение Фридриха Второго Прусского, указав на невозможность прервать опыты по изучению сопротивления жидкостей, а также движения ветров, а также феноменальных свойств музыки, а также математического выражения механики, *et cetera*.

Но прежде всего – граф тут даже с немалой комичностью запрыгал по опочивальне, натягивая чулки, отталкивая навязчивого премьер-майора, – прежде всего, это же не кто иной, как составитель нашей главной книги, Энциклопедии! С кем, если только не с самим Вольтером, его можно поставить рядом, этого достопочтенного философа, гордость и украшение столетия!

Словом, не прошло и десяти минут, как Афсиомский был готов к встрече. Он принял визитера в гостиной, стоя вполоборота к реке и слегка обмахиваясь китайским веером (пол-Парижа одарил этими веерами в 1751 году на обратном – через Лиссабон – пути Марко Поло!). «Ах, господин Д'Аламбер, какое удовольствие вы мне предоставляете своим визитом!» провозгласил он, простирая обе руки к визитеру, но не для объятия, разумеется, – ведь мы уже не те Иваны, что с утра напиваются и лезут к жантильному люду с медвежьими объятиями, – а лишь для выражения радушия и респекта. Д'Аламбер отвечивал превосходным полупоклоном, коему сроду не научишься, ежели не рожден в мире изящества. Тут опять что-то мелькнуло из секретных архивов (памяти, конечно, а не этажерок в сыскном): может, этот приятный господин и был рожден в мире изящества, однако сразу после рождения он был подкинут и найден полицией на ступеньках церкви Сен-Жан ле Рон, отчего эта церковь была ему и в имя полицией вписана.

Несколько минут прошло в обмене любезностями. Опыт долгой жизни и специфической службы убедили графа Рязанского, что первые впечатления редко обманывают, а потому он всегда во время знакомства старался составить эти первые впечатления. Перед ним сидел человек, казавшийся лет на пятнадцать моложе своего календарного возраста. Вся его одежда, начиная от маленького паричка, продолжая ловким кафтанцем и завершая пряжками на туфлях, отличалась удивительной сообразностью и простотой самого высшего качества. Гармония одежды неизменно подтверждалась каждым движением частей тела, ну, скажем, таким непростым, как закидывание одной ноги на другую. Но самое значительное совершенство содержалось в лице сего господина, исполненном вдумчивости, внимания и благорасположения. Высокий и чистый лоб, веселые, но без насмешки глаза, энергетический и явно привыкший к победам нос, скульптурно очерченные губы и подбородок – все это вместе рождало мысль, что сей муж был произведен на свет исключительно красивой женщиной.

Продумав все эти впечатления с быстрой сноровкой многолетнего собирателя всевозможных важных наблюдений над человеческой природой, граф

вдруг чуть не нарушил этикет, то есть едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Да ведь материнство-то столь бессердечное действительно приписывали редкой красавице, мадам Клодин де Тенсин, о коей говаривали, что она позировала обнаженной самому Регенту! Кому же прикажете приписать отцовство, если по архивным данным зачинателем философа был простой артиллерийский офицер кавалер Детуш?

Афсиомский, конечно, ничем не выразил своих озарений, а вместо этого затеял с Д'Аламбером вполне изящный разговор единомышленников и, так сказать, «вольтерьянцев». Как и полагалось в разгар века наук, надо было явить не только гуманитарные или политические интересы, но и близость к фундаментальным знаниям, а посему граф то слегка касался интегральных калькуляций и рефракции света, то мимолетно упоминал д'аламберовский трактат о равновесии и движении жидкостей, то ставил вопрос, лзя ли применить в военном флоте его формулу движения ветров.

При каждом возникновении новой темы философ выказывал неподдельное и даже немного детское удивление: какая осведомленность, какая тонкая наблюдательность! «Я хочу вам сказать, господин Афсиомский, что мы здесь, в Париже, восхищены поколением русских, кои так невероятно расширили границы Европы!»

«В ваших силах, господин Д'Аламбер, способствовать этому процессу для достижения максимальной удовлетворительности. Ея Величество продолжает возлагать надежду на ваше благосклонное решение присоединиться хотя бы ненадолго к нашей молодой Академии. Мои секретари в самое ближайшее время доставят вам личное послание Императрицы. Я не передаю его вам сейчас лишь для того, чтобы акт передачи приобрел официальный резонанс, если вы, конечно, не возражаете».

По завершении этого продолговатого абзаца граф продемонстрировал превосходную дипломатическую улыбку и подумал: «Уф!» Философ отвечивал своей улыбкой, в той же степени личной, сколь и свидетельствующей о полном понимании государственного расклада. «Ах, граф, ну что за чудо эта ваша молодая государыня! Поистине Божий дар для всей Европы! Вы не поверите, но в своем кругу мы иной раз называем ее одной из нас!» Афсиомский рассмеялся с благодушной хитроватостью. «Хотелось бы тут же раскрыть эту красочную метафору, достопочтенный господин Д'Аламбер», а сам подумал: «Одна из вас на российском троне? Однако!» Д'Аламбер, похоже, что-то почувствовал и потому привнес в свой ответ некую шутиливость: «Вы очень метко нарекли сей пассаж метафорой, местье. Вот именно метафорически мы называем Ея Величество философ и энциклопедистом».

«Браво!» воскликнул граф и генерал. В спорные моменты нынешнего царствования Ксенопонт Петропавлович подставлял на место Екатерины Елизавету. Дочь Петрова была полной противоположностью принцессы Цербстской, и таким образом ему было легче предугадать Екатерину. В случае сем первая вся бы задрожала от уязвления величия. «Наглец достоин ро-

зог!» вскричала бы она. «Каков льстец!» расхохоталась бы Екатерина. «Он достоин ласки!»

«А вы бы написали ей об этом, господин Д'Аламбер», предложил он. «Уверен, что Государыня будет польщена».

Д'Аламбер начал откланиваться, и тут вся встреча вдруг приняла совершенно неожиданный оборот. Вместо ритуальных расшаркиваний ученый запанибрата взял посланника под руку и отвел в дальний от дверей угол зала под портрет какого-то мошенника эпохи Ришелье. «Послушайте, мой Ксено», произнес он и намеренно сделал паузу, показывая, что он нарочно называет его так, как может называть только Вольтер. «Один мой друг, узнав, что я собираюсь нанести вам визит, попросил меня передать вам это».

Конверт плотной бумаги перекочевал из муфты философа в муфту вельможи. Главная цель визита была достигнута, и Д'Аламбер удалился теперь уже с ритуальными расшаркиваниями. Каковы философы, восхитился граф. Ей-ей, не так уж аляповаты, как полагает Сумароков! Я-то старался во все тяжкие, проникал в глубокий архив, а вот не озарило, что он пришел в роли почтальона.

С нетерпением он сорвал сургуч и, как всегда при виде этого почерка, почувствовал сердцебиение. Калиостро как-то хвастал, что по почерку узнает и ангелов, и дьяволов любого человека. Интересно, как он расшифрует почерк Вольтера: несколько слов – сущая каллиграфия, потом перо начинает прыгать по колдобинам, рассыпаются знаки – где тут черти скачут, где тут ангелы скользят?

Записка гласила: «Мо дорого Ксено! Н евзирая на южны й ветер, каковой, прилетая в Париж, усиливает старческую Мэгрень, я жду тебя завтра на ужин в доме моей племяннице мадам Дени на улице Травестьер. Претвкуш (чернильное пятно) шаю вечер приятных воспоминаний. Мой дорогой метведь, поосторожней с объятиями: мои кости хрустят уж при виде тебя. И все-таки опни ма ю! Ecr. L'inf. Твой. В».

Боги Олимпа! Афиномский весь возгорелся вдохновением при виде сокращения из семи букв с двумя точками и апострофом. Великий человек завершает так письма только своим ближайшим друзьям-энциклопедистам! ECRASONS L'INFAME – «сокрушим лицемерие», вот что оно означает! Нет, Александр Батькович, не возлагайтесь на мои летучие славянофильские настроения! Думая сейчас о замшелом патриархальном укладе, коему вы поете осанну, об отторжении вами просвещенного идеала, я вслед за моим учителем и другом повторяю: Ecrasons L'Infame!

К утру поостыл, хоть ночью и не раз бросался со свечой к разным кладезям мудрости для подкрепления аргументов, равно шатких с обеих сторон. После завтрака даже написал письмо Александру Сумарокову (опять позабыл отчество серьезного мужа; все почему-то «Исаевич» лезет, хотя и знаю, что это не так), в коем (в письме) с легкой иронией описал вечное возбуждение французов с их стремлением «остротой ума» подменить присущий нашим необозримым равнинам «поиск истины». Письмо не отправил: спешить некуда. В конце концов, во главе угла стоят государственные, исторические нужды.

Императрица недаром сказала: «Вас, граф, знаю как корень урапнопешенности». О, этот божественный акцент!

Долго готовился. Вспоминая вприкидку Д'Аламбера, тщательно подбирал общий прикид (кажется, так переводится на язык полей свержизающее *toilette*?). Протирал голову ореховым маслом для гарвеевского кровообращения мысли. Гонял второго секретаря Зодиакова в парфюмерную лавку. Снова и снова проглядывал содержимое ларца. Дрожжинин, как думаешь, на сколько тут добра? Премьер-майор углубленно подсчитывал, потом выдавал несообразную сумму: сто тысяч британских гинеев. А на наши? Мильён, ваша светлость! Гнал его прочь, а сам думал: близко, близко.

Наконец подошел закатыный бдительный час, и посланник Афсиомский отправился делать визит, из всех визитов наиважнейший. Вдруг подумалось: быть может, последнее в карьере архиисторическое поручение. Вот завершу сие дело, получу Андрея Первозванного из рук Государыни и выйду на покой. Соберу своих детей со всего света, открою школу мысли в губернии; там и угасну.

В Париже, как всегда, шло гульбище, однако улица Травестьер охранялась частной стражей и процветала в тишине. Майское солнце отражалось в двенадцати окнах с выпуклыми стеклами на фасаде внушительного особняка, построенного, по всей видимости, в эпоху Регентства, о чем свидетельствовала лепнина-рококо.

О той же эпохе гласила большая картина Ватто в нижней зале. «Я сохраняю здесь дух его молодости», сказала гостю хозяйка, которая за десять саженей походила на пухленькую барышню, но вблизи не оставляла никаких сомнений в том, кто главенствует в этих стенах. Черненькая мушка в углу ее рта тоже очевидно способствовала «духу его молодости». Граф был знаком с этими елизаветинскими мушками и навсегда сохранил к ним нежнейшие сантименты, что, кажется, было замечено хозяйкой.

Что и говорить, солидное досье было уже собрано в памяти графа на Мари Дени, вдову пятидесяти двух лет, уроженку Парижа, королевство Франция. Она была родной племянницей Вольтера, то есть дочерью его сестры. Дядя сам выдал ее замуж за капитана Дени и снабдил солидным приданым. Через шесть лет, в том возрасте, который через сто лет будет называться «бальзаковским», а через двести пятьдесят лет «еще ничего», несчастная овдовела. Дядя утешал ее с давно уже утраченной им вследствие литературных трудов страстью. По слухам, в интимные моменты он разговаривает с ней по-итальянски. До петербургской экспедиции даже доходило часто употребляемое слово *cazzo*, кое не было найдено ни в одном из тысячи словарей.

Мари, как и полагается прилежной племяннице, самозабвенно любила дядюшку, что не мешало – напротив, даже способствовало – ей увеличивать за счет свое личное состояние. Один из ее любовников по имени Мармонтель как-то странно охарактеризовал эту фемину по просьбе экспедиции: «...покладистая дама при всем ее уродстве имеет много общего с дядей... его вкусы, веселый нрав, исключительную любезность... что вызывает

у людей желание искать ея общества...» Как прикажете это понимать, месье, уже тогда возмущался граф-генерал. Вы называете женщину уродливой и лезете к ней в постель из-за вкусов ея дяди? Теперь он видел собственными глазами, что уродливость здесь и не ночевала. Скорее, насупротив, оживленная сударыня выглядела вполне приятственно, особенно при вечернем освещении, а талью ее отнюдь нельзя было отнести только к достоинствам корсета. И токмо лишь мгновеньями, когда она как бы вспоминает что-то малоприятное – может быть, возраст, может быть, наглость господина Мармонтеля, – лик ее хмурится и как бы надувается излишеством плоти, однако мимолетность тут же исчезает, как будто вы протерли зеркало, и снова перед вами облик изящества.

«Обратите внимание, дорогой господин Афсио, я здесь экспонирую книги дядиной молодости: Монтескье, Мариво, его собственную "Генриаду" в разных изданиях, а стены украшаю портретами его муз. Ха-ха, ведь мы же современные люди, а ревность – это пережиток абсолютизма, не так ли? Вот эти прелестные дамы, вдохновлявшие стремительного, худенького студентика иезуитского колледжа, этого Аруэтика, о котором тогда болтали, будто у него нет задницы. Что же, разве задница – это апофеоз мужнины? Ах, даже сейчас можно ослепнуть от этих сладостных нимф! Ну вот извольте, Тереза де Курсель, а вот знаменитая мадмуазель де Сабран, хозяйка салона и химической лаборатории, а вот и королева Вольтера, маркиза Эмили дю Шатле, к которой, признаюсь, я немного его ревную. Философ, химик, физик, автор трудов о природе огня, каково? Они все тогда были помешаны на науках и в своих салонах говорили больше о Ньютоне, чем о модах. Прошу сюда, граф», для пущей яркости она подняла над головой подсвечник с тремя пламеньями и произнесла многозначительно, если слегка не издевательски: «Посмотрите на его первую любовь, Сюзан де Ливри, маркизу де Гувернье. Когда-то он делил ее с другом юности, un menage a trois, каково, уже в то время – в России такие штучки известны? Это о ней дядя столь выпрепно восклицал впоследствии: "Твоих алмазов жар и глубь/ жемчужин, равных снам,/ не стоят шевеленья губ,/ что ты дарила нам!" Ну-с, каково? Он знал, что такое любовь!»

И тут бодрейшим козлетоном сверху скатился в зал семидесятилетний поэт. «Ксено, мой друг, ты благоухаешь, как ореховая роща!»

Встреча началась с торжественного государственного момента. Великому Вольтеру был вручен дар российского Двора, ларец с сибирскими драгоценными камнями. Посланник по просьбе правительницы особенно подчеркнул, что все алмазы и изумруды были отшлифованы и огранены российскими мастерами. Так российский народ отвечает на внимание к нему властителя дум всей Европы!

«Бесценный дар!» восклицал старик, склоняясь над ларцом и прижимая к сердцу все десять, если не больше, своих длинных пальцев, обтянутых перстенькой кожей. «Бесценное мановение августейшей руки!» Для мадам Дени бесценность была пустым звуком. Стараясь преодолеть магию камней,

она запустила в ларец обе свои пухленькие дланьки и стала прикидывать суммы закладов.

Затем последовала вторая, еще более важная часть государственного акта. Вместе с письмом Императрицы Вольтеру был передан медальон на секретном замке. Окружный, в пол-ладони предмет открывался только с помощью специального перстня. Нужно было согреть перстень своим дыханием, пока в нем не пискнет некий птичий голосок: то ли царскосельский соловей, то ли кашинский воробей. Теперь, Sire, вы кладете медальон в вашу ладонь и прижимаете перстень к задней крышке. Звучит несколько тактов блаженной музыки, и передняя крышка приподнимается.

Из медальона на Вольтера смотрел молодой лик Софьи Фредерики Августы Анхальт-Цербстской, ныне Екатерины Второй, Императрицы Всея Руси. «Боже! Месье! Прости мне мои жалкие вольности! Приемлю твой знак, Всемиловитейший и Всемогуший!!!» Он упал на одно колено – нитки на штанишках чуть-чуть треснули под коленом – и прижал свои сухие губы к нижней части портрета, где мастерски были выписаны складки ткани и грудь, розовеющая, как утренняя заря. «О, августейшая, лишь моя столь очевидная семидесятилетняя юность мешает мне в мечтах облобызать твои щедрые руки!»

«Перо!» почти басом тут вскричала мадам Дени. Трое слуг уже мчались с перьями и чернильцами. В доме бытовал обычай записывать за гением, чтобы ни на йоту не обкрадывать потомство. Афиомский вытирал глаза. Церемония закончилась. Старик поднялся и отправился переменить штаны. На пороге попрыгал с шаловливостью школяра.

Начался ужин. Подавали отменное вино из подвалов папского дворца в Авиньоне. «Это вино особенно хорошо идет под тост "Сокрушим лицемерие!"» острил еретик. Он был особенным любителем поедания вроде бы несъедобных птиц. Афиомский с удовольствием наблюдал, как Вольтер разделяет блюдо малиновок по-бретонски. Разнимает всякое мелкое сочленение, с каждой косточки обирает крошечки мяса, тянет зубами нежные нити сухожилий, а в довершение кусочком хлеба подбирает всяческие слизи. Все это надо запечатлеть для исторических мемуаров.

До сути дела беседа пока что не дошла. Пока что с удовольствием обменивались всякими легковесностями, что было сродни порханью только что скушанных птичек, еще не знакомых с сетками птицелова. Порхали с темы на тему; заводилой, разумеется, был Вольтер.

«А помнишь, Ксено, как в Потсдаме мы ели прусских ворон, сваренных в пиве? Не всякий и кавалерист одолеет такой изыск! Скажи, Ксено, а ты богат?»

Острейший взгляд и одобрительный кивок в ответ на ответ: «Достаточно богат, чтобы служить моей Государыне без корысти».

«Браво, Ксено! Ведь ты писатель, а каждый писатель должен быть достаточно богат, чтобы не попасть в зависимость от власти. В молодости я был беден и постоянно искал покровителей. В конце концов, меня взяла к себе маркиза дю Шатле, моя незабвенная Эмили, однако к тому времени я, именно я, а не наш муж, содержал весь ее двор. Среди богатых есть порядочные лю-

ди, что охотно возьмут поэта под свое крыло, и это в порядке вещей. Вспомни Корнеля, Расина, черт побери, Мольера, вспомни Вергилия и Овидия! Однако если ты не хочешь уподобиться последнему, высланному к пастухам и конокрадам, ты должен озаботиться созданием своего собственного состояния, мой Ксено! Мари, подтверди, что твой любимый дядюшка был в этом деле неутомим. Нет-нет, девочка, не в том деле, о коем ты перманентно мыслишь, а в сколачивании, сколачивании состояния – вот, что я имею в виду! Театр был главной упряжкой моего финансового экипажа, Ксено, театр, которому я предан, как турок своему Аллаху! Деньги за спектакли я давал в рост аристократам. Оные помогали мне получать подряды от правительства. Еще на заре зрелости ссылка в Англию помогла мне понять, как работает банк. Шутки в сторону, давай коснемся вопроса о философском камне. Сколько столетий Европа ищет этот пресловутый корень благоденствия, а между тем он уже найден в 1694 году, но не на дне тигля, а в Банке Англии. Банковский вексель – это и есть философский камень нашего века, мой Ксено! Ты меня понял?»

«Ты будто читаешь мои мысли, Вольтер!» наконец-то пробившись сквозь монолог, промолвил граф.

Старик вдруг надулся. «Это не твои мысли, а мои».

Перед подъездом послышалось усталое цоканье копыт и поскрипыванье захудалого возка. Мадам Дени стала извиняться. Ей придется ненадолго, не более чем на полчаса, покинуть блестящее общество дяди и генерала. Она хотела проделать это в легчайшем, шаловливом стиле, как бы упорхнуть, но вдруг отяжелела на правую ногу и даже немного постояла, закусив губу. Потом все-таки упорхнула.

Вольтер благодушно посмеялся ей вслед. «К ней приехал этот паршивец Мармонтель, самый верный из оставшихся любовников. Это кстати: можно начать разговор о сути дела. Однако прежде ответь мне на один вопрос, если, конечно, захочешь. Как ты попал к Екатерине? Елизаветинцы, насколько я знаю, не очень-то прижились к новым временам, а ведь ты пользовался большим доверием у вздорной бабы, что вычеркнула меня из членов Петербургской Академии».

Вся предыдущая болтовня была одним махом отодвинута в сторону, как на столе отодвигают всякий хлам, чтобы расстелить дорожную карту. Вольтер не отрывал взгляда от Афсиомского. Этому взгляду не семьдесят лет, а семьсот; из-под него не убежишь и перед ним не заюлишь; однако и правду ему открыть нельзя, когда ее сам не знаешь.

«Бог знает, Вольтер, как сложилась сия диспозиция. Два года назад я уже собирался в опалу, как вдруг был призван в Царское Село. Нынче складывается у меня идея, что сему благорасположению я обязан только тебе».

Семисотлетняя прозорливость при сих словах сменилась привычным вольтеровским подмигом двумя глазами сразу, лукавым благодушием и смешливостью. Граф понял, что ответил правильно, и продолжил: «Вольтер, давай начистоту. Твоему постоянному фернейскому гостю Ивану Ивановичу я по старой дружбе благоволю, однако Государыне не с руки было выбирать конфи-

данта среди Шуваловых. Так выбор ея пал на меня: и с тобой доверителен, и все ж не из Шуваловых».

Далее, попивая папское вино и перебивая вкус вина ломтиками разных сыров, они стали обсуждать дело. Вот его суть. Отчаявшись вытащить своего великолепного корреспондента на жительство в Северную Пальмиру, Государыня решила устроить с ним встречу в Европе. Все будет обставлено с секретностью и с сохранением обоюдного инкогнито. Очерчен круг наиважнейших вопросов, кои следует обсудить для пользы народов и царствующих семей. Государыня также намерена поднять ряд философских и исторических тем. Ее интересует, в частности, мнение Вольтера о театре всемирной истории: что это, работа искусного драматурга или нелепый и кровавый балаган? Сия встреча будет иметь место через год, но для начала этим летом с Вольтером встретится самый близкий Государыне человек, с коим Вольтер сможет говорить, как с ней самой. Вольтера доставят к месту встречи с максимальным комфортом и охраной верные люди графа Афсиомского. Всеми расходами, а также вознаграждениями участникам встречи озаботится секретная экспедиция Ея Величества. Встреча с конфидантом будет продолжаться четыре дня. Место встречи будет оговорено посредством спешной связи.

В этом пункте Афсиомский слегка напрягся. Что если спросит дотошный философ о «спешной связи»: какова, мол, она на вид и какова ее скорость? Открыть ему сей высший секрет самого узкого придворного круга нельзя, а не откроешь, засомневается старик в степени посвященности. Вольтер, однако, не выказал интереса, только улыбочка промелькнула на продолговатых губах; ужели знает?

«Послушай, Ксено», проговорил он после долгой паузы, «кто будет сей человек, говорящий от имени высочайшей женщины века? Сын ее еще мал, муж убит, кто сядет передо мной, неужели Орлов? Или кто-то другой уже появился?»

Афсиомский вздохнул. «Ах, Вольтер, в разговорах с тобой я всегда забываю о своем ранге посланника и вспоминаю о своем призвании писателя. Я очень горжусь тем, что ты относишь меня к своему собственному племени сочинителей, а посему с удовольствием забываю о дипломатической гибкости и о зарке секретности, о коем ты, конечно, догадываешься...»

Вольтер кивнул.

Афсиомский вальяжно развел руками, но внутренне поежился.

«...и приоткрываю тебе одну из тайн Царскосельского дворца. Недавно Государыня в весьма приватном разговоре назвала Григория Орлова "мой кипучий бездельник". Это о многом говорит, ведь еще недавно он был для нее ви-тязем без страха и упрека. Сомневаюсь, месье, что бездельник будет послан на встречу с Вольтером, даже невзирая на его кипучесть».

«Кто будет заменой, хотел бы я знать», хихикнул Вольтер. «Противоположность Орлову? Деловой человек с постоянной температурой?»

«Замены не будет!» взбурлил и сам посланник. «Будет послан только незаменимый! Точнее, тот, кто ей кажется таковым сей час. В этой величавой ца-

рице живет непредсказуемая фемина, мой друг. Поверь, она может ночью, сняв туфли, пробежать через анфилады комнат к любовнику. Всякая ее влюбленность тот же час отражается в ее глазах, отпечатывается в чертах лица. Поневоле спрашиваешь себя, что это: то ли маска волшебная надета, то ли, наоборот, маска снята».

«Да ты действительно писатель, мой Ксено!» воскликнул Вольтер. «Мне очень нравится твоя игра масок!»

Афсиомский чуть не потерял сознание от восторга. Надеюсь, кто-нибудь из слуг уже записал это сочное высказывание великого. Грудь, затянутая в парчу, забитая орденами, бурно вздымалась. Постепенно успокаиваясь, он решил, что маски всенепременнейше будут отражены в нувели. Гармония влюбилась в Ксенофонта Василиска, череда волшебных масок проходит по ее лицу.

Вольтер, движением руки отдалив слуг с чернильницами, приблизил свое лицо к Афсиомскому. «Ну а ты, мой Ксено, лично знаешь того, кто сейчас отражается в ее глазах?»

«Пока нет», отвечивал посланник-писатель.

Врет, подумал Вольтер.

Понял, что вру, подумал Афсиомский.

За окнами послышался шум отъезжающего экипажа, и почти сей миг в залу вбежала мадам Дени с не очень безукоризненно заправленным бюстом. Она постукивала носком правой туфельки и поворачивалась на каблучке левой. Что-то шелковистое упало на паркет из-под юбок, но она это что-то тут же подхватила и, как опытная комедиантка, стала помахивать этим у себя над головою. Вдобавок к сим фривольностям она лихо распевала нечто совсем непотребное:

Ах, тетушка моя была плутовка!

Огонь горел на дне ея очей!

Она любила гладить по головкам

Усатых и мохнатых трубочей!

Вольтер хохотал от всей души. «Черт знает, Мари, постыдись, ты голо-сишь, как шлюха с Лионской заставы!»

Мадам прокатилась вокруг стола и уселась на колено посланника. Экая пушечка, подумал тот, такая бухнет! Она продолжала актерствовать, жестикулируя и тарыхтя по-итальянски, то есть на языке вольтеровского интима, в коем кое-какие слова были Афсиомскому слегка знакомы: «эрекционе», «оргазмионе» и «эякульционе».

Вольтер посмотрел на часы, произнес свою клятву *Ecrasons L'Infame!*, взял подсвечник и пошел к себе. Уже с лестницы он объявил: «После такого ужина мне понадобится не менее двух клизм!»

Вот так сюрприз, думал граф, покачивая «пушечку» на своем привыкшем за долгие годы жизни к артиллерийским забавам колене. Он не знал, что его ждет в этом доме еще один сюрприз, и был буквально фраппирован, когда че-

рез несколько минут сей сюрприз грянул. Явилась большая группа дворянской молодежи, ведомая возлюбленными сынами рязанскими, Николя и Мишелем. Время было уже за полночь, в постель пора, а хозяйка тут же вспорхнула с каменного бастиона, то есть, вспорхнув, слегка отяжелела на левую и только потом уже – но с какой резвостью! – затрепетала к ночным гостям.

«Миша, Коля, Клодин, Фиокля, сюда, сюда, алон дансон, силь ву плэ!»

Выходит, что за эти три исторических дня «выжидания и одиночества» возлюбленная-то молодежь начала завсегдатайствовать у Дени-Вольтеров?! Тут мы замечаем, что с этими нашими-то некие и другие появились, то есть не нашего романа. Вот, например, третий секретарь российского посольства г-н Политковский, специалист по симпатическим чернилам; он-то как раз и засел за пиано-форте. Вот еще, к примеру, голштинские союзники-вассалы: граф Карл Малон, барон фон Остертаг, доктор Йохан Стоктон, вся троица разных степеней великанственности, как будто из прусской гвардии сбежали. С этими тремя были три дамы, которых сходство фамилий и титулов – иными словами, брачные узы – ничуть не ограничивало в поведении. Словом, разгорелся сущий бал-импровту, и это при наличии живого классика с клизмой в семи саженях наверху, прямо над люстрой.

Граф Афсиомский тоже тряхнул стариной, несмотря на застой в членах. Все три великанские супруги прошли через него, и все три приподнимали его парик, чтобы поцеловать в живое темя. Как всегда на балах, он старался внести что-нибудь новое в ритуалы котильонов и полонезов. В частности, выставив вперед левую или правую ногу, он шаркал ею перед дамой на зависть любому полотеру. Экстаз же наступал тогда, когда он откидывал партнершу на гибели руки вплоть до соприкосновения лобков.

В этих экзерсциях он не сразу заметил еще двух унцов, явившихся с кумпаньей. Эти двое не танцевали, но, присев к столу, застенчиво уписывали все, что осталось от щедрой трапезы. Вид их одновременно говорил и о приятном происхождении, и о перипетиях подонческой жизни. О первом свидетельствовали высокие лбы и осмысленные взгляды, о втором вопияли растоптанные башмаки, в коих иной раз появлялись униженные ножные пальцы.

По непонятной ему самому причине граф счел, что этих унцов следует занести в секретные архивы памяти, и не ошибся. Когда он спросил возлюбленных сынов рязанских об этих их кумпаньонах, кавалеры пришли в сущую ажиотацию. Последовал рассказ с обильным применением суперлятивных прилагательных.

Гран-Пер, перед тобой замечательнейшая пара братьев, величайшие изобретатели из всех молодых парижан, Этьенн и Жозеф Монгольфье! Гран-Пер (надо сказать, что, употребляя это словечко по отношению к графу, Николя и Мишель имели в виду не «дедушку», а что-то более приподнятое, ну вроде некоего «великого прародителя»), ах, Гран-Пер, эти Монгольфье сродни мифическим людям-птицам, как их звали... Игорь?..

«Икарус», подсказала Клаудия.

...Данила?..

«Дедалус», подсказала Фиокла.

Оказалось, что, прогуливаясь сегодня под вечер в Латинском квартале и беседуя о важности как классического, так и практического образования, – о чем же еще могло беседовать благовоспитанное уношество вблизи Сорбонны? – наша кумпания увидала, как над черепичными крышами убогих строений, в коих обитает полунищая молодежь, начинает взбухать какой-то непонятный купол. Они устремились в том направлении и достигли пустыря. Над пустырем в струях вечернего ветра раскачивался на веревках огромный шар с подвешенной к нему корзиною. Корзина сия служила сидалищем для Жозефа и Этьенна. Там пребывая, они объясняли что-то кучке сограждан.

Сначала наши гуляки подумали, что им передался какой-нибудь сомнамбулический сон Мишеля. Последний, мыча, качал за уши свою неумную главу. Однако ведь сны не бывают заразными, правда? Они не бывают инфекционными, вразумили всех передовые курфюрстиночки. Век колдовства себя исчерпал, не так ли? «Все дело в горячем воздухе!» крикнул из корзины Жозеф. «Мы не колдуны! Через сто лет все люди будут летать на горячем воздухе!» Ну, конечно, Гран-Папа, как могли твои воспитанники удержаться от бурных аплодисментов и криков «ура»? Они немедленно были готовы последовать примеру сиих смельчаков. Никола с Фиоклой, Мишель с Клаудией. Или наоборот. Какая разница? Благородные принцессы стали тут бить кавалеров по шеям: ах, негодники, вы до сих пор не можете в нас разобраться?! Мы сами поднимемся на горячем воздухе, без вас! Мешок теперь выровнялся и натянул веревки. Струя пламени из малого тигля била ему в поддон, но не воспламеняла, а только надувала бока. В толпе кое-кто начал подбрасывать шляпы. Подручные на земле уже развязывали канаты, когда на пустыре появилась другая толпа, вся в черном. Это были монахи из обители янсенистов, тех, что не верят в прогресс человечества, или, как Гран-Пер иногда говорит, «пчеловодства». Они стали забрасывать в корзину визжащих от ужаса кошек с привязанными к хвостам веревками и тянуть корзину назад к земле. Любая кошка, вцепившаяся в плетенку, быв потянута за хвост, создает сильнейшую тягу, а их тут было не менее дюжины. Шар упал набок и загорелся. Шум стоял адский. Монахи вопили пуще кошек: «Бей нечистую силу!» Часть публики не без резону возражала, что именно монахи с их кошками являют тут нечистую силу. Пошли в ход кулаки и прочие орудия насилия. Шпаги наших кавалеров, быв изъяты из ножен, лишь защитили господ Монгольфье и помогли им беспрепятственно выбраться из-под горящего мешка. Таким образом, Гран-Пер, нам всем удалось бежать до прибытия полиции и избежать дипломатического скандала. С возгласами «Ecrason L'Infame!» мы покинули сию историческую сцену.

Посланник Афиомский был глубоко впечатлен этим повествованием. Голова у него кружилась, и не только от вина, но еще и от какого-то неясного вдохновения. Приблизившись к братьям Монгольфье, он пригласил их в Россию для продолжения опытов по применению горячего воздуха для летания в холодном воздухе Империи. Он предположил, что из летающих мешков мож-

но будет легче находить на земле различные светящиеся минералы, однако умолчал, что эти же мешки можно преотлично использовать для слежения за ордами мятежных кочевников.

Как можно легко представить, у братьев Монгольфе головы в эту ночь тоже были не на своем месте. Почти взлететь, почти оторваться от столь надоевшего земного притяжения! Быть заброшенными кошками темных монахов! Погибать под горящими руинами любимого детища! Быть спасенными двумя лапландскими графами! Быть ещежды и ещежды поцелованными то ли одной, то ли двумя красавицами немецких королевских кровей! Попасть в дом к самому Вольтеру, с чьим именем бросаем вызов противникам воздухоплавания! Получить приглашение в Россию для строительства тысячи шаров! Нет, это уж слишком даже для двух родственных голов изобретателей Монгольфе!

Оба тут встали и раскланялись, шлепая полуотвалившимися подошвами. Спасибо за приглашение, господин орденносец (сиамский орден, подаренный его похитителем Вольтером, продолжал сиять на обширной груди), но наши жизни и труды посвящены одной лишь Франции. Увы, она не дает нам денег, так что для строительства шаров на горячем воздухе мы вынуждены экономить на еде и одежде. Следующий и, надеемся, удачный отрыв от почвы нам удастся осуществить через девятнадцать лет, то есть в 1783 году. Главное же состоит в том, что сегодня мы живы и сыты и всех за это благодарим! И они пустились в пляс с курфюрстиночками.

Угомонились часа через три, а рассеялись вообще только к утру. В полном почти мраке второго этажа посланник Афсиомский бродил в поисках ночного горшка, когда увидел, что навстречу движется что-то продолговатое и белесое. Он догадался: Вольтер не спал ни минуты! Да и как мог спать великий человек на грани таких серьезных исторических событий?

«Ксено, это ты? Или это ты, Мари?» слабым, но звонким голосом спросил философ.

«Это я», отвечал многоопытный путешественник.

«Ты безупречно выполнил свою миссию, мой брат», сказал Вольтер.

«Спасибо за все, мой брат», отвечал Афсиомский.

«А знаешь ли ты самую главную заботу Екатерины?» спросил Вольтер.

«Увы», глухо, совою, ухнул граф.

Вольтер торжествующе кукарекнул. «Солнце, вставай!» Первый лучик тут же порскнул из-за трубы напротив...





ВОСПОМИНАНИЯ

Алэн Польц

ЖЕНЩИНА И ВОЙНА*

Совершенно серьезно я хотел бы, чтобы воспоминания Алэн Польц «Женщина и война» были включены в программу «дополнительного чтения» для старшеклассников – именно сегодня, когда им со всех сторон дуют в уши, что они живут в какое-то небывало трудное время и что человек не более чем бессильная игрушка материальных обстоятельств: если он видит преуспевающих воров, разумеется, он тоже будет воровать, если он слышит об удачливых убийцах, разумеется... Разумеется же, в России всегда были, есть и будут люди, вопреки самым неодолимым обстоятельствам делающие то, что считают нужным и справедливым, – вплоть до впадения во всевозможные виды утопизма. Но в литературе нашей чрезвычайно мало примеров будничного противостояния – когда человек не поддается напору страшных событий не ради абстрактной идеи или гордыни, а просто для того, чтобы выжить и не сделаться подонком.

Я думаю, если бы женщины были склонны к писанию мемуаров, мы имели бы неисчислимое множество примеров будничного героизма. Героизма, направленного не на то, чтобы восторжествовать над кем-то, а на то, чтобы кого-то спасти: цель нормальной женщины не победа, а мир и согласие, гармония. Жизненный подвиг Алэн Польц, боюсь, не каждый даже и сочтет подвигом: она не взрывалась с гранатой под танком, она не бросала вызов деспотизму – а всего лишь из всех сил стремилась исполнить свое земное назначение: служить самоотверженно тем, кого любила, и быть порядочной со

*Нева. 2004. № 2.

всеми остальными. Нет, больше, чем порядочной, – доброй. Россия, где эффектному подвигу готовы противопоставить разве что подвижничество, кажется, так и не расслышала Льва Толстого: Наполеона победили мужики Карп и Влас, не пожелавшие везти ему сено. Тем не менее можно продолжить: зло при всех своих явных преимуществах так до сих пор и не сумело стереть добро с лица земли оттого, что такие вот наивные милые девочки, пройдя через чудовищные муки и унижения, все-таки ни на миг не согласились признать жестокость и низость нормой.

Алэн Польш рассказывает о своей жизни с предельной простотой, но ее история в умелых руках вполне потянула бы на голливудскую мелодраму с хеппи-эндом, ибо мы беседовали с Алэн в ее просторной аристократической квартире среди избранного общества, которое особенно украшал ее муж Миклош Мессей, седовласый красавец и европейски знаменитый писатель. Сама Алэн – известный в Венгрии психолог, до сих пор работает в хосписе и сетует, что в нынешней погоне за деньгами люди забывают обо всем, что могло бы их поддержать перед лицом смерти. Кажется, ее больше всего беспокоило, не оскорбит ли русского читателя описание надругательств, учиненных когда-то над нею нашими соотечественниками, и она повторяла, что венгры в России наверняка вели себя не лучше и что немцев она боялась больше, чем русских: если немцы пообещают расстрелять, значит, точно расстреляют, а русские вполне могут вместо этого и накормить, эти одичавшие дети, презиравшие страх и боль, увы, не только свою...

Попутно, к сведению российских судов, никак не умеющих разобраться, что такое разжигание национальной розни, – это самое разжигание едва ли не в большей степени заключается не в том, что говорится (если, конечно, это не прямая ложь), а в том, что умалчивается. Если действительно рассказывать всю правду о любом народе даже в самых неприглядных его проявлениях, то рядом с отвратительным непременно окажется и что-то, достойное восхищения. Мне кажется, книга Алэн Польш служит так называемой дружбе народов в гораздо большей степени, чем все умалчивания былой советской пропаганды, еще и потому, что дружить народам до крайности мешает их преувеличенное представление о собственной безупречности. В нашем будапештском разговоре Алэн мимоходом упомянула о молоденьком русском солдате, который в пятьдесят шестом году брел по расстрелянному Будапешту с такой тоской в глазах... Разглядеть тоску в глазах победителя – какой еще «дружбы» можно желать!

Воспоминания А. Польш вышли на русском языке в будапештском издательстве «Понт», однако в Россию попали лишь считанные экземпляры. А потому мне хочется, чтобы как можно больше людей прочли эту потрясающую книгу. Хотя бы в отрывках.

Не уподобляясь потрясенной матери Алэн: «Доченька, скажи, что это не правда!» Если это и не вся правда, то это та правда, которую мы обязаны знать.

Александр МЕЛИХОВ

Мы с нетерпением ждали прихода русских или англичан. Мы были беззащитны, ведь всех нас могли уничтожить в любую минуту. Партизаны, немцы, жандармы, да хоть бы и венгерские солдаты. Солдаты? Офицеры – может быть, *по приказу*. Разве тогда кто-то верил еще в победу немцев? И все-таки – чрезвычайное положение и расстрелы были сплошь и рядом. Согласно указу о чрезвычайных мерах, к стенке могли поставить кого угодно. Никто не знал, чего или кого боится другой. Несмотря на это, все мы каким-то образом доверяли друг другу, доверяли даже незнакомым. Приказы тогда отдавались чаще, чем приводились в исполнение.

В связи с этим мне вспоминается такой анекдот:

Один мюнхенец спрашивает другого: «Скажите, вы верите в победу фюрера?» Тот внимательно оглядывается по сторонам... уводит спросившего в подворотню, там опять оглядывается, делает знак, отводит в дальний конец сада, видит стог сена, снова делает знак, оба забираются туда, он наклоняется к его уху и шепчет: «Лично я – да».

<...> Когда дядя Енё с женой и Марци уехали и Мами* перебралась к нам, Лапочка вдруг развеселилась. Может, настроение у нее поднялось оттого, что в комнате остались только мы с Мами (мужчины опять были на охоте); она принялась скакать – прямо в пляс пустилась. Огромными прыжками она перескакивала через стулья, взлетала в воздух. Мы с Мами смеялись, глядя на нее. Я как раз хотела подать кое-что к праздничному ужину и посмотреть, как дела у наших «поваров», когда мы услышали шум моторов. Мы очень удивились: ведь, насколько нам было известно, сюда, на гору, машины еще никогда не поднимались. Даже лошадям было трудно втащить наверх телегу. Мы выскочили наружу. Перед домом стояли две немецкие военные машины. Одна была вроде грузовика, но все-таки не грузовая. Из нее выпрыгнули трое офицеров, я разглядела головы нескольких солдат. Моторов они не глушили. Офицеры подошли к нам и потребовали, чтобы мы немедленно сели в машины: через пару часов здесь будут русские. Из этого дома жандармы устраивали облавы на партизан (на самом деле, к нам они заходили погреться), и в отместку нас всех здесь перережут, а дома спалят дотла.

Мами так побледнела, что едва могла переводить слова немца, и беззвучно разрыдалась. «Здесь нет мужчин, – ответила я, – мы не можем уехать, пока они не вернутся». «Они не вернутся», – уверенно заявили офицеры. «Я не поеду», – сказала я. «Тогда я тоже остаюсь», – добавила Мами.

Я побежала в дом и спросила остальных, что они хотят делать. Конечно же, уезжать они не хотели. Им, евреям, было бы непросто принимать помощь от немцев.

Последовали поспешные уговоры, но я только качала головой. Тогда они спросили, есть ли у нас оружие. «Это – пожалуйста», – отвечала я и с готовностью, даже с радостью отдала все оружие, что было в доме: от дорогих бельгийских охотничьих ружей до русских автоматов, все патроны, шомпола

* Мать моего мужа Яноша.

и, конечно же, гранаты. Я просто поразились, когда двое солдат вынесли патроны и гранаты; я выбрасывала их в корзину для дров, она заполнилась наполовину.

<...> Словом, я была рада, что сдала оружие. Немцы быстро погрузили его в машину. Один из офицеров протянул мне руку. Когда я взяла ее, он резко схватил меня за руку и втолкнул в машину. Я стала яростно отбиваться, вырвалась, выпрыгнула из тронувшейся машины. Конечно, я упала на землю, но тут же вскочила и погрозила им кулаком.

Эта сцена до сих пор меня забавляет. Кому я могла угрожать в машине с солдатами, набитой оружием?

Впрочем, немцы могли бы забрать нас с собой насильно, если бы захотели. Но почему же они хотели, чтобы мы поехали с ними? Почему втащили меня в машину? Над этим я часто ломаю голову. Если они хотели разграбить дом, они могли это сделать и так. В случае сопротивления они могли перестрелять нас из сданного мной советского автомата, а потом свалить все на партизан – разве что их вообще кто-нибудь стал об этом спрашивать! Может, им действительно было жаль нас и они хотели нас спасти?

Наконец вернулись мужчины. Какая радость, какое счастье! «Ах, эти немецкие свиньи!..» Как, я сдала оружие?! Они так разозлились, что чуть не разорвали меня. Что нам делать без оружия? Что с нами теперь будет? Между тем у одного из французов в кармане остался маленький пистолет. Тогда мы еще об этом не знали. Он ничего не говорил.

А я наряжала рождественскую елку. Только мы зажгли свечи, как в дверь постучали венгерские солдаты-дезертиры. Мы пустили всех. Такой у Яноша был принцип (и у меня тоже). Разве можно оставлять человека на улице в зимнюю стужу без помощи? Мы наскоро переодели их в штатское. Солдатскую форму забросали навозом.

Я раздала всем рождественские подарки – шоколад, сигареты, карандаши, каждому достался праздничный ужин и вино. Бедняги, они благодарили нас со слезами на глазах.

Такой у нас был сочельник. Растроганные, мы праздновали Рождество Христово, ожидали Спасителя. А вокруг – заснеженный лес и шестнадцать собак... Они получили по куску колбасы из оленины. Конечно, пили мы и вино. <...> На следующее утро проснулась с тяжелым сердцем. Первый день Рождества! Для меня это всегда был радостный семейный праздник. Свет, сияние, смех. Я с трудом держала себя в руках. Завтракали мы в полном молчании.

То утро глубоко врезалось мне в память. На мне был длинный, до полу, красный блестящий пеньюар – по случаю праздника. Намазывая хлеб медом, я выглянула на улицу, в снегопад. Снег валил крупными хлопьями. Во дворе я разглядела две занесенные снегом фигуры – верхом, в маскировочных халатах с капюшонами, словно видение!

Они выглядели совсем не так, как венгерские или немецкие солдаты. Может, из-за облепленных снегом капюшонов и красных звезд на меховых шапках, видневшихся из-под них; но и лица у них были другие. «Русские!» –

воскликнула я, вскочив, и показала в окно. Из соседней комнаты вбежали Фёрштнер и двое французов.

В следующую секунду дверь была выбита сапогами, и в проеме, весь в снегу, появился солдат с автоматом наперевес. Ствол он по очереди наводил на каждого из нас, без единого звука. Каждый раз я смотрела не на дуло автомата, а на того, в кого он целился. Все менялись в лице, у кого-то глаза широко раскрывались, у кого-то сощуривались... но не только это. Было и другое. (Мне потом часто приходилось наблюдать эту игру страха на лицах.)

На секунду настала изумленная тишина. Потом нас о чем-то спросили по-русски. Мы не понимали.

Фёрштнер принялся объяснять, испуганно, но на чистейшем немецком языке, что мы – дипломатический корпус и так далее. Он сильно побледнел. Я испугалась: идиот, кому же он тут по-немецки толкует? И перебила его. *«Венгерски»*, – сказала я, показывая на нас. *«Евреи»*, – показав на Фёрштнера. *«Руски солдат добре. Немецки не добре»*. Услышав это, они немного смягчились.

Нас согнали в угол. Спрашивали, есть ли оружие? «Нет». Вбежали несколько солдат, начали обыск. В считанные секунды они перевернули дом вверх дном, все перетрясли, разбросали, прочесали. Потом обыскали всех нас. В кармане у француза нашли пистолет. «Зачем он тебе? За это – расстрел». Теперь я увидела страх на лице у француза. *Тот самый страх*.

Их части с боями прошли всю Румынию, и они немного понимали по-румынски. Мы быстро об этом догадались, и я стала переводить. (Я сказала им, кто мы такие, но их это не интересовало.)

Еще не увели француза, а в дом уже втащили венгерского солдата, одного из тех, кого мы приютили. В кармане у него обнаружилось какое-то удостоверение. Не знаю, что это была за бумага, мне не дали на нее посмотреть. Переводить было не нужно, потому что этот рослый, бравый парень с добрым, типично венгерским лицом вдруг бегло заговорил по-русски. Но по его напряженному виду чувствовалось, что его обвиняют. Он мучился, маялся, но, видимо, оправдаться было нечем. Его увели. Из-за дома послышались три коротких, отрывистых хлопка. Янош кивнул мне, когда я вопросительно взглянула на него: *сейчас* – убили. Потом увели и француза (на следующий день он вернулся – бледный, разбитый).

Все произошло чрезвычайно быстро. После этого на нас никто больше не обращал внимания. На нас смотрели, как на неодушевленные предметы. А мы натыкались на них на каждом шагу, ведь в каждую комнату набилось человек по тридцать-сорок. Невозможно было пошевелиться. Всем хотелось согреться. Не успели мы глазом моргнуть, как конюшня была переполнена, да и в саду, под деревьями, были привязаны лошади, покрытые шинелями, маскхалатами, одеялами. В том числе, конечно, и нашими, стегаными. Они брали все, что было в доме; им даже не приходило в голову, что это – чужое. Если мы сидели или стояли – они нас не трогали, если только им не нужно было именно это место. Тогда нас просто отталкивали в сторону с величайшим равнодушием и безразличием. Ночью мы сидели на корточках в углу или спали втроем

на одном матрасе. Как ни странно, матраса нашего они сторонились. Если иногда и присаживались на краешек, то ложились на него редко.

Однажды вечером, еще в первые дни, Мина вошла и сказала: «Представляешь, они притащили тушу косули из нашей кладовки и всю разделали. Двое солдат провертывали мясо (у нас было две мясорубки), третий взял немного снега, протер им пол и прямо там, на полу, начал месить фарш. Он засучил рукава гимнастерки, руки у него до запястий – черные, а выше – белые».

Мясо они готовили так: солили, приправляли чесноком и лавровым листом, потом поджаривали в жиру большие овальные котлеты. Естественно, вся эта уйма людей моментально уничтожила наше драгоценное замороженное мясо. Но они ели все, что попадалось под руку. Я не видела у них ни мешков с провизией, ни полевых кухонь. Казалось странным, что, в отличие от венгерских и немецких солдат, они не носили с собой ничего, кроме личного оружия. За голенищем у них были ножи. Заплечных мешков или сумок просто не имелось. Одежда им были не нужны, потому что в своей ватной стеганой одежде и меховых тулупах они могли спать хоть прямо на снегу.

<...> Вообще-то, трудно даже вспомнить, в какой обстановке мы жили. Не было ни минуты покоя, тишины. Народу в доме – как в переполненном трамвае. Спали все кто ночью, кто днем, сидя на полу, прислонившись друг к другу. Спали и мы, но никогда – по-настоящему. Днем и ночью приходили и уходили все новые солдаты. Отряды тоже сменяли друг друга. Дни слились в какой-то странный, туманный, тяжкий сон.

Вода в колодце иссякла. Еду готовили на талом снегу. Сначала давали пить лошадям и только потом пили сами. Конечно, все это вместе с ними терпели и мы. Уже давно мы не мылись. Негде было, не было ни воды, ни подходящего случая. Ели мы то же, что и они. Мы все время были в полусне, даже когда спали. Часто вспыхивали ссоры, иногда слышались крики, брань.

<...> Однажды дом неожиданно опустел. Я сделала уборку, мы разместились. Тогда пришли румынские солдаты. Когда я заговорила с ними по-румынски, они со слезами бросались мне на шею, целовали руки. Они умоляли, чтобы им дали поесть. И сейчас душа болит от того, что я дала им только хлебных корок. Но и за них они благодарили со слезами. Провизия у нас была на исходе, а припрятанное я доставать боялась.

В лесу, у скал, мы еще в начале нашего пребывания здесь закопали бидон жира. Это был неприкосновенный запас. Позже я не раз собиралась вернуться туда, отыскать его – в голодные военные, а потом и мирные дни.

Мы с неизъяснимой силой жаждали мира. (Русские – нет, им нужен был Берлин. Они были победителями и наслаждались войной.)

Меня учили русскому языку – способом невероятно простым. Однажды утром, когда я выглянула в окно, мне сказали: «Зима». Я смотрела, не понимая, тогда один из солдат взял меня за руку, вывел на улицу, сунул мне за шиворот большущий комок снега и сказал: «Зима! Разуме?» Я поняла и с тех пор знаю, что это означает холод. Или снег? Неважно: «зима» для меня – это холодный снег за шиворотом.

Однажды они принесли какого-то пойла, разлили его по стаканам и сказали, что это надо выпить за здоровье Сталина; кто не выпьет до дна, тот враг. Не знаю, как я все это поняла. Думаю, я очень быстро усваивала русский. К тому же они знали несколько слов по-румынски.

Мы встали в круг, помню, я поднесла стакан ко рту и почувствовала, что в нем палинка. Я хотела поставить стакан, но они заорали; пришлось выпить до дна. От стакана крепкой палинки я уж точно должна была опьянеть. Янош обнял меня, отвел в уголок, усадил, и там, сидя сгорбившись, на корточках, я скоро заснула. Когда проснулась, я уже более или менее протрезвела. Меня не обижали. Я даже представить не могла, что меня могут обидеть.

Еще в Будапеште я видела плакаты, на которых советский солдат срывает крест с шеи женщины. Я слышала, они насиляют женщин. Читала и листовки, в которых говорилось, что творят русские. Всему этому я не верила, думала, это немецкая пропаганда. Я была убеждена: невозможно представить, чтобы они валяли женщин на землю, ломали им позвоночник и тому подобное. Потом я узнала, как они ломают позвоночник: это проще простого и получается не нарочно.

Однажды кто-то из солдат отнял у югославского священника часы. Это были старинные, большие часы с римскими цифрами на циферблате, которые тот очень любил. Он пожаловался мне. Кажется, он говорил по-немецки, я его поняла.

Я ужасно разозлилась, пошла к русским, попросила его показать солдата, взявшего часы, встала перед ним и, обругав, потребовала часы назад. Там стояли другие солдаты, они смотрели и слушали, но во время всей этой сцены не промолвили ни слова.

Собственно говоря, общаться с русскими нетрудно. Кричать можно и по-венгерски. Часы священнику вернули.

Господи Боже, какая же я тогда была наивная! Я не знала, что их надо бояться.

Я еще и объясняла, что мы – дипломатический корпус, что мы *экстерриториальны и неприкосновенны*. Они поняли это буквально, обступили меня, смеялись, давали пощечины, пару раз стукнули (не очень сильно). «Видишь: какая же ты неприкосновенная?» В другой раз предложили встать на «экстерриторию». И с любопытством ждали, как у меня это получится.

Это не было шуткой. Они думали, что неприкосновенность – это нечто вроде благодати божьей, то есть, например, если тебя кто-то хочет ударить, рука его застывает в воздухе. А может, и не думали. За редким исключением, они были атеистами и, к моему изрядному удивлению, антисемитами. Когда Фёрштнера обозвали жидом, я возмущенно на них прикрикнула, и они тут же унялись.

В отряде была и женщина, звали ее Надя. Однажды вечером она взяла меня за руку, отвела на кухню, мы как-то заперли дверь – наверное, завязали бечевой. Она что-то крикнула по-русски в коридор, думаю, что-то вроде «коставте меня в покое», согрела воды, помыла голову, вымылась сама, выстирала лифчик и трусы и так, мокрыми, надела их. Сначала, раздеваясь, она попросила меня разрезать веревочку, которой был завязан на спине ее лифчик, иначе она не могла его снять. Потом – потереть ей спину. Наконец, надевая мокрый лифчик, что-

бы я снова завязала его веревочкой. «Посильнее!» – подбадривала она меня, просила затянуть покрепче. Я опешила. Потом поняла, что она неделями будет сражаться вот так, натуго и жестко перетянутая, иначе не сможет двигаться, скакать верхом наравне с мужчинами: ведь она была кавалеристка и носила мужскую одежду. Я не понимала, почему эту единственную женщину определили к мужчинам. Никогда не видела, чтобы с ней заигрывали или обнимали ее.

<...> В одно прекрасное утро нас всех собрали, дали телегу, в которую можно было сложить часть вещей, Мами тоже разрешили сесть в нее, но она отказалась: хотела идти *с нами*. Остальных, то есть нас, погнали с горы пешком, дав в руки какую-то бумажку. На листочке величиной с ладонь, вырванном из тетради в клетку, было что-то написано русскими буквами, что – мы не смогли разобрать. Нас сопровождал русский солдат, верхом, естественно, а мы шли пешком. Когда мы спустились в Пустакёхяняш, нас присоединили к группе побольше; впереди ехали двое солдат верхом, за ними – толпа мужчин и женщин, сзади – снова верховые. Так мы шли и шли, куда – не знаю, а потом к нам присоединился еще отряд.

Затем нас разделили: женщин – отдельно, мужчин – отдельно. Мы с Яношем переглянулись: наверняка гонят в плен. Мы подумали о Сибири, тем более что зима была суровая, снег жесткий, солнце светило и искрилось, сильно подмораживало.

Мы шли. Вернее, плелись толпой по незнакомой дороге. Почти никто не разговаривал. Отряд был довольно большой. Тех, кто не мог идти дальше и падал, забивали насмерть или пристреливали. Чаще всего падали старики, женщины, дети, они теряли сознание от усталости; все равно они не смогли бы идти дальше и скоро замерзли бы, даже если бы пуля не покончила с ними. Но эта смерть была верная. Я не знала, что мы движемся сквозь огневой рубеж.

Так мы шли до вечера. Мами уже еле-еле шагала. Мы тащили ее, подхватив под руки с двух сторон, бедняжка едва волочила ноги по земле, слезы лились из ее глаз ручьем.

У меня заболело сердце; это неудачное выражение, но ничего другого я сказать не могу. Потом меня охватила дикая злоба к русским. Такая злоба и гнев, которые я редко ощущаю в жизни: в эти минуты меня переполняет такая отвaga, что я ничего не боюсь.

Я выскочила из строя; не знаю, почему меня не пристрелили. Побежала вперед и схватила под уздцы лошадь солдата, ехавшего в голове колонны. Лошадей я тогда уже не боялась: они гораздо лучше, чем люди. Лошадь резко остановилась и поднялась на дыбы, когда я встала перед ней как вкопанная. А солдат занес плетку и ударил меня или хотел ударить, уже не помню, это не так важно.

Помню только, что кричала по-русски: «Стой!», а по-венгерски: «Звери! Вы что, не видите – женщины и дети не могут идти? Остановитесь!» И мы остановились! Солдаты и вся колонна – все рухнули на землю там, где стояли; люди смогли наконец передохнуть, помочиться. Не знаю, сколько мы простояли; через некоторое время мы поднялись и двинулись дальше.

Что было после – не знаю: от усталости и холода мне отшибло память.

Потом вижу себя в каком-то домике, чистом, приветливом; там всего одна комната, в печке ярко горит огонь. Может быть, это охотничий домик или караульное помещение. Там, к моему удивлению, сидел мужчина в форме немецкого офицера; нога у него была то ли в гипсе, то ли забинтована; он разговаривал со стоящим рядом русским офицером, видимо, большим чином. Я показала ему записку и попыталась объяснить, что мы – «*дипломатический корпус*», а потом потребовала по-русски, по-венгерски, по-румынски и по-немецки, чтобы наспустили: это незаконно, бесчеловечно.

Офицер внимательно смотрел на меня, затем вызвал солдата (не помню уже откуда) и приказал, чтобы нас отделили и отпустили на свободу. Всех нас: пленных французов, югославского священника, представителя папского посольства с матерью, Клари, девочку, Мину с матерью, Яноша, Мами и меня – отпустили на все четыре стороны.

Перед этим нам вернули ту бумагу и дали каждому по ломтю хлеба – полбуханки на всех. Мы были голодны с самого утра, не помню даже, ели ли мы утром. Свой ломоть хлеба я положила в карман пальто: съем позже, когда голод совсем одолеет, или отдам кому-нибудь, кто выбьется из сил. Так мы и отправились в дорогу, зная – нас как-то предупредили, – что находимся на передовой.

<...> Ночью мы добрались до околицы Чаквара. Там был выставлен патруль: русский солдат расхаживал взад-вперед.

Наши собаки опять были с нами. Три из них, те, кто выжил, преданно за нами следовали. Пока мы шли в колонне, они бежали лесом, держась вдалеке, чтобы солдаты не заметили их и не пристрелили. Они были очень смывленные: все-таки охотничьи собаки. В этом им повезло, да и нам тоже. Ведь из-за собак мы могли поплатиться жизнью.

Из последних сил мы пробрались по сугробам через лес, сквозь кустарник и вышли на тропу, ведущую к деревне. Все смертельно устали, но Янош не разрешил делать остановку – боялся, что мы не сможем больше подняться: ведь мы были на ногах с утра.

Зимой рано темнеет, но нам казалось, ночь тянется целую вечность. К тому же ночь была лунная, светло было и от снега. Мы притаились на опушке, потом легли на снег; можно было точно рассчитать, когда часовой уйдет дальше всего. Вот он доходит до места, где лежим мы; поворачивается, идет обратно; вот повернулся к нам спиной! Пока он смотрит в другую сторону, можно переползти через дорогу; на той стороне – похожая на ров ложбина, по ней и нужно двигаться дальше. Когда он повернется – это нужно было рассчитать, – надо, лежа на животе, затаиться в ложбине. Пройдет, опять повернется спиной – можно ползти дальше, потом опять затаиться. Эта игра терзала нервы. Янош знал, как нужно двигаться, сам он пять раз прополз по этой дороге. Он и подавал нам сигнал: лечь – остановиться – двигаться вперед. Стоит кому-то сделать неверное движение – и всем нам конец. Он знал наверняка, что на передовой стреляют без разговоров. Да если бы нас и стали спрашивать, что бы мы сказали?

Так вот *почему* русские выгнали нас из дому, вот *почему* должны были умереть те, кто падал и отставал от колонны. А почему тогда наспустили?

Понятия не имею. Хотя у нас была бумага, что мы – дипломатический корпус и так далее, но ведь, в конце концов, нас отправили под огонь: тогда, ночью, никто не стал бы проверять у нас документы.

Последними остались Янош, Мама, я и собаки. Янош перетащил Маму. Очередь была за мной и за собаками. Из-за них он очень сердился. Ругался еле слышно, но крепко, шепча: «Какой же я дурак: собак надо было пристрелить, к дереву привязать. Надо их убить!» Я не хотела убивать собак. Жить, правда, тоже не очень хотелось. Зато очень хотелось, чтобы в живых остались другие, особенно Янош и Мама. Я молчала, и мы поползли. Он – впереди, я – за ним, бок о бок со мной – Филике. Филике был такой худенький, что умещался в канаве рядом со мной. Сзади – две другие собаки. Они уж наверняка точнее выполняли указания Яноша, чем я или кто-либо другой. Когда он давал знак «лежать тихо», они не шевелились. Когда мы ползли по-пластунски, они делали то же самое. Если мы лежали неподвижно, они тоже не двигались. Безмолвно, без единого звука.

Господи! Какими же умными, послушными, верными были эти собаки! Гораздо легче было ползти вместе со мной и с собаками, чем с остальными, говорил потом Янош.

В конце канавы был сарайчик, что-то вроде давяльни, без подвала. Дверь была взломана. Мы забрались туда бесшумно, по очереди, все так же по-пластунски, после этого Янош приладил дверь на место, чем-то подпер ее. Внутри – два топчана, голые доски. Мы улеглись на полу и на топчанах. Заснули от усталости. Мы не мерзли: в тесной комнатухе нас было много.

На рассвете кто-то стал дубасить в дверь. Ну, теперь мы пропали! Собаки залаяли, Янош бросился к двери.

Это были русские солдаты, с ними мужчина, венгр. Мужчина узнал Яноша, сказал что-то русским. Наверное, «местный», «здесь живет», «невиновен» или бог его знает, что еще. Нас не тронули.

Утром я хотела было достать свой хлеб, но в кармане были лишь крошки: хлеб искрошился.

Потом из этой лачуги, полуживые от страха, мы отправились к деревне, к Чаквару. Добрались туда к полудню. Как и прежде, искрящийся солнечный свет, суровая, холодная зима, сверкающий снег.

Не знаю, как попали мы в дом приходского священника: это уже спуталось в моей памяти. И вот – чудо из чудес! – на телеге прибыли из лесничества все наши вещи. Хотите верьте, хотите нет, но абсолютно ничего не пропало. Для меня навсегда останется тайной эта неорганизованная организованность русских. Как и их поведение: никогда ничего нельзя предвидеть, рассчитать заранее. Может случиться все что угодно, но в то же время и прямо противоположное.

Была там и Лапочка, в дорожной корзинке. Но прошло так много времени, чуть ли не двое суток. Мы выпустили Лапочку, она тут же села и стала мочиться, все никак остановиться не могла. Чистоплотная, как все кошки, она эти полтора-два дня терпела, не пачкала свою корзинку. (Одна из основных проблем на войне: надо *облегчаться*, но вот когда и где? Как ни странно, даже если не ешь сутками.)

Мы разместились в доме. Кроме нас, там жили приходской священник и капеллан. Это была довольно большая резиденция: постройка в форме буквы «L», в конце – кухня. Французы-военнопленные опять поселились в кухне и занялись стряпней.

У ворот стоял часовой, советский солдат, и никого не впускал. Иногда деревню обстреливали, но в общем мы жили относительно мирно. Кроме священников. Эти вели себя отвратительно! Помню, священник из Югославии лежал в постели в комнате капеллана. Он был старый, больной и глухой. Однажды я взяла что-то из шкафа у капеллана, кажется, стакан, чтобы дать ему попить, и не поставила на место. За это капеллан сурово и резко отчитал меня, как будто я этот стакан хотела украсть. Не знаю, что было дальше, но прекрасно помню, что мне очень хотелось дать ему по физиономии. До этого я в жизни не ударила ни животное, ни человека. Я сказала капеллану: «Послушайте, ваше преподобие: я еще никому не давала пощечин, но сейчас, не будь вы священником, я бы вам наверняка влепила».

<...> Как-то вечером мужчины играли в карты в подвале, там же приютились женщины, а мы с Яношем остались наверху. Янош собрался отнести в починку свои сапоги, он был в домашних тапочках и пиджаке. <...> Как вдруг ввалились русские солдаты. Один схватил за руку и рывком поднял с пола меня, другой – Яноша. Собаки отчаянно лаяли, солдаты орали. Яноша схватили. Так и увели его: в шлепанцах, с непокрытой головой, без пальто. Я побежала следом. В углу коридора они столкнулись с остальными мужчинами, поднимавшимися из подвала. Всех их забрали.

Мне бросили какую-то фразу, из которой я поняла: «Потом, утром». Это было ужасно. Невозможно, просто невозможно описать, что я чувствовала.

Поднявшись наверх, я положила на голову подушку, прижала ее к уху, чтобы заглушить грохот, прислонилась лбом к оконному стеклу и стала смотреть в лунную ночь. Так я дожидалась утра.

Каждым своим нервом я чувствовала, что *сейчас* Яноша оторвали от меня, увели, и Бог весть, что с ним будет. А может, я уже предчувствовала, что нас ожидает.

Утром женщины поднялись из подвала. Плач, упреки: почему я не сказала сразу, что случилось. «А что вы могли бы сделать? – отвечала я. – Ведь до утра – комендантский час, кто осмелился бы выйти из дому ночью? Да и куда, зачем?»

Потом я пошла одна. Повязала голову платком и отправилась в комендатуру. Там сидела целая толпа народу, все ждали своей очереди. Среди них была девочка с окровавленной головой, одна прядь волос вырвана. Вид у нее был жалкий, подавленный. «Из-под русских ее вытащили», – сказала ее мать. Я не поняла, спросила: «Из-под машины?» Женщина разозлилась: «Вы что, ненормальная? Не знаете, что они делают с женщинами?»

Я слушала, о чем говорят вокруг. Кому из женщин сломали позвоночник, кто потерял сознание, у кого не могут остановить кровь, кого из мужчин застрелили за то, что он пытался заступиться за жену.

Внезапно мне открылся весь кошмар, окружавший нас. Вдруг стало ясно,

что в доме священника, под охраной советского солдата, видя лишь нескольких солдат, время от времени добродушно заглядывающих к нам, мародерствующих, поедающих наш хлеб, но не осмеливающихся на большее, мы ничего не знали о том, что происходит снаружи. Может, Янош знал, только не говорил?

Он, наверное, подозревал что-то. Венгерские солдаты вели себя в русских деревнях не намного порядочнее.

Позже я узнала, что обвиняют нас в том, что мы шпионы, потому что точно-точно после боя часов на колокольне бомба попала прямо в русский штаб и погибло много народу. Они думали, мы подавали сигналы из церкви.

Им невозможно было объяснить, что башенные часы бьют регулярно, потому что заведены, это простое совпадение. Вообще русским очень многое нельзя было растолковать. Они жили в другом мире, у них был совсем другой опыт. Логика их тоже была иной. Они не знали, что такое башенные часы. Часы вообще – да, их они искали везде и всюду. Думаю, после ухода советских войск во всей Венгрии почти не осталось часов.

<...> На второй или третий день после этого из соседней деревни пришли незнакомые люди и сказали: всех мужчин казнили; заставили выкопать длинную яму, поставили на край и расстреляли в затылок. Трое местных жителей закапывали яму. (Так обычно и делается: могилу копаешь себе сам – почти на всех войнах.)

«Неправда, – сказала я Мами, – я *знаю*, что это неправда». Я ужасно боялась, дрожала, но душой чувствовала, что это неправда, или хотела в это поверить. Не знаю точно, как это было, помню только, что повторяла про себя: неправда, неправда, неправда.

<...> Через пару дней после исчезновения мужчин мы собрали свои пожитки и стали их прятать... Серебро опускали в колодец, более или менее дорогую одежду закапывали в навозную кучу, драгоценности прятали в кровати, да мало ли еще куда. Свой ящик я задвинула под кровать югославского священника, которого часто навещала, кормила, ухаживала за ним.

Уже смеркалось. Я сидела с Мами в нашей комнате, мне было страшно. Тишина, в камине горел огонь, как раз в этот момент не стреляли. Вошли трое русских и сказали по-румынски, чтобы я шла с ними. Я точно поняла, чего им надо, не знаю как, но поняла.

Мами я сказала, что меня ведут в больницу – помогать ухаживать за ранеными. Мами посмотрела на меня, проговорила умоляюще: «Не ходи, деточка, не ходи! Не ходи с ними, они сделают тебе плохо». Я сказала им, что меня не отпускает мать (не хотелось говорить: «свекровь»). Тогда они показали на угол обитой железом печной заслонки: если я не пойду, они расшибут Мами голову. (Закрыв глаза, я до сих пор вижу эту печную заслонку.) Это они сказали по-румынски. А я Мами – по-венгерски: раненых много, надо идти.

Я надела сапоги, повязала платок, потом развязала и снова завязала, развязывала и завязывала, чтобы выиграть время. Пока стояла, слышала, как что-то стучит об пол: это был мой собственный каблук, так я дрожала.

Мы вышли в L-образный коридор. Когда мы дошли до середины коридора, я, не говоря ни слова, яростно набросилась на них. Я пинала, колотила их изо всех сил, но в следующую минуту очутилась на полу. Никто не произнес ни звука – ни они, ни я; мы боролись молча. Меня оттащили в кухню и там так хватили об пол – видимо, я опять хотела защищаться или нападать, – что голова моя ударилась об угол мусорного ящика. Он был из твердого дерева, как и полагается в жилище декана. Я потеряла сознание.

Очнулась я в большой внутренней комнате декана. Стекла были выбиты, окна заколочены, на кровати не было ничего, кроме голых досок. Там я лежала. На мне был один из русских. Я услышала, как с потолка громом ударил женский крик: мама, мамочка! Потом до меня дошло, что это мой голос и кричу я сама.

Как только я это поняла, я перестала кричать и лежала тихо, неподвижно. Я пришла в сознание, но не чувствовала своего тела, как будто оно затекло или замерзло. Да мне, наверно, в самом деле было холодно – голой ниже пояса, в нетопленной комнате без окон. Не знаю, сколько русских насиловали меня после этого, не знаю, сколько их было до этого. Когда рассвело, они меня оставили. Я поднялась. Двигаться было трудно. У меня болела голова и все тело. Сильно текла кровь. Я не чувствовала, что меня изнашивали; ощущала только, что избита, искалечена. Это не имело никакого отношения ни к ласкам, ни к сексу. Это вообще ни на что не было похоже. Просто сейчас, когда пишу эти строки, я понимаю, что слово точное – на-силие. Вот чем это было.

Не помню, тогда или в другой раз, но они увели с собой всех. Даже Мами. Я еще могла это вынести, ведь я была уже замужняя женщина, но Мина – она была девственницей. Проходя по дому, я набрела на нее, услышав плач; она лежала на цементном полу в какой-то каморке. Я вошла к ней. «Налево лучше не выходить, – сказала она, – там еще русские есть, они опять на нас накинутся».

Мы хотели вылезти в коридор через окно, чтобы попасть обратно к Мами. Я пролезла, Мина за мной, но она была полнее меня и застряла. Я залезла обратно через другую створку узкого трехстворчатого окна и стала проталкивать ее сзади. С ней так грубо обошлись, что даже ноги ее были в ссадинах. Когда я толкала ее голую задницу – она и застряла в проеме, – мы даже смеялись. Не знаю почему, но удержаться было невозможно. Снаружи мы кое-как собрались с силами и прокрались к Мами. Сейчас в голове у меня все перемешалось: ночи, дни, что когда происходило, какие войска и когда захватывали деревню, русские это были или немцы, когда нас обстреливали, когда было тихо. Сегодня уже ничего нельзя утверждать наверняка. Тогда тоже.

Когда меня увели в первый раз – об этом я узнала позже, – Мами с криком и рыданиями отсеклась от Бога, прокляла его. С того дня она порвала с религией. Лишь много позже я заметила, что она не ходит в церковь. Молилась ли она еще когда-нибудь – не знаю.

(Теперь я понимаю, почему в Израиле – прошлым летом – встречала столько атеистов.)

И к гинекологу мне так и не удалось ее отвести, а ведь ее заразили, заразили нас всех. Разве узнаешь, когда и кто?

Другой раз ночью к нам ворвался целый отряд, тогда нас повалили на пол, было темно и холодно, вокруг стреляли. В памяти осталась картина: вокруг меня сидят на корточках восемь-десять русских солдат, и каждый по очереди ложится на меня. Они установили норму – сколько минут на каждого. Смотрели на наручные часы, то и дело зажигали спички, у одного даже была зажигалка – следили за временем. Поторапливали друг друга. Один спросил: «Добре робота?»

Я лежала не двигаясь. Думала, не выживу. Конечно, от этого не умирают. Если только не ломается позвоночник, но и тогда умираешь не сразу.

Сколько прошло времени и сколько их было – не знаю. К рассвету я поняла, как происходит перелом позвоночника. Они делают так: женщину кладут на спину, закидывают ей ноги к плечам, и мужчина входит сверху, стоя на коленях. Если налегать слишком сильно, позвоночник женщины треснет. Получается это не нарочно: просто в угаре насилия никто себя не сдерживает. Позвоночник, скрученный улиткой, все время сдавливают, раскачивают в одной точке и не замечают, когда он ломается. Я тоже думала, что они убьют меня, что я умру в их руках. Позвоночник мне повредили, но не сломали. Так как в этом положении все время трешь спину о пол, кожа со спины у меня была содрана, рубашка и платье прилипли к ссадине – она кровоточила, но я обратила на это внимание лишь потом. А тогда не замечала этого – так болело все тело.

(Мы с Миной не раз задумывались, сколько же минут, сколько солдат пришлось на ту ночь. Ее тоже насильовали – в другой комнате. И почему все время на полу?)

Однажды пришел какой-то офицер, он пожалел меня, посадил к себе на колени, укрыл шинелью, баюкал. Я ждала, когда он меня изнасилует; или, может, он уже успел меня изнасиловать и взял на руки или вырвал меня у кого-то из рук? Но точно помню: он ошупывал мою руку и смотрел, есть ли на пальцах кольцо. Зажег спичку и смотрел. Тогда я сняла свой перстень и отдала ему.

Я не любила колец; почему оно очутилось тогда у меня на руке? Он, смеясь, надел его обратно, полез в карман, достал оттуда другие кольца, стал примерять их мне на палец, но я только улыбнулась и отдала их назад. Может, кольца были не моего размера, уже не помню, но только я не хотела их принять. Тогда он выпустил меня из объятий и собрался уходить.

Я в отчаянии бросилась за ним, схватила за край шинели, не отпускала. Он что-то объяснял, я не понимала. Он вышел, а я крадучись пошла следом, потому что чувствовала, что должна пойти за ним. А он подошел к навозной куче, остановился и стал мочиться. Оглянувшись, заметил меня и рассмеялся.

Он вернулся ко мне, опять обнял, я сделала ему знак подождать, зашла в уборную, встала на унитаз, ведь садиться на него уже давно было нельзя. То же самое было в Миндсенте, в домике лесника: как только появлялись русские, уборная сразу же оказывалась загаженной до безобразия: они справляли нужду не только в унитаз, но и мимо, рядом, куда угодно. Грязь такая, что на сиде-

ные не то что сесть – встать некуда. В общем, я помочилась стоя и только тогда поняла: бывает, что и пописать забываешь, если боишься или нет времени.

Я подошла к нему, он подождал меня и отвел обратно в дом, долго рассказывал что-то по-русски, но я ничего не понимала. Надел мне на голову свою меховую шапку, чтобы я не мерзла, а когда я стала дрожать, накинул на меня фуфайку. Так мы просидели до утра. Та ночь была лучше, чем другие, хотя я все время боялась, что он оставит меня одну и тогда остальные снова на меня набросятся.

А что было в это время с Мами и остальными женщинами?

Это случилось еще в самом начале. У Мины были длинные волосы, и кто-то из солдат потащил ее за собой, намотав волосы на руку. Мина кричала, звала меня; я подбежала. «Помоги!» – умоляла она. А я тихо сказала: «Иди!» Мина пошла, то есть ее повели.

Может быть, это было еще до того, как взяли меня? Или в ту же ночь? А может, вечером? Впервые – или не в первый раз?

Маленькая Марианна избежала общей участи: на губах у нее появилась пена, глаза выкатились из орбит. Это ее и спасло. Но бабушку ее взяли. Наутро бабушка с гордостью говорила: «Я дисциплинированная».

Нас это рассмешило.

Я ходила к знакомому чакварскому врачу, он успокоил меня: если идет кровь, значит, заразы можно не опасаться. На самом деле все наоборот, но чем он мог помочь мне? Ничем.

У нас всех шла кровь, а смыть ее мы не могли. Пытались подмываться тайком, в снегу.

Сколько еще ужаса выпало на нашу долю там, в доме приходского священника, даже не помню.

<...> Иногда русские воровали у нас, иногда мы таскали у них то одно, то другое. Или наоборот: мы воровали, а они таскали у нас то одно, то другое. Вещей становилось все меньше. Мамика сказала мне: «Послушай-ка, вот эту пару ботинок я спасу. Один положу в подвал под картошку, другой спрячу за зеркало». Но Мами ошиблась. Ботинок, который был за зеркалом, исчез. Напрасно мы вытащили второй из кучи картошки, в одном ботинке ходить все равно нельзя.

Однажды в подвале, куда мы к тому времени переселились, нас хотели расстрелять, не знаю почему. Всех четверых поставили к стене – Мамику, меня, Мину (кто был четвертый?) – и сказали, что расстреляют. Первая пуля попала в стену рядом со мной, я обернулась и рассмеялась им в лицо. Уже когда нас ставили к стенке, я чувствовала, что это неправда, внутренний голос говорил мне: неправда. Когда первая пуля попала в стену, я знала это наверняка – головой, умом. Не может быть, чтобы русский солдат не попал в цель из автомата, если цель – в трех метрах, у стены. Они так поразились, когда я обернулась и рассмеялась, что сразу опустили оружие. Подошли к нам, хлопали меня по плечу и хохотали: браво, браво! Им понравилось. Что именно? Их шутка, моя смелость и интуиция, их собственная дикость или же вся эта комедия?

Конечно, они нашли все, что мы спрятали: и в колодце, и в навозной куче, и в земле. Тыкали в землю палками и копали там, где мягче, – и находили спрятанное. А мой ящичек стоял под кроватью, я о нем позабыла.

Однажды ночью я выпрыгнула в окно. Не помню, когда это было: в ту ночь, когда загорелся дом, или в другой раз, и не помню, почему убегала от них; но я в самом деле выпрыгнула – босиком, в одном платье. Прямо на снег. Перемахнула через ограду и побежала. Филикe – за мной. А они стреляли мне вслед.

Они буквально окружили меня автоматными очередями.

Это было настоящее представление. Ведь из автомата трудно промахнуться – целиться не обязательно, надо просто выпустить очередь в нужном направлении: хоть одна пуля да попадет в цель. Но *обстрелять* – для этого нужно умение, надо следить, чтобы *ни одна* пуля не попала в цель. Это даже меня забавляло. Я даже оглянулась на секунду смеясь. При этом я старалась бежать в ровном темпе, чтобы не попасть под *шальную* пулю. Следом, не отставая, бежал Филикe. Умный, добрый пес! Филикe, Филикe... Даже сейчас, как вспоминаю его, маленького, палевого, мне становится грустно; до сих пор в глазах каждой таксы я ишу его взгляд. А ведь ему сейчас легче: его нет в живых; может, всем легче, кто погиб...

В общем, Филикe бежал точно *позади меня*, а я старалась бежать в ровном темпе – *из-за него* тоже, чтобы им не удалось подстрелить *его*. Почему я хотела, чтобы в меня не попали? Ум был здесь ни при чем. В такие моменты о смерти не думаешь – просто бежишь инстинктивно, слыша свист пуль и норовя от них увернуться.

Я искала, где спрятаться. Никто не хотел пускать меня в дом. Все боялись: я была молодой девятнадцатилетней женщиной, и они знали, что русские не раз таскали меня к себе. Значит, они снова могут явиться.

Я умоляла пустить меня хотя бы в хлев, позволить приютиться рядом с коровами. Нет, нет. В подвал? Нет. Я обещала, клялась: совру, что проскользнула к ним, когда никого не видела.

Никто и во двор не хотел меня пускать: даже врач, даже те несколько приятелей Яноша, которых я знала.

Я промерзла до костей, пришлось возвращаться домой. Филикe был рядом. Я не смела войти, ночная улица казалась более безопасной. Совсем замерзнув, я села на ступеньку у дверей, Филикe лег около меня, а я, чтобы согреть его, положила на него ноги, потом, чтобы самой согреться, посадила его к себе на плечи, на шею. Филикe много раз защищал меня от холода, не давая замерзнуть. Понимал ли он, что делает?

Потом, в одну из ночей, когда всеобщее безумие достигло предела (к тому же часть дома горела, туда попала бомба), какой-то русский солдат сжалился надо мной, увел отсюда. Я позвала и Мамику, солдат позволил мне взять ее с собой. Мы – русский солдат, Мамика и я – шли зимней ночью, в комендантский час, через площадь перед церковью. Он привел нас в какой-то подвал. Глубокий спуск с деревянными ступеньками, маленький сводчатый тамбур, за ним – винный погреб, огромный, как зал. Да, вот и он! На полу лежали люди –

шестьдесят или семьдесят, тесно сгрудившись, посередине – узкий проход и одна еще более узкая дорожка справа – там лежали в два ряда. Наверное, им – тем, кто спал, – показалось странным, что нас привел русский солдат. Светила одна-единственная керосинка. Мами дали стул, на нем она и просидела до утра. Я не могла держаться на ногах от усталости, легла под единственный стол в подвале, у входа, только там оставалось немного места. Пол был влажный, в какой-то жиже. Я натянула на голову свое зимнее пальто с капюшоном и уснула, свернувшись в комочек.

Видно, во сне я выпрямилась: утром, когда стали просыпаться, кто-то наступил мне на голову. Зажгли спичку, какой-то мужчина воскликнул, наклонившись ко мне: «Девушка! Молодая девушка!» Стали спрашивать, откуда я. Я ответила: «Из Коложвара». Они рассмеялись: «Что, прямо оттуда?» Тогда я выбралась из-под стола и сказала, что не оттуда, а из дома священника. Возцарилась мертвая тишина: видно, здесь знали, что там творится, но нас не выгнали. Здесь все были беженцы.

В подвале разыгрывались безобразные сцены... Стычки, до рукопашной, за полметра площади пола. За стакан воды.

Чтобы русские не узнали меня, я покрыла голову большим черным платком, запачкала лицо, женщины помогли мне нарисовать углем морщины; придумывали мы и другие хитрости. Филике я держала под пальто, на груди, прикрыв сверху платком. Филике вел себя тихо, не таялся, дышал еле слышно, и, если у нас с Мами совсем замерзали ноги, мы переглядывались и ночью, в темноте, клали его себе в ноги, и он по очереди нас согревал. Конечно, и мы согревали Филике.

Как мы жили в подвале? Наверху стреляли, стреляли постоянно. То из деревни, то, наоборот, по ней. Но вечером, с шести до десяти минут седьмого, огонь всегда стихал. До сих пор не понимаю почему, да и другое не понимаю: откуда мы знали, что сейчас будет затишье? Но *тогда* мы все выбегали на улицу: женщины, дети, мужчины – и каждый спускал штаны и справлял нужду.

Бывали такие сцены: «Эй, ты что, скотина, не видишь, что мочишься мне на ногу?» А одна женщина вернулась плача, ее сапоги с высокими голенищами были расстегнуты, голенище оттопырилось. «Смотрите, – сказала она, – я себе в сапог наделала».

Мне было трудно вдвойне: Филике надо было держать, чтобы его не увидели, а ему тоже надо было пописать. Поэтому я отбегала подальше и пряталась за свинарником. Мы справляли нужду одновременно, дрожа от страха, но боялись не стрельбы, а людей. Иногда я поднималась на улицу и во время обстрела, чтобы Филике мог пописать, тогда и я делала свои дела.

Это было непросто, но, по крайней мере, я не была свидетелем унижительных сцен. Скопище голых задниц, все мочатся, испражняются, толкаются: «Оставьте меня, вы что, не видите...» Лучше было одной, с Филике, под обстрелом.

Я боялась, чтобы кто-нибудь не заметил, что Филике со мной: в убежище запрещено было приводить собак. Почему? Из-за стрельбы они могут взбе-

ситься, броситься на людей? А может, из-за инфекции? Но какой еще инфекции нужно было тогда бояться?

<...> Мами неудержимо худела... Я подошла к врачу, знакомому Яноша, спросила его, что делать. Он посоветовал давать ей больше жидкости, иначе она погибнет. Жидкости? Но какой? Ведь даже воды нам доставалось не больше кружки в день.

Я пошла к русским и попросила у них кувшин молока. Цену я знала: за крунку молока пришлось расплачиваться своим телом.

Потом я пошла в дом священника, наше последнее жилище: хотела принести оттуда матрас. Здоровье Мами все ухудшалось. За матрас тоже надо было расплатиться натурой. Офицер согласился: если я с ним лягу, могу забрать матрас (который нам же и принадлежал). Со мной был и Филике, все произошло в том самом подвале с картошкой.

Немного картошки еще оставалось на полу, и я лежала на ней, не шевелясь. Пожалуйста!

Русский офицер тем временем зажег спичку, сначала потрогал пальцем мои глаза – открыты ли. Убедившись в этом, приступил к делу. Было немного больно. Но так как я все равно не пошевелилась, не вскрикнула, он зажег еще одну спичку – посмотреть, жива ли я. Покачал головой.

Большого удовлетворения я, должно быть, ему не доставила. Но когда я начала собираться, чтобы унести матрас, он прислал в подвал своего ординарца, который тоже мной попользовался. Филике бегал вокруг, плакал, скулил, лизал мне руки; руки и ноги мои были холодные, язык у Филике – теплый.

Тогда я не подумала, почему он прислал и ординарца. Сейчас мне кажется, что они демократичнее, чем наши офицеры. Или венгерский офицер тоже поделился бы мной со своим ординарцем?

Потом этот молодой солдатик помог мне взвалить матрас на спину. Матрас этот мне был действительно нужен срочно, потому что у Мами начался кашель, насморк. Я неслась его, счастливая. Все остальное было уже не в счет. Матрас сложили вдвое и взвалили мне на спину, и я шла, согнувшись пополам, а Филике – со мной.

<...> Однажды, много позже, я снова шла с Филике по улице. Я хотела умереть, потому что сил больше не было, и тогда снова появились самолеты, бомбардировщики, они бомбили пустое шоссе, идя прямо над ним, – может, хотели сровнять его с землей? – а я шла *по самой середине* дороги и не хотела прятаться в укрытие. Пусть в меня попадут. «Господи, пусть меня убьет, прямо сейчас!» – молилась я. И все же, когда самолет оказался над моей головой, его ужасный, оглушающий грохот придавил меня к земле, я присела на корточки, но продолжала как-то ползти вперед. Я не упала на землю, не пыталась укрыться, я искала смерти; но идти, выпрямившись в полный рост, не могла. А Филике безмолвно, преданно шел рядом. Когда я передвигалась на корточках, он пыливо глядел на меня и в точности повторял темп моей странной походки. (Филике, есть ли на свете человек, чья верность сравнилась бы с твоей? А я тебя покинула.)

Вы спросите, куда я шла? К Мами. Врач сказал, что ей нельзя больше оставаться в подвале. У Мами был дом, прекрасный деревенский домик с коричневыми потолочными балками, во дворе розы и виноград. Она сдавала его пожилой супружеской чете. Теперь те, уступив моим мольбам, приняли ее к себе, а с ней взяли еще одну старушку. Как я потом узнала, у них был свой расчет: где много старух – там безопаснее, потому что русские любили *бабок* и *мамок*, относились к ним почтительно. Их даже подкармливали, не били, не обижали. А если и случалось иногда, что какую-нибудь старушку насиловали заодно с молодыми, – боже мой, ночью ведь все кошки серы.

Одна из старух была ранена, в ране завелись черви. Она была очень толстая. «Старая падаль», – сказал хозяин дома. Я пыталась обрабатывать рану, но не было нужных медикаментов. Я очищала ее борной кислотой, повязку стирала в снегу, а потом оставляла на морозе, чтобы уничтожить бактерии. Тогда я еще не знала, что черви очищают рану, и боролась с ними, причем не могла понять, откуда зимой в человеческом теле черви.

Зачервившие раны – это тоже война. Опять нечто, для чего я не могу найти подходящего выражения. Человеческое тело, живое, сырое мясо, в котором – там, где рана воспалена, сочится, гноится, – заводятся извивающиеся червячки; иногда они как будто барахтаются в ране, а иногда застывают на месте (значит, наверняка пируют). Они белые, помельче и покрупнее – и кишмя кишат.

Словом, Мами я устроила, она была здесь в довольно сносных условиях и все просила: «Приходи, доченька, приходи!» Или в другой раз: «Не приходи, стреляют». Но стреляли или не стреляли, я все равно шла к ней.

<...> Мамика была доброй, чистоплотной, кроткой, молчаливой. Мы всегда и во всем приходили к согласию, мне с ней было гораздо легче, чем с моей матерью, вообще *с кем угодно*. Ни с женщиной, ни с мужчиной, никогда и ни с кем не уживалась я так хорошо, как с Мамикой, а ведь с ней мы прошли через все опасности и беды. Может быть, она была ангелом. Это была сама тишина, кротость и скромность. Только такие истертые слова и дают почувствовать, какой она была.

Я любила ее, она меня тоже. Вот и в тот день, когда я отправилась на поиски Яноша и молилась, чтобы его не казнили и не увезли, она сказала мне: «Не ходи, оставайся здесь, не ходи, с тобой случится беда». И когда пришли и сообщили, что Яноша казнили, а я крикнула им: «*Неправда*» – она с улыбкой посмотрела на меня: «Говоришь, неправда? Конечно! Нам нечего бояться!»

Это случилось еще в подвале. Меня там не было – кажется, меня как раз увели на рытье окопов, – а когда я вернулась в подвал, меня встретили известием о том, что заходил Янош. Он искал меня, звал по имени. Их должны были увести из деревни, и он попросил у кого-то шляпу. Он был по-прежнему без пальто, в домашних тапочках. В такой мороз и снег. Услышав это, я подумала, сердце у меня разорвется.

Земля разверзлась, и сердце разбилось,
Бездонная пучина сыночка поглотила.

С тех пор я знаю: в языке баллад есть психологический реализм. Потому что *именно так* и чувствуешь: разрывается сердце, земля раскалывается, и ты проваливаешься в черную бездну.

Однажды, когда все мы в подвале завшивели, я разделась, чтобы собрать вшей из нижнего белья. Женщина сзади меня вскрикнула. Снимая комбинацию, я содрала корочку с раны на спине. Напуганная женщина расспрашивала меня: «Ты что, не знала, что у тебя рана на спине? Не заметила, что пошла кровь?» Подбежали люди, разглядывали рану. (Она была у меня с тех пор, как меня насиловали, закинув ноги к плечам.) Потом рана как-то сама собой затянулась, да и кто тогда стал бы ее лечить?

Позже мы заболели чесоткой. Сельский голова из Дюро поздравлял кого-то: «Сударыня, то, что у вас между пальцами, – это не сыпь, а чесотка, у меня тоже она есть». К тому времени я уже так хорошо разобралась во вшах, что знала, где самка, где самец, какая собирается отложить яйца, какая – сытая, а какая – голодная. Когда-нибудь я опишу, что такое вши. Пока, в двух словах, скажу только, что вошь бывает головная, платяная и лобковая. Лобковая вошь живет в волосяном покрове в подмышках и на лобке, платяная – в одежде, а головная – в волосах, на голове, о чем говорит и ее название. Если у вас все три разновидности, сколько ни ищитесь, они все равно будут вас грызть. Нам советовали намазаться керосином. Мы так и сделали. Вши как были, так и остались, а керосин еще беспощаднее разъедал кожу, да и запах от него был отвратительный. О мытье, конечно, и речи быть не могло.

Первое время мы еще говорили о том, что у нас дурной запах изо рта, потому что нельзя почистить зубы. Потом ничего такого уже и в голову не приходило, а запах мы перестали ощущать. Как и то, что не моемся. В подвале – восемьдесят человек. Воды для питья и то не хватало, и через несколько дней у нас пропала потребность в умывании. Зато было ужасно, что при таком кровотоке нельзя было даже переодеться в чистые трусы. На рытье окопов кровь замерзает, ночью опять начинает идти, потом подсыхает, трусы натирают кожу – и все время чувствуешь запах крови. Но ведь кровью пропахло все вокруг нас.

<...> Однажды, когда я спала, в подвал вошел русский солдат. Он разбудил меня: наклонился, потряс за плечо. Молодая женщина, которая видела рану на моей спине, сказала, что лицо мое исказилось от испуга, как морда у лошади. Ноздри раздулись, затрепетали, вены на лбу напряглись, зрачки странно расширились. Но это было только в первую минуту. Потом я пыталась договориться с ним, упрашивала по-румынски. По-венгерски же я умоляла остальных: здесь поблизости – комендатура, пусть кто-нибудь пойдет туда и скажет! позовет на помощь! Или пусть пошлют ребенка, ведь известно, что детей русские не обижают. Но никто не двинулся с места. Восемьдесят человек слышали мои мольбы и не сделали ничего. Я показала, что закрою дуло автомата, положу на него ладонь, чтобы солдат не мог стрелять. Они боялись, и молчали, и стерпели, что меня изнашивали на глазах у них и у детей.

Как же они оправдываются за это перед своей совестью? А как оправдать-

ся перед собой мне, если я не пришла кому-то на помощь – а сколько раз это было! – потому что боялась...

Как бы крепко я ни спала, я просыпаюсь, если с улицы донесется пронзительный крик. Выбегаю на балкон, пытаюсь понять, что происходит, думаю, хоть брошу вниз что-нибудь, вазу или горшок с цветами, ведь нужно что-то сделать, потому что кто-то зовет на помощь, и я знаю, что люди не выйдут из домов. Когда я звала на помощь, никто не двинулся с места. Когда я звала на помощь на улице... А ведь из окон кто-то выглядывал. (Значит, страх, а не любовь сильнее всего?)

<...> И я на собственном опыте поняла, что не могу противостоять мужчине, я слабее, защищаться и отбиваться невозможно, потому что они бьют сильнее, убеждать нельзя – догонят. Немногого стоит и совет: бей по половым органам нападающего, бей между ног, как сейчас говорят: «Бей по яйцам!» Один раз ударить можно, но в следующую минуту ты уже на земле и, скорее всего, больше не поднимешься: тебя прикончат.

Но тогда, в подвале, почему столько людей боялись, почему не осмелились прийти на помощь? Понять это можно, но я всякий раз удивляюсь, когда изредка вспоминаю об этом.

Иногда русские забирали нас рыть окопы, и это был настоящий ад – под градом снарядов долбить киркой промерзшую землю. Но мы получали от них *пищу*. Бывало, мы помогали на кухне. Это было большое, полуразрушенное снарядами помещение с цементным полом. Один из солдат под стиральным котлом разводил огонь, дымоход сквозь пустую оконную раму выходил во двор. Дверь была открыта – или ее просто не было? Потому до нас и доходило откуда какое-то тепло. У повара *не было* одной ступни, так он и работал, с забинтованной кутлей.

Русские были люди невероятно смелые, они ни во что не ставили боль и страх.

Повар стряпал, мы чистили картошку.

Мы уже сильно голодали, когда одной женщине – ее место было на четвертом лежаке слева от меня – принесли свежего хлеба. Они порезали хлеб на кусочки и стали есть. Я так разволновалась, мне так страшно захотелось хлеба, что меня прошиб пот; я раздумывала, подойти ли самой или послать туда кого-нибудь из детей, чтобы за кусочек хлеба предложить мое единственное сокровище – масло «Ветол».

Дело в том, что в кармашке той самой клетчатой блузки, застегнутом на пуговицу, у меня хранился флакончик масла «Ветол» – это немецкое масло для лечения ран. Я хранила его как драгоценность, хотя на собственном опыте убедилась: если смазать им рану, она не затянется, а, наоборот, загноится. Но у меня не было больше ничего, кроме английской булавки да кусочка высохшей, заплесневевшей колбасы. Я берегла ее до последнего: пусть останется на случай, если когда-нибудь я сама или кто-нибудь другой упадет в обморок от голода.

Сама я не осмелилась подойти к той женщине, предложить ей выменять хлеб. Как это случилось, не знаю: для меня это было как чудо, как воплоще-

ние самой доброты, словно небеса разверзлись надо мной: она сама прислала мне со своим ребенком ломоть настоящего, свежего, мягкого, вкусно пахнущего хлеба.

Я ела медленно-медленно, чтобы растянуть удовольствие. Счастье хлеба, которого мы не видели уже несколько недель, счастье еды, счастье доброты – вот чем был для меня тот ломоть.

Вернулись немцы, потом – снова русские. Немцев я всегда боялась больше. Если они говорят: «казнь» – можешь быть уверен: наверняка казнят. Страх начался еще с гестапо, было в нем и что-то атаквистическое. Гонения против евреев лишь углубили его.

С русскими никогда ничего было предвидеть, предугадать; удивительно, как с их неорганизованностью у них что-то вообще получалось. Если они уходили, то никогда не прощались, а попросту исчезали. Возвращаясь, они приветствовали нас с невероятной радостью, громкими криками, подхватывали, подбрасывали в воздух, словно встретили самых близких и родных людей. Они были люди с добрым сердцем, но невероятно дикие.

Прежде всего мы научились у них ругательствам. «Еб твою мать» – вот была первая настоящая русская фраза.

<...> Мы вывели или думали, что вывели, закономерность: после каждого крупного боя или после того, как деревню отбивали у противника, следовали три дня дозволенного мародерства. Свобода грабить и насиловать. Потом вступал в силу запрет: говорили, что за доказанное изнасилование солдата могли расстрелять.

Не помню, как я попала однажды в такую ситуацию: передо мной выстроили шеренгу солдат, и я должна была показать на того, кто меня изнасиловал. Помню лишь смутно: морозным зимним утром я прохожу перед строем, солдаты стоят вытянувшись, ровно, по стойке «смирно». Слева меня сопровождают двое офицеров. Пока я прохожу вдоль шеренги, они держатся чуть позади. В глазах одного из солдат я увидела страх. У него были голубые глаза, паренек был совсем молодой. По этому страху я и догадалась: это он. Но таким сильным, таким жутким было то, что блеснуло в его глазах, что я сразу почувствовала: *нельзя*. Нет никакого смысла убивать этого мальчишку. Зачем, если другие останутся безнаказанными? Да и этого, единственного из всех, зачем?

А вот другим зимним утром наказали меня – высекли плетью. Что было причиной, точно уже не припомню. Нет даже желания выяснять: все как-то перепуталось в памяти (как и многое другое). Меня раздели до пояса, вокруг встали несколько солдат, и один из них равномерно стегал меня плеткой. Плетка не кнут, а гибкая коса из ремешков, по форме напоминающая змею, к концу она сужается и заканчивается узелком. Естественно, есть и рукоятка. Если ударить посильнее, на коже останется рубец. (Мне не было особенно больно, а может, и было, но я ощущала в себе какое-то упрямство или что-то еще, о чем до сих пор не говорила. Весь этот кошмар я смогла вытерпеть потому, что знала: самым ужасным было то, что взяли Яноша, и то, *как его* забирали. Это и переполняло мою душу, а еще – зрелище разрушенной деревни,

судьбы женщин, детей, мужчин; и, конечно, я сознавала: то же самое и *так же* происходит сейчас по всей стране.)

В другой раз – не помню уже, что произошло, – меня ранили и на руках отнесли к русскому врачу. Тот наложил перевязку, меня приласкали, повели обедать в солдатскую столовую. Видно, в тот день у них было, что есть. Меня накормили куриным супом, потом срезали корочку у буханки хлеба, вынули мякиш, положили туда всю оставшуюся куриную печенку – восемь или десять штук – и дали мне с собой. Конечно, это было неслыханное богатство, я со всех ног побежала с ним к Мамике.

Такими были русские. Одной рукой побьют, другой – приласкают.

Иногда дело доходило до драки: один хотел спасти тебя, другой – изнасиловать, один – побить, другой – вылечить, один – что-то отнять, другой – дать.

Часто они заявлялись сияющие, приносили нам что-нибудь в подарок. Потом оказывалось: «подарок» украден у соседей. Иногда мы уносили к соседям свои вещи – спрятать, а русские воровали их там и, ничего не подозревая, одаривали ими нас же. Но мы и сами не были ангелами: бывало, запускали руку в их имущество, но они не сердились. Вообще, на войне было что-то вроде совместной собственности. Может быть, смешно, что я пользуюсь этим выражением, но оно очень точное. Просто мы долго этого не понимали. Когда все страдали от голода, русские делились с нами последним куском.

В то время мы ели редко и мало. Марианна, ее бабушка и Клари тоже попали в подвал, старушка отдавала за тарелку супа наполеоновскую золотую монету. Суп ей приносили тайком, и они ели его одни, ни с кем не делясь. Ведь на всех все равно не хватило бы. А то, что мы приютили их, спасли, делились с ними своей порцией, – это не считалось. Я не особенно обижалась; просто казалось странным.

Девочка одолжила мне кожаный ремешок, мне было теплее в широком пальто, опоясавшись им. А однажды, два года спустя, они навестили меня в Будапеште и попросили вернуть ремешок. Это меня тоже сильно удивило.

Две охотничьи собаки, оставшиеся в живых, поначалу жили с нами в доме священника. Они были крупные, красивые, а Филике – маленький и тощенький. С этими двумя собаками мы очень хорошо ладили, чаще всего они были со мной, только в подвал я с ними не спускалась. Однажды утром, еще при Яноше, одну из них застрелили русские. По глазам другой было видно, как она страдает. Она страдала невыразимо. Она была очень ко мне привязана; но, когда я выпрыгнула в окно и Филике побегал за мной, она осталась в доме.

Кличка ее вот уже несколько дней занозой стоит в моей памяти, но я никак не могу выговорить ее: помню звучание, мелодию, но само имя все не вспоминается. Она увидела, стоя у ворот дома священника, что я иду по противоположной стороне, и, счастливая, с сияющими глазами, одним прыжком метнулась ко мне через дорогу. Приближался грузовик. Я кричала, чтобы она остановилась, – напрасно. Удар пришелся прямо в живот. Она чуть-чуть приподняла спину, посмотрела в мою сторону, потом раз или два дернулась и застыла. Я подхватила Филике на руки, закрыла ему глаза, что-

бы он не видел. Шел снег. Когда я возвращалась, ее уже оттащили с проезжей части, чтобы военные машины не раздавили ее в лепешку, и труп был уже наполовину занесен снегом.

Но ведь так было лучше – я и чувствовала, и знала это. Куда мне было податься с такой огромной собакой. В подвал ее не возьмешь. Чудо еще, что Филике русские еще как-то терпели: собак они обычно пристреливали. Немцы любили собак, а русские – детей.

В конце концов обитатели подвала все-таки обнаружили Филике. Скандал, крики: со мной и так хватает неприятностей, из-за меня русские обыскивают подвал, совсем их измучили, так что собаку придется выгнать.

Я пошла с Филике к Мами, просила, чтобы хозяйка взяла его к себе. Его взяли, правда, неохотно. Филике ничего не ел, а ведь ему давали молоко, даже мясо. (По тем временам это было чудо; не знаю, где они их доставали.) Два дня он отказывался от пищи. Когда я подходила к нему и он меня замечал, он радостно бросался ко мне, покусывал за руки, за щиколотки. Было больно, но кусался он от счастья. Потом он, если я стояла рядом, ел – и при этом не сводил с меня глаз.

Придя снова через два дня, я во дворе повстречалась с Филике, позвала его. Он отвернулся и проследовал дальше. Я плакала, умоляла, но Филике не желал меня узнавать. Если я становилась на его пути, он обходил меня, равнодушно глядя в сторону.

Так я потеряла Филике. Он был в безопасности, но я почувствовала, что теперь осталась совсем одна. За всю войну я больше ни разу не плакала. После этого я не могла плакать многие годы.

Те, кто меня окружал, один за другим умирали, приходили и уходили, или их уводили – к ним я постепенно стала равнодушна. Но в безотрадных буднях подвальной жизни, среди грязи, вшей, среди оплакивающих потерянные ценности, ссорящихся людей у меня оставался единственный товарищ – Филике.

Я покрывала голову черным платком, мазала лицо пеплом и грязью – так пытались себя обезопасить женщины. Однажды мне надо было перепрыгнуть через канаву. На мне были белые валеночки с носами и задниками из черной кожи. Красивые венгерские валенки. Войлок привез с русского фронта Янош, а сами сапоги изготовил офицерский сапожник в Коложваре. Прыгая, я на мгновение перестала горбиться по-старушечьи. Меня заметил из окна начальник комендатуры и велел доставить к себе. Как меня к нему привели, совершенно не помню: то ли меня просто потащили туда, то ли повели, будто на официальный допрос. Комендатура была рядом с подвалом.

Он принял меня очень любезно, накормил сытным ужином. Я ждала, что будет дальше. Если я останусь с ним на ночь, сказал он, получу половину свиной туши. Господи Боже мой, половина свиной туши, в то время!

Не раздумывая я согласилась с ним переспать. Здесь были относительная чистота и порядок, имелось даже какое-то подобие окна со стеклами. Может быть, единственное во всей деревне. В постели, потрогав меня, он сказал, что у меня какие-то выделения – «вода». Может быть, он даже спросил, не боль-

на ли я. Откуда мне было знать! Разве можно знать после стольких русских, есть ли у тебя сифилис или гонорея? «Не знаю», – сказала я. Он как-то успокоился. Он был довольно нежен и ласков со мной, но это было мучительнее, чем быть изнасилованной без всяких предисловий. Я солгала бы, если бы сказала, что «старалась хорошо себя вести». Рано утром я захотела уйти. Попросила отпустить меня.

Идя по коридору, я столкнулась с той самой кухаркой, что когда-то работала в госпитале, – теперь она была кухаркой при комендатуре. Она смотрела на меня, любимицу всего госпиталя. Я легла в постель, хотя меня не били, – по ее глазам видно было, что она обо мне думает. Я – шлюха.

Собственно говоря, я и была ею – в прямом смысле слова. Шлюха – кто ложится в постель ради денег или какой-нибудь выгоды. Шлюха – кто сознательно расплывается за что-то своим телом. За молоко или за матрас.

Конечно, там это мне и в голову не приходило. Я не думала об этом. Я вообще ни о чем не думала. Лишь безмерная горечь наполняла меня. Было невыносимо, но не это, а все, *вообще все*. Это серое утро... Чем стало для меня это серое утро? Пределом человеческого унижения. Свиную тушу, правда, мне так и не дали. От этого стало легче.

На войне человек становится страшен и непостижим.

К замку Эстерхази немцы отнеслись не слишком почтительно: бросали во фрески банки с вареньем, пинали ногами чудесную старинную мебель... Эстерхази выбили днище у нескольких сотен бочек с вином, и люди, ругая графов, таскали вино ведрами, а те всех предупредили, чтобы не оставляли винные погреба полными, выливали вино. Откуда они знали, что так надо делать? Из истории.

Позже это стало уроком и для нас. Напившись, русские и немцы становились куда злее, чем трезвые. Обычно мы больше всего боялись встретиться на дороге с пьяными солдатами.

Русские отнеслись к замку еще с меньшим почтением, чем немцы. Они так и не научились – или не удосужились попробовать – растапливать украшенные рельефами фаянсовые печи на медных ножках, а ведь печи эти топились очень хорошо и сохраняли тепло до следующего дня. Окна – если те случайно остались целыми – они разбивали, потом заколачивали досками. Выведа через какую-то дырку трубу маленькой буржуйки, топили в залах замка, как в хибарке. Паркет разобрали, всюду был разъедающий глаза дым; спали на полу, на соломе. А изразцовые печи разбили вдребезги.

В одной из комнат замка, огромной, как зал, они устроили лазарет. Один раз солдаты – уже не помню, мужчины или женщины – повели меня туда работать. Конечно, как всегда, шла стрельба: обстрел, ответный огонь. Раненых приносили на носилках, на руках, на спине, кто как мог. Их укладывали на солому, покрывавшую весь зал. Стояла страшная вонь: пахло кровью, водкой, грязью, отсыревшей одеждой, потом, смрадным дыханием. Стон и плач слышались редко. Среди раненых хлопотали одна или две женщины в резиновых перчатках по локоть. Зачем они надели эти перчатки? Чтобы защитить руки?

Или раненых – от бактерий? Не думаю, потому что раненые лежали на соломе, среди ветхого, рваного тряпья, в испражнениях, грязи, крови, плевках. О руках обычно они и не думали.

Мне велели быть на подхвате и тут же направили к одному из солдат, пальцы у которого висели, оторванные и раздробленные. Я спросила, что я должна делать, не помню, на каком языке, кажется, по-румынски. Но, возможно, к тому времени я могла сказать это и по-русски. «Что можно спасти – оставить и перевязать, – ответили мне, – остальное отрезать». «Чем?» – спросила я. «Ножницами, чем же еще? Найти какие-нибудь ножницы и отрезать». Меня охватил ужас, это выходило за рамки моих представлений о гигиене. (В конце концов, чем здесь рискуешь? Если не отрезать, начнется гангрена. Но грязными ножницами, без наркоза отрезать пальцы у человека, находящегося в полном сознании? На это я была неспособна.) Я повернулась и вышла, зная, что за это меня могут побить или даже расстрелять.

Не буду описывать вывалившиеся кишки и тому подобное. Русские санитарки вели себя, словно домохозяйки на кухне, готовящиеся к празднику: отдавали распоряжения, перекрикивались друг с другом, с мужчинами-санитарами, больными – никакой трагедии. Им даже как будто доставляли удовольствие все эти страсти: ведь они чувствовали себя господами положения. Ну, а я этого не могла. Думаю, из-за этого меня даже презирали.

На моих глазах солдат, у которого нога была ампутирована по щиколотку, снова отправился в бой – верхом, в окровавленных бинтах. У другого солдата рука была раздроблена автоматной очередью. Принесли топор; пока его затачивали, солдата поили водкой, чтобы довести до бесчувствия и тогда уже отрубить руку. Обычно они основательно накачивали своих раненых спиртным, а потом принимались за дело. Так поступали и в средние века.

<...> Я услышала от кого-то, что некий переводчик по имени Якаб Бенё может узнать в комендатуре что-нибудь о наших угнанных мужчинах, а значит, и о Яноше. Мне сказали, где он живет. Я отправилась туда. Это был маленький крестьянский домик. На стук вышла пожилая женщина. Это была тетя Анна. Тетя Анна, о которой очень трудно рассказать, какой она была.

Крестьянка, по внешности уже сильно на склоне лет, вдова, в черном платке, очень скромная, тихая, сухонькая, маленькая. Как я позже узнала, муж ее обращался с ней очень грубо, избивал; тетя Анна нанималась стирать белье, чтобы облегчить себе жизнь хоть на пару часов. У нее был сын, которого она очень любила. Но она давно о нем ничего не слышала: он без вести пропал на фронте. Дочь, Рожика, жила у нее вместе с мужем, Якабом Бенё, тем самым переводчиком. Родом он был из Северной Венгрии и мог объясняться с русскими на «русинском» наречии.

По профессии Рожика была – как говорили – уличной шлюхой. Потом вышла замуж за Бенё, который скопил немало денег, работая проводником в спальнях вагонов, они построили красивый дом, у Рожики появились тигровая шуба, драгоценности.

Нрав у Рожики был крутой – в отца, с тетей Анной она обходилась отвра-

тительно. Странно, что меня она приняла как сестру. Она не раз говорила: «Я любила тебя, как сестру родную». И никогда не обижала меня.

Тетя Анна вышла, долго смотрела мне в глаза. «Бенё нету дома, но вы проходите, садитесь». Я замаялась, потому что была вшивая и все такое. Вошла, села осторожно, платок не сняла. Она приободрила меня: «Снимите теплый платок, здесь тепло».

Крошечная летняя кухня, земляной пол, беленая печка, рядом с ней, у стены, – лежанка, сбоку – кровать, маленький столик, самодельный деревянный стол под окном, стул. Вот и вся обстановка. От печки до кровати – один шаг. Впереди – дверь в большую красивую кухню с цементированными стенами; напротив нее – другая дверь, тонкая, дощатая, в маленький чуланчик для дров и инструмента.

Позже Рожика рассказала, что, когда я к ним постучалась, тетя Анна промолвила: «Это Мария постучала. Дева Мария». Она почувствовала: от стоящей у двери женщины веет такой чистотой, такой печалью, что *ее надо принять*. «Если не примем ее, – доказывала она Рожике, – значит, прогоним Марию». Я ничего такого и не подозревала, при первом знакомстве тетя Анна показала мне женщиной трезвомыслящей.

На следующее утро в подвал снова пришли – сгонять женщин и мужчин на рытье окопов. В тот раз вместе с солдатами приходил и Бенё, но я не знала его в лицо. Он сам меня узнал по описанию тети Анны. Рядом с местом, где нас собирали, был разбитый вдребезги табачный киоск; входная дверь сорвана, внутри – в беспорядке разбросанные обломки мебели. Он велел мне быстро спрятаться под прилавок, пока у них перекличка; потом он придет за мной. Я просидела там, скорчившись, час или два и успела промерзнуть насквозь: было по-зимнему холодно. Потом он пришел за мной и сказал: «Я отведу вас домой». И отвел домой – к тете Анне, в маленькую, чистенькую летнюю кухню. Бенё ушел, а тетя Анна согрела воды, принесла корыто, они с Рожикой усадили меня туда и вымыли. Постирали и мое белье, трусы (на них коркой запеклась кровь). Пока они сушились, Рожика дала мне другие. Как же мне стало хорошо после всего этого.

С тех пор я там и жила. Меня кормили. Тетя Анна спала в буквальном смысле на земле – на земляном полу, из-под дверей наверняка тянуло сквозняком. Рожика и Бенё спали на тонком соломенном тюфяке, на кровати. Я – на лежанке.

Поначалу дни шли довольно спокойно. Никто меня не трогал. Пока – не помню, в то время или позже – не появился Петр.

Петру было девятнадцать, он был советским солдатом, и он влюбился в меня. Из этого следовало, что он не хотел меня насиловать. Чтобы защититься, я стала говорить, что у меня больное сердце. «Нет, – сказал он, кладя руку мне на бедро, – тут не надо». Потом положил руку мне на сердце: «Вот что надо!»

Он объяснял, что в России на улицах тротуары, водосточные желоба и грязь никогда не бывает. Повернешь колесико, и из крана идет чистая, вкусная вода. И еще капусты, картошки можно купить сколько хочешь. И хлеба, каждый день.

Он описывал все это, словно какую-то волшебную страну чудес, лишь бы мне захотелось уехать с ним. Он всерьез решил жениться на мне. По утрам он выходил на двор и распевал по-русски во все горло: «Виорита моя женка будет!»

Как-то раз из-за меня произошел небольшой несчастный случай. Я сидела, Петр склонил голову мне на колени; я хотела оттолкнуть его, приподняла ему голову, а он дернулся в сторону, и мой палец попал ему в глаз.

Убегали его товарищи, решили, что я хотела выколоть глаз советскому солдату. Петр отчаянно кричал: «Виорита не хотела!» Потом вошла Рожика с тетей Анной. Тетя Анна плакала, упрасивала не трогать меня. Пришел Бенё и сказал, что это было не нарочно. Эта волынка тянулась довольно долго, в конце концов яростные крики Петра возымели действие, и меня оставили в покое.

Сергей. Когда к нам ворвались двое или трое русских – снова хотели меня изнасиловать, – не помню уж как и что, но Сергей меня, собственно, даже не трогал. Помню только, он стоял и кричал, когда Рожика побежала в комендатуру звать на помощь: опять солдаты насильничают. Увидев это, товарищи Сергея сбежали, он остался один. Прибыл патруль, Сергею нещадно расквасили лицо и увели. На следующий день Сергей вернулся с двумя или тремя товарищами и орал, что из-за меня ему набили морду. У них между мужчинами и женщинами – равенство. Он поставил меня на середину комнаты: теперь и мне достанется так же, как и ему. Я думала, что получу такую пощечину, что голова слетит с плеч, все зубы вылетят. Приготовилась, закрыла глаза, немного пригнулась, чтобы не упасть. И ждала, когда Сергей ударит. Оглушительный треск: он хлопнул в ладоши и поцеловал меня. Конечно, весь дом сотряснулся от хохота.

Собственно, я и сама вспоминаю об этом с улыбкой. Такие у них были шутки.

Но Сергей действительно был смертельно оскорблен, бледен и рассержен, когда ему надавали пощечин.

Этот мордобой, эти потасовки вспыхивали у русских с невероятной легкостью, за ними следовали бурные перепалки, потом все стихало, как будто ничего и не случилось.

Они достали муки, жиру – вполне достаточно, чтобы печь блины. Муку надо развести в воде и выпекать на смазанной жиром сковородке. У нас ничего не было – ни сахара, ни соли. Зато как все были счастливы! Солдаты выстроились в очередь, а мы с Рожикой все пекли и пекли блины с утра до самого вечера. Мы уже с ног валились, мы видеть этих блинов не могли, а солдаты все шумели, как обычно в очередях, толкались, поторапливали друг друга, требовали свою порцию. Рожика разозлилась, схватила тарелку, на которую мы выкладывали блины, швырнула ее на землю и разразилась бранью. Материлась она по-русски, да и по-венгерски не стеснялась в выражениях.

Результат: Рожику успокоили, подобрали осколки тарелки, принесли дружку и снова встали в очередь – тихо, не произноси ни звука. Тарелку всегда держал первый по очереди, мы опрокидывали на нее блин со сковородки, солдат еще горячим отправлял его в рот и передавал тарелку следующему.

Как-то ночью они гуляли: пили, веселились, горланили. Нас, правда, оста-

вили в покое. Утром нам велели убраться в комнате. Тетя Анна сразу же вызвалась. «Нет!» – возражали они, она старая, и приказали пойти мне. Тогда я впервые вошла в четырехугольную комнату, выходящую на улицу. На черном загаженном полу – окурки, блевотина, растоптанные объедки. У стены – два бака с бензином, по всей комнате – прислоненные к стене автоматы (похожие на короткоствольные ружья), а они сидели, по своему обычаю, в стеганых тулупах на меху и смотрели, как я мету, а затем отмываю пол. Поддразнивали, шутили: вот и мне, барышне-белоручке, приходится потрудиться. Было нелегко, блевотина воняла, а они сидели не шелохнувшись. Я залезла под стулья, мыла пол у них под ногами. Они хохотали. Один поставил ногу в сапоге на мою руку, я чувствовала, что он не наступил, просто хотел напугать, но металлическая набойка с зазубриной порвала мне кожу на тыльной стороне ладони. Совсем неглубоко, но кожа у меня тонкая, кровь полилась ручьем. А я назло им продолжала мыть пол как ни в чем не бывало. Поднялся жуткий гвалт, солдата, который наступил мне на руку, избили, отругали на чем свет стоит, а меня потащили к русскому врачу. Тот тоже на них рассердился. А они завалили меня подарками (ложка, карманный ножик, две полбуханки хлеба и пестрое летнее платье). Мы с Рожикой здорово посмеялись.

Так мы и жили.

Пока Бенё был в отъезде, прибыли новые части; мне не давали проходу, терпеть это стало не под силу. Я переселилась к соседям: там в деревянном сарае жила семья с пятью детьми, их не трогали, так как у мужа была сломана нога, он был в гипсе, и, вообще, русские с уважением относятся к семье, в которой пятеро детей. Они всемером ютились в деревянном сарае. Там стояла поленица, на нее дядя Михай (у которого была сломана нога) набросал соломы, на ней-то я и спала, укрывшись одеялом. Спальное место было хорошее, высокое. Но что бы мы ни делали, я всегда чувствовала, что лежу на дровах. Это было бы не так страшно: на войне неважно, удобно ли тебе спать. Но из поленицы, когда было тихо, выползали какие-то красные жучки; их привлекало тепло тела, и они ползали по мне вместе со вшами. Когда стреляли, жучки прятались. Так и шло: или я не могла заснуть из-за обстрела, или на мне резвились жучки. Вшам было плевать, что мы намазались керосином, этих насекомых тоже несколько не смущал его запах.

В конце концов, я вернулась к Бенё и тете Анне.

Не знаю, что произошло и от чего я так смертельно устала. Я как-то уже не боялась солдат; просто было страшно просыпаться оттого, что дверной замок разнесен очередью из автомата и солдаты врываются в комнату, было страшно, что в любую секунду могут выбить дверь. Бесконечное насилие, усталость, грязь, болезнь, которая была во мне, приступы жара – не знаю точно, что именно я не в силах была уже вынести. Может быть, последней каплей стало для меня вот что: молодая женщина, на девятом месяце беременности, во время боя спряталась в амбаре, и осколок снаряда попал ей в живот: сначала вывалились кишки, следом – ребенок, он корчился на земле, а мать, крича, смотрела на него, пока не умерла.

Такое вынести нельзя. Бога нет. Невозможно, чтобы он это терпел.

<...> И вот однажды, когда уже не осталось сил это терпеть, я приглядела бетонное кольцо колодезного сруба: *о него* я разобью себе голову. В другой раз я искала большой камень, чтобы ударить себя по голове и расколоть череп. Поезда, под который можно было броситься, не было. Выпрыгнуть из окна? Но высокие этажи были только в замке, а он был полон русских. Может, надо истать веревку.

Хочу рассказать один сон, который преследует меня еще с тех пор, в разных вариантах. Я убегаю, за мной гонятся русские. Ноги у меня как свинцовые, я бегу еле-еле, а надо быстрее – они догоняют меня. Ветвистое, высокое дерево. Я карабкаюсь на него, срываюсь, падаю на землю. Они уже рядом, я вижу их лица, глаза. Каким-то образом я залезаю обратно на дерево. Уцепилась, держусь, но они тоже оказываются на дереве. Я карабкаюсь по какой-то ветке, все выше, все дальше от ствола, падаю, вот я уже на земле. Они спрыгивают за мной. Я бегу изо всех сил. Передо мной стена. Взбираюсь по ней. Из пальцев сочится кровь. Я цепляюсь за щели в кирпичах, чтобы попасть на крышу, ногтей уже нет, их сорвало, когда меня дергали за ноги. Я снова бегу, попадаю в какой-то дом. Мечусь по чердакам, подвалам; окна, двери. Меня догоняют. Я вбегаю в туалет, запираю за собой дверь. Знаю, что ее взломают, но пара секунд у меня еще есть. Влезаю на сиденье унитаза, шарю в бачке, знаю, что там есть гиря, хочу достать ее, чтобы разбить себе голову. Но они уже ломают дверь, гиря у меня в руке. Один из русских приближается ко мне, протягивает руку, я замахиваюсь, чтобы стукнуть гирей ему по голове... И в это мгновение просыпаюсь, задыхаясь, обливаясь потом, сердце колотится как сумасшедшее...

Долгие, долгие годы мне снился этот сон. Сейчас снится все реже. Но я до сих пор блуждаю во сне в незнакомых домах, убегаю от кого-то, а кто-то все еще врывается ко мне в дверь, лезет в окно. Только сейчас, когда я это пишу, я понимаю: мне беспокойно, если дверь оставлена открытой (кто войдет в нее, чтобы схватить меня, потащить за собой или повалить на землю, избить?). Но не люблю я и крепко запертых дверей. Знаю, что это всего лишь иллюзия (я научилась у русских, как открыть любую дверь фомкой), – но ведь если дверь заперта, я не смогу убежать достаточно быстро.

Я налила в бутылку бензина и сказала тете Анне: если русские опять будут к нам ломиться, я разобью эту бутылку о печку. Мы днем и ночью поддерживали в печке слабый огонь, чтобы не замерзнуть.

«Тетя Анна, – говорю я, – когда дверь взломают, вы встанете за ней. Дверь защитит вас от взрыва, вы выскочите, побежите на двор и сразу ляжете в снег. Осторожнее, только лицо закрывайте».

Тетя Анна, которая была такой доброй, набожной и верующей, поглядела на меня и тихо сказала: «Не буду я стоять за дверью».

Может быть, русские почуяли что-то по моим глазам? Не знаю, но они оставили меня в покое. Или, может, это просто случайность, что пару дней было тихо.

Потому что вообще-то не было ни тишины, ни покоя. Обстрелы, раненые, грязь, рытье окопов, вши, голод.

Затем, как я позже узнала, деревню эвакуировали. Но тогда мы об этом не подозревали. Может быть, я еще и не ушла бы с семьей Бенё: ведь мне нужно было заботиться о Мами. Обычно эвакуация происходила так: дома обходили с приказом – оставить деревню в течение десяти минут. Жители связывали в узлы все, что успевали схватить, грузили на тачку или тележку (у кого что было), брали за руку детей и торопливо шагали туда, куда их гнали. Если старушки, вроде Мами, ходить не могли, им разрешали остаться в домах. Если бы я была там, может, я попыталась бы вывезти Мами на тележке.

Мы с Бенё и Рожикой отправились в Будапешт, потому что знали, что моя мама живет у дяди Габора на улице Векерле. Выхали мы на телеге, запряженной одолженной у кого-то лошастью, – она едва передвигала ноги, – запасшись бумажкой на русском языке. Мне трудно было расстаться с тетей Анной. Она по собственной воле осталась в доме с русскими. Тетю Анну никогда не обижали – ее любили за то, что она старенькая, за ее кротость и доброту.

Сейчас ее уже нет в живых. Если существует царство небесное, то тетя Анна там. (Моя подруга Юдит сказала, что не верит в Бога. «Хорошо тебе, – сказала я, – тогда для тебя после смерти нет ничего – ни ответственности, ни чистилища, ни страданий, ничего, кроме небытия». «Да, – сказала она. – Остается только сомнение: а вдруг все-таки есть?»)

Мы шли и шли. Толкали, тянули телегу и лошадь. Кое-где стреляли, потом вдоль дороги тянулись оставшиеся после боев руины, валялись трупы; последних, надо сказать, было немного. Наконец, мы прибыли в Будапешт. Город лежал в развалинах, но, к нашему удивлению, домов оставалось относительно много; мы-то думали, что столицу сровняли с землей.

<...> Я нашла дом шестнадцать по улице Шандора Векерле. Задняя часть дома выгорела. Все черное, обуглившееся, обгорелое, квартиры просматривались насквозь. Я стояла и смотрела. Квартира, соседняя с той, где жил дядя Габор, обрушилась.

Я медленно поднялась по ступенькам. На двери был звонок, тот самый, прежний. Я едва поверила глазам. Позвонила. Уже не помню, как мы встретились, кто и что говорил. В квартире было много чужих. Хозяева приняли к себе жильцов из сгоревшей части дома.

В окнах не было стекол, рамы заклеены бумагой, но, помню, я удивилась и поразились: стол накрыт белой скатертью. Был ужин, настоящий ужин.

Мы сели и принялись за еду. Я была вся грязная, вшивая, успела только помыть руки – ничего другого не пришло в голову, так как в квартире все было вверх дном.

Конечно, мама плакала, и была счастлива, и обнимала меня. И я тоже смотрела на нее и радовалась ей. Я была рада, что они живы, но радовалась не слишком сильно.

Слишком сильно я не радовалась уже ничему и ни во что слишком сильно не верила. Я уже носила в себе болезнь – гонорею, из-за которой потом так и не смогла родить, и не знала еще, есть у меня сифилис или нет. У меня было подозрение, что я очень заразная, а заразить я никого не хотела.

Мы сидели за столом, я так и не вытащила свою припрятанную колбаску. Здесь это показалось бы смешным. Подали язык с томатным соусом. Я изумленно смотрела на него и ела тихонько, беззвучно.

Говорили о том, что русские насилюют женщин. «У вас тоже?» – спросила мама. «Да, – сказала я, – у нас тоже». «Но тебя-то не тронули?» – спросила мама. «Никого не пощадили», – сказала я и продолжала есть. Мама глянула на меня и сказала удивленно: «Но почему ты позволила?» – «Потому что били», – сказала я и продолжала есть. В этом вопросе я не видела ничего важного или интересного.

Тогда кто-то спросил непринужденно и шутливо: «А много их было?» «Я не могла сосчитать», – сказала я и продолжала есть. «А представляешь, у нас в подвале даже вши были», – сказала мама. «У нас тоже», – сказала я. «Но у тебя-то не завелись?» – спросила мама. «Завелись», – ответила я. «У вас головные вши были?» – спросила мама. «Всякие», – ответила я и продолжала есть.

Потом разговор перешел на другие темы.

После ужина мама отозвала меня в сторону и сказала: «Доченька, ты не шути так грубо, еще поверят!»

Я посмотрела на нее: «Мамочка, это правда!» Мама расплакалась и обняла меня. Тогда я сказала: «Мамочка, я же говорила, никого не пощадили, всех женщин изнасиловали! Вы сказали, здесь тоже хватали женщин». «Да, но только шлюх. А ты не такая», – сказала мама. Потом бросилась мне на шею, умоляла: «Доченька, скажи, что это неправда!» «Ладно, – сказала я, – неправда. Меня забирали только ухаживать за больными».

Перевела с венгерского Елена ШАКИРОВА





Наум Коржавин

СВОБОДА ЗА ГРАНИЦАМИ СВОЕЙ ПРИМЕНИМОСТИ*

1

Теперь часто приходится слышать: «Да что ты удивляешься! Другие времена, другая жизнь. Всё по-другому». Обычно эти слова произносят, когда речь заходит о каких-то традиционно неприемлемых вещах, которые молодежь теперь стремится легализовать и утвердить, и с чем старшим трудно, но хочется примириться: куда денешься – дети!

Ну, что ж, этот выплеск умудренной примиренности звучит как-то привычно-прогрессивно и, в общем, утешает. Ведь в подсознании многих с юности сидит представление, что противостояние молодости и новизне есть проявление узости, скудоумия и вообще некультурно и позорно.

Вспомним, однако, что авторы «Вех» еще в 1911 году называли это состояние педократией, то есть властью детей. Уже тогда началась эта капитуляция разума и опыта перед напором прогресса.

Я отнюдь не враг прогресса. Он действительно расширяет пределы человеческих возможностей, представление о личности и ее правах – вообще, смягчил нравы. Но порождает он и иллюзии – начинает казаться, что «пределы бытия» он способен не только расширить, но и вообще отменить, что любые нормы общежития, выработанные человечеством за века развития, – заблуждение темных веков и подлежат отмене, ибо можно прекрасно, а главное

* Статья известного поэта и публициста Наума Коржавина была напечатана в журнале «Континент» (2004 год, № 117).

весело прожить и без них. А следовательно, любые желания, любые претензии любого индивида должны быть удовлетворены немедленно и во что бы то ни стало, что это неотъемлемое право личности и чуть ли не ее общественный долг. Из такого умонастроения педократия вытекает совершенно естественно.

Между тем, отнюдь не ангельская природа человека далеко не во всем поддается прогрессу, в чем-то она меняется, но в чем-то неизменна. Зверь, сидящий в человеке, всегда ждет возможности выскочить наружу, и не стоит его ни провоцировать, ни поощрять. А делается и то, и другое.

Нет, я отнюдь не считаю, что человек вообще сводится к зверю; я, наоборот, хочу защитить и утвердить все человеческое в нем. В сущности, история цивилизации, несмотря на все свои провалы и падения, есть история обуздания зверя в человеке и утверждения в нем человеческого. Нормы общежития, обуздывающие зверя, именно для этого и необходимы. Они защищают от его своеволия общество, в котором человек живет и в котором нуждается, а также от самого себя. Спасают его детей (институтом семьи) от сиротства, а его самого от одиночества.

Конечно, они не так уж идеальны и гармоничны, эти нормы. Но за пренебрежение ими, как они ни относительны, всегда потом приходится расплачиваться. И не только, а часто и не только тем, кто ими пренебрегал.

Пренебрежение часто оправдывают тем, что нормы общежития не неизменны. Да, они меняются. Но ведь не столь стремительно, перманентно и кардинально, как в последние десятилетия. Меняются, но остаются нормами, не отменяются.

Еще говорят о раскрепощении личности. Но ведь на самом деле речь идет о раскрепощении безличного. А так ли уж это прогрессивно, хотя и происходит под флагом прогресса? Не играет ли дьявол с прогрессом свои очередные злые шутки?

Но этому, собственно, и посвящена статья. И я сразу хочу сказать, что паковать перед победительной юностью стоит не всегда. А сегодня, когда все ценности зашаталось, это вообще неуместно. Всегда стоит думать и верить своему здравому смыслу. И помнить о мудром замечании Гегеля: «Истина, выведенная за границы своей применимости, становится своей противоположностью».

К сожалению, такими, выведенными за свои пределы «истинами» опутано сознание многих представителей нашей цивилизации. И это лишает их не только реального прикосновения к истине и ценностям, но подчас и просто чувства самосохранения – общественного и даже личного.

Слабой попыткой отражения этой напасти и задумана эта статья.

2

Одна из таких истин – точней ценностей – толерантность, терпимость. Еще это называют уважением к чужому мнению. И само по себе все это тоже

не содержит в себе ничего дурного. Это норма поведения – и государства, и личности. Государство должно допускать высказывание разных мнений (но тоже небезгранично – например, оно не должно разрешать призывы к беспорядкам и натравливание одной части населения на другую), а нам, людям, – действительно не следует объявлять несогласных с нами исчадьями ада.

После Гитлера и Сталина терпимость казалась отдохновением, выглядела просвещенно и благородно. Однако во многих умах это правило *поведения* абсолютизировалось, превратилось в правило *мышления*, то есть было выведено за границы своей применимости и превратилось в равнодушие к истине.

Я вообще склонен заменить требование обязательного уважения к чужому мнению: *тошно не тошно, а уважай* – другим: *уважение к истине*. Конечно, у моих оппонентов наготове другой трюизм, «философский» – истины никто не знает. Возможно, и так. Но когда оба спорящих заняты выяснением истины, а не стремлением одержать верх в споре, то они автоматически уважают мнение друг друга. А если один из них некомпетентен, то он быстро переводит разговор в «спор о процедуре» – требует автоматического уважения к другому (сиречь к своему) мнению. То есть, выражаясь современным языком, «создает шум», в которых тонет не только истина, но и предмет спора. Ибо далеко не все люди, вступающие в спор, даже если не лгут из корыстных соображений, действительно заняты выяснением истины. Часто они, не сознавая этого, поглощены чистым самоутверждением. Такие спорят наиболее яростно и непримиримо.

Опять должен оговориться. Я отнюдь не против самоутверждения как такового. Это естественная потребность каждого человека, особенно молодого. Каждому человеку надо утвердить себя как личность – хотя бы в собственных глазах. Но плохо, когда самоутверждение выходит из берегов. Когда оно выдает и принимает себя за служение человечеству, когда ему приносятся в жертву другие люди и общие, необходимые всем ценности. В наше время такого рода самоутверждение, смешавшись с все более и более легализуемым тщеславием, теряет какой бы то ни было отпечаток личности и в этом виде приобретает массовый и агрессивный характер. Речь опять идет об истине, выведенной за границы своей применимости.

3

По идее, все более или менее грамотные люди должны быть прикосновенны к культуре, чувствовать за плечами груз и опыт веков. Но таких всегда было не слишком много, а теперь в связи с «профессионализацией» высшего образования их в процентном отношении становится с годами все меньше и меньше.

К сожалению, такая «профессионализация» затронула, – а отчасти подменила – и гуманитарную сферу, само мышление. Культура утонула в самоуверенности «профессионалов», подсознательно приспособляющих реальность к

возможностям своего «профессионализма». Теперь эта тенденция выведения истин за пределы их применимости расцвела настолько, что в умах многих людей затмила всякое чувство реальности, в том числе и реального смысла произносимых слов и понятий. Последние превращаются в подобию языческих идолов, части которых, не входя в суть дела, надлежит поклоняться, а по поводу других – плевать. Литература оторвана от духа, души читателя и даже от процесса чтения, юриспруденция – от справедливости и здравого смысла, всего не перечислишь. Наука в значительной степени перестала быть проявлением страсти к знанию, а превратилась в некую индустрию, основной престижной фигурой в которой стал специалист, а не мыслитель. Все это было бы нормально, прогресс есть прогресс, если бы этих специалистов («научных работников») по инерции не осиял ореол мыслителей, чему по своим потенциям и потребностям соответствуют далеко не все. Вспомните, как остервенело работали на Сталина некоторые участники «манхэттенского проекта» – не только во время войны с Гитлером, когда это хоть как-то можно было пусть не оправдать, но хотя бы объяснить, а и после нее. Они искренне думали, что знают и понимают, что делают, а на самом деле они за пределами своей специальности не знали не только этого, но и того, что вообще значит знать, понимать и думать. Я видел потом некоторых их соратников и последователей (тогда уже «борцов за мир» – сиречь за одностороннее разоружение Запада перед наглевшим советским тоталитаризмом) – мышление им вполне заменяла принятая в их кругу «правильная» ориентация.

И касается это не только «политики», хотя, в конце концов, именно к ней все сведется и ею же и ударит. Важнее то, что незаметно происходит подмена всей системы «банальных» человеческих ценностей – в конечном счете, отношения к бытию. Но те «мыслители», которые такой подмене способствуют – скорее эмпирически, чем руководствуясь стратегическим замыслом, – этого великолепно не замечают: они соответствуют своей – то есть дежурной – «современности».

Конечно, и «бытие» преподносит нам сюрпризы, которые любого могут поставить в тупик. Иногда даже и так, что любые ценности могут оказаться под вопросом, «подвести». Но это обманчиво. Оказаться под вопросом или «подвести» могут не сами ценности, а линейное их понимание, у каждого времени особое. И задача состоит в том, чтобы за этим «особым» и «современным» не упустить существа.

Это очень трудно, особенно в обстановке культа современности и после стольких сменяющих друг друга «современностей». Я сам пережил их несколько. И потому сегодня я хочу говорить о том, что происходит в этой связи сейчас – в условиях духовно-интеллектуального кризиса нашей цивилизации и потери ею естественных ориентиров – с сознанием людей, с их представлением о себе и о жизни, да и просто с их логикой. Логикой, позволяющей человеку не замечать, что, собравшись защищать некую ценность, он называет тем же термином и защищает нечто прямо противоположное. Порою действительно создается такое впечатление, что почти все современное развитие, во вся-

ком случае, в его «интеллектуальной ослепке», задалось целью проиллюстрировать приведенное выше гениальное высказывание Гегеля. Все те, чья деятельность или поведение разрушительны для жизни и цивилизации, оперируют, как правило, истинами бесспорными и потому притягательными, убедительными. Но, поскольку эти истины сплошь да рядом используются за границами своей применимости, они и превращаются в свою противоположность – ничего не проясняют, все запутывают и работают против себя.

Наиболее яркие примеры предоставляет нам юридическая практика. Например, общеизвестно, что закон должен охранять права личности, защищая ее от произвола властей. Полиция не имеет права обыскивать кого-либо без ордера на обыск. Все это бесспорно. Но вот чем это может обернуться. Полицейский на автостраде останавливает машину за превышение скорости. В процессе разговора ему что-то показалось подозрительным, и он велит открыть багажник. Опытный глаз профессионала не подвел – в багажнике полно наркотиков. Ну что ж, полицейский оказался на высоте, и преступник препровождается в участок. Все нормально. Но – только до вмешательства адвоката. После такового наркодилера с извинениями отпускают, а добросовестный блюститель порядка получает взыскание по службе – ведь он произвел обыск, не имея на это ордера. Закон стараниями «специалистов» превратился в свою противоположность, оказался на стороне преступления против справедливости.

Так иногда торжествует «законность». Вот только над чем? Над естественным правосознанием. Конечно, закон должен исполняться буквально – это опять-таки бесспорно. Но еще бесспорней, что закон преследует преступников, а не тех, кто их раскрывает. Иначе он теряет всякий смысл. А тут что получается? Преступление налицо, оно несомненно, и ассистент наркодилера (в общепринятой терминологии – адвокат) изловчился выдать за обыск обыкновенный досмотр на дороге – да так, что судья, привыкший к тому, что профессиональная логика возвышается над обычной, забыл, что полицейский на то и поставлен, чтобы *следить за всем*, что происходит на дороге. В следующий раз он этого не сделает – себе дорожке, и наркодилеры на этой автостраде будут чувствовать себя вольготно. К тому ли стремится Закон?

Но дело тут не только в несправедливости к стражу порядка. На минуту допустим, что ее не было, что полицейский и впрямь превысил свои права и заслужил взыскание. Но ведь и транспортировку наркотиков закон не поощряет – преступника-то зачем отпускать? А на это, оказывается, есть закон – что доказательства, добытые незаконным путем (а безордерное требование открыть багажник и сочли таким путем), во внимание не принимаются. Вы только вдумайтесь: доказательства существуют, неопровержимы, но... не принимаются во внимание! И не потому, что путь, которым они добыты, ставит под сомнение их подлинность (этого даже и оговаривать не надо), а просто так: «во внимание не принимаются». И всё.

Теперь этот закон, как говорят, «не очень» применяется, но ведь кто-то доводил этот, возможно, правильный закон до абсурда, создавая прецедент. Чем

мог быть вызван этот «творческий порыв»? Не знаю. Но соответствует он только корыстным интересам членов все время разрастающейся корпорации адвокатов, ибо расширяет их возможности выигрывать процессы. Не адвокаты ли – они ведь везде – и протащили этот закон через Конгресс? Я думаю, что именно такое положение и заставило тогдашнего председателя Верховного суда Соединенных Штатов Бергера сказать, что американская юридическая система перестала служить правосудию. То есть юридическая логика вышла за границы своей применимости.

Чем объясняется такое «выведение»? Оно ведь происходит не только в юриспруденции. Если когда-нибудь кому-нибудь понадобится исследовать этот вопрос, скорее всего, выяснится, что пионерами такого отношения к истине и ценностям и в других областях были те же «лойеры», сиречь адвокаты. Ибо такое «выведение» стало для многих из них сутью их профессии. И, кстати, некоторые из них так прямо и объясняют, что истина их вообще не интересует. После любого нашумевшего преступления при любой его гнусности на телеэкране появляется сияющая физиономия лойера, который с гордостью объявляет: «Я буду его (ее) защищать!». Это не означает, что он усомнился в вине подсудимого. Это означает, что он чувствует в себе силы победить правосудие и хочет это продемонстрировать *urbi et orbi*. Обращайтесь, кто в этом нуждается!

А формально все правильно: каждый имеет право на защиту, и состязательный процесс – лучший способ выяснения истины. Но оказывается, что при отсутствии уважения к истине (раньше декретировавшегося религиозным сознанием) это представление можно вывести за границу его применимости и превратить в свою противоположность – оправдать любого преступника. И медленно, но верно разрушать правосознание – то есть юридическую систему своей страны. Другими словами, в конечном счете, подрывать основы своей профессии, а если смотреть в будущее, то и благосостояния всей его корпорации. Да и не только его корпорации – в праве, действительно, нуждаются все.

4

Это явление первым еще в 1930 году заметил, осмыслил и предупредил о его опасности известный испанский мыслитель Ортега-и-Гасет в своем знаменитом труде «Восстание масс». Он обратил внимание на следующее. Уровень жизни средневекового испанского идадьго был намного выше уровня жизни крестьян. Идадьго считал это естественным (впрочем, как и сами крестьяне), но это налагало на него целый круг обязанностей. Он должен был первым идти на войну, быть храбрым воином. Он вообще был на виду и должен был всем своим воспитанием и бытом соответствовать своему званию и положению. Прежде всего – представлению о чести. Он должен был, выражаясь современным языком, быть правовым и культурным центром своей округи.

Между тем в 1930 г. уровень жизни современного Ортеге-и-Гассету парижского дантиста был вчетверо выше уровня жизни средневекового идадьго, а тем более уровня жизни предшественника этого дантиста – цирюльника тех времен. Но, в отличие от идадьго, это не накладывало на него никаких дополнительных обязанностей (кроме чисто профессиональных). В его представлении, своего уровня жизни он достиг только собственным трудом и способностями. Между тем, способности могли быть и у цирюльника, и труда в свое дело он тоже мог вложить не меньше, но достигнуть жизненного уровня современного дантиста он все равно бы не смог.

Этот уровень жизни, да и сама квалификация дантиста – результат общего прогресса, то есть самоотверженного, а подчас и героического труда многих людей – творческого меньшинства многих поколений, создавших современную цивилизацию. Однако нашего, условно говоря, «дантиста» это обстоятельство совсем не занимало и не беспокоило: чувство ответственности за ситуацию, которая позволила ему достигнуть такого уровня жизни, в нем не было воспитано. Дело не только в неблагодарности (хотя она не зря всегда считалась пороком), а в непонимании цены, заплаченной за полученное наследство. Отсюда потеря чувства ответственности за него.

Что говорить, духовно и культурно цивилизованная часть человечества оказалась не вполне подготовленной к освоению «подарка прогресса» – относительного материального достатка – или, скажем точнее, относительной его доступности. Во многих это порождает многообразные иллюзии, создает ложное ощущение человеческого всемогущества, а отсюда и решаемости всех вопросов бытия, отношения к ним как к научно-инженерным проблемам (самоуверительный термин «социальная инженерия» родился не на пустом месте) – все можно решить, надо только постараться и найти верный путь решения.

Отсюда возникает и вседозволенность, и отнюдь не только в сфере «социального (или даже художественного) творчества» – просто в быту. До одной современной любящей матери, гордящейся тем, что она дипломированная медсестра (то есть, лишена предрассудков, просвещенный человек), передовые веяния дошли не из книг, а из атмосферы. Но выводы из этого она сделала вполне самостоятельные и самые радикальные. Почти как Смердяков – из слов Ивана Карамазова, что Бога нет. Правда, в реализации своих выводов она была чуть менее радикальна, чем Смердяков, но зато гораздо более безмятежна и гармонична, чем он. Выступая в теледебатах, она во всеуслышание объявила, что разрешает своей тринадцатилетней дочке открыто спать со своим столь же малолетним *boy-frend'om* в ее доме.

Что ж, разрешать гораздо проще, чем запрещать, а мысль о прогрессе так все облагораживает.

Эта молодая мать – не сатирический образ, а «картинка из жизни». Так воспитан, мыслит и проявляется целый слой – псевдообразованный, но весьма активный. А ввиду тотальной приблизительности всех своих представлений – и опасный. Для себя и других.

Удивительно ли, что эта среда из-за своей культурной ущербности оказа-

лась очень восприимчивой и к той сексуализации культуры и духа, к тому «освобождению секса», над коим с начала XX века (когда любые «освобождения» были в большой моде) самоотверженно трудились многие казавшиеся если не глубокими, то «смелыми» мыслители и художники?

Из этого «предания» исходит, хотя этим не ограничивается, и пресловутое *woman liberation* – освобождение женщины. О нем сегодня уже мало сказать, что оно «выведено за границы применимости». За этими границами можно сколько угодно и от чего угодно «освобождать женщину», но реальность берет свое. В конце концов, женщина освобождается и от женственности, а от этого и мужчины – от мужественности. И жизнь в целом от этого оскудевает и обесцвечивается – ведь Богом (*pardon*, природой!) человек создан двуполым, в нем мужественность и женственность всегда дополняли друг друга. Это одна из тех неизменностей, которые определяют жизнь человека и не поддаются прогрессу. Дальнейшее развитие «прогресса» в этой области может вообще привести к вымиранию человечества.

Освобождение от природных «рамок» – разительный пример того, о чем уже тоже говорилось: как якобы освобождая личность, на самом деле освобождают безличное.

Человек, как известно, вообще существо двойственное, в нем взаимодействуют и противостоят друг другу сознательное и бессознательное, дух и плоть. Он, безусловно, вырвался из природы, и в то же время подчинен ее законам. Все это общеизвестно. И даже банально простое утверждение, что человеческая личность на протяжении всей истории человечества стремится освободиться от своей биологической зависимости, тоже особых возражений не вызовет. Но духовная максима: «Умерщвляйте плоть, возвышайте дух» – при всей верности остается максимой и годится только для внутреннего употребления, хотя и обращена к каждому. Когда она становится требованием извне, она выходит за границы своей применимости и становится насилием и гнетом ханжества. И когда естественное, казалось бы, стремление освободиться от *гнета природы* оборачивается полным раскрепощением, а то и культом плоти, это приводит к разнузданности, к потере человеческого облика, к раскрепощению всего, противодействие чему и сделало человека человеком.

И кончится это плохо, ибо человек не только плоть, и только плотью жить не сможет.

5

Особенно пагубно сказывается «выведение истины за пределы применимости» на образовании. Кто может возражать против того, что право на образование имеют все? Но имеется в виду равный доступ к нему. Однако в слабых мозгах это трансформируется в право на обеспечение любых своих претензий, связанных с образованием. Забывают, что это право на реализацию, а не на компенсацию личных возможностей. Иногда от студента можно услы-

шать: «Я выполняю все задания преподавателей, но до сих пор ничего не понимаю в предмете. Почему? Это не мое дело. Я пришел в университет, и пусть меня научат!» К моему другу профессору пришла студентка, гордо предъявившая ему медицинскую справку о своем *Learning disability*, то есть о некоторой своей неспособности к учению (такие справки обязывают преподавателей уделять их подателям повышенное внимание), и объявила, что ничего в его предмете (кстати, достаточно сложном) не понимает. Сначала он попытался объяснить ей то, что она не могла понять, но не смог – она не знала и не могла понять элементарных основ этой науки. В конце концов, он ей мягко намекнул, что этот предмет не для всех, что надо иметь к нему склонность и соответствующие способности. Видимо, у нее их нет, а без них заниматься этим предметом не стоит – вряд ли что-нибудь получится. Лучше учиться чему-нибудь другому. Студентка не обиделась: «Но я ведь буду стараться!» – уверенно возразила она. Друг мой попытался ей объяснить, что и старания не всегда помогают: «Не можете же вы, например, стать Моцартом», – привел он свой последний аргумент. Но оказалось, что для нее это не аргумент. «Почему?!» – удивилась она.

У нее не было желания стать Моцартом, но это, в ее представлении, было единственным препятствием. А то бы постаралась, обучилась и стала бы Моцартом, как собиралась стать специалистом в избранной ею абсолютно непонятной ей науке. У нее на это были такие же права, как и у любого другого, а остальное, по ее мнению, зависело только от нее. Смешно? Не очень! Такие люди с неоправданными амбициями (одним из них был Адольф Шикльгрубер, который потом стал Гитлером) и разнесут нашу цивилизацию. Они ведь имели право, а реализовать его у них не получалось (по-видимому, по вине «несправедливого» общественного устройства)! Разнесут или революционным путем, или – что вероятнее (на то и новейшие методы в гуманитарных науках), – приспособившая само представление о Моцарте к своему уровню.

Так отразилось на этой девушке – скорее всего, не глупой, а вполне нормальной – общее упоение прогрессом, открывшим перед всеми необъятные возможности. Впрочем, и школа не сыграла своей роли хранителя культуры и необходимого амортизатора такого упоения.

Вот картинка из жизни, свидетелем которой были мои знакомые.

– Не волнуйтесь, мэм, – успокоила учительница сердобольную мать, отдававшую ребенка в начальную школу и интересовавшуюся, не станут ли здесь терзать ее чадо этими ужасными домашними заданиями, – я не сторонница домашних заданий.

Вот такой, значит, состоялся разговор в одной из американских школ лет семь назад. И уже тогда ни просвещенная учительница, ни любящая мамаша не ощущали себя пионерами такой формы любви к детям. Трогает ее естественность. Ничего особенного – есть на это разные точки зрения, наша – такая. По-видимому, и сами были воспитаны по такой же гуманной методе. Сами стали калеками и считают своим долгом готовить других калек. И, надо думать, за семь лет много в этом преуспели.

Америка невероятно мощная страна, обладающая гениальной по устойчивости (и дуракоустойчивости) системой. Но уж слишком этим злоупотребляют, слишком много на нее навешивают.

А ведь в основе лежит благая мысль, что надо быть чутким к личности ребенка, угадывать и развивать его склонности. В «границах применимости» это хорошо, но трудно – это требует от педагога культуры и таланта. А за этими границами все просто – применяй «метод», не беспокойся и еще будешь передовым. А то, что при этом и ребенок, и само общество окажутся неадекватными уровню развития собственной цивилизации – абстракция. И стоит ли из-за нее мучить детей зубрежкой, таблицами умножения и портить им детство домашними заданиями?

Получив столь щадящее образование, иметь представление о том, что никакие завоевания цивилизации не бывают автоматически обеспечены навсегда, почти невозможно. А ведь все эти завоевания, наоборот, нуждаются в непрерывной поддержке и защите, ибо они противостоят энтропии, непрерывно и во всех направлениях работающей на их разрушение.

И круг замыкается – то, что стоит за такой разрушительной для цивилизации «сердобольностью» (разрушающей память и вместе с ней ответственность), порождено тоже цивилизацией, ее успехами в материальной области. Сознанием неуязвимости, позволяющим капризно пренебрегать границами применимости выработанных ею же (цивилизацией) необходимых для ее выживания высоких норм и ценностей.

6

Мы уже говорили о гипертрофии лойеризма. Знаменитая победа лойеров над самоуважением и здравым смыслом американского народа в известном «деле Симпсона» еще не стерлась из памяти. Она нанесла непоправимый урон доверию американцев к своей юридической системе и ее носителям. Но жизнь не стоит на месте и не скупится на подтверждения. Недавно (летом 2002 года) стараниями адвоката был оправдан судом присяжных насильник и похититель малолетних, негодяй, уже отсидевший срок за такие же гнусности. Опытный адвокат сумел сбить с толку двух девятилетних девочек, к которым этот негодяй приставал, и убедить присяжных и судью (хороши же и они!), что девочки не знают, что говорят, и что обвинение лишено доказательств. Правда, юридически неграмотные девочки все равно стоят на своем, на том, что хорошо помнят, что было именно так, как они говорили, но это значения уже не имеет. А адвокат после этого откровенно делился с корреспондентами модным в их кругу открытием (оно уже здесь упоминалось), что в их деле важна не истина, а сам процесс, не понимая при этом, что тотальное внушение этой «мудрости» отменяет, выводит за границы применимости самый смысл его профессии.

Пусть на столь «ученую» и «профессиональную» наглость люди ответить

могут не всегда, но она не остается без последствий. Когда примерно в это же время один калифорнийский шериф застрелил при попытке вооруженного сопротивления (то есть и формально вполне законно) маньяка, похитившего и изнасиловавшего под дулом пистолета двух девушек, большинство откликнувшихся были рады не только спасению девушек, не только тому, что их благородный защитник шериф избежал опасности, а подонок получил по заслугам, но еще и тому, что не будет суда, а значит, очередного издевательства очередного лойера над очевидностью и здравым смыслом нормальных людей. И это очень страшно. Во-первых, представить себе какое-либо общественное устройство без законов и законников вообще невозможно. Особенно если речь идет об Америке, которая исторически – в отличие, допустим, от России – основана прежде всего на праве, на том, что Закон – это «мы», а не «они», и поэтому совершать нечто «против Закона» – значит поступить как бы еще и против уговора, то есть совершить поступок не только наказуемый, но и неприличный, нехороший. Плохо, если такое отношение к Закону будет окончательно скомпрометировано.

Есть уже первые симптомы этого «плохо». Четверо молодых поймали негодяя, пытавшегося изнасиловать мальчика, и стали выжигать ему гениталии. Потом их судили за это преступление, но сочувствие публики в зале и в округе – всех, кто об этом знал, включая самих судей, – было на их стороне. И отделались они поэтому смехотворно маленькими сроками. Должен сознаться, что сочувствовал им и я. Во время эпидемии гнуснейших сексуальных преступлений, захлестнувших США и «талантливо» прикрываемых лойерами, – это неудивительно. Сказалась всеобщая уверенность, что, как только вмешаются лойеры, сразу будет наведена тень на плетень и оскорблено элементарное чувство справедливости. Плохо, если люди начнут восстанавливать справедливость самосудом, судами Линча.

Как ясно из сказанного выше, эти упражнения лойеров и ранее были весьма опасны для выживания свободных обществ и государств, но до сих пор воздействие их на течение жизни было в основном косвенным. Теперь наглость их «профессионализма» дошла до прямых вмешательств в государственные дела – причем в острейший для существования народа и государства момент. Та судья, которая потребовала обнародовать имя агента FBI (ФБР), внедрившегося в сеть наркобизнеса, и тем самым вывела из строя ценнейшего работника, подготовка которого заняла много времени и стоила многих денег, – по сравнению с некоторыми другими, еще невинное дитя. Хотя и она, как могла, навредила своей стране. Возможно, она исходила из гордой римской формулы: «Пусть погибнет мир, но торжествует Закон!» Но наркотики, борьбе с которыми она посылала вредила, могут погубить цивилизованный мир – а это вряд ли приведет к торжеству закона.

Рим потворство пороку, как известно, погубило. Закон, если он Закон, не может становиться на сторону преступления и преступности. Впрочем, решение той судьи еще не самое опасное в судебной практике. Другая судья, которая отказалась выдать FBI ордер на допуск к записям на хард-

диске компьютера предполагаемого участника теракта 11 сентября, могла принести или даже принесла гораздо более непосредственный вред своей стране, могла поставить или даже поставила под угрозу жизни многих своих соотечественников.

7

И это случилось уже после официальных заявлений, что Америка вступила в войну с международным терроризмом – причем в ответ на то, что последний без всяких заявлений, но вполне убедительно продемонстрировал, что давно уже ведет беспощадную войну против США. Все равно – независимость суда превыше всего.

Она и должна быть превыше. Но вряд ли превыше судеб своей страны, общества и государства, обеспечивающего эту независимость. А между тем для некоторых она превыше и этого. То есть – когда из корысти, когда из тупости – разумное правило опять выводится за границы своей применимости.

Я не знаю, что творилось в головах этих двух судей (а их больше, и обоего пола), когда они принимали свои позорные решения, но думаю – то же, что и у других лойеров, подрывающих уважение к Праву. Они делали то, что, как им казалось, повышает их престиж через престиж их профессии (а у других лойеров – и доходы). А они воспитаны в том духе, что этим и должен жить человек, что в этой заботе человека только о себе – основа процветания всего общества.

И ведь это опять-таки верно! Только так – конечно, при соблюдении законов – и может работать капитализм. Но это *не может относиться* ни к государственным деятелям (и даже служащим), ни к военным, ни к судьям и вообще к юристам, ни к университетским профессорам, ни к школьным учителям, ни к врачам, ни ко многим другим слоям общества. Тем не менее представители этих слоев очень часто распространяют это правило и на себя. Десятилетия небывалого процветания притупили ощущение некоторых исконных норм и ценностей. Где тут было замечать, что это правило капитализма выводится ими за границы его применимости, а значит – *смысла их деятельности и существования на земле! Ведь внешне все в порядке.* «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья» – это и в Конституции записано. Да, каждый вправе искать свое счастье, где хочет. И ищут – кто в бизнесе, кто в науке, кто в служении государству. Это нормально. Но логика поведения в этих столь различных сферах деятельности различна. Каждый вправе защищать свои интересы. Логика конкуренции в бизнесе естественна и продуктивна. Но когда он в слышанном мной эпизоде именитый профессор говорил, что такого-то он к себе на кафедру не возьмет, ибо сам на его фоне проигрывает, это тоже конкуренция, а между тем здесь она неуместна и контрпродуктивна. Поражает меня не сама эта логика (неспособные противостоять собственной низости встречаются не так уж редко), а ее легальность – прежде всего, для

собственного сознания. Обычно такие мотивы люди скрывают и от самих себя. Но легальна она, конечно, и для сознания окружающих – иначе этот профессор не посмел бы ее высказать.

Речь идет, как ни печально, об ущербности сознания целого – и, кстати, достаточно влиятельного – круга. В гуманитарной области, где критерии выглядят эфемерными, люди этого «круга» особенно опасны – именно тут они, инстинктивно приспособивая мысль к собственному уровню, могут ее вообще подменить и подавить, а, проникнув в престижные точки, – ослепить и отчасти оболванить общество.

Но, как показали события весны и лета 2002 года, этот принцип капитализма в американской экономике, как ни странно, оказался выведенным за границы применимости и в этой самой капиталистической области, в самой мощной капиталистической стране. Облеченные доверием акционеров и вкладчиков менеджеры несокрушимых компаний обманули их доверие и, доведя свои компании до краха, обогатились. Пример одного из руководителей ЭНРОНА, который, уйдя из компании накануне ее краха, выгодно продал все свои акции, ценность которых как раз перед его уходом была (не без его участия) искусственно и непомерно вздута, – достаточно показателен и у всех еще в памяти. И то, что после всего этого он почти демонстративно стал строить роскошную виллу стоимостью в семьдесят миллионов долларов, – тоже характерно для этой психологии. В том-то и дело, что он чувствовал себя совершенно неуязвимым, ибо его гнусности, в отличие от деяний представителей других проштрафившихся компаний, не были прямо запрещены Законом. Не потому, что Закон их покрывал, а потому что законодатель их не предвидел, и до последнего времени никто их и представить себе не мог. Ибо Закон регулировал отношения между компаниями, между производителем и продавцом продукции, а в отношении внутри компаний (если речь не шла о трудовых отношениях) он не вмешивался. Собственники сами заботились об этом, были заинтересованы в устойчивости и престиже своих фирм и предприятий, в уважении к своему доброму имени. И это казалось незыблемым.

Но начался так называемый *корпоративный капитализм*, тот самый «народный капитализм», который в свое время вызывал такую ярость советской пропаганды. Представлялось, что таким путем достигается, так сказать, власть массового акционера, его заинтересованность в прибылях, расширение его ответственности. На самом деле власть из рук собственников перешла в руки менеджеров, которые получили право распоряжаться собственностью, не будучи ее хозяевами. Получили полную возможность выполнить программу цыгана из анекдота, который на вопрос, что бы он сделал, если бы стал царем, ответил: «Напился бы, наелся, украл бы сто рублей и убежал!» Респектабельные менеджеры из таких компаний, как World.com отличались от этого цыгана не интеллектуально-нравственным уровнем, а только величиной аппетита.

Надо отметить, впрочем, что опасность, связанную с такой трансформацией капитализма, некоторые почувствовали сразу. Например, создатель «реакционного» журнала *National review* – кстати, бывший троцкист –

Джеймс Бернхэм на заре этого начинания написал книгу (так и озаглавленную *Managerial revolution* – «Революция менеджеров»), в которой бил тревогу по поводу такого развития капитализма. Но кто станет слушать патентованного реакционера, чуть ли не фашиста (так именовались все, кто хотел спасти Америку от бедствий, от всего, что может привести как раз к фашизму)? Кто же в эпоху такого прогресса, такого процветания поверит подобным пророчествам?! «Передовых» людей оскорбляло все, что отличало Америку от рая, – при таком могуществе прогресса, при таких возможностях это объяснялось (и теперь еще объясняется многими) только подлостью строя, который вся эта публика порывалась «улучшить», а иные и скovyрнуть. Не поручусь, что и сама «корпоративизация» капитализма не была проведена в угоду таким настроениям.

История, человеческая природа (кроме секса – но это относилось к борьбе за свободу личности) и вообще возможности человека и общества не учитывались и во внимание не принимались. Где уж тут было откликаться на тревогу по поводу «революции менеджеров»!

Мне рассказывали, как однажды в одну солидную фирму пришли поправлять ее дела молодые экономисты, выпускники престижных университетов. Полученные там знания они применили крайне просто – начали сокращать расходы. Под сокращение попали отделы, обеспечивающие завтрашний день фирмы, но чья работа на сегодняшние прибыли прямо не влияла. Доходы сразу возросли, но ненадолго. Теперь фирма в кризисном состоянии, а молодых гениев и след простыл. Они ни в чем не ошиблись – на то и расчет был, что сейчас они себя покажут, отхвоят свой куш, а потом расхлебывать это будут другие: человек имеет право преследовать свои интересы. Получается: то, что создало капитализм и лежит в его основе, будучи выведено за «границы применимости», *его же и губит*. Впрочем, тому, что капиталистическая экономика может существовать только на определенном уровне общественной морали, этих молодых гениев особенно не учили. Их учили специальности. Они ведь экономисты, а не богословы.

8

Все это сегодня имеет значение отнюдь не академическое. Страны христианской культуры стоят сейчас перед многими вызовами. Не говоря уже о том, что они нагло испытываются на прочность агрессивным исламом. Я отнюдь не утверждаю, что исламизм выражает дух ислама как религии. Мне вообще представляется, что исламизм – это просто очередная идейность и что религиозно он только окрашен. Но он выдвигает вперед ислам, его установления и запреты. Между тем как из христианской цивилизации христианство как будто просто вынuto. Как-то даже стало неприлично и «недемократично» на нем настаивать или его защищать. Это чуть ли не расизм. В то время как в обязательном порядке заставляя всех поступающих в Северокаролинский уни-

верситет (Чапел Хилл) предварительно ознакомиться с Кораном – это высшее проявление терпимости. Впрочем, есть и более высокое – запрещение вывешивать в школах «Десять заповедей», чтоб иноверцы (сиречь атеисты и мусульмане) не обиделись. Видимо, по мнению либералов, обижать можно только христиан, то есть абсолютное большинство американского населения. Способствует ли это устойчивости?

Однако разговор сейчас идет не о положении различных религиозных групп в США. И даже не о достоинствах христианства как религии, а только о ситуации в нашей цивилизации, из которой успешно пытаются «вынуть» христианство. Прогрессивно мыслящие активисты, трудившиеся над этим, были уверены, что все выработанные цивилизацией высокие представления (о личности, праве, демократии, свободе) будут еще лучше работать и без религии. Но оказалось, что других гарантий применимости этих высоких принципов они выработать не могли (да и не подозревали, что в этом есть нужда), и теперь эти замечательные принципы работают вразнос – против самих себя.

Чем бы я хотел закончить – точнее, к чему я пришел в течение своей теперь уже долгой жизни?

Прежде всего, я уверен, что никаких механических, окончательных решений проблем общественного бытия не существует. Существуют решения более или менее удобные и способные реагировать на требования жизни, но нельзя создать систему, которая сама, путем взаимодействия частных корыстных интересов (считаться с которыми и стремиться их гармонизировать, тем не менее, необходимо) способна обеспечить порядок, устойчивость и достигнутый уровень развития. Об этом нужно всегда беспокоиться, всегда к этому стремиться, этому должно быть посвящено все общественное воспитание. И быть готовыми к тому, что всегда могут возникать самые причудливые противодействия этому.

Природа человека, а значит человечества, не столь рациональна. Его самозатверждение не всегда определяется материальными интересами. Следовательно, всегда, на любом уровне развития и благоденствия действуют разрушительные тенденции, которым нужно противостоять, если они вырываются на свободу. Силы разрушения, энтропии (на моем языке, который я никому не навязываю, – дьявол) стерегут нас на всех путях и при любом общественном благоустройстве. Мы всегда в одном шаге от хаоса, от опасности свалиться в пропасть нищеты, варварства и дикости или уступить их напору извне. В этом напоре могут быть использованы все достижения цивилизации – не только технические, но правовые и моральные (использованы теми, кто от них так же далек, как «герои» 11 сентября от тех, кто спроектировал и создал небоскребы, которые они разрушили, и самолеты, которые они ради этого захватили). Таких людей наши правовые и моральные достижения ни к чему не обязывали, но они учитывали и использовали то, к чему эти нормы обязывают нас. Это же так просто. Как те ножи, которые они для этого использовали, – кстати, ножи эти были сделаны из пластмассы, к создателям которой они имели такое же отношение, как к создателям самолетов и небоскребов. Ножи, одна-

ко, сработали. И это надо помнить. Как бы ни одолевали нас утонченности нашего развития, наше стремление к равенству и гуманности, надо помнить, что в некоторых обществах это может быть воспринято как слабость и способно возбудить бессмысленную и иррациональную страсть к самоутверждению, агрессивную активность по отношению к нам. И даже породить желание оправдывать ее, демагогически используя для этого необязательные в их обиходе наши моральные и правовые нормы. Мы должны помнить, что ни своей культуры, ни своих правовых норм, ни достижений, ни достатка не удастся сохранить, если мы не будем готовы защитить все это, как и в менее «продвинутые» века, *в том числе и старым способом – силой*. Способом, вполне адекватным, кстати, восприятию тех, против кого эту силу применять необходимо.

Весь XX век был отмечен пафосом прогресса новаторства, безудержного движения вперед. Много раз – правда, с тем же алгоритмом – объявлялось наступление новых времен. Вдобавок это «новое» было априори окрашено положительно, обязательно понималось как «прекрасное», «жизненное». Боюсь, что *теперь новые времена наступили по-настоящему*. Времена, когда надо не столько рваться вперед, сколько освоить и сохранить достигнутое. И, прежде всего, перестать себя «зафлаживать». Как зафлаживают волков охотники. Они огораживают участок леса, где есть волки, веревкой с разноцветными флажками и на это «огораждение» гонят волков. Ни один волк даже в минуту отчаяния почему-то не смеет перескочить через эту «преграду». Бойтся. Тут их и кончают.

Наша цивилизация для облегчения охоты на себя сама зафлаживается всякого рода политкорректностями и прочими фетишами, парализующими ее сопротивляемость или разрушающими ее внутреннюю устойчивость. Кончится это плохо. Она может быть разрушена извне или изнутри – нацизмом, к которому в отчаянии качнется население и который будет сочтен, как было и с Гитлером, спасителем цивилизации.

Надо избавляться не от норм и ценностей (их как раз надо отстаивать), а от балласта – от флажков и веревок, от слов, на которые мы сами себя ловим и на которые ловят нас. Выбросить балласт очень трудно, ибо многие им дорожат, просто прижились к нему и при нем – привыкли сами себя ловить на слове. Но если мы его не выбросим, если в обществе не восторжествует ум и ответственность, то все, чем мы по-настоящему дорожим, что по-настоящему нужно людям, пойдет ко дну. Лучше все-таки попробовать остановить этот «естественный» процесс, это «движение вперед», это скольжение в пропасть.



АВТОРЫ НОМЕРА

Юдит Аграчева – писатель, журналист, автор эссе-комментариев к библейским текстам. Живет в Израиле.

Анри Волохонский – автор книг поэзии, прозы, переводов, а также комментариев к библейским текстам. Живет в Германии.

Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель. Автор десяти романов, в том числе: «Зрелища», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Пелагий Британец», «Суд да дело», «Новгородский толмач», а также философских трудов: «Практическая метафизика», «Метаполитика», «Стыдная тайна неравенства». Живет в США.

Наталья Зейфман – историк, архивист, научный сотрудник Яд ва-Шем. Живет в Израиле.

Антеро Киуру (литературный псевдоним) – бывший политзаключенный, картограф, публицист, соиздатель журнала «Гласность»; печатался в журнале «Экспресс-хроника» и газете «Русская мысль». Живет в Израиле.

Майкл Крайтон – известный американский писатель, автор книг «Парк Юрского периода», «Линия времени» и др.

Александр Кустарев – социолог, писатель и публицист, автор множества статей; с 1984 по 1997 г. – главный редактор тематических программ на Би-Би-Си, ныне – сотрудник российского Института научной информации и Института русской истории (РГГУ). Живет в Англии.

Питер Марш – английский психолог, директор исследовательского Центра социальных проблем, автор книги «Законы беззакония».

Александр Мелихов – кандидат физико-математических наук, прозаик («События и открытия», «Так говорил Сабуров», «Дары нищего», «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея», «Роман с простатитом» и др.), публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба. Живет в России.

Евгений Мороз – историк, автор ряда исследований русского эпоса и традиционной культуры, а также идеологии современного русского национализма. Публиковался в изданиях Института этнологии и этнографии, Института социологии, в журналах «Барьер», «Звезда» и «Russian History/Histoire Russie» и др.

Бenedикт Сарнов – критик и литературовед, автор десятков книг и статей о российской прозе и поэзии. В числе недавно изданных книг – «Пришествие капитана Лебядкина», «Наш советский новояз», «Занимательное литературоведение», «Каждому – по вере его». Живет в России.

Виктор Славкин – драматург, сценарист, писатель. Автор книги «Памятник неизвестному стихляе». Самые известные спектакли 70-80-х гг.: «Взрослая дочь молодого человека» и «Серсо». Ведущий телепередачи «Старая квартира». Живет в России.

Борис Парамонов – кандидат философских наук, культуролог, автор десятков статей, а равно книг «Конец стиля» и «След»; на «Радио "Свобода"» ведет постоянную рубрику «Русские вопросы». Живет в США.

Бенцион Томер (1927-1997) – израильский поэт, драматург, переводчик. Лауреат многих литературных премий. Автор нескольких романов, пьес и поэтических сборников.

Владимир Прибыловский – историк-медиевист, автор статей по истории Византии. Президент информационно-исследовательского центра «Панорама». Автор более десяти книг. Живет в России.

Юрий Фельштинский – историк, доктор философии, редактор-составитель и комментатор десятков томов архивных документов, автор книг «Большевики и левые эсеры», «К истории нашей закрытости», «Крушение мировой революции», «Вожди в законе», соавтор книги «ФСБ взрывает Россию». Живет в США.

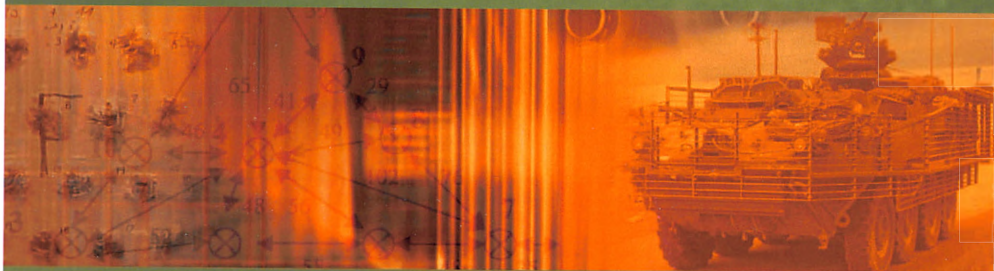
Дмитрий Хмельницкий – архитектор, редактор газеты «Европа-Экспресс», автор книги «Под звонкий голос крови. Советская эмиграция и национальная идея» и десятков статей. Живет в Германии.

Дан Шапира – востоковед, сотрудник департамента истории Ближнего Востока университета Бар-Илан и департамента истории, философии и еврейских штудий Открытого университета Израиля. Живет в Израиле.

Эдуард Шульман – писатель, автор книги «Еврей Иваныч» и десятков статей, опубликованных в самых популярных российских журналах. Живет в России.

Алек Эпштейн – преподаватель кафедры социологии и политологии Израильского Открытого университета. Автор книги «Войны и дипломатия. Арабо-израильский конфликт в XX веке» и множества статей. Живет в Израиле.

**Компания МОФЕТ ЭЦИОН
поздравляет читателей журнала
с Днем независимости!**



Мофет Эцион – признанная во всем мире в качестве ведущей компания, эффективно решающая проблемы защиты людей и всех видов транспорта от различных типов поражения (*LIBA – Light Improved Ballistic Armor*).

Мы работаем круглый год, чтобы обеспечить вас самыми эффективными и при этом удобными и легкими средствами защиты. Цена самая что ни на есть приемлемая.

Мы рады и впредь быть к вашим услугам.



Адрес: Kfar Etzion, Israel
Fax: 02-9932433

